

ДРУЖБА НАРОДОВ



3'2017

- *Даниэль Орлов*
День шахтёра
Повесть
- *Дмитрий Трибушный*
В пространстве, предназначенном для рая
Стихи
- *Юрий Каграманов*
По ком звонит колокол
Европа перед натиском исламизма
- *Евгений Абдуллаев*
В поисках поступка
Шесть поэтических сборников 2016 года
- В гостях у «ДН» участники Международного литературного фестиваля им. М.Горького:
Ильдар Абузяров, Дмитрий Бирман, Вадим Демидов, Андрей Дмитриев, Андрей Иудин, Александр Котюсов, Елена Крюкова, Андрей Кузечкин, Марина Кулакова, Юрий Покровский, Олег Рябов

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzha-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.01.2017.
Подписано в печать 22.02.2017.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 5039. Цена свободная.

Дружба народов **3'2017**

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Дмитрий ТРИБУШНЫЙ. В пространстве, предназначенном для рая. Стихи	3
Даниэль ОРЛОВ. День шахтёра. Повесть	6
Ербол ЖУМАГУЛ. Покуда жизнь — загадка. Стихи	76
Ирина ЦЫГАЛЬСКАЯ. Два рассказа	79
Анна ПАВЛОВСКАЯ. Держи меня в воздухе. Стихи	90

Минская инициатива

Андрей ДИЧЕНКО. Рассказы	93
Наталья АРИШИНА. Куплю тебе бронешилет. Стихи	101

Нижний на страницах «ДН»

Ильдар АБУЗЯРОВ. Троллейбус, который идёт на север. Рассказ	104
Дмитрий БИРМАН. Машина времени. Рассказы	113
Вадим ДЕМИДОВ. Из сборника «Сказки про животных»	127
Андрей ИУДИН. Незабытый. Рассказ	134
Поэты Нижнего: Марина КУЛАКОВА, Андрей ДМИТРИЕВ, Соня БАРАШКОВА, Роман ШИШКОВ, Анастасия БЕЗДЕТНАЯ	142
Александр КОТЮСОВ. Теракт. Рассказ	146
Елена КРЮКОВА. Чек. Рассказ	160
Андрей КУЗЕЧКИН. Самая важная инсталляция. Рассказ	169
Юрий ПОКРОВСКИЙ. Вмятку. Сюрреалистическая композиция	171
Олег РЯБОВ. Девятый день. Рассказ	181

Проза.doc

Екатерина ПОСПЕЛОВА. Биба и Чайковский. Арабески в миноре и в мажоре	188
---	-----

Первые стихи

Елена ЧЕРНИКОВА. Оскар на счастье	207
---	-----

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. По ком звонит колокол. Европа перед натиском исламизма ..	209
--	-----

Нация и мир

Анна ФЁДОРОВА. Свободолюбивые баловни. Взгляд с итальянского каблука ...	222
--	-----

Критика

Евгений АБДУЛЛАЕВ. В поисках поступка. Шесть поэтических сборников 2016 г.	228
Григорий НИКИФОРОВИЧ. Россия эмигранта Фридриха Горенштейна	246

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. И всё-таки они сходятся	257
--	-----

Подробное чтение

Николай АНАСТАСЬЕВ. Благо непонимания	261
---	-----

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. «Грузинский авангард» — прошлое, угадавшее будущее ..	269
--	-----

Эхо

Севич. Из размышлений о сверстниках. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	270
---	-----

Дмитрий Трибушный

В пространстве, предназначенном для рая

* * *

Вначале вырастает небо.
Из неба вырастает храм.
Куда мы едем,
едем,
едем
По лучшим на земле холмам?

Плывут навстречу перелески
Который день, который год.
Всё кажется, что Русь исчезнет
Буквально через поворот.

Не может праздник вечно длиться
В стране слепых глухонемых.
А Бог смотрелся в эти лица,
И навсегда остался в них.

* * *

Слепой прозрел. Немой заговорил.
Взошла весна над нашим пепелищем.
Лишь мёртвые не встанут из могил
В стране, где каждый третий — лишний.

Они, как ангелы полночные скорбят,
Но ото всех скрывают свою жалость,
И, кажется, не узнают себя
В том зеркале, которым мы остались.

Трибушный Дмитрий Олегович — поэт. Родился в 1975 году в Донецке. В 1997 году окончил филфак Донецкого национального университета, в 2002 году — Одесскую духовную семинарию. Диакон и церковнослужитель. Автор 4 книг стихов: «Под другим дождем» (2004), «Провинциальные стихи» (2010), «Белая книга» (2010), «Облака ручной работы» (2013). Живет в Донецке.

* * *

Что человечит человек?
Что человечит человека?
Куда-то шёл печальный снег
Из девятнадцатого века.

Толпились улицы, сады,
И думал путник одинокий:
«Как будто Божии Суды
Случились с нами раньше срока».

Все собираются и ждут
Предела, выверенности, края.
Я был в гостях, и нёс уют,
Прощальный свет другого рая.

Что человечит человек?
Я, как и все, спешил к ответу
Сквозь утренних равнин разбег,
Другой внутри другого света.

* * *

Свет крошечный. День осенний.
С листопадом каждый раз
Мы теряем по бессмертью,
Чудом собранному в нас.

Всё, что нам казалось вечным,
Неожиданно родным,
Уплывает, словно свечи,
И уходит, словно дым.

Всё, что нам казалось нами,
Всё равно оставим здесь:
Снег над белыми полями
И молчание небес.

* * *

На окраине сходят в ад.
Драмтеатр играет в сад.
На Текстильщике «смерч».
В соборе полиелей.
Привечает голодный «град»
Ополчение дошколят.
То, что нас убивает,
Делает нас сильнее.

* * *

— А снег не прекратится никогда, —
Вдруг произносишь, сразу замечая,
Что целый век стояли холода
В пространстве, предназначенном для рая.
И, вечности невольный гражданин,
Вдруг понимаешь — всё дано в избытке.
И нужен век, чтобы разжечь камин
Или дойти от дома до калитки,

Отдельный век, чтоб ворошить золу,
Стеречь окно и думать понемногу,
И чувствовать себя в своём углу,
И не смотреть с надеждой на дорогу.

* * *

Мёртвые к нам не приходят во сне,
Не беспокоят зря.
Все мы остались на этой войне
Под залпами ноября.

С той стороны продолжается жизнь,
Вертится синий шар.
Все мы сегодня здесь собрались,
Чтобы держать удар.

Благословляет на вечный пост
Вечный двадцатый век.
И на просторе, открытом всерьез,
Снова стоим за всех.

* * *

Темно и томно. Как положено.
В отчизне ночь.
А мы по облакам нескошенным
Уходим прочь.

В столицах затяжные праздники
Сплошной стеной.
А мы... О нас уже все сказано
Родной страной.

Она детей своих не балует
И не хранит.
Чужих отчизна запоздалая
Усыновит.

Даниэль Орлов

День шахтёра

Повесть

В День шахтера в Инте били таксистов. Эта была старая, привычная забава. Им припоминали все за истекший год: и несданную с рубля сдачу, и маршруты в объезд, потому что «там ремонт», и тройные тарифы новогодней ночи. Но главное, им припоминали водку, ту, которой таксисты торговали круглый год, водку-самокатку, водку-паленку, водку по тройной цене, какую даже на пьяном углу никто не ломил, опасаясь, что шахтеры, не найдя на троих, от жажды спялят весь квартал.

Таксистов вылавливали у вокзала, где они, подняв стекла и не выключив двигатели, ежились от страха, но ждали пассажиров с пассажирского «Котлас—Воркута». Те, кто сидел в машинах, еще успевали дать по газам, не обращая внимания на колдобины и ямы в асфальте, цепляя днищем об их острые края жестяным скрежетом и отчаянно давя на гудок. Но тех, кто беспечно или, хуже того, в надежде на пруху, оставляли таксомотор на площади, а сами шли на перрон поближе к прицепным ленинградским вагонам, где пассажир пожирнее, потому и навар с такого гуще, тех били сладостно.

Их забирали с перрона, клали ладони на плечи и с обеих сторон сжимали мускулистыми пальцами засунутые в карманы руки. Их вели за здание вокзала, на заплеванный и зассанный пяточок в зарослях каких-то кустов и там молча проводили краткую красивую расправу, лупя по шее, отрывая рукава у кожаных курток и ворота крепкой фланели клетчатых пакистанских рубаш. Что говорить-то? И так все понятно. Понятно, за что, понятно, почему. Напоследок таксист получал по носу и потом, отплевываясь, сморкаясь кровью и сопя, долго топтался на небольшом пяточке в запахе мочи, собирая выпавшую из карманов мелочь, ключи и ломаные сигареты. Зачастую таксисты сами были бывшими шахтерами, вышедшими на пенсию или ушедшими с шахты по состоянию здоровья. Потому все понимали. И прощали. И зла на своих не таили. Об одном лишь они сожалели: что пока они приводили себя в порядок и шарили среди мусора в поисках ключей от машины, по перрону, шаркая, прошли с тяжелыми чемоданами пассажиры прицепных ленинградских вагонов поезда «Котлас—Воркута». Пассажиры прошли по перрону, скрылись в здании вокзала, появились уже со стороны площади и сели в подошедший автобус.

Орлов Даниэль Всеволодович родился 18 июля 1969 года в Ленинграде. Прозаик, геофизик по образованию. Работал в экспедициях на Полярном Урале. С конца девяностых возглавлял различные журнальные и книжные издательства. Автор сборника стихов и четырех книг прозы. В 2015 году получил премию им.Н.В.Гоголя за роман «Саша слышит самолеты».

Член Союза писателей Санкт-Петербурга и международного PEN-клуба. Президент фонда «Русский текст». Живет в Санкт-Петербурге.

1

Андрей попал в Инту в конце восьмидесятых и остался теперь уже, как думал сам, навечно. Северное небо врачевало, как врачевало до него сотни других несчастных. Оно буднично собирало молитвы, запечатывало в шершавые наощупь конверты из крафтовой бумаги и отправляло туда, где если и жил адресат, то никак не проявлял свое существо.

На зоне он провел только год, потом был переведен в колонию-поселение, в которой по попустительству времени, потерявшему власть над людьми, жил вовсе уже вольно.

Наслушавшись рассказов «бывалых», начитавшись еще за время службы статей в «Огоньке», ждал он от заключения лютого человеческого бесстыдства. И когда на этапе попал под горячую руку мальчишек-конвойных, получается, что всего-то на полтора года младше его призывом, и лежал в проходе в луже собственной мочи из лопнувшего полиэтиленового пакета, прижав локти к животу и вжав голову в плечи, пока били пахнувшей гуталином кирзой, думал, что это только начало, и был готов смириться и уйти в такую глубину своей души, куда не долетают даже звуки орущих за сопками гусей. Но на зоне ему, против всех ожиданий, показалось спокойно и как-то справедливо. Это почти математическая модель мироустройства, когда от каждого поступка протянута ниточка к последствию. И ниточки те видны, и морозным утром они блестят от инея и на них, как на провода, может сесть малая таежная пичуга, чтобы чирикнуть что-то напоследок, перед тем как вовсе пропасть.

Бог милостив. Не подцепил он в колонии никакой лагерьной бактерии, никакой болячки на душу, никакой подлости не совершил и по отношению к себе подлости не запомнил. Только когда уже выписали ему подорожные и шел Андрей на станцию, чтобы взять билет до Пскова, лопнул внутри него маленький кулечек со слезами. Шел, наступая на тонкие прутки карликовой березки и прошлогодние метелки иван-чая, напрямик по насыпи старой узкоколейки, проложенной от одного заброшенного лагеря до другого и пятый десяток лет после того дышавшей в тундру разогретым дегтем. Шел и плакал. Должно было распирать его от легкости и счастья долгожданной свободы, а нет, кололо и мешало дышать шершавое и неудобное нечто под подкладкой куртки. И в том неудобном и маятном копилась не то самая жестокая казнь, не то будущая сила. За два часа дороги сказал он себе то, о чем последний год все чаще думал и на что никак не мог решиться. А перевалив через водораздел, посмотрев сверху на размазанный между сопкок белесый плевкок крыш Харпа, вместо станции, спросил дорогу в здешнюю геологическую контору и договорился на сезон рабочим. И когда договаривался, уже знал, что сезоном дело не ограничится. Похоже, что придумывал он себе тогда новую жизнь, да и придумал.

После четырех месяцев работы «на камнях», как тут называли добычу поделочного камня для ювелирного и кустарного производства, Андрей получил щедрый расчет. Послушав других бичей, прыгнул в еле колготящийся мимо сопкок дизель-подкидыш и отправился на сто десятый километр, откуда стартовали вездеходы, забрасывавшие буровиков в лесотундру, в долину Макара-Рузь, надеялся уговорить начальника отряда взять рабочим на буровую. Но все буровые расчеты оказались укомплектованными даже сверх штата. Бичи, те, кто порезвее да поопытнее, успели столкнуться еще весной. По всему Полярному Уралу в этом году партий на зимник отправлялось мало, а лимит на буровые

работы срезали еще год назад, когда Андрей был «на химии». Бурили только на алмазы, но на алмазы сидельцев вроде как не брали. Многие подумывали о том, чтобы переплыть Обь и «заброситься» с Салехарда с местными партиями по востоку Сибири и на Ямал. Рассказывали, что тамошнее управление получило квоту на ступение сети и привлекает рабочую силу со всего Союза. Андрею идея не нравилась. Решил он все же попытать счастья в Кожыме, небольшом рабочем поселке на участке дороги от Сейды до Котласа, возникшем, как и многие другие, на месте бывшего лагеря. Там, в Кожыме, располагалась база ВоГЭ, Воркутинской горной экспедиции, самой богатой и влиятельной конторы на всей этой огромной территории от Печоры и до Воркуты, от Усы и до Лабытнанг. Рассказывали, что раньше в Кожыме добывали кварц для отечественной электронной промышленности, но теперь промышленность пришла в упадок, а вместе с ней и поселок.

Андрей переночевал в котельной, куда его устроили случайные знакомцы, и на следующий день, не дожидаясь котласского, сел в дизель Лабытнанги—Сейда, полный такого же, как и он, кочевого народа, перемещающегося по кромке Полярного круга в поисках где бы чего заработать. В том поезде и поджидал его великий северный фарт. Чудом ли, Господним ли провидением, но оказался он в одном вагоне с самим начальником ВоГЭ, Егором Филипповичем Теребянко, возвращавшимся из инспекционной поездки по дальним отрядам, работавшим на западных склонах хребта Рай-Из.

Не случилось на северах человека более известного и уважаемого, нежели Теребянко. В тут пору ему только исполнилось тридцать шесть, но по хваткости, крутости нрава, а главное по вдохновляемому постоянным трудом научному таланту походил он не на ровесников или коллег из других управлений, а скорее на легендарных покорителей Севера, именами которых названы улицы в городах вдоль Полярного круга. Да и сам он любил повторять на собраниях коронную фразу-девиз: «Для Севера нужен человек, умноженный на два, и чтобы все остальное, кроме работы, торчало за скобками. Или так, или берите расчет и отправляйтесь в Крым сажать патиссоны». Эти «патиссоны в Крыму» появлялись в его речи то и дело и служили символом никчемной жизни никчемного человека. Сама максима среди народа сжалась до лаконичного: «Или умножайся, или патиссоны сажай».

«Вы там про борт ничего не слышали? Нам перебрасываться надо. Третий день сидим, патиссоны сажаем, хрен тут умножишься», — скрежетало в рации, висевшей на столбе в балке начальника отряда на горе Чёрной, где колол камень Андрей в свое первое вольное лето.

Андрей никогда раньше Егора не видел, но едва состав заскрежетал тормозами на станции «Полярный», следующей за сто десятым километром, в вагоне зашептались: «Теребянко!»; «Мужики, Теребянко к нам грузится».

А когда по проходу пошел высокий, светлоглазый и светловолосый человек, не по-северному гладко выбритый, с аккуратно постриженными висками, в выгоревшей до белого цвета куртке-энцефалитке с шевроном «Мингео СССР», называемом в народе «поплавок», к нему потянулись со всех купе.

— Здравствуйте, Егор Филиппович!

— Наше почтение, начальник.

— Товарищу Теребянко привет, милости просим к нам.

Приглашали все. Теребянко протянутые руки не пожимал, кивал сухо, иногда ронял «Здравствуйте» и бухал по проходу закатанными «под манжет» болотными сапогами, отыскивая купе посвободней.

Андрей ехал один. Он сидел у прохода, где гулял ветерок, и читал книжку, обернутую в газету, прислонившись к блестящей штанге для ступеньки.

— Не помешаю? — Теребянко, не дожидаясь ответа, снял с плеча звякнувший чем-то металлическим рюкзак и положил на верхнюю полку.

— Да пожалуйста, — Андрей потянулся и переставил на свою часть стола открытую банку «Завтрак туриста» и бутылку лимонада «Дюшес».

Теребянко покосился на банку, на лимонад, потом на Андрея, потом на книжку, протянул руку и поманил пальцем. Андрей отдал книгу.

— Ричард Диксон? «Пособие по английскому языку для начинающих»?

— Ез ыт ыз, — угрюмо ответил Андрей.

— Сидел?

— Год на зоне и два химии.

— Статья?

— Сто шестая. Убийство по неосторожности. Условно-досрочное.

— Дорожно-транспортное? — Теребянко сощурился.

Андрей кивнул.

— Образование?

— Среднее техническое.

— Специальность?

— Механизатор-тракторист, — четко выговорил Андрей и добавил, — четвертый разряд.

— Сейчас куда?

— Отработал лето на Рай-Изе, теперь домой, к родителям, в Псковскую область, — зачем-то соврал Андрей. Он вдруг застеснялся своей неустроенности и того, что нет работы.

— Могу предложить ко мне помбуром на зимний сезон. У меня некомплект. Пойдешь?

— Я на буровой не работал, думал, если устраиваться, разве что рабочим.

— Разберешься, если механизатор. Идешь?

— Иду, — улыбнулся Андрей.

— Ну и молодец! — Теребянко рассмеялся и протянул ладонь. — Егор, начальник здешней экспедиции.

С легкой руки начальника все стали называть Андрея «Англичанином». Прозвище прилипло так крепко, что даже в табеле, в который тот сунул нос, чтобы посмотреть, сколько ему полагается отгулов, не смог найти своей фамилии и лишь потом в самом верху увидел: «Англичанин».

Проработал Андрей у Теребянко три сезона подряд, почти не вылезая из тайги. В общежитие для сезонников не устраивался. В короткие промежутки между вахтами жил в Интинской гостинице со случайными людьми в номере на четыре человека, по два раза в день балуя себя раскаленным душем. Почти все, что зарабатывал, отправлял родителям почтовым переводом. Оставлял себе по пятнадцать рублей в месяц, что хватало как раз на гостиницу да на сигареты. Выпивку Андрей не жаловал, потому на вахтах не страдал, а в промежутках не экономил. Ходил в экспедиционном облачении — энцефалитке с чужого плеча, ладных рабочих брюках джинсового покроя из палаточной ткани и в туристических ботинках, из которых торчали полосатые гетры. Зимой добавлялись ватник-бушлат с воротником искусственного сизого меха и вязаная шапочка с козырьком, которую здесь почему-то называли «шлема» с ударением на последний слог.

Осенью следующего года, в конце сезона, когда начался массовый исход

ленинградских и сыктывкарских партий геофизиков, Теребянко поймал Андрея на вертолетной площадке в Кожыме, где тот помогал выгружать ящики с керном из пузатого, воняющего горелым керосином Ми-8.

— На вахту не намыливайся. Этот сезон пропустишь вчистую. Сейчас собирай манатки и рысью на дизель до Инты, я договорился, тебя берут в тамошнее училище при комбинате. Документы твои уже прислали. Часть предметов зачтут, плюс дадут общагу, стипендию. Весной выпустишься, оформлю тебя в ВоГЭ в постоянный штат буровым мастером по пятому разряду.

— Так а как же ребята без помбура?

— Не твоего ума дело.

Андрей замялся, вспомнив, что денег у него совсем не осталось — позарился давеча в универмаге на транзистор.

— Может быть, еще одну вахту? Я все деньги домой отослал, и вот, — Андрей показал на «Альпинист», висящий на ремне, — не удержался, купил себе музыку.

— Не обсуждается. У меня бичей хватает, мне специалисты нужны. Ерундой заниматься да музыку слушать всякий мечтает.

«Для этого на севере делать нечего, езжай поливать патиссоны в Крым», — мысленно продолжил Андрей за Теребянко.

— Север такого не терпит, для этого вон Крым. Хочешь бездельничать, езжай патиссоны поливать. Понял?

— Так точно, — по-военному ответил Андрей.

— Давай, Англичанин, успехов тебе, — Теребянко стукнул его легонько кулаком в грудь и широко зашагал в сторону балков, где жили ожидавшие заброску на гряде шурфовики. Он прошел по деревянным мосткам через ржавую грязь, изборожденную вездеходами до края вертолетки, повернулся и крикнул:

— Зайди в бухгалтерию, скажи, что я просил тебе матпомощь на сорок рублей выписать.

— Не поверят, — прокричал в ответ Андрей.

Но Теребянко уже не слышал, борт завел двигатель, и шум винтов разметал слова по тундре.

2

Секретарша, принимавшая от Андрея анкету, которую тот заполнил аккуратным мелким почерком, таким же, как у отца (он усиленно копировал этот почерк еще в школе), покачала головой:

— Если бы не Егор Филиппович, тебя бы не взяли. У нас ясное указание — с судимостью не брать. Мы подобный контингент стараемся спровадить с Севера, а вам здесь словно повидлой намазано. Готовы прямо у ограды лагеря поселиться. Это зачем? Чтобы время на дорогу потом не тратить, когда опять подсесть решите?

Андрей молчал.

— Или ты какой особенный, что сам Теребянко хлопочет? Родители, поди, важные? Из партийных секретарей? Номенклатура?

— Нет. Обычные родители.

— Отец механизатор, мать служащая, — прочитала секретарь в анкете. — Что значит, служащая? Где служит? Кем?

— В совхозном правлении, экономистом. Это важно?

— Все важно, когда абитуриент с судимостью. Борис Борисыч говорит...

Но что говорит Борис Борисович по этому поводу, Андрей уже не узнал. Дверь приемной отворилась, и вошел он сам, плотный, начинающий некрасиво лысеть чернявый мужчина в сером немодном костюме. Он бросил взгляд на Андрея и заулыбался.

— Краснов?

Андрей кивнул и встал.

— Прекрасно! Раечка, — он осекся, — Раиса Евгеньевна, выписывайте Краснову талон на поселение в общежитие и сами позвоните Семёну, чтобы не дурил и не совал парня на первый этаж, пока трубы не починит. Скажите, что я лично проверю, это Теребянковский кадр.

И уже опять обращаясь к Андрею:

— Как там тебя зовут? Аргентинец?

— Англичанин, — выдавил Андрей неожиданно склеенным голосом.

— Что за прозвище такое? В Англии был?

— Собираюсь, — Андрей прокашлялся. — Если пригласят.

— Ну ладно. Экзамен по иностранному языку сдашь, может, и пригласят, — директор хохотнул, — по обмену опытом. Ну, будь здоров! И да, вот еще. В комнатах чтобы не курили там! Спалите общежитие, нам новое строить не на что.

В училище Андрей оказался самым старшим на курсе. Учебный год уже месяц как начался, и первокурсники успели друг с другом перезнакомиться. Многие и без того были знакомы, ходили в одну школу и жили по соседству. О его судимости, как и о том, что за него хлопотал сам Теребянко, прознали быстро. Сперва сторонились как чужого, старшего и «с биографией», приглядывались, не станет ли буреть. Но Андрей держался с достоинством, на рожон не лез. Тогда местная шпана попыталась ради самоутверждения позадирать новичка, Андрей не реагировал. Лишь однажды поймал в узком коридоре возле столовой за локоть самого рьяного, сжал так, что у того слезы на глазах выступили, и тихо, уверенно произнес: «Хватит». От него отстали.

Учился Андрей, как он сам это называл, «между этажами». Посещал какие-то уроки с первого, какие-то со второго курса, а все равно оказывалось, что возникает, откуда ни возьмись, свободное время, когда ни на том, ни на другом курсе нет предметов, которые ему поставили в индивидуальный план. В такие дни шел Андрей в библиотеку училища, брал книжки по истории или журналы «Наука и религия» и проводил целый день за столом, пока библиотекарьша не начинала греметь ключами и щелкать выключателями.

Библиотека занимала сдвоенный класс на первом этаже, и тут, как и в общежитии, почти не топили. Горячая вода из котельной подавалась сначала на чердак и только потом разливалась по ржавым, забитым окалиной трубам вниз по классам и мастерским. Библиотекарьша сидела за своим столом в закутке, огороженном стеллажами, в куртке и пуховом платке. Против всех норм пожарной безопасности, по несколько раз на дню на тумбочке бурлил кипятильник, опущенный в литровую банку. Библиотекарьша заливала кипятком в резиновую грелку, заворачивала ее в вафельное полотенце и так согревалась.

То и дело он чувствовал на себе ее щекотное внимание, но поймать его не удавалось. Девушка успевала отвести взгляд за вздох до того, как поднимал голову он. Андрей вроде бы не нарочно, или он только не признавался себе, но садился так, чтобы она могла его видеть или он ее. Хотя разглядеть-разобрать что-то из-за очков в широкой оправе, пухового платка было сложно, почти невозможно. Казалось, что библиотекарьша прячется. Но он видел кисть ее руки с пальцами-веточками, запястье в веснушках, слышал голос, такой как у одной

актрисы в телевизоре, не то хрипловатый, не то мягкий. Такой голос, что хочется кино то досмотреть до титров в самом конце. И уже не важно, что голос произносит лишь формулу-заклятие «заполните формуляр», совсем неважно.

Что до нее, то ей казался интересным этот долговязый, островатый взглядом и жестом парень, или вовсе и не парень, а молодой мужчина. Мужчина с биографией, — как тут говорили.

Только стало известно, что в училище появился бывший зек, она никак не могла представить, что увидит его у себя в библиотеке, куда и обычные ученики заходили исключительно за учебными пособиями, да, может быть, за детективными романами, вырванными из «Иностранки» и переплетенными. А этот выбирал книги тщательно, словно бы учился по некой сложной программе, какая подходила бы скорее столичному университету, а никак не скромному ПТУ шахтерского городка. Читал, сидя за столом, закладок не делал, но всякий раз (она замечала это) перед тем, как закрыть книгу, записывал в блокнотик номер страницы, на которой остановился.

Андрей делил комнату с тремя ребятами со станции Сыня. Это был небольшой поселок, застрявший между сопок южнее Кожыма, но севернее Печоры. Поселок образовался, как и многие подобные на северах, на месте железнодорожного узелочка, зачатого одновременно с управлением пятисот первой магистрали в системе ГУЛАГ. От Сыни отходила однопутная линия на Усинск. Потом в отдельных бараках тут же поселились конвойные, охранявшие здешние лагеря, и железнодорожники, обслуживающие участок уже построенной трассы от Печоры до Инты. Со временем большинство лагерей закрылось, а бараки по досочкам и кирпичикам растащили жители для собственного строительства кособоких сараев, толпящихся почти у каждого дома. В поселке жили отставники, те, кто после службы по разным причинам не захотел уезжать на материк, их дети и даже уже внуки. К внукам как раз и относились соседи Андрея по комнате.

Почти все на северах, так или иначе, кормятся либо с зон, либо с лесосплава, либо с железной дороги. Уголь южнее Инты не добывают, потому с шахт жили от Инты и до Воркуты, да и то пока те не стали массово закрываться. Все ребята выросли в одном дворе, учились в одном классе, а их отцы гоняли молевой сплав Ижемского леспромпхоза по Усе и Печоре от начинавшего то и дело присаживаться на стариковские коленки бывшего всеильного Печорлесосплава. Лес, еще не собранный в плоты, шел по Усе до впадения в Печору. Там его уже вязали и гнали дальше аж до Архангельской области, где в Нарьян-Маре сползал с берега в пенную воду экспортный завод. От Сыни до Усинска тащил дизельный рабочий поезд, на котором вначале отцы, а во время летних каникул и пацаны ездили на смены. Работа эта считалась почетная, денежная. Но который год ходили слухи, что сплав скоро запретят, а весь лес станут вывозить железной дорогой. Да и самого леса с закрытием большого количества зон становилось все меньше. Раньше вырубки происходили планомерно, теперь все более хаотично. Что-то трескалось, хрустело по дальним станциям, что-то неуловимое происходило со всем Севером, а то и с целой страной. Увидеть и понять что — со склонов Уральских гор не получалось, но общее ощущение тревоги и перемен, которые для этих редко посещаемых Господом мест особо мучительны, передавалось от поселка к поселку.

Отцы ребят покумекали, обмозговали меж собой, посоветовались с соседями и, отвесив отпрыскам звонких подзатыльников, отправили учиться на буровиков в Инту, «чтобы все нормально было». Они и стали единственными друзьями

Андрея. Иначе и быть не могло, если живешь в одной комнате и кипятишь один запрещенный электрический чайник на четверых.

Разница с ребятами в годах сказывалась. Андрей ощущал ответственность за «пионеров», как он их называл. Пионеры, по их понятиям и чувству вожака, старались старшему товарищу угождать, учитывая возраст того и отсидку, но Андрей заискивания сразу пресек и стал им пусть командир и старший товарищ, но так, словно выпало им одно сражение на всех. Мальчишкам предстояло учиться два года, тогда как Андрею по собственному индивидуальному плану в мае назначили выпускные экзамены. Приглядевшись к ребятам (а показались они ему хоть и отчаянными матершинниками и дуралеями, но никак не бездельниками), решил Андрей, что на следующий год сможет убедить Теребянко тоже взять их в ВоГЭ.

Индивидуальному Андреевскому плану многие завидовали. Шутка ли сказать, бывший урка, а учится как министр, даже на обществоведение не ходит. Впрочем, весной, перед самыми экзаменами, обязали Андрея ответить у доски на вопросы по апрельскому пленуму партии. Но это было единственное исключение. Все контрольные писал Андрей на пятерки так легко, словно было это для него делом привычным. Впрочем, не велика и наука тут преподавалась. Ничего сложного не было ни в тампонажных материалах, ни в организации устья скважин, ни в технологии бурения. Многое он уже постиг на собственном опыте за те три сезона, что работал на гряде.

В первый же день, еще в Кожыме, буровой мастер Максим Фёдорович Алимов, в бригаду которого Теребянко зачислил Андрея, критически оглядел новичка, хмыкнул и достал из выючника потрепанную книжку без обложки семьдесят шестого года издания «Бурение скважин с целью разведки и поиска полезных ископаемых».

— Изучай, Англичанин. Послезавтра буду гонять по всему материалу. Посмотрим, что за кадр мне Егор подсунул.

Весь вечер и всю ночь просидел Андрей за книжкой в вагончике-балке, где его поселили, жег электричество настольной лампы, читал и время от времени вставал, чтобы подкинуть в печку дров. Октябрь случился холодный, с морозными яркими утренниками. Бичи, соседи по балку, проснулись рано, разворчались, что Андрей всю ночь не давал нормально спать своим светом и шелестом страниц, но ворчали беззлобно: это же как приятно встать, когда в балке натоплено. Сходили на завтрак в столовую рудника, вернулись. Бичи засели играть в буру, а Андрей вновь уткнулся в книгу.

— Эй, профессор, глаза попортишь, ты лучше нюхай страницы или лижи их, больше проку будет, — отпустил кто-то шутку.

— Лучше, конечно, пожевать, но тогда тебя Алимов уконтрапупит, — вторили первому шутнику, — но Андрей не обращал внимания. К вечеру он дошел до последнего параграфа и принялся читать по новой.

— Чувствую, сегодня тоже не достанет нам покоя, — рассмеялся краснолицый сухощавый лет сорока пяти рабочий Сергей Сергеевич по прозвищу Трилобит, старый теребянковский кадр. — Молодец, Анличанин, Максим таких любит, упорных. Давай, грызи науку, я бы и сам чего такое полистал, да после первых строчек засыпаю. Ничего с собой поделатать не могу, потому вся моя работа — это поднимай-тащи да картами шлепай. А ты далеко пойдешь.

По второму разу учебник Андрей проглядел за пару часов. Все уже спали, когда он отложил книгу на стол, накинул на плечи бушлат, взял пачку «Астры» и вышел из балка.

Нигде небо так крепко не прилипает к горизонту, как на Севере. И только здесь оно, расцвеченное зеленоватыми сполохами сияния, спекается за долгий полярный день в одно целое с тундрой. Пойдешь далеко-далеко в осеннюю тундру, если повезет, дойдешь до Большой медведицы, а оттуда и до Оби рукой подать. Чиркнула по небу падающая звезда, и Андрей, стесняясь своего порыва, загадал, чтобы все было хорошо. Что имел в виду, спроси его, наверное, и сказать бы не смог, но ощущение правильности происходящего, знание пути — это чудесная смесь звериного чутья, нутряного голоса и шепота всех неназванных духов места.

После завтрака Андрей поторопился к персональному балку Алимова. Тот встретил его на ступеньках приставной лестницы. Сидел в распахнутом бушлате, курил и грелся на осеннем солнце.

— Готов?

— Готов, — улыбнулся Андрей и протянул мастеру книгу.

— Ну, пошли тогда.

Они встали и по пружинящим деревянным мосткам словно затанцевали в сторону реки, где сшитые стальными скобами жухли на солнце березовые бревна вертолетной площадки. Возле площадки громоздились разномастные трофеи бурового скарба. Рядом стояли тягачи и передвижные буровые установки на полозьях с мачтами в походном положении.

— Это что? — Алимов указал рукой на один из прицепов.

— «Эм-Эр-пять-А», — уверенно отрапортовал Андрей.

Мастер посмотрел на него пристально и покачал головой:

— Надо было просто сказать «буровая установка», но так, конечно, правильно. Хорошо. А скажем, это что такое? — Алимов пнул носком ботинка ржавую трубу.

— Обсадная, — с достоинством ответил Андрей, подошел ближе и добавил: — для колонкового бурения, на замке.

— На замке... — повторил мастер задумчиво и вдруг резко, словно вел допрос: — Диаметр инструмента при забурировании?

— Сто двенадцать миллиметров

— Длина направляющей обсадной?

— Шесть, реже четыре метра.

— От чего зависит?

— От разрушаемости верхних пород.

— Диаметр скважины при бурении алмазной коронкой?

Андрей замялся, мучительно вспоминая. Почему-то эти числа показались ему важными, и он постарался их запомнить

— Ладно, не старайся. Вижу, что прочитал, — Алимов достал из мятой пачки сигарету «Космос» и чиркнул зажигалкой, выдавшей копящий язык пламени.

— Пятьдесят девять миллиметров, — выпалил Андрей, и губы его растянулись в счастливой улыбке.

— Да ты уникал, — присвистнул мастер. — Я это, наверное, только через год работы запомнил, все в справочник подглядывал.

Алимов подошел ближе и протянул Андрею сигареты, тот взял одну, поблагодарил, прикурил от той же бензиновой коптилки.

— Ладно, Англичанин, похоже, сработаемся. Но у меня закон такой — пока план по метражу не выполнили, вахта домой не возвращается. И никаких вариантов, только санборт, если аппендицит. С больными зубами тоже сидят на вышке, плачут, но работают. Идет?

— Идет, — улыбнулся Андрей.

— И еще: чтобы одеколон не пить! Унюхаю — оштрафую на полевые. Понятно?

Андрей хотел сказать, что он вообще непьющий, но вместо этого опять просто улыбнулся.

3

Бурили по всей гряде. Казалось, что точки, на которые их забрасывали и где они начинали монтировать установки, никак не связаны, но Андрей видел, что есть во всем этом строгая, только лишь на первый, непосвященный взгляд неведомая система, согласующаяся с геологической картой и той наукой, что правили здесь ленинградские и сыктывкарские геофизики. Любопытства ради он всматривался из-за плеча Максима Фёдоровича в карту, которую раскладывал на столе в вагончике геолог Дейнега, приписанный к тому же отряду, что и их буровой расчет. Видел изогнутые синие линии с цифрами, а в крест им параллельные линии с номерами скважин. Те, которые уже были отработаны, Дейнега обводил красной тушью и писал рядом какие-то одному ему понятные значения. Дейнега числился у Теребянко по договору с ВоГЭ, а состоял в штате Сыктывкарского института геологии, где и получал официальную зарплату и полевые. Среди полевых имел кличку «Тезка» из-за того, что звали его, как и начальника, Егором.

Оказались они с Егором ровесниками, оба июльские, потому быстро сдружились. Балагур и хохотун Дейнега легко сходилась с людьми, легко прилаживался, так же легко командовал. На второй точке, куда перебросил их в конце октября вертолет, поселились поперек субординации уже в одном балке. И вечерами Егор, отодвинув в сторону полевые журналы, пикетажки, карты, доставал из выючника обшарпанную шахматную доску и расставлял фигуры. Белой и черной ладьи не хватало. Вместо белой кто-то, уже очень давно, вырезал из подходящей по размеру чурочки неровный цилиндр с зазубринами бойниц на оголовке. А вместо черной ладьи стучала туда-сюда по клеткам пустая склянка от корвалола темно-коричневого стекла с голубой крышкой.

Чаще выигрывал Егор, Андрей совсем редко, лишь тогда, когда Егор, что называется, «отпускал», задумавшись о чем-то своем, помимо шахмат. Но Андрею играть нравилось. Нравилась стройность и логичность пешечного гамбита, эпическая фатальность эндшпиля, когда, загнанный в угол, его король оставался один на один с конницей Дейнеги.

Когда не играли в шахматы, читали под шипенье качающейся волны из транзистора. В углу под нарами стоял коричневый выючник, набитый книгами и журналами, — полевая библиотека, которую Егор выпросил до весны у Фёдора — начальника пятьдесят второй партии. Выючник этот, как и огромная алюминиевая фляга на тридцать литров с аккуратным круглым отверстием в крышке, — составлял главное богатство ленинградцев. Всякий раз, когда пятьдесят вторая грузилась по весне на борт, бортмеханик, наблюдающий за тем, чтобы не было перегруза, цокал языком и качал головой, показывая явное одобрение хозяйственности и предусмотрительности ленинградцев. На Севере со спиртным всегда тяжело, так что собственная самогонная установка могла в случае чего привлечь оказию хитроватого негоцианта из интинского летного отряда, готового сменять на трехлитровую банку первача бочку с керосином для ламп или на какую иную твердую валюту вечного северного натурального

обмена: сахар, рыба, лосятина, порох. На флягу многие, как тут говорилось, «делали стойку», но ее геофизики увозили с собой каждую осень и хранили где-то чуть ли не в казематах Петропавловской крепости, тогда как библиотека зимовала на полевом складе вместе со старыми палатками и ржавыми чугунными печками.

— Зачем тебе это? Книги сделают тебя несчастным, — говорил Трилобит, когда заставлял Андрея с книжкой в руках. — Ладно, если за науку, но вот так себе душу рвать чужой болью.

Впрочем, Трилобит, при внешней колючести, оказался добрейшим человеком, вовсе даже и не бичом, а постоянным сотрудником на ставке рабочего-бурильщика шестого разряда. Семья Трилобита — жена и две взрослые дочери — жила в Воркуте, куда тот отбывал между вахтами, всякий раз тщательно выскоблив щеки и отгладив рубашку.

Мог Сергей Сергеич работать и за помбура, поскольку из года в год, из сезона в сезон наблюдал он одни и те же операции, случаясь всякий раз на подхвате. Его добродушный матерок поначалу сопровождал суету Андрея на буровой, пока тот не обвыкся. Одно дело книжка, другое — настоящий запах горячего железа и солидола, визг лебедки, лязг молотка о сталь и стон натянутого троса.

— Наголовник вначале, мать твою! А потом уже элеватор, — орал Трилобит, — хрен снимешь со свечи!

И Андрей, пачкаясь в смазке и глине, натываясь на всякое на нужном месте находящееся железо, сам, словно единственная лишняя среди этого порядка деталь, мало-помалу, но обретал собственный соответствующий этому оркестру ритм, в какую-то особую долю согласующийся с ритмом работы людей и механизмов.

Когда же впервые самостоятельно, открепив патроны станка и подняв ведущую трубу до выхода из скважины бурильного замка, державшего всю бурильную колонну, заколовив наконец подкладную вилку и уже зафиксировав снаряд на корпусе трубоизворота, Андрей вместе с Трилобитом отвинтил ведущую от колонны и аккуратно, нежно придерживая тяжелое железо, отвел станок от устья, услышал он одобрительное карканье Алимова: «Шарит Англичанин».

И в каждом тяжелом визге-скрежете трубоизворота, когда свечу за свечой поднимали на поверхность, мерещилось теперь Андрею это «шар-р-рит».

В училище практические свои умения привел он в стройную систему. И лишь скрепив знаниями из методичек с картонными обложками и потрепанных учебников, полных подчеркиваний прошлых учеников, почувствовал себя в самом затворе, пусть в малой, но важной детали огромного механизма, крутящего само северное небо над цветной тундрой и чахлой тайгой.

На девятое мая, когда Андрей уже всю готовился к экзаменам, а кривляющаяся полярная весна еще не определилась, пришла она или нет, хотя пэ-тэ-ушная шпана уже ходила без шапок, заехал к нему в общежитие, по дороге из Сыктывкара в Воркуту, Дейнега. Привез малосольного хариуса и полотняный мешочек сушеных подосиновиков.

— А я, брат, женился, — продемонстрировал Егор новенькое, еще блестящее колечко на безымянном пальце, как только они нахлопались друг друга по плечам. — Красавица, сил моих нет. Тоже из Инты. В нашей лаборатории трудится.

Егор рассказывал про свадьбу, про молодую жену, про то, как они целый

год присматривались друг к другу и впервые потанцевали только на институтский Новый год в Доме культуры, а Андрей, слушая и кивая, неожиданно, супротив своего привычного лада, вдруг ощутил одиночество. Захотелось ему обратно в домик, крашенный синей краской, и чтобы была весна, чтобы аисты сидели на гнездах, чтобы стучал вдалеке товарный состав, а в воздухе пахло медовым маем и мамиными блинами.

Свою личную жизнь, а вернее планы на таковую, Андрей ни с кем не обсуждал, да и не было у него никаких планов. Промеж мужиков такие откровения были не приняты, а с пацанами и говорить не хотелось. Те, напротив, не особо стесняясь присутствия Андрея, полоскали на языках своих одноклассниц, оставленных за сотню километров отсюда в Сыне. Они скабрезничали, похохатывали, но писали письма, старательно выводя слова, и юношеская влюбленность трогательно окрашивала их уши.

Посещали его иной раз ночами фантазии, в которых виделась ему рядом с собой некая женщина, но никого конкретного представить он не мог. То фантом походил на его первую любовь Людку, то на проводницу Ларису из поезда «Котлас—Воркута», то на фельдшерицу в лагерной санчасти, жену прапорщика Мирзоева. Который год жил он в каком-то особом мужском мире, куда женщины попадали по случайности или чьему-то не то господнему, не то мужнину недогляду. Попадали парфюмерным облаком, оставшимся в длинном коридоре училища, окрашенным помадой окурком в пепельнице в комнате завхоза или хрипотцой голоса библиотekarши в телефонной трубке, когда он звонил из общежития, чтобы спросить, до которого часа открыто.

— А тут сестра жены, кстати, живет на углу Социалистической и Жданова. Один раз ее видел, на свадьбе. Красивая, — Егор мечтательно поднял глаза к потолку и поцокал языком. — Такая вся тонкая, волосы выются, черные-черные, но словно пруттики, жесткие. Мы когда танцевали на свадьбе, они щеку мою щекотали. И голос какой-то потусторонний. Но я женат, а это освобождает меня от страданий. Знаешь, чем прекрасно, как оказалось, положение женатого человека?

Андрей пожал плечам.

— Никогда не догадаешься! Прекрасно оно тем, что все остальные женщины теперь для тебя только товарищи и предмет абстрактного искусства. И в том есть единственное, что хорошего сделал человек супротив Создателя. Человек освободил себе время на работу и совершенство мира. Некоторые, правда, используют его на пьянство и безделье, но тех Создатель отличает от остальных людей красным носом и огромным животом.

Егор сидел на кровати Андрея, прислонившись к стенке, и прихлебывал из большой эмалированной кружки.

— Сейчас чайку выпьем и оставлю тебя наедине с твоими учебниками. Надо еще к ней забежать, гостинцы передать. У меня целый мешок солонины и письмо. А через пару часов поезд, как раз только доехать до вокзала.

Андрею не хотелось расставаться с приятелем, и он предложил составить компанию. Они вышли из общаги. У дверей курили, щурясь на солнце и то и дело сплевывая, с десятков парней в синих пэтэушных куртках. Привычный матерок отражался от глухой стены трансформаторной будки и возвращался обратно скабрезным эхом.

Хотя вдоль улиц еще громоздились не успевшие почернеть сугробы, пахло в воздухе окончанием долгой зимы. Солнце светило как-то особенно лихо, ныряя в уголки глаз, уже не боясь, что загонят его прямо сейчас за горизонт. И

в свете этого солнца далекая водонапорная башня, сторожевой форт состарившейся в грехе тщеславия империи, казалась ярко красной. Березы вдоль улицы Жданова уже не пушились морозом, а чиркали по небу сухой тушью.

По случаю праздника по дороге попадалось много отчаянно пьяных, много сильно поддатых. Пьянство здешнее такое же черное, как уголь, такое же злое, как долбеж пневмомолотка в очистном забое. Но в таких местах нет ему упрека. Если не завалило, не сожгло изнутри угольной пылью, пей и не требуй себе иного счастья, как только и жить.

Мимо, стараясь никого не задавить в праздник, прокрался непривычно пустой восьмой автобус, на котором ездили на смену. Дружинники, сердито трезвые, ходили по трое: к кинотеатру «Мир» со всех сторон стекались компании. Сегодня там устраивали концерт.

Они свернули и подошли к трехэтажному дому. Дейнега сверился с запиской, посмотрел на список квартир в парадной и уверенно указал на среднюю:

— Сюда. Ты как, поднимаешься со мной?

Андрей уже было решил распрощаться и вернуться к учебникам, но то ли весенний ветер, то ли музыка, которая играла из репродукторов-колокольчиков на столбах, привели его в приподнятое настроение, и вдруг захотелось в гости.

Они поднялись на второй этаж. В подъезде ярко пахло щами. Егор позвонил.

За тонкой филенчатой дверью, приличной скорее какому-то учреждению, а не жилой квартире в городке у Полярного круга, слышались шаги, и стал различим звук снимаемой цепочки.

Дверь отворилась.

— Дарья, принимай гостей. Я к тебе с подарками и с товарищем. Телеграмму получила?

На пороге, без очков и вечного пухового платка, растворив огромные изумленные глаза, стояла библиотекарьша.

4

После выпускных экзаменов Андрей впервые за пять лет съездил домой. Дома его ждали. Устроили стол, позвали родственников, братьев с женами и детьми. Сестренка Лизавета приехала из Ленинграда на каникулы с подружкой. И соседей набилось в дом тьма. Пришли сами, без приглашения, как принято у деревенских, если случается важное событие вроде свадьбы, поминки или возвращения издалека. Многие хотели посмотреть на Андрея. Про тюрьму разговор, однако, не заходил. Расспрашивали про работу его на Севере, громко хвалили за то, что получил новую профессию, вспоминали его и двоюродных братьев общее детство. Словно и вправду это были поминки, когда о покойном только хорошо. Но нет-нет, да поглядывали соседи исподтишка на Андрея, ища подтверждение слухов, что ходили о Краснове-младшем по деревне.

За годы, проведенные Андреем на Севере, о случае том, как он ни надеялся, не забыли. Напротив, история обросла постыдными и лживыми подробностями. По дворам обсуждали беспробудное его, Андрея, пьянство после армии, чего, конечно, не было. Сожалели о Людке, которая, дескать, сделала аборт, потому что «подлец не хотел жениться», что тоже, конечно, было чьей-то жестокой выдумкой. Да и вообще, промеж сельчан стало имя его нарицательным, символом наказанной разгульной беспутности. Теперь же даже жизнь его и

работа на невообразимо далеком Полярном Урале виделась деревенскими какой-то фартовой колымщиной, карикатурой на кино про гангстеров с их картежными играми, драками на ножах и гульбищами в ресторанах. Андрей хорошо представлял себе, как эта дура Симагина, мать Людки и дочка бабы Шуры, работавшая у них почтальоншей, приносит письмо родителям, а потом обязательно сворачивает к магазину, где на пыльном, с горбылями старого асфальта, пятак сортируются новости со всей деревни. И вот она стоит, поставив толстую дерматиновую сумку наземь и, кивая головой в сторону дома Андрея, говорит что-нибудь вроде: «От уголовника давеча перевод был, а теперь письмо пришло. Пишет, грехи замаливает».

Людка, успевшая схоронить мужа-дальнобойщика, их общего одноклассника, вторично вышла замуж и переехала в Струги Красные, за железную дорогу. Замужество, как и прежнее бездетное, тем не менее, казалось счастливым. Муж был сильно старше и заметно уверенней любого из местных пацанов. Людка ходила гордая, в заграничных шмотках, в кожаном белом плаще. Мужа привозил шофер. Он выходил из белого, в цвет плаща жены, «мерседеса» с круглыми, словно выпученными от удивления на российские дороги фарами, доставал с заднего сидения портфель, клал внутрь документы, которые, видимо, просматривал в дороге, кладал замком и захлопывал дверь. Андрей видел это, сидя за пластмассовым столиком в тени сирени, бурно разросшейся вдоль магазина по краям канавы.

Он не ревновал. Упаси бог! Ему только было любопытно. Казалось, Андрей не мог вспомнить, как любил эту женщину. Не мог представить себе вновь того, что kloкотало внутри, что сжимало и покалывало сердце. А ведь было что-то, что-то от пятого класса до выпускного, от проводов в армию до увольнения на трое суток, когда она приехала к нему в точно такое же, как их собственное, но белорусское село. И был лейтенант Тихонович, который отвез его к ней на «уазике». И была хозяйка дома, деликатно ушедшая по своим делам, и была тонкая ситцевая занавеска в голубой цветочек от печи до гвоздя в стене, и было лоскутное одеяло в ветхом, но пахнущем дымом и мылом пододеяльнике, и липкая горячая страсть, сотрясавшая и выгибавшая их неумелые тела. И были сержанты Вишня и Нигруца, которые будили его середь ночи и, демонстративно запуская руки в свои трусы, вопрошали: «Ну, Дрюня, колись, как ты ее жарил. Как отбомбился-то, по всем целям? А чо, целка была? Целка?» Наверное, надо было разбить им их красные довольные физиономии, но Андрей только матерился и вновь засыпал, укрывшись с головой.

После службы Андрей лишь одно лето провел в Пятчино и уехал поступать в Псковский техникум на механизатора. Они вновь писали друг другу письма. И было в тех письмах меньше влюбленной истерики и больше уверенности, что еще вот-вот и станут жить вместе, не расстанутся уже никогда и если и не умрут, как принято в мечтаниях, в один день, то уж точно в один год, прожив долгую и радостную жизнь.

«Москвич» был первой машиной Андрея. Он вообще оказался первой машиной в семье. Отец, хотя и имел права всех категорий, ездил на совхозной технике, личного автотранспорта не приобретая. Этот же небесно-голубого цвета автомобиль Андрей купил в Пскове через автокомиссионку по объявлению, сразу после практики, когда, сам того не ожидая, заработал за лето огромные деньги. После оформления в ГАИ Андрей пригнал машину в гараж училища, где вместе с однокурсниками они перебрали двигатель, сменили кольца, сняли и промыли карбюратор, заменили трамблер и свечи, переварили выхлопную трубу

и отшлифовали и вновь покрасили кузов. Андрей тщательно вымыл яичным шампунем салон автомобиля, высушил феном и, переодевшись в новые гэдээровские джинсы и рубашку, сел за руль и покатыл в деревню, предвкушая близкий триумф среди соседей и знакомых. Мечтал он, что посадит Людку рядом, и поедут они купаться на Хмер, а может быть, даже махнут в Лугу, благо не так далеко.

И вот уже «москвич» стоит на лесной опушке, а в кассетном магнитофоне Джо Дассен и «Et si tu n'existais pas», которая запускается снова и снова. И только ради того, чтобы нажать кнопку, перемотать пленку и вновь включить песню, они отрывались друг от друга. И пока Андрей наклонялся над магнитофоном, Людка стояла рядом, не обронив ни слова, обхватив себя руками за предплечья, покачиваясь на носках своих кроссовок.

Они танцевали, нет, они осторожно переступали, оборачиваясь вокруг невидимой оси под звуки французского оркестра, и он шептал и шептал ей на ухо: «Если бы не было тебя, скажи, для чего мне жить? Если бы тебя не было, я хотел бы попробовать изобрести любовь, как художник, который видит пальцами...» И Андрей касался Людкиной шеи, и Людка прижималась к нему сильнее.

Нет-нет. Он лукавил. Конечно, Андрей помнил, как любил эту женщину. Так любят только один, самый первый раз, когда еще не знают, что делать с чувствами, когда кажется, что самое большое, что можешь ты совершить для любимой, — это дать ей в руки ружье и попросить выстрелить тебе в грудь, чтобы умереть ради нее. Глупость, конечно, и книжная романтика, но так бывает с мальчиками, а потом и с юношами.

А под утро, перед рассветом, когда надо было возвращаться, потому что позже возвращаться уже было бы невозможно, они поехали по короткой дороге, выехали у самого поворота на Струги, и, конечно же, не могло быть иначе, увязли в чертовой луже.

Андрей усадил Людку за руль, показал, что надо нажимать, как переключать передачи с передней на нейтраль, на заднюю, опять на первую, а сам, подтянув джинсы выше щиколоток, вышел из машины и уперся руками в багажник. Москвич газанул и довольно легко выскочил из жижи, обдав Андрея фонтаном камней и грязи. Людка смеялась. Андрей смеялся.

— Дай я поведу дальше, мне понравилось, — попросила она, но Андрей не разрешил.

Людка надула губы, попыталась обидеться, но у нее не получилось.

— Потом разрешишь, не сейчас, потом? Мне понравилось.

— Разрешу, а сейчас поздно. Ты перегазовками полдеревни разбудишь. И так уже слухи о нас идут.

Андрей лукавил. Они считались женихом и невестой с самой школы. Он с пятого класса дрался из-за Людки, с которой пытались заигрывать все более-менее решительные парни. Андрей дрался со всеми. Не разговаривал, не пытался выяснять отношения, отбрасывал школьный портфель в сторону, скидывал куртку и бросался в атаку, не представляя себе, как может иначе защитить свою любовь. Иногда ему доставалось, иногда сильно, но побеждал всегда Андрей. Всегда. В девятом и десятом классе, когда из некрутного паренька Андрей вырос в высоченного мускулистого парня, надежду районной секции бокса, охотников погулять с Людкой сильно поубавилось. Иногда на танцах пришлое из соседних деревень, чудом не знакомые с Андреем, или городские, приехавшие на лето, приглашали красивую, тоненькую, в серых обтягивающих джинсах и белой

блузке с застегнутым под самый подбородок воротником-стойкой девушку на медленный танец, иногда даже на два танца подряд. Людка не отвечала отказом. Она была принцесса. Ей нравилось, что Андрей дерется из-за нее, раз за разом доказывая свои чувства и свое право гулять с ней. И вот Андрей подходил к танцующим, трогал парня за локоть и кивал головой в сторону выхода. А потом повторялось всегда одно и то же. Короткий прямой джеб в голову и нокаут. Один удар. Андрей бил в лоб, чтобы вывести противника из игры, но не разбить нос или глаз.

Она ждала его из армии. Это вообще-то очень сложно ждать два года в восемнадцать лет, когда гормоны не знают милосердия и сутками кипятят кровь, усиливая огонь к вечеру. Но Людка ждала. Он знал о том, чувствовал, что ждет. Да и ребята передавали, что да, ни с кем не гуляет, на танцы ходит раз в месяц и танцует только быстрые танцы. И еще она писала письма. Писала по два-три письма в неделю. И в каждом письме она писала только о них двоих и ни о чем другом. Конечно, это была его девушка, только его девушка.

Через неделю была свадьба двоюродного брата Андрея. Он женился на их общей с Людкой однокласснице и подруге. Готовились, как всегда, несколько дней. Везли продукты из Струг и Луги. И праздновали два дня шумно, пьяно, как принято. На свадьбу «москвич» украсили лентами. Ехал Андрей на нем сразу за черной «волгой» с молодоженами, бибикал от души. На пассажирском сидении Людка, сзади их одноклассники. Третьим в кортеже — отец на совхозном «уазике-буханке», а замыкал дальний родственник невесты из Ленинграда, моряк заграничаванья, на настоящем длинном сером «форде» с правым рулем. В «форде» ехали родители жениха и невесты. От ЗАГСА в Стругах отправились к Вечному огню, а потом уже в Пятчино. Ехали медленно, километров сорок в час, растворив окна в аромат мая, гомоня гудками, стрекоча на разные лады музыкой из автомобильных приемников и кассетных магнитофонов, пытаясь составить конкуренцию заливистым «Арабескам» из мощной стереосистемы «форда». Уже в деревне доехали до магазина, где все высыпали из машин и стали открывать дефицитное шампанское и кричать «горько!» Потом огромный стол в доме, стол под навесом во дворе. Шум. Радость. Людка пьяная, но от того еще более прекрасная и желанная, лезла целоваться. Андрей стеснялся, но нет-нет, да и слегка обнимал девушку, чувствовал на своей верхней губе щекотку от нежного Людкиного пушка. А Людка запрокидывала голову, так, что ее волосы струились волнами, хохотала, а ему хотелось целовать ее шею, сквозь кожу которой просвечивали голубые венки.

Второй день — продолжение застолья, потом в клубе, где уже дискотека, танцы и молодежь с окрестных деревень. Накануне Андрей выпил на свадьбе самую малость, а уже после обеда успел съездить в Струги за диск-жокеем, погрузившим на крышу его «москвича» огромные черные колонки, а в багажник смотанные бухты проводов. Под тяжестью музыки автомобиль прижало к земле, и Андрей боялся, что на переезде стукнет поддоном картера о рельсы. Однако обошлось.

Он пообещал диск-жокею, что отвезет его после танцев обратно. Машина стояла за клубом, припаркованная возле трансформаторной будки, освещенная светом фонаря.

Майский вечер, когда уже почти тепло, когда ночь неуверенно начинается лишь к двенадцати часам, а до того долгое закатное зарево в стеклах всех домов, а потом белесый, почти северный сумрак. Суббота грохочет музыкой из

открытой двери клуба. Гости, высыпавшие покурить на воздух. Сигаретный дым над головами. Дети, затеявшие между взрослыми беготню и игру в догонялки.

Людка увлекла его за клуб. Андрей бросился целовать девушку, но та показала рукой на машину:

— Ты обещал!

Он помог ей сесть за руль, аккуратно прихлопнул дверь, обежал машину и сел на пассажирское сиденье. Людка завела двигатель и, лихо выкрутив руль, дала задний ход, разворачиваясь.

— Где научилась? — удивился Андрей.

— Есть учителя, — лукаво улыбнулась девушка, переключилась на первую передачу и, не отпуская ноги со сцепления, поглядела на себя в зеркало заднего вида.

— Ну, поехали, — сказала она и резко нажала на газ.

«Москвич» рванул с места и скоро доехал до магазина. Там Людка притормозила, развернулась и поехала в обратную сторону, набирая скорость.

— Люд, осторожней, там люди. Не гони так, — Андрей видел, как стрелка спидометра дошла до пятидесяти километров в час.

— Не суетись. Все осторожничаешь, а с машиной, Андрейка, надо, как с девушкой, — Людка чуть притормозила на повороте, и вновь выехала на серый потрескавшейся асфальт, ведущий к клубу. — Смотри, как надо!

...Вину Андрей взял на себя полностью. Сказал, что за рулем был он, что не справился с управлением, отвлекшись на что-то постороннее, не то окрик, не то смех. Про Людку вообще не упомянул. Да и что бы ей? Положа руку на сердце, знал Андрей, что виноват только он один. Что из-за его уступчивости, желания угодить девушке случилось непоправимое. И готов был к самому строгому наказанию, желал его. Когда же судья, зачитывая приговор, наконец произнес: «К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», — то захотелось ему закричать: «Мало! Почему так мало?! Девочки больше нет, а я живу. Мало четыре года!» И тогда же это «Мало!» он прочел в глазах Алёнкиной матери, впервые найдя в себе силы посмотреть на нее не украдкой, а прямо. И это «Мало!» загудело в зале, и это «Мало, тебе, сука, дали, видать пожалели» лязгнуло задвижкой в милицейском узики. И потом оно же долго барабанило в дно машины камнями, жахало чугуном и сталью на сцепке вагона, лопалось алюминиевой фольгой полярного дня. И уже потускневшим, ржавым по краям эхом каждое утро отражалось от дальнего угла барака, как только открывал Андрей глаза. «Мало. За это все мне мало».

5

Доски, которые Андрей с соседом грузили на багажник фиолетовой «четверки», удалось купить за пару бутылок водки, приготовленной из разведенного спирта «Royal». Четырнадцать сороковок, нарезанных по два метра, а к ним еще три бруска десять на десять и три бруска пять на пять. Здесь, на старой пилораме в районе Шахтной, на той, что помнила еще если не Орловского, то всяко уж полковника Халева, цены были божеские. От Котласа и до Воркуты любят рассказывать, что ящик «Столичной» легко меняется у хантов на стадо оленей, но это скорее этнографическая гипербола. Никто тех выменянных оленей не видел. Дураков на северах сыскать сложно, а брехунов — каждый второй.

Договаривался с лесопилкой не Андрей, а сосед Витька, работавший таксистом-бомбилкой и знавший в Инте всех нужных людей. Расплачивался тоже он.

— Покури пока, я добазарюсь, — сказал Витька, заглушив мотор. Достал с заднего сиденья кожаную кепочку и натянул на свои рыжие кудри по самые брови, глядя в зеркало заднего вида.

— От так. Не бзди, сейчас все будет! — важно приказал он, сухо хлопнул водительской дверью, сунул во внутренние карманы куртки водку и, покачивая плечами, сплевывая по сторонам, направился по кислым опилкам к разверзнутому темному зеву ржавого ангара.

— Запомни, Англичанин, семейная жизнь начинается и заканчивается брачным ложем, — учил Дейнега, сидя на нарах в балке в июле, накануне собственного дня рождения. Они только что закончили бурить очередную скважину в долине Большой Сарюги и готовились к переброске дальше на восток.

— Поскольку ты мой будущий родственник, я тебя научу. Никаких диванов с поролоном, никаких кроватей с шарами и панцирной сеткой, никакой этой мешанской глупости, пригодной только для того, чтобы собирать пыль. От этого произрастает французское слово *adulterer*. Вот! — он похлопал ладонью по нарам, на которых сидел. — Доски, два слоя матрасов, и твоя половая жизнь не станет предметом обсуждения соседей.

После того как жених с невестой обошли все немногочисленные интинские магазины, набили синяки об углы старых шкафов в обеих интинских комиссионках, но так и не поняли, на чем спят их соседи, Андрей вспомнил о совете Егора.

Выход из положения показался столь очевидным, что они с Дашкой в изумлении посмотрели друг на друга, словно не понимая, что за морок заставил их потерять целый день в поисках семейного ложа среди полировки и стекла желтушных шкафов с бирками инвентарных номеров. Егор за время работы привык спать на добротном сколоченных нарах. Да и в общежитии ему досталась удачная кровать с подложенной под пружины толстой фанерой. Но тут предстояла плотницкая работа высокого качества, потому он позвонил к соседу и спросил рубанок.

Сосед Витька был на три года старше Андрея. Ему недавно исполнилось (пожалуй, что не исполнилось, а именно «стукнуло») тридцать. Начал он справлять юбилей в сентябре, когда Андрей еще не вернулся с гряды, а закончил к середине октября. Тогда же он и завалился к ним с Дарьей домой знакомиться с будущим соседом, в надежде занять под это дело на опохмелку. Мужик он был неплохой, хотя шепутной и какой-то непутевый. С шестнадцати лет, с перерывом на службу, работал на шахте, ходил даже в передовиках, пока на очередном медосмотре не заподозрили у него начинающийся силикоз легких. Профсоюз направил его на месяц в Крым по санаторно-курортной путевке. Не то что силикоз был в этих краях каким-то особо экзотическим заболеванием, но по возвращении жена уговорила Витьку уволиться. Помышлявший по временным халтурам, отправился тот в Печору, где по случаю, а скорее по особому везенью, купил за недорого пятилетнего «жигуленка» с разбитым после аварии кузовом, привез его на платформе в Инту, отремонтировал и теперь бомбил круглые сутки. Как многие, родившиеся тут, мечтал заработать деньги и уехать жить на море.

Строго говоря, родился он не в Инте, а «на пятнадцатом», то есть в поселке Южный, что ему еще на шахте ставили в упрек, потому как ходил Витька на

работу пешком «нога за ногу» и часто опаздывал, хотя от дверей дома до проходной нормальный человек прошел бы за двенадцать минут. С собственной женой познакомились они там же, в Южном. Работала она на птицефабрике. Тихая, фигуристая, пусть немного косящая, но миловидная женщина почитала Витьку за господина, прощала ему и запои, и дурацкие авантюры, — видать, любила. Детей у них не случилось, но, похоже, Витьку это не сильно расстраивало. «Успеется еще», — отмахивался Витька, когда мать в очередной раз качала головой и корила сына, что бабу он себе нашел дурную, что врет та ему, что если не может родить, пусть едет в Москву к докторам, обследуется, а «не сидит на жопе перед телевизором». Мать приезжала к Витьке раз в неделю на автобусе с инспекцией, когда жена была на работе. Она перемывала и без того чистую посуду, терла крашеные доски коридорного пола вонючим химическим средством и успевала за два часа так взъерошить Витькину душу, что лишь посадив мать опять на автобус, только-только помахав ей рукой, бросался он либо в кочегарку к корешам, либо к собственному багажнику, где для коммерции держал ящик водки, и напивался в слюни.

Соседи Витьку жалели. Жили они с женой по местным понятиям душа в душу. Витька Наталию не поколачивал, сам, напившись, по окрестным блядам не бегал, а только выходил на лестницу, усаживался на подоконник, курил, вдавливая окурки в желтую жестянку из-под растворимого латвийского кофе и, какое бы время года не случалось, открывал окно и пел, уставив острый с ямочкой подбородок то в черное, то в белое небо. Пел что-то нутряное, в чем слов и нот было не разобрать, но клекотали поперек горла страсть и покаяние.

Маленькие северные города, поселки при рудниках и шахтах разбрелись бараками по обе стороны Полярного круга, по кромке крошева пустой породы и шлака кочегарок. Они как мелочь, брошенная на сдачу в серую алюминиевую тарелку тундры, прикрученную к прилавку материка. Здесь всякая жизнь цепляется за жизнь, радуется прибытку. В прочей русской деревне, пусть в той хоть пять дворов осталось и уже только дачниками летняя жизнь теплится, сколько бы ты ни прожил, перевезя свой скарб и труд свой местам этим посвятив, все останешься чужаком и приживалой, все найдется на тебя цена поверх цены для местных, повод для разговорчика. Так и проходишь в городских. А вдруг вздумается помереть, да единожды нырнешь в землю на местном погосте, то пусть и придут по традиции к тебе в дом соседи, но лишь за тем, чтобы выпить да поесть по-человечески всего вкусного, привезенного из далекого того желанного и ненавистного города безутешными родными.

Северный поселок не таков. Он каждого, кто тут чуть дольше, нежели на сезон, кто чаще, чем раз в год, сразу карандашиком в книжечку, а книжечку во внутренний карман пиджака, где теплее всего, куда под подкладку еще с конца сороковых попала толика жалости, да там и осталась крошечка табака и сухарей.

Витька, как только осознал, что речь идет о брачном ложе, пришел в неистовое деятельное беспокойство, отличающее практикующего алкоголика от прочих. Но Витька не за пошлую трешницу на опохмел радовался. Вдохновило его, что за филенчатой дверью авось и послышится младенческий крик, затопают сандалеты по деревянным ступенькам с третьего этажа на первый, лопатка застучает по перилам, и прольется Божья благодать во след дитю человеческому на дом, квартал, да и на весь Север, откуда который год бежит жизнь, стремится всяким поездом, самолетом. И если бы не каждодневная привычка, пошлая эта круголесица да надежда на нечто, чему и не бывать никогда до Страшного суда, так и вывело бы дурное время русского человека из

этих мест, как некое вредное насекомое. И остались бы только гнутые ребра ангаров, проросшие березкой фундаменты бараков да ухающее в памяти вечной мерзлоты долгим ржавым эхом тонкое в дырах гвоздей железо на ветру.

Когда человек уходит, он не забирает с собой звуки и тени, не грузит их на вездеходы, не пакует в чемоданы и выючники. Он бросает все это где придется, избавляясь сразу и от памяти, и от мусора. И ворожливые местные духи десятилетиями разбирают по фантику, по пуговичке те завалы, нашептывая сквознячками в углы бывших жилищ остатки слов, прощальные окончания человеческой речи. И если не повезет кому заночевать в тех местах, поддавшись искушению спрятаться от ветра за стенкой или укрыться от мошкар, то затоскует он чужой тоской, той, от которой до конца его некогда счастливой жизни не будет избавления.

Витька появился в проеме лесопилки и поднял над головой две руки, сомкнутые в замок, сигнализируя, что сделка совершена.

— Ну вот, сейчас нам отгрузят прошлогоднюю сороковку, она уже высохшая, — сказал он, улыбаясь во весь свой щербатый рот. От него сладко пахло водкой. — И брус я еще сторговал десять на десять. Мы тебе такой кроссинговер сделаем, как у Горбачева.

Нравилось Витьке это заграничное словечко. Подцепил он его случайно год назад, услышав по радио в какой-то научно-популярной передаче. Что оно обозначало, он не знал, да и не особо интересовался. Чудилось Витькиному уху в слове «кроссинговер» неведомая еврейская хитрость и заграничный шик. Подходило слово решительно для всего, вставало в любую фразу, любому предмету придавало лоск, а процессу основательность. Еще немного и получил бы он такое прозвище, но запомнить это слово удалось только Витьке, остальные, как ни старались, не могли: «Студебеккер какой-то».

Андрей вышел из машины, достал с заднего сиденья ножовку и брезентовые перчатки и пошел за Витькой к навесу, где желтели штабели сортового распила.

— Значит так, — скомандовал мужик в гдзэровской спецовке, в очках модной тонкой оправы на кончике носа, — четыре сороковки по шесть метров, один брус. Всякой дряни можете набирать в отвале, пригодится штапики в стеклах заменить, ну и вообще. Это, что называется, сколько увезете. Но особо не наглейте.

Мужик показал, откуда брать доски, и проследил, что именно взято.

— Молодожен, после того как фуганком пройдешься, рубанком подчисти и обязательно олифой пропитай. Лаком не крась, — и так цвет будет что надо. — Мужик ковырял спичкой в зубах и оценивающе смотрел на Андрея.

— С какой?

— Восемнадцатая, — спокойно назвал Андрей, привыкнув уже, что другие сидельцы безошибочно определяют в нем своего.

— Харп, — мужик сплюнул себе на сапог и выругался. — Говно зона, красная. Хотя трешка еще хуже, там теперь и режима нормального не осталось. Ну ладно, совет да любовь, как говорится.

Он махнул рукой, показывая, что больше его присутствие не требуется, и ушел к себе в ангар.

Доски распилили одинаковыми отрезками по два метра и погрузили на багажник Витькиной «четверки». Витька крепко принайтывал их брезентовыми ремнями. Подергал для надежности и удовлетворенно крякнул: «Полный кроссинговер!»

Они забрались в машину, и Витька завел двигатель. Тесный салон

«жигуленка» наполнился парами сивухи, стекла мгновенно запотели. Витька выругался, достал из-под сиденья кусок фланельки и стал протирать лобовое стекло.

— Как же ты за руль, если выпил? — укорил его Андрей.

— Ну и что? На всю Инту четыре гаишника, двое — мои одноклассники. Не ссы, говорю. Мне вообще, если трезвый, машину жалко. Это же не дороги, это бельевая доска. Тут на «форде» ездить надо, или вообще на танковом тягаче. А как выпью, так нормально. Но когда бомблю, не выпиваю. Коммерции мешает. Я, если пьяный, сильно добрый становлюсь, могу и задаром повезти. Однажды всю ночь проездил, оба экспресса встретил, а только трояк заработал. Ну а как? Одного знакомого подвез, потом второго знакомого, потом еще кореша с бабой. Как с них деньги брать?

Андрей вытащил из кармана три рубля, свернул в трубочку и засунул в решетку рефлектора на торпедке.

Витька шарахнул по тормозам.

— Сейчас выгружу твои дрова нахрен прямо здесь. — Он покраснел, а его голубые глаза заморгали часто-часто. — Сам помочь вызвался, ты меня не нанимал. Трешницу свою убери.

Андрей пожал плечами и сунул деньги в карман. Витька посопел-посопел над рулем, подергал туда-сюда нервно ручку переключения передач, пожевал сигаретку, перекачивая фильтр из угла в угол щербатого рта. Оттаял. Поехал.

— Все-таки, Англичанин, ты понтыря. Может, врешь, что из деревни? Город выпирает. Я деревенских повидал, те мягче, даже те, кто совсем борзый. Ты другой. Гордость в тебе.

— Это как?

— Живешь правильно, а не по понятиям, слишком сложно. Мне помирать придется, Наташка к тебе с Дарьей побежит к первым. На Севере соседями не разбрасываются, по пустякам на рубли не меняют. Усек?

— Усек, — Андрей без того уже стыдился своего жеста.

Вообще, он себя едва ли считал знатоком людской души. Тонкости всякие Андрея волновали не сильно. Будь с людьми в ладу, правила соблюдай, подлости не совершай. Вот и вся нехитрая философия. Чувствовал Андрей, что все, что есть неприятного, неловкого, дурного в русском характере, есть и в нем самом. Все, что раздражает в русском человеке, что пугает, что приводит в бешенство, в недоумение, заставляет сожалеть или улыбаться — это тоже внутри него, внутри всех. Пусть переживет он сотню страстей, и все они улягутся в душе. И места для них там, на стеллажах, всегда найдутся. Всегда. По-настоящему только одно и понимал Андрей в людях — хороший человек перед ним или скверный. А Витька был хороший.

Да и обиделся Витька зря. «Городская обидка», — решил Андрей. В Пятчино по-человечески друг другу помогают, но спешат сразу чем-то отплатить. Наточил на станке топор — на тебе ведро яблок. И ничего, что своих полон сад. Свозил газовый баллон на заправку — вот баклажаны из парника. А если с похмела стакан налил, так и дрова поколоть можно. И нет в том ничего зазорного. Так лучше, нежели в долгах. Но городским не понять. В городе живут иначе, даром. Да и живут иной раз напрасно. Хотя, какой же Инта — город? Это все Север. Тут свои законы.

6

Через неделю приехали из Сыктывкара родители Дарьи и Егор с женой, которая к тому времени была на пятом месяце. Устроились по-родственному. Однокомнатная их квартира, почти на треть теперь занятая основательным семейным ложем и от того казавшаяся невозможно маленькой, словно вдруг раздвинула клеенные полосатыми обоями стены и вместила всех. Старая тахта с тумбочкой, та самая, на которой раньше спала Дарья и на которой они вместе, когда, «...ну да, это так получилось, короче говоря, все, как у всех», и которую Андрей твердо решил выкинуть сразу после свадьбы, теперь стояла вдоль окна. Свободного места почти не оставалось. И на сиротских тех квадратных метрах, на двух надувных матрасах (один за столом, другой перед столом, потому как не муж и жена еще), уступив лучшие места гостям, устроились жених с невестой.

С родителями Дарьи Андрей уже был знаком. Этим летом, между вахтами, Дейнега уговорил друга съездить в Сыктывкар, где будущему зятю устроили серьезные смотрины. Осталось у Андрея после той поездки смутное ощущение недоверия. Шутка ли, дочь выходит замуж за уголовника. Маленькая девочка, умница, та, которую лелеяли и целовали. Та, которая болела три раза в год пневмонией, а отец сидел день и ночь у кровати и смоченным в уксусе полотенцем протирал тонкую горячую кожу на шее и над ключицами. Та самая девочка, которая до глубокой ночи решала задачи по математике, зубрила «Вересковый мед» и отрывки из «Горе от ума», а утром ее, сонную, мягкую, вспотевшую, папа нес на руках в ванную (в ванную, в которой теперь перед зеркалом в стакане торчала безопасная бритва Андрея).

Но сейчас, когда Витька привез Дарьиных родителей с аэродрома, они обняли Андрея как самые родные на свете люди, чем смутили. Значит, что свыклись, пришли с собой в лад. И верно, дочь уже взрослая, самостоятельная, неглупая, с высшим образованием. И вроде все спокойно, без истерической влюбленности, как у людей и должно быть.

А на следующий день ждали родителей Андрея. Андрей волновался. Прошлой весной, впервые за пять лет, оказался в Пятчино. Это было сразу после выпуска из училища, перед первой самостоятельной вахтой. Все у них с Дарьей еще только начиналось, и Андрей и сам не доверял себе, присматривался к счастью. Может, и рано было рассказывать. Да и вся эта нетрезвая кутерьма вокруг его приезда не располагала к откровениям. А этим летом между вахтами отослал он заказным письмом с почтамта домой фотографии: свою прошлогоднюю возле буровой и их совместную с Дарьей, зимой возле ледяной горки на берегу Большой Инты. Снимки сделал Егор на широкую пленку фотоаппаратом «Киев» и сам же напечатал. Андрей писал о том, как познакомились, как живут. Писал, что решили пожениться, подали заявление. Только что Дарья уже в положении, не писал, может быть, потому что робел. В ответном письме мать рассказывала про бабушку Шуру, которая стала чаще болеть, про то, что старший сын ее, одноклассник отца, приезжает из Ленинграда все реже и реже, Симагина же с матерью своей только собачится на всю деревню, ругаются почему зря. Людка развелась и хороводится с новым хахалем, ей не до бабкиного здоровья. Думает только о том, как дом у матери оттяпать. Писала про отца, перешедшего работать в правление, про кусты смородины, которые она решила пересадить, про то, что обещали запустить автолавку, но директор магазина написал кляузу в администрацию, и теперь автолавки не будет. А это плохо, потому что

продукты в автолавке дешевле, а овощи всегда свежие. И лишь в постскрипуме мать написала: «Получили письмо с фотокарточками».

Он писал еще трижды непривычно для себя многословные, словно извиняющиеся письма, но ответа не получал. И когда за месяц до события дал телеграмму на праздничном бланке с двумя кольцами и решил, что если не будет ответа, плюнет на вахту. Пусть даже Теребянко всыпет ему выговор, он бросится на юго-запад, через километры, как встарь, испрашивать благословения. Выйдя с почтамта, Андрей с тяжелым сердцем погрузился в котласский до Кожыма, чтобы утром на вездеходе заброситься на Гряду.

Три дня ходил он на работу в самом скверном расположении духа, чуть не погнул стрелу, очнулся от своих мыслей, лишь получив в затылок отборный мат Трилобита, и только на четвертый день, вечером, во время сеанса радиосвязи, услышал долгожданное: «Телеграмма Краснову-Краснову. Поздравляем. Выезжаем поездом четырнадцатого-четырнадцатого. Вагон десять-десять. Родители. Как поняли? Как поняли? Прием!»

Отца с матерью встречали втроем: Андрей с Дарьей и Витька. Остальные не помещались, а второе такси решили не брать. В этот раз Андрей даже не пытался предложить Витьке деньги. Он просто постучался в дверь, и когда Витька открыл, спросил: «Сосед, поможешь с родителями?»

Пока Андрей жал руку отцу, пока мать обнимала Дарью и плакала, почувствовав под шубкой упругую крутость чрева будущей невестки, Витька подхватил чемодан и попер по перрону.

— Друг? — отец кивнул в сторону удалявшегося Витьки.

— Вроде того.

— Пожил уже, а не поумнел, — рассмеялся отец, — не бывает так с дружбой. Либо друг, либо нет.

Витька вел машину аккуратно, против обыкновения не курил, форточку туда-сюда не дергал, музыку на кассетнике не включал, в разговор не вмешивался.

Прекрасно было сидеть на переднем сиденье «жигуленка», обернувшись назад, и смотреть на трех любимых людей. Даша посередине, между отцом и матерью, те тормозили ее, что-то спрашивали, она вертела головой, отвечая то одному, то другому, все смеялись. И Андрей смеялся, болтал, шутил над Дашкой, показавшейся вдруг похожей на взъерошенную морскую свинку и от того ставшей еще более трогательной и любимой.

Утренняя октябрьская Инта, завернутая во влажную простыню дымов, по сторонам дороги то тут, то там выдыхала парок из освещенных подъездов, кашляла дверями на плотных пружинах. Рабочая пятница всюсь рядилась на дневную вахту. Две остановки подряд ехали они за автобусом, который Витька никак не решался обогнать. И в надышанный, оттаянный кругляшок заднего стекла смотрела на них любопытная ребячья мордочка, не то мальчик, не то девочка, не разобрать. И когда Андрей помахал рукой, в круглом окошечке показался маленький розовый язык.

Для своих Андрей заранее забронировал номер в гостинице, в которой сам жил между вахтами. Номер незнакомый, на втором этаже у вестибюля, комфортабельный: с телефоном, телевизором, торшером. В номере, помимо двух кроватей и дивана, стояло еще и кресло с прокуренной на веки вечные обивкой и журнальный столик с хрустальным блюдом и хрустальным же графином. Солидное жилье для солидных командировочных. Отец взял их с матерью паспорта и пошел регистрироваться. Андрей понес вослед чемоданы. Потом они поднялись в номер, и отец, оглядевшись, шелкнув пальцем по краешку

хрустального графина, хмыкнул: «Порядок». Он повернулся к сыну и как-то особенно посмотрел на него.

— Ты чего, пап?

— Непривычно. Взрослый какой-то. Еще прошлой весной заметил, когда приезжал.

— Да я давно такой, — заулыбался Андрей.

От гостиницы доехали быстро. В квартире пахло сдобой. Дашкина мама еще с вечера поставила тесто, нарезала с утра вместе с дочерьми яблок, перемешала с тягучим брусничным вареньем, и теперь на кухонном столе, на вновь застеленной клетчатой клеенке, гордо и основательно глядели в прихожую несколько глубоких тарелок с горками пирожков.

Знакомились, словно выдыхали. Если и были у кого до того сомнения и противоречивые чувства, но когда прилипли бок к боку на маленькой интинской кухоньке вокруг стола с пирожками и выпили по стопке привезенного Дашиным папой пятизвездочного дагестанского коньяка, у каждого отлегло от сердца. Все стало просто. А что тут сложного? Вот родители, а вот их дети.

7

«Простоват ты, сын», — говорил отец, когда Андрей еще учился в школе. Не то что с укором говорил, скорее с узнаванием собственного характера, с сожалением, что вместе с льняными волосами не передалось сыну того, что сверкало в жене: крестьянской хитрецы, крепостного лукавства. По роду ее Курины, жившие в каждой деревне Плюсненского района, происходили не то от шустрых потомков Ольгерда, не то от литовских крепостных, вывезенных помещиком Христовским из Курляндии и семенем того же помещика да местной чуди приросшего многочисленным белоголовым и белозубым потомством. Сам же отец был человеком неизворотливым, прямым, как его черные с проседью топорщившиеся ежиком волосы; иной раз резким до колкости, но отходчивым и незлопамятным. Родился отец еще до войны, своего отца, скуластого красноармейца, в шлеме с шишаком, как на одной из двух сохранившихся фотокарточек, сгинувшего где-то в тех же местах, в которых сейчас работал Андрей, он не запомнил. Когда пришли немцы, было ему только четыре года. Из-за приподнятых острых скул да карих глаз называли его «татарчонок».

Приехал офицер в серой форме со взводом автоматчиков, назначили старосту, определили на следующий год сроки посевной, объяснили, что куда сдавать, где у кого и какие брать документы, поселили в доме, где теперь почта, четверых своих солдат с унтером да и уехали.

Немцы не озоровали. Солдаты, вначале настороженные, серьезные крестьяне-баварцы, через месяц пообвыкли, разнежились и иной раз поперек своего тевтонского устава могли отправиться с девками в лес за ранними груздями, закинув винтовки за спину, покусывая травинки. А бывало что, скинув кителя, упирались сапогами в жижу невысыхающей на краю деревни лужи да и выталкивали, крикая и ругаясь по-своему, увязшую подводу с сеном из хитрой глыбкой колдобины.

К тем солдатам, как и к рыжему лопухому унтеру в деревне все привыкли, за захватчиков не считали, называли «наши немцы». Унтер частенько сидел перед избой в одном исподнем и вырезал из чурочек деревянные ложки с длинными, не по-русски загнутыми черенками, дарил их ребятишкам.

Отец тоже получил такую ложку и прибежал хвастаться к матери. Та

покачала головой, ложку засунула между льняных полотенец в комод, а сыну наказала играть в другом месте. Но как же в другом, когда самое интересное здесь, в центре деревни.

Бывало, что вечерами унтер выносил из избы огромный, как самовар, аккордеон с желтыми костяными клавишами и рядами перламутровых кнопок и начинал играть что-то такое грустное, в чем звучали голоса иных посторонних этим лесам животных, плеск чужой воды или эхо песен принцесс из сказок с нездешними названиями. Девки устраивались в отдалении, на скамейках у заборов, дети ближе, прямо на земле. Солдаты выносили из дома ладные, ими же сколоченные табуреты и усаживались с серьезными лицами рядом с девками. Музыка была столь сложная, столь непривычная, что никто, супротив здешней привычки, не танцевал. Пусть и походил звук на звук гармошки, но оказывался сочнее и глубже, с каким-то эхом, какой-то не то тревогой, не то мыслью. Отец много раз за детство рассказывал Андрею про ту музыку.

И всякий раз, когда по радио начинали передавать органнй концерт, маленький Андрей вставал на табурет, дотягивался до черной ручки и делал громче. После бежал на двор звать отца слушать.

Они оба садились на скамью под окном и замирали. И чужие, неудобные этому месту звуки возвращались скрежещущим эхом от репродуктора, установленного возле коровника. И все пропадало, замирало в гармонии, однажды уже подчинившей себе эти места. И лишь тогда взрывалась природа стрекотом мелочи в траве, мычанием коров и рокотом мотоцикла с коляской, когда дикторша сообщала, что-то вроде: «По заявкам радиослушателей мы передавали симфоническое произведение Иоганна Себастьяна Баха «Прелюдия и fuga ля минор». А теперь прослушайте прогноз погоды от Гидрометцентра для Ленинградской, Псковской и Новгородской областей».

В сентябре сорок третьего в Заплюсье партизаны пожгли хлеб, приготовленный к отправке и уже погруженный на длинные фуры, под запряг откормленных, лоснящихся лошадей маркитантской роты. Но это бы и ничего, но после того как на Киевском шоссе то и дело стали рваться мины, заложенные у краев дорожного полотна не то диверсионными группами Красной армии, не то теми же партизанами, концерты прекратились. Немцы теперь ходили по деревне исключительно по двое и с оружием, смотрели на девчонок растерянновиновато. Унтер каждые два часа, даже ночью, что-то каркал в рацию по-немецки.

Мать запретила мальчику выходить со двора, строго-настрога наказав не появляться возле немцев. Да и смекали мальчишки, что поменялось что-то, возникло ожидание нехорошего, словно еще не случившаяся, но уже неизбежная беда расползалась во все стороны по времени и пространству. Однажды поздней сентябрьской ночью, когда свет от луны смешался с паром, поднимавшимся от убранного картофельного поля за домом, а небо уже перебродило гусиной переключкой и замерло до утра, за забором громыхнуло так, что в общей спальне, окна которой выходили на дорогу, задребезжали и треснули стекла. Сочные, хлесткие выстрелы винтовок, сухие автоматные очереди раскидались вдруг совсем рядом, от коровников до Хмера и обратно. По стенам заплясали зайчики зарева, преломившись о стекла двойных зимних рам. Дыхнуло жаром.

Тушить партизаны запретили. Бабы и старики, по привычке прибежавшие на пожар в исподнем, но с ведрами и баграми, жались в сторонке. А на фоне пожара у низкого штакетника в колышущемся мареве путались в дыму силуэты партизан.

Две машины с автоматчиками появились на рассвете. Немцы цепью прошерстили заросшее сорняком поле и опушку леса (дальше не решились), постреляли по стогам брошенного и скисшего от дождей сена, подпалили дом старосты, но самого и семью его не тронули. Не оставив никого из своих в деревне, спешно уехали.

Только через неделю, да и то после трехдневного дождя, перестала дымиться дегтем чернота. Мальчишки пробрались через забор на пепелище в поисках чего-нибудь интересного, что осталось от немецкого быта. Довольно скоро их погнали матери, но отец Андрея успел подобрать несколько опаленных, в черной копоти костяных клавиш аккордеона. Эти клавиши Андрей нашел потом в ящике с инструментами и играл с ними, расставляя между кубиками как мосты, по которым ходили оловянные псы-рыцари и русские латники из набора «Ледовое побоище».

В середине октября сорок третьего, когда по полям неожиданно рано разлегся и не успел за день стать снег, всех в Пятчино разбудил рокот моторов. В деревню со стороны Струг въехали пять грузовиков с крытыми фургонами. Они остановились на главной улице. Из первого и последнего фургона выгрузились немцы и быстро распределились по всей деревне, оказавшись на каждом перекрестке, возле каждого колодца, на каждой околице. Форма этих немцев была не такая, как у тех, что появлялись в деревне раньше. Уже одно это взволновало жителей. По району ходили страшные слухи об айнзатц-командах карателей, чинящих расправу не только над партизанами, но и над обычными крестьянами. Слухам невозможно было поверить, но они пугали.

Отец рассказывал, что помнил очень хорошо, как мать выглянула в окно, охнула, запричитала, забежала в сени и обратно, не в силах решить, что надо делать, и вдруг схватила сушившиеся с вечера на печке штаны и пальто и стала торопливо помогать сыну одеться. А потом широко распахнулась дверь, так что задребезжала нижняя петля, державшаяся не на четырех, а на двух шурупах, и в дом вошли огромные, почти упиравшиеся головами в потолок немцы. С немцами был офицер, говоривший по-русски. Сзади, в дверном проеме, был виден староста, осунувшийся, с мешками под глубоко посаженными глазами, заросший седой щетиной. Офицер говорил без акцента, словно это был вовсе и не немец, а милиционер из Струг. Тон его был повелительный, уверенный. Офицер приказал незамедлительно подготовить к эвакуации имеющихся в доме детей и дать им с собой запас пищи на три дня в мягкой поклаже.

— Сколько здесь детей? — немец обернулся к старосте.

— Один мальчик четырех лет.

— Ваш муж служит в РККА? — офицер посмотрел на мать.

— Нет, — отец помнил, как она, до того словно согбенная, нервно вытиравшая руки о фартук, распрямилась и забрала за ухо выбившуюся прядь русых волос. — Арестован.

— Воровал? — заулыбался офицер.

— Его оговорили. Обвинили во вредительстве.

— Уповайте на вермахт. Чем скорее они закончат войну, тем раньше вернется ваш муж. Ответственность за вашего ребенка принимает на себя эсде. С настоящего момента он находится под защитой и ответственностью германских оккупационных властей. Вам незачем беспокоиться.

— Он никуда не поедет. Ему лучше со мной.

Мать попыталась загородить сына, но один из огромных солдат грубо оттолкнул ее и подхватил мальчика.

Мать закричала, но второй солдат чем-то ударил женщину. Отец Андрея не видел чем, но на всю жизнь запомнил ее, лежащую бездыханно на полу перед печью с кровью на лице и в спутанных волосах.

Детей со всей деревни погрузили в два фургона, в которых уже сидели притихшие ребяташки из соседнего Симонова.

Матери, которым запретили даже подходить к окнам, не вытерпели и, как только взрвели моторы и двинулась колонна, повывегали из домов и бросились за грузовиками.

Отец вспоминал, как сидел у края кузова, перед самым бортом, рядом с солдатом, хотел и не мог высвободить ногу, на которую неудачно привалился какой-то мальчик не из их деревни, а коленка другой ноги на каждой кочке больно стукалась об автомат этого солдата. И он терпел, и лишь однажды заскулил, когда стало особенно больно. И солдат, до того разглядывавший что-то на опушке леса, обернулся, посмотрел на него, улыбнулся, протянул руки, высвободил мальчика, подхватил под мышки и усадил удобнее. Он что-то сказал по-немецки, что-то незлое. Но отцу показалось, что это тот самый солдат, который ударил мать, и он прошипел «Штоб ты сдох, Фриц».

— Фриц-Фриц! Да! Я Фриц, Фьодор. Мой отец — Фьодор. И я Фьодор Фьодорович, — засмеялся немец.

А отец заплакал, потому что это было невыносимо страшно, потому что был уверен, что мама умерла, что вот-вот и он умрет, все умрут, даже товарищ Сталин. Хотя это совсем невозможно. Так рассказывали. Так брехали.

Рассказывали, что на окраину Струг приводили много детей вместе с родителями и там в них стреляли из пушки. Во всех сразу. И он знал, что если выстрелят в него из пушки, то ничего никогда не останется. И если только он будет в последний миг молить несуществующего Бога, то тот возьмет его к себе, в небесный Кремль. И на небе будет он, будут папа, мама, тетя Оля, их пес Стёпа, умерший прошлой весной от непонятной болезни, и кто-то еще, кого он не помнит, но любит просто так.

Отец потом смеялся над этими своими мыслями, но Андрею их пересказывал. Конечно, с комментариями, с поздними, уже взрослыми. И Андрей слушал, поддакивал, тоже смеялся, но было ему не смешно.

И Андрей словно сам видел этот грузовик, это блеклое утро в Пятчино, в деревне, в которой родился, в том самом доме в самой середине деревни. Он почти слышал, как рыкает соляркой в снег и ржу тупорылый «хеншель», как лопается воздух, стонет затянутое гайками железо. Ему казалось, что он видит руки женщин, протянутые к кузову, в котором он, нет, не он, а мальчики, совсем другие мальчики, покорно качают головами в такт перегазовкам мощного германского мотора на каждой малой рытвине. И всякий раз он чуть ли не терял сознание, проваливаясь куда-то в знобливую морось октября сорок третьего года, по ту сторону крашенного суриком штакетника, на перекресток дороги на Струги и дороги в никуда, в смерть и обморок осеннего шоссе с брыкавшейся шершавым копытом контуженой лошастью.

И пока грузовики медленно ехали через деревню, матери бежали рядом, по обочинам, поскользываясь на мыльных следах протектора, оступаясь и проваливаясь в бурую жижу, но не спускали глаз с качающихся детских макушек и протягивали к ним руки. Они кричали, звали детей по именам, рыдали, сбиваясь со стона на вой и хрип. Но уже возле последних дворов движение колонны ускорилося, и матери отстали, хотя и продолжали бежать.

Машина, в которой везли отца, шла предпоследней. Они уже миновали

поворот на Пламя, как вдруг вначале притормозили, а потом и вовсе остановились. Газующий впереди грузовик увяз. Слышно было, как истошно рычит мощный мотор, как с визгливым остервенением прокручиваются огромные баллоны, облепленные глиной.

Вечная лужа. Проклятье деревни. Огромная дыра к центру земли, заполненная словно бы вулканической грязью, то стреляющая по верхней воде плавунцами, то парящая под июльским солнцем глинистой кашей, то в рваных осколках ноябрьского льда швыряющая по обочинам студеную путаницу супеси и мелких камешков. Проложенная по древней гати дорога столетиями спотыкалась не то о плавун, не то о какую иную подземную силищу, которую, сколь ни заваливать ее ветками, сколь ни перекладывать бревнами, ни вбивать в ее ненасытную прорву булыжник и кирпичное крошево, а всякий раз вновь ловит она беспечных ездоков. Несчетно телег увязло по самые оси в ее распутном лоне, начиная с подвод Ольгерда, груженных мехом лисы и соболя, золочеными окладами, сорванными с образов церковей окрестных погостов. И то лопарские заклятья, то литвинская брань, то ругань здешних скобарей срывались в небо вороньим граем с опушки ближайшего леса.

Второй секретарь райкома, ехавший в Пятчино по служебной надобности — наставлять и контролировать в осеннюю распутицу тридцать восьмого, бросил водителя возле «эмки» цвета беж, закопавшейся в жирную глину, и, закатав выше колена серое костюмное сукно, да все едино изгваздавший и брюки, и полы плаща, пешком дошел до сельсовета. И потом два часа орал матом вначале на председателя, а потом и на подъехавшего не ко времени секретаря местной партийной ячейки так, что деревенским нужды не было подходить ближе: слышался мат от клуба, где были обещаны по случаю субботы танцы, и аж до магазина.

После того случая председатель выписал на базе в Стругах Красных тридцать мешков цемента, пригнал с карьера две полуторки, груженные песком, и всем миром законопатили ту сырость гладкой бетонной пломбой. Пломбу обнесли вешками, между вешек протянули веревки, на которые навязали красные бантики из какого-то пришедшего в ненужность лозунга. Пять дней и пять ночей возле дорожного строительства выставлялась охрана из деревенских, отправляющая всех в объезд, чтобы никто по незнанию или ухарству не сунулся с тяжелой техникой и не поколол свежий бетон.

По истечению тех пяти дней председатель вместе с мужиками, сняв опалубку, придирчиво осмотрели толстую, основательную плиту и посчитали дело сделанным. Грузовики и подводы на резиновом ходу вначале опасливо, а потом уже лихо проскакивали бывшее «гибкое место» всю остатнюю осень и зиму, выдавшуюся, как рассказывали, особенно снежной. И лишь в конце марта тридцать девятого зашевелилась земля, и бетонная плита начала медленно сползать с дороги. Мелкие трещинки, а потом и целые борозды стали заметны, и почти сразу после того, не прошло и недели, как земля под плитой задышала, а серый прямоугольник бетонного материка раскололся на сотни небольших островков, каждый из которых зажил своей жизнью под колесами техники.

Летом плита перестала быть плитой, превратившись в бетонное крошево, то тут, то там выставив в небо острые осыпающиеся края. Средств на ремонт у нового председателя не нашлось. Старый же, тот, что по слабости душевной затеял все это строительство, попал в неожиданный оборот скорого следствия по делу о халатности и вредительстве. Все это вовсе не имело отношения к яме на дороге, да и вообще к чему-либо настоящему, а лишь умышлялось каким-то злым и обиженным на весь мир человеком, написавшим бумагу в милицию.

За осень и зиму страстная земная сила изломала давшую слабинку человеческую заплату, выбила глиняными коленями корявые бетонные мячи на обочины, а по весне вновь пустила по наметившейся колее торопливый ручеек. И вскоре жители, стоявшие в очереди у магазина в ожидании свежего хлеба, увидели спешащего к ним водителя полуторки, машущего руками, кричащего и просящего помочь вытолкнуть увязший фургон.

К этой луже привыкли. Ей веками носили дань ведрами, опрокидывали в грязь, возвращали земле всякий мусор, всякую твердую ненужность, посвящали ей фантики жития. Посудный лом, кирпичные осколки, мягое и отставленное от хозяйства железо, все прошлое родов тут испокон веков проросших, землей этой выкормленных. Отец, сын, их отцы и долгая, неназываемая за беспамятством лет крестьянская родословная, по воскресной дороге к заутрене зазывающей Ризоположенской церкви Хмерского погоста, плескали в глину и воду этой не то лужи, не то ямы, не то и вовсе Господних врат в вечность несложный быт своих семей.

А гробы с упокоившимися завсегда переносили по обочине на руках. И лишь миновав грязь, вновь устанавливали на телегу, чтобы идти сперва до перекрестка дороги на Плюссу, а дальше налево в горку до самого Хмера, плача и прощаясь.

Словно какой тугой меридиан тянул за собой строчку шитья с далекого юга, с чужого жаркого материка на такой же далекий север, к Берингову проливу, к Аляске и делал тут стежок в льняном покое пскопской земли от одной до другой обочины дороги. И в том стежке решались вдруг прыснуть в разные стороны от брошенного мальчишкой камня разноцветные циклиды озера Танганьика или могла заворочаться, перевернуться с тени на солнце бурая крокодиля кожа огромного земноводного реки Лимпопо, с того самого места, где ее пересекает тропик Козерога. А иногда промеж запаха полыни и репейника, цикория и другого какого местного разнотравья кидался в разогретый и звенящий кузнечиками воздух запах турецкого кофе с Самандира, долгой окраины Стамбула. Но то была величайшая редкость. Обычно впитывали его как губки мхи лесов вокруг Мозыря и Бобруйска, и тамошние зайцы кейфовали, валяясь на них и подставляя солнцу полинялые бока.

В ту осень, когда чужое железо харкало дымной газолиновой дрянью в октябрьское утро, когда хрустящая заиндевелевшая трава, торчащая из раннего снега, ломалась под подошвами бот отчаявшихся когда-либо увидеть своих детей женщин, когда мутное солнце, встав из-за далекого леса, постеснялось подняться выше, чтобы, не дай бог, не разглядеть и не быть спрошенным за ту несправедливость, что родила темень и ночь, вот тогда Пятчинская яма, великая сия Лужа, вскипела ненавистью, самой африканской жарой и растопила грязь и лед, сволокла в колею и зажала земным своим мускулом наглое тевтонское железо.

Отец слышал ругань на немецком, потом команды. Солдаты, сидевшие в их машине и в той машине, что шла за ними, прыгнули вниз и побежали вперед, где раздавались уже «Einmal, einmal zusammen! Einmal! Again!», стон мотора, визг скользкой резины, рыканье и звон клапанов бессильной четырехтактной злобы.

И тут подоспели женщины. Вначале они остановились чуть в отдалении, но лишь на краткий миг, такой, чтобы те, кто отстал, успели до тех, кто прибежал первыми, толкнули их, и вот уже все вместе бросились к фургонам, протянули руки вверх и стали хватать тех детей, что были ближе. Они спускали ребят на землю, следующих, следующих, тех, кто не побоялся.

Отец рассказывал, как тетя Шура, их соседка, подхватила его, сняла с борта в жижу и ледяную пульпу, крепко схватила за руку, в другой руке у нее уже была ладошка Лешки, старшего сына, и рванула к лесу. И вот они уже бегут вместе с остальными. И светло от серого неба, и темно впереди, а сзади пока только перегазовки и карканье немецкого языка — ни выстрела, ни окрика.

Их не могли не видеть, но их не видели. Вязкий, нездешний, приторно-африканский морок покрыл поле, дорогу, немчуру, хлопчущую возле увязшего во времени «хеншеля». Женщины и дети растянулись цепью по всему полю. Матери устали, они стремились к опушке из последних сил, держа малых своих, кого на руках, кого за руки. И шествие то казалось траурным и вечным. Легкие мишени для опытного стрелка. Но лишь когда последние, отставшие оказались в тени крайних деревьев, хлопотливые автоматные очереди посшибали снежные комья и шишки с сосен.

Погони не было. Приказ есть приказ: в лес не соваться. И потому немцам только и стало, что

«...Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley gethan».

Но кикиморы и ундины, ледяные девы лесов и болот не тронули брызги человеческого рода.

8

Университетские приятели Егора Андрею сперва не понравились. Не то что случились они какими-то особо скверными. По своей воле сюда дурные люди не приезжают. Виделись парни Андрею для этих мест чересчур уверенными, щедрыми на обещания, слишком шумными. Север в таких не верит. Но когда в Кожыме грузились в борт, когда эти городские первым делом схватили обсадные и потащили к вертолету, а потом обливались потом и в тщетной попытке согнать гнус крутили шеями в разрезах энцефалиток, вдруг, как тут говорят, показались. «А ленинградцы — молодцы, — подумал Андрей, — только оттягав ящики с коронками, взялись за свое. Понимают, что и как, значит нормальные мужики».

Андрей указывал, какие трубы брать, какие оставлять. Его кадры, помбур и бич-сезонник, накануне перебравшие портвейна, дышали кислым, обливались потом, но пыхтели наравне с остальными. Все вчера выпили лишку. Ленинградцам простительно, те неделю проторчали в балках в ожидании борта, а своим Андрей такие вольности не позволял. В шесть тридцать утра растолкал обоих и погнал купаться.

— Фашист!

— Тебя бы, Англичанин, самого вначале напоить, а потом в мокрую и холодную воду! Гади́на ты пскопская, скобарь! — ворчал Трилобит. Он уже третью смену работал с Андреем. Алимов взял к себе помбурами двух пионеров, бывших Андреевских соседей. К осени Теребянко планировал дать каждому по буровой, если Алимов аттестует.

Ледяная вода Кожым-реки привела мужиков в чувство, но к десяти часам, когда подали под загрузку первый борт, оба уже плыли. Не то укус в кровь пошел, не то нашли, где похмелиться. Второе Андрею казалось более вероятным.

Ленинградцы среди прочего скарба грузили тридцатилитровую алюминиевую флягу с дыркой в крышке, такие здесь используют, чтобы гнать самогон из конфетной браги. Наверное, в другой раз он бы и волновался, напридумывая беду, но не сейчас. Начальником партии у геофизиков ехал Фёдор. А Фёдора в ВоГЭ уважали так же, как Теребянко. Был он хоть из Ленинграда, но родился в Сыктывкаре, с детства в этих местах. Вначале горный техникум, потом Ленинградский университет. Кандидат наук, назначен заведующим сектором. Десять лет уже гоняет партии от Райиза до низовьев Усы на алмазы. Дейнега говорит, что и диссертация у Фёдора про алмазы Полярного Урала. Никто, конечно, тех алмазов на Гряде не видел, но признаки есть, министерство деньги выделяет, значит, работы ведутся. Шурфовики показывали Андрею в промывках оливин. Да и все сопутствующие находят. А если ищут, значит, рано или поздно найдут, это Андрей себе давно уяснил.

Фёдор со своими крут. В поле у него дисциплина, пьянство только по личному разрешению и в период магнитных бурь, похмеляться, если не праздник, запрещено. Андрея судьба уже дважды сводила с Фёдором на одних точках, когда первый год работал он помбуром у Алимова. Они в тот сезон друг другу понравились. Фёдор был старше лет на пятнадцать, но возрастом и должностью не кичился, к буровикам относился со всем положенным в этих местах уважением. А полагалось буровиков считать за местных. Все остальные — пришлые, буровики, с их тяжелым железом, горящим солидолом и грохотом считались за коренных. Да и по геологическим правилам называлось это все «заверочное бурение», то есть метод самый дорогой и окончательный. Если нет ничего в керне, значит, так тому и быть, пусто. Если нашли что, трать, государь, миллионы, прокладывай дорогу, копай. Сто раз цифры нарисуй, двести шлихов намой, пятьдесят шурфов заложи, а без бурения ничего серьезного тут не начнется. «Танковая конница маршала Теребянко» — так Фёдор их называет. Глупость, конечно, но приятно.

Борт загрузили под самые переборки. Геофизики накидали поверх всего досок, последней закатали бочку с керосином и два газовых баллона. Бортинженер, стоявший поодаль, несмотря на жару в кожаной летной куртке, наблюдавший за погрузкой, покрутил над головой рукой, показывая, что пора «закругляться». Двое ленинградцев, Борода и Иван, приятели Дейнеги, тащили с дальнего края вертолетной площадки каркас панцирной кровати. Заметив, что летчик закрывает люк, припустили бегом, но каркас не бросили.

— Аспиранты, бросьте к чертовой матери этот металлолом, зачем он вам? — перекикивая шум винтов увещевал ребят Фёдор.

Но парни с минуту препирались с бортинженером, наконец тот махнул рукой и показал на пассажирский люк. Каркас загрузили через него к неудовольствию всех остальных.

Пилот запустил винты. Андрей и Фёдор, оба пригибаясь и придерживая на голове брезентовые фуражки, обежали вертолетку, проверяя, не забыли ли что важное, и последними забрались на борт.

Андрей любил момент взлета. Ему нравилось, как огромная машина, похожая на раскормленную тетерку, поднимается вверх, чуть наклоняется вперед и вот уже мчится, чуть не задевая верхушки подлеска, разворачивается над руслом Кожыма и устремляется вперед, прочь от Уральского хребта. И внизу то темные пятна озер, то рыжие проплешины болот, то зеленые поля карликовой березки, то темно-изумрудная тайга. И внутри трясет, а грохочет так, что не слышно, что говорит Фёдор, показывая пальцем в иллюминатор.

Их высадили первыми, на Заостренной, рядом с буровой, которую, пустив вперед вездеход, пригнали сюда по лесоустроительной просеке в конце прошлой вахты. Андрей со своими выгрузили личные вещи и продукты, полученные на складе, пожали руку геофизикам, с которыми предстояло вновь встретиться через месяц на Шарью, и, отбежав к балкам, присели на корточки, ожидая, когда поднимется борт.

Припустил дождь. Тяжелые капли превращались в пыль под лопастями винта. Огромная, дышащая керосином машина чуть поднялась на березкой, и вот уже пилот лихо погнал ее вдоль просеки лесоустроителей вниз к реке. Дождь быстро залил шум вертолета, и лишь единожды отпрыгнуло эхо хрусткий рокот двигателя, отразив от дальних отрогов у реки.

В балке оказалось натоплено. В изголовии нар стоял синий «ермак» Дейнеги. Значит приятель пришел пешком от Алимова. По технике безопасности такие переходы запрещены, но Теребянко иногда закрывал глаза на разные нарушения инструкции. Дейнега, хотя и был молодым специалистом, уже считался хорошим геологом. Человек он осторожный, вдумчивый, потому его любовь к одиночным маршрутам с отбором проб по собственному плану можно и поддержать. Если между точками удавалось проложить маршрут почти по прямой, если не встречались пойменные болота или не нужно было форсировать Усу или Печору, Дейнега всегда шел пешком. Свои вещи он посылал с бортом или вездеходом, а сам отправлялся налегке, с аккуратной самодельной палаткой из каландра, вот этим синим капроновым «ермаком» на дюралевои станке, под которым крепился аккуратно свернутый пуховый спальник. Иногда он выходил на новую точку дня три, успевая описать до двух десятков обнажений, перейти несколько водоразделов, заночевать и проснуться под солнцем наступающего полярного дня. Перед сном он ловил хариуса на блесну-вертушку в ямах, взрезал ему брюхо, засыпал крупной солью из пластиковой банки с плотно закрывающейся крышкой из-под иностранных витаминов и ел уже через пять минут после засола. Дальше он разводил аккуратный костерок под чефирь-баком и потом мог часами сидеть недвижно, лишь прихлебывая от чернозема крепкого грузинского чая, заваренного с листьями дикой смородины и ежевики. Ему нравилось наблюдать за тем, как туман, поднявшийся от зарослей ивняка по берегам ручья, покрывает заросли карликовой березки на другом берегу, чтобы окрепнуть и плотной паутиной вползти под тень елового мыска, от которого до самой Усы начиналась тайга.

Пока Трилобит с бичом-сезонником разогревали сваренный Дейнегой суп, пока, хоронясь от Андрея, аккуратно опрокидывали из чашек выпрошенный у геофизиков разведенный спирт, распогодилось. Андрей курил на нижней ступеньке балка, как он это любил, положив локти на ступеньку повыше, вытянув одну ногу в туристском башмаке пяткой вперед, а другую подобрав под себя. Так у него переставала болеть сорванная на зоне спина. Из карманного «Альпиниста» звучала джазовая музыка, передаваемая на коротких волнах не то шведской, не то норвежской радиостанцией. Поперек комариному гуду, не стихающему даже во время дождя, вкручивались в сочный летний таежный воздух трубы лихого оркестра, снимая с этих мест древнее заклятье белоглазой чуди, подтрунивая над здешней тайгой из своего уютного заграничного далека.

Внизу на просеке показался Егор. Его полинялая красная шерстяная шапочка, которую он еще со студенческих времен носил и в жару, и в холод, мелькала между кустов ивняка. Присмотрев Андрея, Егор поднял над головой раздувшийся от рыбы рудный мешок из грубой брезентовой ткани.

— А я не успел, — закричал он еще издалека. — Пошел за рыбой. Думал, вы к вечеру прилетите. Солнце с самого утра, горы открыты.

Андрей встал и показал ладонью, сжатой в кулак, «рот-фронт», как было принято между друзьями.

— Услышал борт, бросил снасть, но пока на этот берег перешел, смотрю, летит уже, разгрузился. Я ему рукой помахал, он круг сделал, показал, что меня заметил.

Дейнега, запыхавшийся, улыбающийся, похудевший, обросший крученым черным волосом по всему подбородку, дошагал до балков и кинулся обниматься с Андреем.

— Моих-то видел? Как тебе? Орлы же! Ну, скажи? Орлы?

— Орлы, — заулыбался Андрей, — нормальные мужики.

— Да они золотые! Ты даже представить себе не можешь, какие они золотые. Они на курсе лучшие были. Что Борода, что Иван, что Кеша. Это же академики будущие. Наука, брат! Наша наука! — Егор улыбался, хлопал комаров на шее, снова улыбался и казался Андрею старше своих лет. Они не виделись два месяца, на прошлую точку к ним приезжал другой полевой геолог. За эти два месяца Егор как-то высох, кожа плотно приклеилась к покрытым курчавым волосом скулам, глаза посверкивали азартом.

— Родственник! Как же, чертяка, рад тебя видеть! Ну, как ты там? Как Варвара? Как Дашка?

Варвара родилась в апреле. До этого был самый темный и морозный январь девяносто первого года, когда по всей Инте то и дело отключалось электричество. Дарья мерзла, газа в дома подавали ровно столько, чтобы хватало нагреть кастрюлю воды, да и то если накрыть крышкой. Андрей с Витькой съездили в автопарк, где им за стандартную бутылку сварили печку, такую же, какую устанавливают в балках, из толстого чугуна. Они, пыхтя и чертыхаясь, втащили печку на этаж, а потом, под причитание Наталки, Витькиной жены, вынули форточку и установили на ее место раму с жестяной, через которую вывели наружу трубу. Затопили. В комнате почти сразу стало тепло. Впервые за неделю Дарья сняла с себя шубу.

В апреле Дашу позвали на тридцатилетие девятки, школы, которую она заканчивала. Приезжали многие одноклассники, которых судьба раскидала по всему Союзу. Но в субботу, за день до праздника, на тридцать шестой неделе, неожиданно начались схватки, и Андрей, не дожидаясь скорой, разбудив среди ночи соседа, отвез жену в родильное отделение.

— Это ты пешком переходила, растрясла, — говорил Андрей, поглаживая на заднем сидении Витькиного «жигуленка» руку жены.

По улице Горького, где была Дарьяна школа, перестали ходить автобусы, да и вообще всякий транспорт. Городские власти, наверное, насмотревшись на Арбат в Москве, ни с того, ни с сего решили сделать центральную улицу пешеходной.

— Андрюшенька, не ругайся. Все нормально, — Даша была бледна и испугана.

Варька родилась почти через сутки, вечером. Дежурный врач и акушерка приняли роды, укутали ребенка в одеяло и принесли в палату.

— Мамочка, ребенок с вами будет. Давайте грудь. Меняйте подгузник, — сказала медсестра и ушла домой. Даша осталась в палате одна с ребенком. Других рожениц в отделении не было. В тот год здесь почти не рожали. Свет отключили в половине десятого. Горячая вода пропала еще раньше — в котельной случилась

авария. Дарья потом рассказывала Андрею, как в отчаянье и полной темноте мыла Варьке попку под струйкой холодной воды. Но все обошлось.

Андрей в это время сидел в гараже у Витьки и пил водку, настоянную на золотом корне.

— Ты можешь быть трезвенником, можешь быть хоть председателем общества «Трезвость», но если у тебя родился ребенок, будь добр кирнуть. Иначе это все не по-людски, — сказал Витька, снял с вешалки кожаную кепку Андрея, полушубок и подтолкнул приятеля к выходу. — Пошли ко мне в гараж. Там самое место.

В гараже у Витьки действительно было уютно. Топилась печь, на печи в сковороде шкварчала картошка на сале, от автомобильного аккумулятора играл магнитофон «Электроника».

«Et si tu n'existais pas», — пел Джо Дассен, — «Dis-moi pourquoi j'existerais? Pour trainer dans un monde sans toi, Sans espoir et sans regrets?» — в который раз спрашивал шансонье.

Витька достал из стенного шкафчика две хрустальные рюмки и поставил на стол. Потом из того же шкафа выудил стальной геологический термос, а из него палку твердокопченной колбасы.

— Это от крыс, так не доберутся, — предвосхитил он вопрос Андрея. — Кстати, колбасу твой Дейнега из Сыктывкара привез.

Витька открыл багажник, покопался в нем и выудил банку консервированной морской капусты и буханку серого интинского хлеба.

— Вот сейчас нормально посидим, по-человечески. Человек родился, надо его встретить, как человека. А то заперся там у себя в доме, сидишь как сыч. А надо не сидеть, надо радоваться, надо праздновать, надо пить за ручки, за ножки надо пить, за глазки, за носик. Ножки-ножки. Побегут эти ножки по нашим дорожкам. По Инте побегут. По Северу побегут. Давай. Давай!

К обычному Витькину балаболству добавилась неожиданная сентиментальность. Витька разлил по полной рюмке. Они выпили.

— Я, Англичанин, тебе так скажу. Вот сейчас ты стал своим. Детка родилась, теперь наш. Теперь детка будет в наш садик ходить, в который, вон, Наталка и Дарья твоя ходили. Потом детка пойдет в школу, которую Наталка и Дарья заканчивали. И это значит, что ты, ее отец, наш мужик, интинский.

Логика соседа не показалась Андрею безупречной, но они снова выпили. Витька поставил сковородку между ними и положил перед Андреем вычурную серебряную вилку и такой же нож.

— Откуда такое богатство? — удивился Андрей, разглядывая вилку.

— От папаты Наталкиного, — рассмеялся сосед, — в управлении работал. Подношение чье-то. Все, что осталось, ну и рюмки, конечно. А может быть, и все, что было. У мамы там еще картинки какие-то в рамках, но дрянь, а не картинки, навроде трех медведей Шишкина. А это вот, — он покрутил в пальцах ножик, — да еще и сервиз — это нам на свадьбу мамаша отдала. Наталка их не любит, говорит, тяжелые. А мне нравится. Вот, держу в гараже для особых случаев, если какой гость зайдет. Ты — сегодня особый случай.

— А дочка — это хорошо, — вдруг рассмеялся Витька. — Дочки, как говорится, это для папы. Для папы надо, чтобы его седины коснулась девичья рука. Сын что?

— Что? — переспросил Андрей.

— Сын — это не кроссинговер. Вон, как я да ты. Сын вырастет и убежит за своими бабами на край света. А дочка всегда рядом будет, так что ты тут молодец.

И вдруг, ведь два года как не мучило, как перестало, вспомнились ему глаза Алёнкиной матери на суде.

Вот сидит Слепнёва, покачивается из стороны в сторону и что-то шепчет. Он не мог слышать, что она шепчет, не мог, но слышал. Через людское дыхание, через скрип стульев и голос судьи, зачитывающей обвинительное заключение, слышал он, как та повторяет: «Алёнка. Алёнка. Алёнка».

— Как ты жить теперь с этим будешь, убийца? — это не она. Это кто-то другой крикнул.

— Мало! Мало три года! Мало ему!

И снова тот знобливый ветерок, который из щели кунга забрался под воротник и засвербил в носу слезой и солью: «Мало!»

— Назвали-то как?

— А? — очнулся от своих мыслей Андрей, — Алёнка.

— Как? — переспросил Витька.

— Варвара. Варя.

— Хорошее имя, — одобрительно кивнул Витька. — Давай теперь за глазки Вари, чтобы видели только хорошее.

Выпили за глаза, за носик, за пальчики. Витька достал второй литр. Андрей хмелел медленно, но тяжелым, нерадостным хмелем, приличным для поминок, а не для праздника.

— Ты что-то косеешь, сосед. А ну-ка я тебе сейчас нашего чайка налью, — Витька покопался на полках, нашел жестянку с травяным сбором, насыпал в кружку, жажнул кипятка из чайника, уже час сипевшего на печи.

Горькая, дурманящая жидкость растянула скулы Андрея в гримасе.

— Что это за гадость? — сморщился он.

— Все от природы — тысячелистник, чабрец, полынь, ну и так, всякой ерунды. Мать делает, называет «наш чаек». Она этим почки лечит. А я заметил, что трезвею от этого ее «чайка» в момент. То ли от горечи, то ли от каких полезных витаминов, но трезвею. Правда, если много такого выпить, сердце потом стучит.

Хмель действительно отпустил Андрея. Он пошкрябал вилкой в сковороде, еще хлебнул отвара и засобирался домой. Они попрощались. Витька остался прибираться и выгребать из печки угли, а Андрей вышел на воздух. Электричество в районе дали. Горели окна, и в ночном небе ярко светилась очерченная прожекторами водонапорная башня. Вместо того чтобы идти домой, он пошел к больнице. Где находится родильное отделение, Андрей не представлял. Дверь приемного покоя оказалась закрыта. Андрей пошел по ледяной скользкой дорожке вдоль корпуса, заглядывая в окна первого этажа. В одной из палат он увидел девочку, сидящую на кровати, обхватив колени. На девочке был застиранный байковый халатик, который был девочке явно мал. Девочка сидела и смотрела в одну точку. Над ней горела лампа дневного света.

Андрей остановился и почему-то помахал девочке рукой. Девочка заметила, улыбнулась и тоже помахала Андрею.

9

Июль выдался спокойный. Выставили устье скважины и забурились еще на прошлой вахте, пройдя первые двадцать метров. Стояла жара, потому запускали установку в шесть утра, еще до сеанса связи. Станок работал без обычных сбоев. Осадочный чехол проходили быстро. Егор в это время готовил завтрак на всех.

После завтрака у тайги было полчаса тишины, пока работала рация. Потом вновь начинали бурить. Через каждые семь метров проходки Андрей осторожно, стараясь не допускать рывков, поднимал трубы, Трилобит отсоединял замки, потом они с рабочим укладывали колонну на землю. Трилобит аккуратно ударял молотком по кольцу, надетому на керноприемник, то и дело крутя последний. Керн соскальзывал вниз по трубе и его укладывали в ящик.

Дейнега устраивался на складном брезентовом стульчике перед ящиками с породой и заполнял полевой журнал. Иногда он стучал геологическим молотком по керну, доставал кусок, разглядывал его вначале просто, поворачивая в руках, потом вставлял в глазницу часовую лупу и смотрел через нее. Часовая лупа — это было его собственное изобретение. Остальные геологи ходили с огромными складными линзами. Он клал вдоль ящика самодельную линейку-метр, сделанную из дранки с нанесенными на ней делениями, и толстым фломастером размечал керн на равные промежутки, маркируя отдельные куски по номеру скважины и глубине. Если слой, по мнению Дейнеги, оказывался интересным, он отбирал образцы через каждые тридцать сантиметров керна, наклеивал бирку из толстого медицинского пластыря и помещал в отдельные пакетики, которых каждый вечер сворачивал из крафтовой бумаги великое множество.

Когда начиналась самая жара, Андрей останавливал работу и отправлял мужиков купаться. Оставив Егора над очередным ящиком, сам забирался в тень от балка, обматывал голову смоченной в воде футболкой и пару часов читал, потом час спал тут же, закутавшись в брезент. Будили его мужики, вернувшиеся в лагерь. Они всякий раз приносили несколько крупных хариусов, которых сразу заворачивали в холстину с солью и прикапывали под балком. Обедали тем, что осталось с завтрака, и вновь запускали установку, бурили до десяти вечера, до вечернего сеанса связи, а потом еще до часа ночи, когда уложив по ящикам последний керн, глушили станок, умывались по пояс под рукомойником и садились ужинать. С Егором они успевали больше, он ежедневно брал на себя обязанности повара, и не приходилось отряжать для этого Трилобита. Сергей Сергеевич готовил отменно и доверял кухню только Егору. Бичи же на вахтах допускались лишь до мытья посуды. Когда Егору удавалось подстрелить тетерева или глухаря, готовил Трилобит. В такие дни Андрей заканчивал смену вдвоем с рабочим. Трилобит же ощипывал и потрошил птицу, набивал ее внутренности размоченными сухофруктами, обмазывал перцем и солью, потом уходил к реке, в специальной закапушке набирал глины и обмазывал тушку целиком. Когда глина чуть подсыхала, Сергей Сергеевич раскидывал угли заранее разведенного костра, клал туда птицу и вновь зарывал в угли, набрасывал сверху еще тонких сухих прутиков. Потом следил, чтобы огонь лишь чуть теплился. Через полтора часа он разрывал костер, доставал крепкий, раскаленный глиняный кокон, укладывал на жестяной поднос с нарисованными цветами и ставил в середину стола. Покончив с птицей, он переодевался в рабочее и шел к бригаде вынимать последний за сегодня керн.

Ночами, которые в июле на Приполярном Урале мало отличаются от дня, Андрей спал плохо. И даже не от жары, жара немного спадала, не от солнца, приходящего в окно балка уже в три часа ночи, поэтому восточное окно и закрывалось картонкой. Все чаще, проснувшись, потревоженный криком птицы или от собственного худого сна, садился на ступеньках балка и курил, дожидаясь пяти утра, когда будет прилично шуметь паяльной лампой, кипятить на треноге воду в кастрюле, чтобы закинуть внутрь содержимое пары банок консервированного рассольника на обед и гречневую крупу на завтрак.

Андрею не спалось. Все чаще и чаще думал он о злополучном дне, когда случилось в его жизни страшное, что теперь мучило, заставляло шептать неумелые слова молитвы, когда никто не видел и не слышал. Он представлял Алёнку, дочку Слепнёвой, ровесницу его сестры, ее же одноклассницу... Представлял ее выросшую, окончившую, как и его сестра, школу и уехавшую учиться в город. Он пытался вообразить, как она выглядела бы сейчас, что носила, как стриглась.

— Девицы, — говорил он Лизке и Алёнке, возвратившись из школы и застав подружек, разбросавших по всей комнате лоскутки и катушки с нитками, — когда уже настанет в доме порядок? Лизавета, у нас один стол на двоих только потому, что некуда поставить второй. Можно не занимать его под всю эту фигню?

Девочки смеялись, быстро собирали свое шитье и убегали в родительскую комнату. На пороге Алёнка или Лизка, или они обе поворачивались и показывали Андрею язык. Он грозил им кулаком, хмурил брови, но только они скрывались за занавеской, улыбался. Он любил сестру. Да и злился понарошку, словно просто для того, чтобы призвать мелюзгу к порядку.

Он катал подружек на мотоцикле, возил на Хмерское озеро купаться. Однажды Алёнка уколола ногу стеклом, какой-то дурак разбил бутылку на пляже и оставил, не собрав осколки. Он нес ее на руках до дороги, где в тени орешника у ограды кладбища он оставил свой «минск». Алёнка плакала, обхватив его шею руками, а Лизка, его Лизка, бежала рядом и повторяла: «Не плачь, пожалуйста, не плачь». Слепнёвой дома не оказалось, и Андрей, напустив на себя уверенный вид, залил перекисью рану, а потом, прокалив на конфорке пинцет, вынимал из ранки зеленое бутылочное стекло.

— Все хорошо, девочка! Все уже хорошо.

Как случилось, что в толпе вышедших на воздух из клуба Алёнка оказалась с краю? Как случилось, что рядом не было его Лизаветы? Как вообще могло сделаться так, что он пустил Людку на водительское место? Почему он не крутанул руль на себя, чтобы свернуть с дороги и затормозить о столб или в забор Ермаковых? Ведь за мгновение до удара он понял, что столкновения не избежать. Почему не сделал этого?

Не было никакого замедленного кино. Это сейчас могло казаться, что вечность прошла с мига, как Людка нажала на акселератор, до того, когда он закричал «Тормози!», а потом еще вторая вечность до удара. Людка с перепуга вместо тормоза жала на сцепление и одновременно газ. Машина не остановилась, а лишь взревела на отпущенном сцеплении. Все быстро. Асфальтовая дорожка от поворота до клуба. Чья-то белая рубашка, глухой удар, потом еще один, уже не такой сильный, и крики. Машина проскочила дальше, и только у пожарки Андрей крутанул руль и отправил «москвич» в кювет. Он выскочил из кабины, выбрался из канавы и рванул к клубу. Навстречу ему уже бежали. Его схватили за рубашку, за руки и потащили за собой. Никто не понял, что он не сидел за рулем. Впрочем, какая разница, кто сидел?! Это был его автомобиль и его вина. Только его.

Когда подвели, девочка уже не дышала. Чуть поодаль на земле сидел незнакомый мужик, чей-то родственник в испачканной белой рубашке, обхвативший руками голову. Женщины с остервенением набросились на Андрея. Закричали. На его голову и спину сыпались удары. Те, кто держал его, наконец, отпустили, и вот уже он почувствовал ярость мужских кулаков. Кто-то со всей силы толкнул его ногой в спину, Андрей упал. Он не защищался, только, сам того уже не желая, прикрывал голову руками.

И сейчас, на ступеньках балка, обхватывал ладонями голову, словно старался защититься от воспоминаний. Вскрикивала северная птица. Андрей смотрел на часы, вздыхал, поднимался и шел за водой на водораздел к ближайшей болотине. Возвращался с двумя полными ведрами, ставил кастрюли на решетку и треногу. Он отмерял положенное количество гречневой крупы, забрасывал в кастрюлю. Откручивал тугую пробку паяльной лампы и аккуратно, чтобы не расплескать бензин, лил тоненькой струйкой в маленькую железную воронку. Слепни кусали в шею и руки. Потом накачивал насос паяльной лампы и вставлял ее в раструб треноги. Эти простые действия успокаивали. Просыпались мужики. Из балка появлялся Егор с приемником в руках, вешал его на опору навеса кухни, долго крутил ручку, настраивая на новости.

«Радиостанция "Голос Америки" на коротких волнах», — разносился над тайгой бодрый голос из-за океана. — Вы можете слушать наши передачи на частотах...» Закипала и начинала пыхать под крышкой каша. Трилобит закуривал «Астру» и, не вынимая сигареты, брился перед маленьким карманным зеркалом, прислонив его к алюминиевой миске. В этом сезоне он отращивал шкиперскую бороду.

Каждый день было так. Только воскресенье считалось полувыходным, вставали поздно, полседьмого, а бурили только до обеда. Вообще, несмотря на жару, работа спорилась. Они уже сделали больше, чем планировали, и Андрей подумывал, чем черт не шутит, авось удастся закончить проходку и заактивировать скважину уже на этой вахте. А если повезет с бортом, сможет он побыть с женой и дочкой две недели вместо одной.

Трилобит, видя, что Андрею хочется к жене и дочери, старался пуше обычного, гонял рабочего. Сезонник, как и Сергей Сергеич, был из старых теребянковских кадров, но нездешний. Каждую весну приезжал он в Инту из Салехарда, с той стороны Оби. Немногословный сорокалетний мужик, тоже бывший сиделец. Звали его по-староверски Митрофан, но имя со временем сократилось вначале до Мифы, а потом и до простого Миха. Был он мужик честный, но неторопливый, с ленцой, что для северов в рамках приличий. Больного не корчил, от переработок не ныл, но делал только то, что скажут, и ни движения больше. Говорил мало, разве что по делу или только если считал нужным. Для бывших зеков, особенно тех, у кого сроков набиралось больше двух, это считалось нормальным. Сидел Миха трижды. Первый раз — коротко, год, а потом, как рецидивист, уже по три. Всякий раз отправлялся он по этапу за одно и то же: избивал смертным боем отчима, ломал о спину того то черенок от лопаты, то просто палку. Отхаживал ногами, да так, что того отправляли в больницу, а Митрофана везли на суд и опять на зону. Доставалось отчиму за непочтительное и грубое отношение к матери. На зоне Миху уважали. Он бы и в очередной раз угодил, но Божьим промыслом отчим помер сам, украв у матери зарплату и перепив самогонки, пока Миха отбывал третий срок. С тех пор прошло уже десять лет. Был Миха на хорошем счету у Теребянко, который на вопрос кадровички каждой весной приказывал: «оформлять».

Выглядел Миха примечательно, таких тут называли «чудики» или «чума». На голове копна рыжих, расчесанных на прямой пробор выющихся волос, очки в замотанной изолентой роговой оправе с толстыми стеклами, из-за которых глаза казались чуть на выкате. В нерабочее время, сняв сапоги, Миха переодевался в черные лаковые ботинки, в которых ходил и за грибами, и на рыбалку. Ботинки всегда выглядели новыми. А может быть, Миха просто достал где-то несколько одинаковых пар. Северный завоз непредсказуем.

— Говорят, под Сыней старые зоны расконсервировали, — сказал Миха как-то в воскресенье, когда Егор, споря с радио, вдруг завел за завтраком разговор о Солженицыне и ГУЛАГе. Егор называл себя демократом и время от времени проводил среди своих политинформацию.

— Что значит «расконсервировали»? — язвительно поинтересовался Егор.

— В шестерку, например, привезли пять платформ досок и бруса, поменяли полы в закрытых бараках, окна новые вставили. В двенадцатой крыши шифером покрыли, вокруг бараков покосили. Засыпали свежий шлак, вышки новые подняли, на сваях. Дороги грейдером выровняли, гудроном законопатили, — монотонно перечислил Миха и потянулся за томатной пастой, чтобы залить ею накрошенный в гречневую кашу репчатый лук.

— Откуда знаешь? — удивился Егор. Андрей тоже посмотрел на рабочего с интересом.

— Рассказывают, — Миха размочил армейский ржаной сухарь в чае и теперь обильно посыпал его сахаром.

Все смотрели на него, ожидая продолжения.

— Ну а что тут рассказывать. Лесопилки в Инте и Кожиме под завязку в работе. Весь распил идет в Сыню. В Сыне на старых фундаментах три офицерских барака построили. Говорят, в Харпе то же самое. Но про Харп сам не знаю, может быть уже и слухи. А вообще, слухи всякие ходят, но по всему понятно, что готовят все к массовым посадкам.

— Да что ты городишь?! — Егор вскочил из-за стола и выключил приемник, который потерял волну и теперь громко шипел под брезентом кухонного навеса.

— Какие посадки? Перестройка! Ты понимаешь, что происходит? Перестройка, — он произнес последнее слово по слогам.

Миха не ответил, впился зубами в сладкий бутерброд и прикрыл глаза, наслаждаясь.

— Бреднятина! Фантазия какая-то, — волновался Дейнега, — Англичанин, ну скажи ему, какие посадки? Какие? Не тридцать седьмой, а девяносто первый! Уже невозможно. Посадки они какие-то выдумали. Ну, пусть отремонтировали какую-то зону. Что с того? Надо иногда ремонтировать. Небось, из-за совдеповского раздолбайства там с хрущевских времен ремонта не делали.

Андрей промолчал. Он вдруг решил, что Егор просит его поучаствовать в споре не как друга, а как бывшего осужденного. И это ему не понравилось, показалось обидным.

Надо сказать, до Андрея еще с весны доходили слухи о «расконсервации». Вдруг появилось это слово. Странное, непривычное для этих мест, опасное, как все незнакомое. Слово-захватчик, сразу заполнившее собой разговоры на кухнях и в очередях, казенное, будто из некой бумаги, директивы, указания: «р а с к о н с е р в а ц и я».

Ходили слухи о новой железнодорожной ветке, что размечали от Сыни на запад, под углом к существующей узкоколейке на Усинск. Дескать, видели в тех местах несколько бригад топографов, не приписанных ни к рудуправлению, ни к ВоГЭ, ни к лесоустроителям.

Сложно сказать, что было правдой, а что фантазией. Но в самой Сыне ремонтировали котельную. От пилорамы, где Андрей покупал доски для семейного ложа, раз в два дня громыхал до шахты жестяными бортами груженный досками «КраЗ», там стояли под погрузку железнодорожные платформы. В гостинице рудуправления с апреля поселились офицеры. Они ходили по городу в повседневной форме с черными погонами и лычками

инженерных войск, но никто не сомневался, что это войска МВД, новая лагерная охрана, а черные погоны у них, «потому что секретность».

Начальник кожимского склада воркутинской экспедиции Вадим Соломонович Резин, худой и скользкий, как густера, еще из гулаговских, легенда и персонаж здешних анекдотов, отпуская по накладной на бригаду Андрея три коробки тушенки говяжьей, три коробки тушенки свиной, сгущенного молока коробку, два пакета сухарей армейских, мешок сахара, два ящика консервированного рассольника, два ящика борща, шесть кило конфет «коровка», коробку печенья «юбилейное», коробку супа сухого «сборный», шестнадцать пачек грузинского черного байхового, первый сорт, рязанской чаеразвесочной фабрики номер два, сплюнул в пузырящуюся пыль и, глядя куда-то в сторону рудника, проскрипел, проскрежетал шестернями кадыка, выдавив меж своих железных зубов: «Говно опять удумали. Все неймется». Андрей вроде и понял, про что говорит Соломоныч, а значения не придал. Какая разница? Его не касается, а и без того сна нет.

Про Соломоныча поговаривали, что служил он не то начальником лагеря, не то большим чином в системе ГУЛАГ. Однако оказалось это все фантазией интинских вахтовиков. Как-то Андрей разговорился со стариком и узнал, что тот еще мальчишкой попал на зону из Ленинграда, да так с этих мест и не двинулся. Женился, родил и уже схоронил сына, потом жену. Женился во второй раз, двух дочерей от второго брака отправил учиться в Москву. Они остались в столице, звали к себе. А он прирос к этим местам, где в вечной мерзлоте могилы обеих жен и сына.

Андрей давно заметил, что слухи на северах быстрые, но какие-то бестолковые. В каждом либо страх, либо надежда. Авось, если не рухнет, вот-вот и пойдет совсем по-другому, наладится жизнь, увеличат зарплаты, удвоят северные, откроют новую шахту или горную выработку, протянут железнодорожную ветку через хребет от Сыктывкара на Ханты-Мансийск или автомобильное шоссе до Воркуты аж от самой Печоры. Север, некогда гордый, уверенный в себе, богатый, теперь подобно погорельцу заглядывал в рот всякому пришлому начальству. А проку от того начальства никакого. Приезжают болтуны из Москвы и болтуны из Сыктывкара, сгоняют народ на собрания, где столы против привычного почему-то не покрывают красной тканью. Говорят часами про всякое, для этих мест непонятное. Приезжие обещают ненужное, записывают в свои блокнотики вопросы из зала, обещают разобраться и уезжают. Ни имен их никто не запоминает, ни должностей. Но уже на следующий день рождаются слухи, в которых всякий может найти утешение. И людям тут, если есть надежда, все едино: правда то или какая закука.

Но бродящая промеж бичей и кадров болтовня о расконсервации раздражала. Слух перерос в молву, а Теребянко говорил, что молва во время вахты мешает, снижает выработку. Теребянко в этих вопросах можно было доверять.

— Хватит уже, — Андрей встал из-за стола, отставив миску, — Сергеич, у тебя подъемный блок не скрипит, а воет уже. Рабочему пора на буровой быть, десять минут восьмого.

Егор удивленно посмотрел на друга. Андрей не любил командовать. Старался избегать повелительного тона, стеснялся своего начальственного положения старшего бурового мастера.

Трилобит с Михой ушли. Егор тщательно выскоблил миску и посмотрел на Андрея.

— Ты чего на своих взъелся? Нервный какой-то стал. Ночами не спишь. Случилось что?

Андрей махнул рукой, мол, ерунда, отвернулся от стола, поставил ногу на скамейку и стал перематывать портянку. Пусть и была между ними искренность, однако Егор про аварию знал лишь, что кто-то погиб, а Андрей получил судимость. Знал от жены, та от сестры, но выведывать подробности у друга не решался — захочет, сам расскажет. Андрей не рассказывал.

Дейнега, видя, что товарищ не в духе, зашел на буровую, посмотрел, как Трилобит прокаливает на паяльной лампе свечи бурового станка. Вернулся в лагерь, покрутил колесико настройки приемника, выкурил несколько сигарет, наконец собрал рулетку, буссоль, молоток, уложил в рюкзак топор и заготовленные заранее колышки, налил в термос чай и отправился к реке размечать площадки под шурфы и канаву.

Андрей ждал связи. На буровой Миха ритмично звякал молотком о замок буровой трубы. То и дело доносился матерок Трилобита, следившего за работой. Гнус, просушивший крылья, гудел уже ровно и монотонно за стенками балка, заглушая рацию. Пусть в эфире было полно народа, однако поисковые партии, буровые, бригады шурфовиков по неписанному правилу ждали, что заговорит База. Наконец Кожым «проснулся».

— «Сова три», «Сова три», — это «База», прием! — сквозь шелест помех раздался голос Теребянко.

— «База»-«База», на связи «Сова три», — Фёдор звучал уверенно, словно станция стояла на соседней опушке, а не в сорока километрах.

— Фёдор Григорьевич, мы к тебе послезавтра, вторник-вторник, как понял?

— Понял тебя, Егор Филиппыч. Как прибудешь?

— Вездеходом от Тёзки с Заострённой.

— Понял-понял, Егор!

— «Сова три», конец связи.

— «Сова девять», «Сова девять», прием!

— Здесь «Сова девять»! — Андрей держал танкету «Карата» на вытянутой руке, иначе старая рация начинала коммутацию и переходила на свист и вой.

— Англичанин, завтра жди у себя. Привезу Коробкиных и топографа. Рабочего своему скажи, что на сутки он с топографом, вешку таскает. Как понял? Прием? У Тёзки все готово?

— Понял, «База»! Понял. У Дейнеги полный порядок. Личных нет?

— Личных нет, «Сова девять». Твои, Англичанин, здоровы-здоровы, видел вчера. Конец связи.

И то ли от того, что Теребянко видел вчера Дарью и Варвару, то ли от завтрашнего рейса к ним вездехода с известнейшими на весь Полярный Урал братьями Коробкиными — проходчиками во втором поколении, балагурами и матершинниками — стало вдруг у Андрея на душе легче.

Коробкиных уважали по всей ВоГЭ. Было их три брата, все служили на проходке с юности, переняв опыт отца, который копал шурфы да канавы по низовьям Колымы еще с сорок четвертого. Коробкин-отец родился в Печоре, оттуда и призвался в сорок втором на фронт. После контузии под Сталинградом завербовался вольнонаемным Дальстроя за Обь. Работал по олову. Если бы числился в штате Управления, то вместе со всеми получил Госпремию, а так только копил квартальные, да посылал мальчишек после шестьдесят пятого через профсоюзы на все лето в Крым, в лагерь «Орлёнок». В конце шестидесятых переехал с семьей в Инту. А как выросли пацаны, так пристроил их Коробкин

к ремеслу. Все низкорослые, коротконогие, с широкими грудными клетками, сутулые, длиннорукие, с огромными мозолистыми ладонями. Словно зачатые не русским мужиком и бабой-комячкой, а прямо проросшие из крови горных троллей, чухонской каменной пуголищи.

Коробкина-отца Андрей не застал, только слышал о нем рассказы. С братьями же сталкивался регулярно. Давали Коробкины главную выработку экспедиции, всякий раз выполняя и перевыполняя. За сезон получали каждый по красному вымпелу, грамоте и премии. Грамоты сдавались матери, которая вкладывала листки в огромный обшитый бархатом альбом, а вымпелы вешались в общий их сарай, в котором без движения третий десяток лет стоял отцовский автомобиль «победа». Автомобиль был в полном порядке, регулярно заводился, аккумулятор на зиму относился в тепло, но права брата не получили, потому дальше, чем до конца гаражей, машина не двигалась. Все трое почти не пили, хотя, посмотрит случайный пришлый человек на их красные, обветренные лица, да что там лица, рожи, образины, так и подумает: «Колдыри!»

Но четыре раза в год Коробкины позволяли себе выпить, и изрядно — на Новый год, на день рождения отца, в марте, удивительным образом совпавший с днем смерти Вождя всех народов, на День шахтера в конце августа, и в октябре — на День Конституции. Еще в армии привыкли они, что День Конституции — большой праздник, когда в столовую и из столовой ходят не в ногу, выполняя команду «сбить шаг», приветствуют офицеров не отданием чести, а кивком головы. В этот день во всех воинских частях и гарнизонах огромной страны не по уставу, а по традиции, разрешалось солдатам-срочникам вспомнить, что они граждане, равные в правах с офицерами, и государством любимые дети. Потому и был тот день праздником свободы и радости, в столовой на ужин давали не жареную селедку, а хек или треску, а после ужина показывали кино про Зорро.

В марте и октябре Теребянко специально приезжал на точку, где копали в этот момент Коробкины, чтобы своим присутствием вселить в братьев уверенность и покой, что начальство безобразий не допустит, потому и чинить их не надо. А вот День шахтера брата встречали в городе и гудели вместе со всей Интой, однако под контролем жен и матери.

В конце октября Андрей пригласил братьев Коробкиных на свадьбу. Коробкины пришли, обернутые в новые полусинтетические костюмы, как в целлофановые пакеты, в белых рубашках, из которых торчали темные, жилистые шеи, и при галстуках. Сунули, стесняясь, молодым в руки подарки в плотной красной бумаге, перевязанные шелковыми лентами.

— На эта, ёксель-моксель, Англичанин. Андрей и Дарья, то есть, с праздником вас, — не то хором сказали, не то каждый слово в слово повторил.

На свадьбе к спиртному не притрагивались, хотя Витька, раздухарившись, все порывался налить, больше молчали, даже когда все кричали «горько», только улыбались, и лишь когда начались танцы, аккуратно покачивали своих жен «под итальянцев». Теребянко усадили во главе стола, на почетное место, рядом с родителями Андрея, говорил он главный тост, долгий и серьезный, в котором было и про молодых, и про работу, и про Север, и «про патиссоны». Тост был похож на речь и, если бы в конце сам Теребянко не гаркнул «Горько!», гости принялись бы аплодировать.

Платье на свадьбу заказывали в Воркуте в ателье. Шили по выкройкам из польского журнала мод. Выбиралось оно с расчетом, чтобы скрыть округлившийся живот невесты.

— Ты что, дурища, краснеешь? — шептал Андрей в ухо Дарье, когда они танцевали танец молодоженов.

— Живот виден. Решат, по залету.

— Кто решит, глупая? Это не про нас. Кто из деревни, ты или я? Ты какая-то строгая.

— Невеста в положении, некрасиво.

Но то ли платье справлялось со своей ролью, то ли гости все были сплошь люди деликатные, то ли действительно никого это тут не волновало. Женятся любящие друг друга люди, и хорошо, и правильно.

Тогда же, на свадьбе, вышел он покурить на улицу, и не то ветром хлестнуло его по щеке, не то злой памяткой, вернувшейся болью.

— Что грустишь, Англичанин? Устал? — Витька в шутку стукнул кулаком Андрею в поясницу, закурил и развел плечи, разминаясь навстречу ветру. — Эх, весна бы уже поскорее! А свадьбу, как зиму, всегда перетерпеть надо, потом уже нормальная жизнь начнется, полный кроссинговер.

И этот дурацкий Витькин «кроссинговер» рассмешил Андрея. Он вернулся в ресторан и уже весь вечер отплясывал с Дарьей под «Землян» да «Modern Talking», стараясь аккуратно прикрывать живот невесты от случайных толчков. К полуночи свадьба выдохлась. Дейнега, весь вечер говоривший тосты и балагуривший наравне с приглашенным ведущим-тамадой, вдруг уснул, положив руки на стол. Тербянко о чем-то тихо разговаривал с отцом Андрея. Они наклонили друг к другу головы, и отец, как обычно, когда волновался, то брал, то вновь клал на стол вилку. Пионеры, бывшие сокурсники Андрея, обнявшись с одноклассниками Дарьи, перетаптывались под «медляки» в центре зала. Рядом в одиночестве самозабвенно выкручивал странные танцевальные па Витька. Со своей кучерявой головой, в расстегнутом черном пиджаке, в рубашке, выпроставшейся из-под брючного ремня, он был похож на циркового пуделя, позабытого дрессировщиком в кабаке и выполняющего какой-то однажды заученный номер. Он то поднимал обе руки вверх, то вдруг словно отталкивал кого-то, то вдруг принимался кружиться на месте, задрав подбородок и прикрыв веки.

Наталка сидела тут же, повернувшись спиной к столу, и смотрела на мужа. На соседнем стуле примостился изрядно нетрезвый директор училища, Борис Борисович. Он что-то рассказывал, то и дело отирая лысину ладонью.

— Как напьется, дурак-дураком. Смешной же, — кивнула Наталка на мужа, когда Андрей сел рядом и налил себе в стакан сок.

Андрей улыбнулся.

— Краснов, ты у меня лучшего сотрудника увел. Точнее выражаясь, — директор срыгнул, прикрыв рот рукой, — сотрудницу. И вот, декрет теперь, потом еще декрет, потом еще. Кто работать будет?

— Наталья Михайловна, идите к нам работать библиотекарем! — директор вдруг обнял Витькину жену за талию и придвинулся ближе. — Вы уютная женщина, все у вас правильно, все ладно. Одеваетесь по моде. Образование не главное, главное — это характер и прилежность. А я чувствую, что вы прилежны.

— А ну-ка, лысый хер! Руки убери свои! Руки, я сказал!

Витька в два шага добрался до жены и теперь рвал с плеча пиджак.

— Не понял, молодой человек. Вы по какому праву со мной так разговариваете? Вы, собственно, кто такой? — Директор поднялся со стула.

— Я тебе, блевота, сейчас объясню права, — Витька наконец справился с пиджаком и схватил директора за галстук.

Откуда-то со стороны гардероба бежали Коробкины, на бегу срывая шапки. Младший, Жека, уже кричал: «Ща я этого таксера урою!».

— А ну стоп! — Откуда ни возьмись, возник Теребянко, оттеснил Витьку и заслонил собой директора.

Наталка уже держала мужа за руку, а тот с красным лицом с шумом выдыхал из ноздрей воздух, словно бы что-то попало в нос и теперь мешало.

— Борис! Нажрался, веди себя прилично! Огребешь, потом бюллетенить станешь. Здесь не училище, здесь на должность не посмотрят, — сказал он, обернувшись и смерив взглядом директора, который застегнул на все пуговицы двубортный пиджак и теперь поправлял галстук.

— А ты мне не начальство, — огрызнулся директор, но чувствовалось, что прыть с него слетела, однако хмель остался.

— Раскомандовался! Я тут вообще по приглашению жениха, лучшего выпускника училища, медалиста. И если какой куртуазности не знаю, то я человек рабочий, сам передовик. И не люблю, когда мне тычут, да еще и грубят. Я Наталье Михайловне должность предлагал в техникуме, вакантную должность. Она, как-никак, дочь шахтера, моего товарища, можно сказать. Ныне покойного, конечно. И я чувствую некоторую ответственность за ее судьбу, как товарищ отца, покойного нынче. Вот молодой человек мне нагрубил, пытался драку завязать, а ты, Егор Филиппыч, вместо того чтобы разобраться, унижаешь меня, выставляешь перед людьми каким-то алкоголиком или, хуже того, человеком неприличным. А у меня двое детей, жена, меня уважают в Сыктывкаре. В конце концов, я член парткома комбината, самой сильной партийной организации в районе.

— Уймись, — коротко сказал Теребянко, повернулся, посмотрел на братьев и жестом приказал им покинуть ресторан. Братья послушно побрели к выходу, где, подобрав широко разбросанные в пылу шапки и шубы, их уже ждали жены.

Сзади к Витьке подошел отец Андрея, приобнял его и Наташу за плечи:

— Пойдем, молодые люди, за стол. Надо закусывать. Все от того, что выпиваете, а не кушаете нормально. Стол прекрасный, угощения еще остались. Пойдем, Виктор.

— Пусть сначала извинится за свое хамское поведение, — сказал директор из-за плеча Теребянко.

— А ты чего мою жену лапал?

— Егор Филиппович! Ну, посмотри сам! Вот как так можно? Да я же. Она же покойного друга лучшего дочь.

— Лапал! — Витька вырвался из объятий отца Андрея и сопя заправлял в брюки выбившуюся рубаху.

— Молодой человек! Виктор, если не путаю, — обратился Теребянко к Витьке, — это недоразумение. Не станем портить праздник молодоженам.

Андрей все это время сидел, положив локоть на стол, и смотрел на происходящее со стороны.

Тут он поднялся, оказался выше всех ростом и шире в плечах даже старшего брата Коробкина.

— Пойдем, сказал он Витьке, и вы, Борис Борисыч, присоединяйтесь, выпьем мировую. Спасибо обоим. А то действительно, — он прищурился, — женщины уже волновались, что за свадьба без драки! Теперь традиция соблюдена, пора и закусить.

Все рассмеялись. И после этих слов Андрея сразу стало всем спокойно и

хорошо. Пионеры опять обхватили девушек и закачались под музыку, а остальные вернулись за стол.

— Молоток, Англичанин! — Теребянко улыбнулся и протянул Андрею руку, — способность остановить или не допустить драки — хорошее умение на северах. Уверенность у тебя есть, мощь внутренняя. Продолжай в том же духе. Погоди, мы из тебя здесь начальника сделаем. Умеешь с людьми разбираться.

— С людьми умею. С собой не получается, — ответил Андрей и встретил вопросительный и внимательный взгляд Теребянко.

10

В день приезда начальника и Коробкиных буровую запустили в пять утра и уже успели пройти до завтрака семь с половиной метров.

Вездеходчики с ночи гнали машины по тундре, а потом пробирались через проплешины тайги с той стороны водораздела по старой вездеходной дороге, выходящей на просеку. Рыканье двигателей стало слышно во время завтрака. Дейнега вдруг замер, перестал стучать ложкой о дно своей персональной эмалированной миски и поднял вверх палец, призывая к вниманию. Ветер донес эхо перегазовок со стороны Заострённой.

— По реке что ли идут? — покачал головой Трилобит. — Странно.

Все знали, что по реке в этих местах вездеход не пройдет. Каждые двести метров реку била судорога перекатов и берега сжимались в узкий каньон. Но это было только далекое эхо, по многу раз отраженное от каменных ребер гряды. Лишь через тридцать минут, подминая под себя тонкие, невезучие березки, в трех сотнях метров от лагеря выбрались из тайги на просеку два желтушного цвета экспедиционных ГТТ и один грязно-зеленый МТЛБ, тот, что тут называли «лягушка» и который считался персональным транспортом Теребянко. Разбрызгивая вокруг себя роскошное рычание двухсотильных движков, вездеходы по заросшей просеке, что по ровному проселку, ринулись в сторону балков.

— Торопятся. Вон как дымом пыхают, — проворчал Трилобит, встал из-за стола и отхлебнул какао из алюминиевой кружки с обмотанной изолентой ручкой. — Видать, Филиппыч уже спозаранку водил нахлобучил. Жди, Англичанин, и тебе сейчас прилетит от щедрот начальства.

Сергей Сергеич имел свои особые приметы на все случаи жизни. Казались они на первый взгляд диковинными, но на изумление Андрея работали.

Например, если при погрузке харча на складе оказывалось, что сигарет с фильтром хоть закуришь, тут тебе и «Стюардесса», и «Опал», и «БТ», и даже какие-то экзотические корейские с иволгой на пачке, Сергей качал головой:

— Опять конфет нам не достанется.

И верно, оказывалось, что любимых конфет «подушечки» на складе не было, предлагали только засохший, неразгрызаемый «Старт».

Иногда Андрей разгадывал «приметы», иногда парадоксальное мышление Трилобита ставило его в тупик. Иной раз несколько дней кряду размышляя над странной логикой помбура, он не выдерживал и просил объяснить. Всякий раз Сергей Сергеич поражал.

— А что тут сложного? Сигарет болгарских навезли двадцать коробок, значит, спрос на них будет. А кто их тут курит?

— Кто?

— Кто-кто, — передразнивал Андрея Трилобит. — Геофизики да всякая другая интеллигенция. Сигарет много, значит не только сыктывкарцы, но и

ленинградцы приехали, а у них самогонный аппарат и фляга тридцатилитровая. На чем они самогон ставят? На карамельках, на подушечках. Вот и тью-тью подушечки. Тут никакого секрета.

Вездеходы остановились на вертолетной площадке, не доезжая балков, разом заглушили двигатели, чтобы случайно не помять скарб бригады, разбросанный среди кустов карликовой березки и гнилых пней.

Когда выключает человек свое шумное и гордое железо, тайга молчит с полминуты обиженно, а лишь потом с яростью жены, у которой муж, напившись на чужие, всю ночь храпит в сенах, обрушивается на человека всем своим гудом гнуса, ропотом верхушек елей, постуками, клеканьем далекой воды и дребезгом ветра, запутавшегося в антенне радиостанции. И пока не выскажет свое, не отбранил, то и не уgomонится.

Теребянко прыгнул с борта, поздоровался со всеми за руку. Махнул рукой Коробкиным, чтобы выгружались, и прошел в столовую. Стол к его приезду освободили от посуды. Теперь на вымытой и протертой досуха клеенке лежали стопкой документация по скважине и полевые журналы Дейнеги.

Теребянко внимательно просматривал каждую тетрадку, слушал, что Дейнега рассказывает о заложении канав и шурфов на левом берегу реки, рассматривал построенные Егором разрезы.

— Ладно, — наконец сказал он. — Тут все понятно. Для очистки совести подсчете границы слоев и айда к Фёдору на Шарью. У него аномалия перспективная, прямо по разлому. Они уже с магнитометрами отбегали, теперь провода тянут. Насчет трубки не уверен, но вполне может быть погребенная россыпь. Как-то уж все складывается.

Он достал из кармана разломанную пополам пачку «Казбека». Выудив папиросу с длинным мундштуком, продул и постучал гильзой о ноготь большого пальца. Задумался. Все молчали.

— Англичанин, — наконец начальник обратился к Андрею, — какая у тебя техническая скорость получается?

Андрей пододвинул к Теребянко журнал проходки. Тот полистал, облизывая губы, куря и складывая дымок в мудреный крендель. Наконец закрыл журнал и покачал головой.

— Загонишь если не людей, то технику. У меня один ухарь уже два буровых станка за сезон запорол. Из твоих, кстати, из пионеров. Тоже торопыга выискался. Кто вас учил по две с половиной смены в день гнать? Вам Борисыч такое преподает? Тогда зря твоему Витьке не позволил по шее этому пролетариату умственного труда надавать. Или собственная инициатива?

Андрей молчал.

— Чтобы в последний раз я такое видел. Уволю к чертовой матери, отправишься в Крым патиссоны окучивать. Больше двух смен по шесть часов люди у тебя работать не должны. По пятнадцать часов у него пашут, как на заводах Форда до забастовок. Профсоюза на тебя нет. Ты куда гонишь?

Андрей потупился.

— А я смотрю, судя по тому, как Дейнега керн описывает, рейсовая скорость у буровой — вторая космическая. А тут вон чего творится. Он от земли оторвался и в мечты улетел. Хочешь домой к жене и дочери, скажи, выпишу отгулы.

Когда Теребянко кого-то распекал, остальные делали вид, что их рядом просто нет, боялись пошевелиться. Но тут кто-то громыхнул на складе коробкой с консервированным супом.

— Кому там неймется? У нас производственные вопросы.

В палатку заглянул Миха с виноватым лицом.

— Я тут продукты актирую, Егор Филиппыч, — сказал он, поправляя очки и щерясь.

— А ну-ка иди сюда, Митрофан, — приказал Теребянко.

Миха нехотя вошел в палатку, предвкушая, что сейчас будут ругать его, но не понимая за что. Была на нем красная, огненного цвета рубаша, по случаю приезда начальства брюки со стрелками и лакированные ботинки.

— Вы по сколько часов в день работаете?

— По пятнадцать, иногда по шестнадцать.

— Это по две с половиной смены?

— Почему две? Утренняя у нас короткая, а вечерняя длинная. Ну и хвостик там еще, — ответил Миха невпопад.

— Какой хвостик? Леминга? — Теребянко вопросительно наклонил голову, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

— Ну, если жара спадет, то чуть-чуть еще доделываем. А что? Хорошо идем, Егор Филиппыч. Премия будет хорошая.

— Еще один стахановец, — Теребянко опять закурил и вроде внешне подобрел. — Хвостики у них. Если бы мог, приказ вывесил, что больше двух смен подряд работать запрещено. Только я и такой приказ не могу отдавать, мне «охрана труда» за это по шапке накидает. Однако устно требую не гробить технику, работать не больше двенадцати часов в день, после чего регламент и отдых станку. Понял меня, Англичанин?

Андрей кивнул. Он не то что не привык, когда его ругают. Он вдруг с удивлением почувствовал, что ему все равно. Пусть несправедливы слова начальника, пусть и похвалить по-хорошему бригаду надо, а не ругать, но спорить не хотелось. Онемел он вдруг дремучим зековским молчанием, тем, что помогает по первости перетерпеть на зоне, а потом остается с человеком, ходит за ним, ждет словно часа, когда станет единственной силой.

— Вон Коробкиных тоже дома ждут, — Теребянко отхлебнул из поданной Михой чашки ржавчину грузинского чая с брусничным и малиновым листом.

Коробкины подняли взгляды от земли и заулыбались, показывая, что да, ждут их дома, ёксель-моксель, и даже очень ждут. У каждого жена и двое ребятишек.

— Этим только волю дай, вообще всю вахту до нар не доберутся, даром что трое. По очереди прямо в шурфах перекемарят да и потащат опять породу на поверхность. Нам такие подвиги ни к чему, у нас не золотая лихорадка и не дикий Запад. У нас обычный Север, место, куда синяя стрелка компаса указывает. Усек, бригадир?

— Так точно, — отчего-то зло и по-военному ответил Андрей, словно сбил шелчком с рукава невредную, но досадную гусеницу.

— Ну и славно, — Теребянко недоверчиво посмотрел на Андрея. — На вот, — он протянул через стол нечто тяжелое, завернутое в фольгу.

В свертке оказались жареные Дарьины пирожки с брусничным вареньем, которые тут же разделили на всех.

Через час Миха ушел с топографом и Дейнегой привязывать шурфы, а Трилобит с Андреем запустили буровую. Теребянко возник на краю поляны, обошел установку, понаблюдал, как работают, побродил вдоль ящиков с керном, достал несколько кусков, мигнул в лупу, поковырял ногтем, капнул пипеткой

из маленькой баночки, потом сплюнул жеваный окурок в березку и отправился к реке.

После ухода Теребянко стало спокойнее. Вдвоем молча дотянули смену до конца, заклинили и сорвали керн, остановили промывочный насос, отпустили патроны станка и начали медленно поднимать колонну, труба за трубой. Андрей двигался неторопливо, колготился заученными движениями, однако казался больше обычного растерянным и раненным своими мыслями. Сергей Сергеич молча надевал элеватор на верхний паз замка, ждал, когда Андрей поднимет трубу лебедкой, вынимал подкладную вилку, затем вновь вставлял в замок, но уже в нижнюю прорезь муфты, после чего включал трубооборот. Андрей отправлял свечу вверх. Свеча шла с уютным, чуть подвывающим звуком, словно сотня комаров размером с небольшого зайца закручивалась воронкой над буровой. В какой-то миг он зазевался и пропустил момент выхода замка из устья, всполошился звонок на верхушке мачты. Сергеич выругался и зыркнул на мастера. Андрей, словно очнувшись, остановил колонну, оглянулся по сторонам, встретился с сердитым взглядом помбура и развел руками, мол «с каждым бывает». Дальше он уже не ошибался. Выбрав колонковый набор, поднял и уложил керноприемник, дождался, пока Сергеич освободит и разберет по ящикам керн, показал руками, что работа окончена. Трилобит заглушил двигатель. В оглохшей тишине где-то снизу у реки лопнул дуплетом «ижак» Дейнеги. Андрей приподнял брови и вопросительно взглянул на Трилобита, тот кивнул.

— С грибами и сухим молоком потушу, — сказал он задумчиво.

Умывшись по пояс под рукомойником, переодевшись в свежую энцефалитку, Андрей оставил помбура «шаманить» торжественный обед, а сам взял спиннинг и поспешил к реке. Навстречу по просеке, бухая о тропу закатанными болотными сапогами, широко шагал Егор. Заметив Андрея, Дейнега по обыкновению поднял над головой руки с добычей. В каждой он держал по небольшому тетереву.

Молодые тетерева к концу июля еще не нагуляли жир и размером не отличались от цыпленка бройлера, но мясо их было нежным, потому тетерев считался хорошей добычей, не в пример рябчикам с куропатками. Тех на Гряде водилось в изобилии, и подстрелить их большой удачи не требовалось. Впрочем, Андрею нравилось свистеть в манок, замирать, прислушиваться, стараясь среди гула тайги различить ответный пописк.

— Как дела? — поинтересовался Андрей у друга.

Дейнега махнул рукой.

— Привязались. Фихман хороший топограф. Раз-два, ход пробежал и замкнулся на репер. Я им с Теребянко ямку показал под скалой, хариуса на вертушку ловят. Пижоны. Мелких отпускают.

Покурили, поговорили об охоте и разошлись. Андрей спустился к реке. Заострённая в этом месте делала две петли, то раскрываясь в плес, то каменными ладонями перетирала стремнину подобно налитому колосу, то вдруг путала белую леску струй неровной ячеей каменной сети. Шумная, спешащая расхохотаться эхом в вымоинах река раскидала вдоль левого берега глухие ерики, в ямках которых стоял на глубине серебристый хариус, непуганный никакой снастью, скорый на расправу что с мальком, что с блесной. Иная рыба под два килограмма сгибала спиннинг пополам.

Фихмана Андрей увидел сразу, как вышел на узкий каменистый пляжик, отделяющий небольшой затон от остальной реки. Топограф стоял, широко

уперев ноги в берег, и сосредоточенно сматывал леску на широкую катушку «Нева», вглядываясь в омут, где посверкивала в толще воды вертлявая блесна. Посреди реки оседлал большой камень Миха, пустивший по течению самодельную муху из перышек и пуха. Чуть поодаль на вросшем в берег, выбеленном и отшлифованном паводками бревне сидел Теребянко и писал в полевой журнал. Энцефалитку Теребянко снял. Она лежала рядом на камнях, аккуратно сложенная и придавленная планшеткой. Рукава клетчатой ковбойки были закатаны, и руки начальника ВоГЭ сплошь облепили комары, отчего даже издалека казались покрытыми густой шерстью.

Теребянко никогда не пользовался репеллентом. С конца мая, когда появлялся в тундре гнус, ходил он пару недель с опухшим лицом и руками, похожий на запойного, но когда отек спадал, насекомых уже не замечал. Кожа привыкала и не откликалась на укусы, словно дубела, превращалась в броню от солнца и ветра.

Теребянко поднял глаза от записей, заметил Андрея, идущего по кромке воды, и жестом показал ему на место рядом с собой. Андрей подошел и сел на плоский теплый камень.

— Значит так, — Теребянко закрыл журнал и перетянул его резинкой. — Думал, как начать разговор, не придумал, потому начну запросто. Отец на свадьбе рассказал и про срок, и про машину, и про девочку. Попросил приглядеть за тобой, потому как считает, что характером вы с ним похожи, а он совестливый.

Андрей сморщился и посмотрел за плечо Теребянко, где Миха вытаскивал из воды очередного хариуса.

— Так что, если думаешь, вроде как не в свое дело лезу, не серчай. Судя по тому, как скис и замкнулся, что-то внутри тебя разболелось. Если не печень, а ты непьющий, значит совесть, — это, считай, на всю жизнь. Для русского человека болезнь привычна. Здесь таких хроников каждый второй. Едут залечивать душевные раны.

Теребянко оглянулся, высмотрел на склоне среди осоки чахлый кустик багульника, потянулся к нему, сорвал несколько длинных маслянистых листочков, перетер между пальцами, поднес ладонь к лицу, понюхал.

— Слушай меня, Англичанин. Жить с такой совестью, как с простатитом: радости мало, но можно. Хотя много видел и дураков. Те отчаялись, все внутренности свои на оливье изрубили и сожрали без майонеза. Их не жалко, а вот жен их да детей жалеть приходилось. Самим же, как ни крути, конец один.

— Какой? — спросил Андрей.

— Обычно стреляются по пьяному делу, — Теребянко прищурил один глаз и наклонил голову, — или от той же водки мрут.

Они помолчали.

— Но это, Андрей, не про тебя, — Андрей поежился, Теребянко редко его называл по имени, — правильно, что работой глушишь. Это по-мужски. Только во взгляде равнодушие. По фигу тебе все стало. Если бы три года назад я тебя в поезде с таким взглядом повстречал, на работу не позвал бы. Мне отчаявшиеся не нужны. Может, случилось, что кончился в тебе Север и пора возвращаться домой к отцу и матери. Ты ведь не дичок, не перекаати-поле, ты парень основательный. Подумай. Мне, конечно, такого кадра потерять обидно. Но сезонником я тебя всегда возьму. Лучше опытный сезонник, который вкалывает по-честному, чем постоянный кадр, от которого и люди, и техника стонут. Жизнь разная, не всякая тоска — плохо.

Андрей, слушая Теребянко, на него не смотрел. Он снял сапог, вытряс попавшее в них крошево карликовой березки, вновь надел. Достал из внутреннего кармана куртки пачку сигарет, закурил.

— Чтобы в твоей жизни ни произошло, какая гадость или несправедливость, помни, что ты...

— Да помню. Советский человек, — не дал ему закончить Андрей.

— Мужик прежде всего. Когда совсем не могу, книжку читай или, — Теребянко понизил голос, — дрочи. Все едино поможет, от мыслей дурных отвлечет, авось и утешит. Говорят, еще молиться хорошо. Но про то я не понимаю, научный атеизм в институте прогуливал. Вот книжек тебе хороших привезу. Слышал, Федькину библиотеку по журнальчику всю за пару лет перетаскал. Геофизики давеча смеялись, что если завести формуляры, то ты бы во всех отметился.

Андрей улыбнулся.

— Ну вот и поговорили. — Теребянко хлопнул Андрея по плечу. — Своих не загоняй, себя береги. У тебя есть за кого отвечать. Лады? И думай. Отец с матерью у тебя не молодые уже.

Андрей кивнул и почувствовал, как от упоминания матери зашекотало вдруг за ушами и засвербило в переносице. Не то соринка, не то чепушинка, не то просто солнечный зайчик, скачущий между берегов, вынырнул из воды и юркнул под ресницы. И если бы в тот же миг позади Теребянко Миха не вытащил из воды большущего хариуса, не поскользнулся и, всплеснув руками, не свалился с камня, на котором стоял, оглашая скалы мудреным хохотливым матом, заметил бы начальник, как блеснула в уголке глаза Андрея слеза. А так вроде и не заметил, или виду не подал.

11

С середины августа неожиданно рано для этих мест открылись Карские ворота, холодный полярный ветер приносил ежедневно на Гряду то знобливую хмарь, то утренний заморозок, а то и настоящий снегопад, занавешивающий полосатую, яркую тундру белым тюлем. Андрей с бригадой две с половиной недели бурил на точке, где стояли лагерем шумные ленинградские геофизики из пятьдесят второй партии. Потом пять суток ждал борт в непривычной для себя праздности, пока геофизики заканчивали работы на дальних аномалиях. Теребянко бегал в Москве по коридорам министерств, пытаясь понять, какие перемены ожидать в финансировании. В это время открылись для полетов горы, и диспетчеры Интинского авиаотряда по своему усмотрению ломали график забросок.

В столице менялась власть, о чем говорили все радиостанции. Геофизики не пошли на профиля, а сидели по своим палаткам и выкручивали волну в приемниках. Буровую законсервировали и подготовили к зимней транспортировке. Ящики с керном, сложенные в штабеля, ждали на вертолетной площадке. Партия собиралась к перемещению на запад, ближе к Усе, на Большую Сарьюгу, где уже рыли шурфы Коробкины. Дейнега несколько дней хворал. В среду, пока Трилобит с Михой помогали Андрею снимать с буровой электроприборы и носить ящики с керном на вертолетку, Егор целых полчаса барахтался в ледяных водах Тальбейшора. «Ну и ухарь», — решил Андрей, когда, вернувшись в сумерках в лагерь, увидел Ивана, кипящего чай на их печке, и Егора,

зарывшегося в верблюжий спальник и, явно не в себе, декламирующего какие-то стихи.

— Бродский. Письма к римскому другу, — подкидывая очередное полено, сказал Иван. — Перекупался. Тридцать девять у него. Аспирина дал и еще горсть каких-то таблеток.

Фамилия поэта Андрею ничего не говорила, да и было это неважным. Он поставил ружье в угол и подсел к печке. За самодельным столом Борода, еще один однокурник Дейнеги, раскладывал пасьянс, крутил ручку настройки мощного «Альпиниста» Андрея, вылавливая убегающую волну, и попыхивал душистым заграничным табаком, который скручивал в самодельные сигаретки. Голос Америки транслировал выступление вернувшегося в Москву президента Горбачева.

Дейнега зашелся кашлем.

— Ты бы курил на улице, — раздраженно сказал Андрей, обращаясь к Бороде, — видишь же, хворает человек, ему и без того дышать тяжело.

Борода не стал спорить, накинул ватник и вышел из балка. Ночью Егору стало совсем худо, и Андрей подумывал, что надо будет утром вызвать санитарный борт. Но к утру температура спала, и приятель забылся сном. Днем приходил Фёдор, смотрел на спящего Дейнегу и качал головой.

— Что его нырять понесло? — спросил Андрей.

— На спор, — буркнул Фёдор. В пионерском лагере, наверное, привык все на спор делать да на слабо. И эти аспиранты такие же. Мальчишки! Оказались среди взрослых людей, а детство так и прет. Теперь, не дай бог, пневмония.

Егор проснулся к обеду, сделал над собой усилие и выбрался в столовую. Погрустил над миской с рассольником, расковырял картошку, кем-то из геофизиков переваренную почти в пюре, и вернулся в балок спать. К шести вечера ему опять сделалось худо, бредил, дышал громко и часто. На вечернем сеансе связи Фёдор вызвал санборт.

С самого утра, в субботу, накануне Дня шахтера, они вслушивались в небо. Казалось, то с одной, то с другой стороны доносится едва различимый шум винтов. Один раз они даже заметили далекий вертолет, идущий курсом на запад километрах в трех от места стоянки партии.

Оранжевый «Ми-8» с запачканным сажей хвостом прилетел к полудню и встал под погрузку с вращающимся винтом. Борода с Иваном, пригibas головы, с трудом преодолев струю воздуха, помогли приятелю залезть внутрь машины. Андрей загодя собрал пожитки Дейнеги в синий рюкзак, а ружье и рыболовные снасти упаковал во выючник, который вместе со своим перетащил к остальным вещам бригады. Они уже несколько дней лежали аккуратной горкой в углу вертолетной площадки, укрытые брезентом и готовые под погрузку. Андрей наскоро простился со всеми, обнялся с Фёдором. Знакомый пилот из кабины показывал знаками, что надо поторапливаться.

Они летели низко над яркой осенней тундрой, исчерченной ровными штрихами вездеходной колеи. Летели над тайгой, растерявшей свою силу в сутолоке за гряды с тундрой и верховыми болотами, поросшими мхом и карликовой березкой. То и дело внизу срывались со своих мест тетерева, чиркали по верхушкам елей крылом и ныряли внутрь зеленой темени. Дверь в кабину была открыта и заклинена. Пилот сидел в кресле с открученной спинкой, словно в седле, поставив ноги по обе стороны, так что под левую коленку ему упирались ручки раздельного управления двигателями. Держа рычаг двумя руками, он покачивался из стороны в сторону, то и дело заваливаясь на

пустующее кресло бортового техника. В салоне Андрей и Егор оказались одни. Но вскоре грузовую кабину заполнили рыбаки. Летчик трижды заходил на посадку и подбирал неулыбчивых и словно вечно чем-то недовольных интинцев. Они молча проходили в хвост и садились на лавки вдоль бортов, примостив тяжелые яровские рюкзаки между ног. Аромат свежепойманного хариуса пробивался даже сквозь горячий дух паленого керосина. На последней стоянке на борт забрался техник и, примостив брезентовый мешок с рыбой под лавкой Андрея, уселся на свое место в кабине.

— Ну, браконьеры, теперь домой! — громко сказал пилот и обернулся, пытаясь различить в темени салона закутанного в ватник Дейнегу. — Егор, ты там жив еще? — Тот поднял ладонь вверх, показывая, что в норме, грех жаловаться. Пилот связался по рации с вышкой, предупредил, что из-за внезапного тумана несколько раз пролетел мимо точки, но теперь больной на борту и можно звонить в больницу, чтобы присылали скорую.

Здесь привыкли, что летуны берут левых пассажиров, которые щедро расплачиваются за извоз либо деньгами, либо добытым в тайге. Инструкция подобное негоцианство запрещает, но на Севере, лишенном дорог огромном крае, где, если повезло, от жилья до жилья по прямой через тайгу восемьдесят километров, а может случиться, что и все двести, вертолет — единственный транспорт. Летчики — племя спесивое, споры с ними тщетны, чреватые опалой, а то и проклятьем небес. Потому вертолеты тут еще с пятидесятих годов заклинали, как заклинали духов здешних болот или погоду. Если ты пришлый, горластый да с гонором, сегодня, конечно, настоишь на своем, но после устанешь неделями ждать положенного рейса. Всегда можно найти повод, чтобы к тебе не лететь: то горы открыли, то ветер боковой, то топливо из-за промежуточных посадок все потрачено. Потому всякий отряд, всякая партия несет пилотам подавание, жертву, завернутую в хрустящую крафтовую бумагу, а то и в льняную тряпицу: копченую рыбу, тушку глухаря или пяток рябчиков с топорищащимся пушком над набитыми черникой зобами. Даже всеильный князь-самодержец Тербянко, и тот с интинским авиаотрядом старался не ссориться. На День геолога в апреле приглашал руководство отряда за счет экспедиции в Воркуту на праздничный концерт и банкет. На День воздушного флота в августе надиктовывал поздравительные телеграммы с перечислением экипажей, достойных поощрения.

Неучтенных пассажиров выгрузили в Кожыме, после чего вертолет вновь набрал высоту и полетел вдоль железнодорожной насыпи. Километра за четыре до Южного «Ми-2» резко завалился на бок в крутом развороте, и в иллюминаторе плоской серой медузой, тающей и поблескивающей на солнце, появилась Инта. Обнимающие город с трех сторон болота мигали в небо титановыми бельмами оправленных бурым мхом омутов. Здесь, перед городом, тундру густо расчертили вездеходные дороги. То и дело с высоты замечал Андрей ржавый остов техники, запутанной когда-то забравшейся в трансмиссии нежитью, от того по самые траки увязшей в трясине и теперь на радость природе проросшей березкой и багульником.

На подступах к человеческому жилью тундра теряла первобытную силу, и во всей этой свалке чудилась уже не природная, неведомая воля, а корневое человеческое разгильдяйство.

Сброшенные с кузовов кем-то нерадивым жестяные бочки, белое алюминиевое исподнее рухнувшего в незапамятные времена самолета, красные газовые баллоны, снятые неведомыми рабочими с прицепов и аккуратно оставленные ржаветь под одинокими сухими елями, взятыми за ориентир, да так

и позабытыми. И наконец, за хаосом вагончиков-балков, годами ожидающих отправки в тайгу на прицепе или грузовым рейсом вертолета, появилась строгая азбука навигационных знаков Интинского аэропорта.

Новую вертолетную площадку недавно устроили у самого здания аэровокзала. Зеленый «уазик-буханка» с красным крестом подкатил со стороны автобусной остановки. Врача в машине не оказалось, только водила и высокий, плотный санитар.

— Сам идти может? — угрюмо спросил последний и указательным пальцем размазал под левым глазом мошку.

Получив утвердительный ответ, санитар залез обратно в кабину и закурил сигарету.

— Сопровождающим не положено, не такси, — гаркнул он, заметив, что Андрей собирается последовать за приятелем.

Спорить не хотелось. Андрей пожал протянутую Дейнегой ладонь, пожелал другу здоровья и захлопнул дверь «буханки». «Уазик» рванул с места, и Андрей заметил, что Егор, не успевший сесть, чуть не упал, но вовремя схватился за потолок.

— Придурки, — процедил Андрей, закинул рюкзак за спину и пошагал по Сельхозной. Навстречу, ухая в колдобины и разбрызгивая по сторонам мутную воду, спешили таксомоторы встречать пассажиров сыктывкарского рейса. Он свернул на Озёрную, по мосту перешел реку и дальше парковой аллеей мимо сожженной шпаной сцены летнего театра выбрался ко второму мосту через Большую Инту. Еще стучая каблуками кирзовых сапог по деревянному настилу узкого подвесного моста, Андрей заметил Витьку. Витька в новой кожаной куртке коричневого цвета поверх модного джемпера с орнаментом, в вареных джинсах, в черной круглой вязаной шапочке, скрывавшей рыжие вихры, стоял у моста и вертел на пальце ключи от машины. Из его «четверки», припаркованной чуть поодаль, у бюста Чайковского, выскакивали кривляющиеся звуки какой-то иностранной группы, катились по шербатому асфальту и, подпрыгнув на каменном бордюре, скатывались по бетонным плитам в воду.

— А я тебя еще у аэродрома заметил, — крикнул Витька издали. — Ну, думаю, сейчас клиентов отвезу и как раз тебя подловлю.

Они обнялись. Витька достал из кармана куртки пачку «Marlboro» и предложил другу. Андрей вытянул сигарету и стал разминать между пальцами.

— Да ты чудик, Англичанин! Это же не «Космос», — засмеялся Витька и поднес Андрею зажигалку.

Смолистый дымок виргинского табака запутался между дерев, смешавшись с запахом листвы и прели.

— Ну что, завтра на работу? — поинтересовался Андрей.

— Охота была по мордасам получать! Ну его к черту, этот День шахтера. Выпью спокойно с мужиками.

— Три года тебя знаю. Третий год обещаешь. Опять не удержишься, — Андрей посмотрел на приятеля, пошкрябав щетину на подбородке. — У тебя, как приход скорого, так условный рефлекс.

— Не, — Витька отрицательно покачал головой, — в прошлом году мне фиксу выбили, я себе зарок дал, что последний раз. А если чего решил, то полный кроссинговер.

От перекрестка улицы Чайковского и Мира, которую местные по привычке называли улицей Жданова, до дома Андрея было два квартала. Проехали мимо школы.

— Во! Видал? — Витька показал рукой на школьное крыльцо, перед которым висел яркий трехцветный флаг. — Вчера повесили.

Андрей заметил такой же на здании аэровокзала, но не придавал значения.

— Новая власть, мать ее. А бляди все старые, — заржал Витька и въехал во двор.

Андрей достал с заднего сиденья рюкзак и захлопнул дверь «жигулёнка». Витька козырнул другу и отправился бомбить дальше, оставив приятеля перед дверью в подъезд.

Августовская Инта дребезжала слезинкой в уголке глаза. Первые утренники уже облизали яркие блесны березовых листьев, но сорвались, спуганные пока еще горячим полуденным солнцем. Коммунальные службы начали положенные тестовые протапливания, от которых то там, то здесь проваливался асфальт, и на месте провалов сразу же образовывались парящие в августовское небо болотца. Запах копти от кочегарки шнырял между домами откинувшимся с режима уркой, выискивал открытые форточки. И аукалось уже от остановки к остановке злое человеческое безобразие в окурках и белых плевках жевательной резинки.

Андрей не любил осень в Инте. В тайге, на вахте, осень была в своем праве. Каждая лужа, покрытая коркой льда по утру, каждый крик птицы, окликающей в последний раз распадок между сопками, чтобы запомнить это эхо и по нему найти весной родные места, — все было понятным и законным. Даже вой лебедки на мачте буровой или стрекот движка генератора за балками, пыхающего бензином и гоняющего по проводам двадцать четыре вольта сиротского экспедиционного электричества, не казались лишними. Другое дело северный город — нервный, злой, приученный ждать, но не терпящий нежности, скупой на добро, способный лишь сварливо принять покорное услужение: здесь погрей, тут помой, там приберись. Возвращение в Инту никак не получалось обернуть возвращением домой, как бы Дарья ни старалась выстроить уют на двадцати пяти квадратных метрах общей площади.

Еще до того как в их жизни возникла Варька, потешное, ясноглазое существо, нет-нет, а задумывался Андрей о Пятчино. О том, как было бы прекрасно поставить сруб на том краю участка, что дальше от дороги. Чтобы в окна вечером сияло закатное солнце и можно было бы смотреть на картофельное поле и старый сарай, сложенный не то прадедом Андрея, не то прапрадедом. Этот сарай возвели из крепких сосновых бревен, всем семейством ночами вывозимых на телеге еще из господского бора у хмерского погоста. А утром, лишь рассветет, было бы здорово обуться в подвернутую кирзу и повести за перегиб кудлатого, пахнувшего денником коня Сярёжу, спутать ему передние ноги, отпустить пастись на опушке у оврага, вернуться домой и заварить в старом эмалированном немецком кофейнике отца кофе. Чтобы от того места, где ты ложишься каждый вечер спать, до того места, где положат тебя на веки вечные рядом со всеми твоими предками, имена которых никто уже не помнит, а записи о рождении на свет коих давно сторели вместе с церковными книгами, чтобы до места того можно было дойти пешком, отмахиваясь от слепней и оводов ивовой веткой. Но лишь только делались различимыми в душе далекий гудок локомотива на ветке Струги Красные—Псков да острый крик зарянки, рушились небеса, единственной и неизбежной болью сминая под собой на все времена и до последнего вздоха и робкие фантазии, и осторожные мечты о доме.

Ночью, после возвращения с Гряды, к Андрею долго не шел сон. Жена то и дело вставала к Варьке. Она обычно клала ребенка с собой, чтобы было удобнее ночью кормить, но сейчас, соскучившаяся по ласкам мужа, убаюкала дочь и

отнесла в детскую кроватку. Их скоротечная, нервная близость тем не менее успокоила Дарью, и она обхватила мужнину голову руками, положила колено ему на бедро и сразу заснула. Андрей промучился час или два без сна, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить жену.

Наконец осторожно высвободился из объятий, встал с постели, подошел к детской кроватке, посмотрел в свете ночника, как уютно спит дочка, примостив под щеку маленький кулачок, поправил на ней байковое одеяло и, притворив за собой дверь, вышел на лестницу.

Пахло виргинским табаком, в жестянке дымилась плохо потушенная соседом сигарета. Андрей открыл окно настежь. Стекло дребезжало под штапиком. Фонари во дворе не горели. С севера наволокло туч, закрывших луну. Лишь в доме напротив на втором этаже светилось окно. Через прозрачный тюль была видна мужская спина. Мужчина мыл посуду, наклонившись над раковиной. То и дело он протягивал руку вправо, чтобы поставить тарелку в невидимый с места Андрея шкаф. Где-то совсем рядом всполошилась дурным голосом автомобильная сигнализация. Андрей видел всполохи и тени от мигающих фар. Мужчина вытер руки о фартук, подошел к окну, прислонил лоб к самому стеклу и несколько секунд всматривался в темень двора, пытаясь различить, откуда звук. Наконец он выпрямился, взглянул перед собой, заметил Андрея, стоящего в освещенном квадрате лестничного окна, и почему-то погрозил ему кулаком. После чего мужчина задернул занавески и выключил в кухне свет.

Андрей вернулся в квартиру, в потемках выбрал в серванте книжку и, примостившись возле Варькиной кровати, стал читать в свете ночника, пока не сморил его сон. Через час, разбуженный детским плачем, он перебрался на кровать, где заснул уже до утра, успев почувствовать, как жена гладит его по волосам.

День шахтера начался с того, что по всему городу захрипели старые колокольчики трансляторов и, путаясь в дробном эхе, по улицам покатились тусклая и помятая медь маршей. Когда к девяти утра Андрей подошел к гастроному на площади, у соседнего винно-водочного отдела уже образовалась огромная толпа. Похоже, что занимали еще с ночи. Во всем городе талоны на вино и водку можно было отоварить только в двух местах, да и там лишь два раза за месяц. День привоза работники магазина всякий раз держали в секрете, но всякий раз слухи о том, что на станции грузят ящики с киром, разносились по Инте со скоростью породы, выскакивающей из-под жала пневмомолотка. Пока Андрей стоял с бидоном за молоком, в соседней очереди то и дело раздавалась ругань, начинались и тут же заканчивались короткие потасовки. Основная битва была еще впереди. Андрей подумал, что к одиннадцати, когда магазин откроется, если не заработают все три прилавка, мужики пойдут на штурм.

Милиция в такие дни рядом с магазином появляться побаивалась, посылали дружинников, которые, не будь дураки, снимали повязки и пристраивались в хвост очереди. Так что пуше милиции стоило шахтерам опасаться директоршу магазина, упругую краснолицую тетку, способную в одиночку, выставив вперед салонный бюст под расшитой блестками кофтой, вытолкать из отдела десятков мужиков и захлопнуть под ропот толпы дверь.

— Пока не успокоитесь, пока очередь не наладите, не открою. Все оформлю как бой, в канализацию спущу, но не продам, — кричала она из-за закрытой двери.

В День шахтера у отдела все-таки дежурил милицейский «козелок».

— Татьяна, — доносилось из очереди, — открывай ты уже. Все, не

действуют твои постановления. Новая власть уже, народная. Пусть коммунисты после одиннадцати покупают, натерпелись.

— Давай уже, крути стрелки, у рабочих людей один праздник в году.

Молочница отерла тряпкой капли и протянула бидон Андрею. Он накрыл молоко крышкой и вдоль гомонящей очереди пошел за мукой в бакалею. Только завернул за угол гастронома, как его окликнули. Это были Коробкины. Тут же стояли Фёдор и остальные ленинградцы, за которыми накануне, как оказалось, сразу после отлета Дейнеги с Андреем прибыл грузовой вертолет, чтобы отвезти на базу в Кожым. Рассказали, что Теребянко прислал телеграмму с приказом свернуть все работы на гряде из-за неясности с оплатой.

— Такие дела, Англичанин, — грохотал Фёдор, — в стране бардак, а у нас из-за этого две аномалии провисли. Какой теперь к черту заработок? Рассчитывали гравилу на Сарьюге делать, два квадрата карты заактивировать. Теперь одна надежда на премию по результатам отчета. Я бы этого Горбачёва, или как там его, Ельцина, сам бы расстрелял. Делать им там не хрен в Москве. Сейчас начнется дележка. Уже чувствую, чем грозит: весной прекратят работы по сгущению карты, и привет. Вместо Урала поедем в Калининградскую область нефть, которой нет, ковырять. Ни тебе полевых, ни тебе северных, ни тебе охоты с рыбалкой. Или, вон, по хромитам станем работать.

— Не хрен было кривляться да супротив случая идти, — ни к месту вставил Иван, но на его слова внимания не обратили.

Пока разговаривали, к очереди подошел Витька. Под курткой на лацкане его пиджака виднелся значок «Передовик Инта-уголь» и флажок ударника социалистического труда.

— Ага, ёксель-моксель, барыга пожаловал, — беззлобно проворчал старший Коробкин и протянул Витьке руку.

— Я рабочий человек, пострадал здоровьем на производстве, шахтер. У меня отец шахтер, дед шахтер.

— Знаем такого шахтера, — заржали остальные Коробкины. — У тебя в наших гаражах ящиков пять водки припрятано. Ты чего сюда приперся, кооператор?

— Нет у меня никакой водки! Была оказия в прошлом годе, случай, обломилось пара коробок, так когда это было. Вы же у меня и растаскали все под самый кроссингвер на День Конституции, — оправдывался Витька. — Я как честный человек пришел талоны отоварить, а не с заднего крыльца. Вот, в очередь, как и все, — и Витька махнул рукой куда-то в ту сторону, где между домов очередь утончалась.

— Ладно уже, — смилостивились Коробкины. — Как-никак сосед по гаражу. Вставай сюда.

Мужики сзади зароптали, но геофизики хором вступились за Витьку, дескать, он с ними, дескать, занимал, стоял, но просто отошел, что вообще это их дело, кого пускать, а кого нет. Очередь пороптала, но успокоилась. Коробкиных в Инте знали и уважали.

— Что там с бурёжкой вашей, тоже непонятно, вспомнил вдруг Фёдор, — Теребянко дал указание бурить только на хромиты. Ну, это тебе уже в конторе скажут, что и как. Это ваши дела.

— В горы, Англичанин, поедешь, на Рай-Из. Там, поди, снег уже на плато лежит, — заулыбался Борода. — Хорошо в горах осенью. Я тамошние места больше люблю, нежели тайгу с тундрой. Видно все на несколько километров.

— И комаров меньше, — вторил Иван.

— Проходка там тяжелая, — запротестовал средний Коробкин, — приходится аммоналом рвать. На канаву в два раза больше времени уходит.

— Это потому что ты не умеешь нормально закапываться, — ехидно вставил младший.

Поднялся спор, к которому прислушивались шахтеры из очереди.

— У Егора был уже? — поинтересовался Фёдор.

Андрей отрицательно покачал головой. Он планировал зайти к другу вечером, перед сном, когда Дарья соберется укладывать дочь и потребует полной тишины в квартире. До больницы от их дома было всего квартал. Дарья обещала испечь пироги и приготовить бульон в термосе.

— Зайди и письмо ему передай. Я в конторе взял, — Фёдор порылся в портфеле и вытянул на свет большой конверт, весь оклеенный иностранными марками. — Заграница. Небось, очередная публикация. Так, глядишь, он меня с докторской обскачет, шустрый парень, и английский знает. Хау ду ю ду, Англичанин?

— Ай эм файн, — ответил Андрей, свернул конверт вдвое и убрал во внутренний карман куртки. — Экзактли!

Они еще немного поболтали, потом Андрей попрощался и пошел по своим делам. Весь день он возился с дочерью, помогал Дарье по хозяйству, заклеивал на зиму окна полотняными лентами, смоченными в картофельном клейстере. Марши из репродукторов сменились на улице нетрезвым пением, потом криками, звоном разбитых стекол, звонким женским матом. Инта догуливала праздник, не сильно заботясь о завтрашнем рабочем дне. Те, кому с утра не нужно было спускаться в забой, пили сильнее тех, кто отправлялся на утреннюю смену. Те же, кто только что вернулись с шахты, спешили догнать товарищей. Дарья пекла на кухне пирожки, раскатывала тесто прямо на клеенке, вырезала в нем ровные кругляши стаканом, насыпала в каждый такой кружок горсть брусники, серебрила сахаром и аккуратно заворачивала, так что получался маленький кораблик. Кораблики плотно укладывались в чугунную сковородку без ручки и отправлялись в духовку. Там уже томила в двух сковородках остальная флотилия. Кухонный телевизор по обоим каналам вместо праздничного концерта транслировал заседание в Кремле, а может быть и не в Кремле. Андрей не разбирался. Звук Андрей убрал. Какие-то возбужденные люди в пиджаках беззвучно открывали рот на трибуне, сменяя друг друга, а в зале так же беззвучно хлопали.

В восемь вечера Дарья ушла укладывать дочку на ночь, а он положил пирожки в кастрюлю, замотал ее в несколько слоев газеты и вместе с термосом осторожно устроил в сумке. Сунул сбоку полученный от Фёдора пакет.

Услышав, что Андрей шуршит курткой в прихожей, Дарья выглянула из двери комнаты.

— Поцелуй от меня Егора, — сказала она, — и не задерживайся, полный город шантрапы.

Андрей заулыбался, представив, как будет выглядеть поцелуй, и аккуратно прикрыл за собой дверь. Во дворе перед подъездом стояла витькина «четверка». Это означало, что Витька удержался и действительно не вышел сегодня на работу. В свете фонаря были хорошо видны два желтых противоугонных крюка на руле. В Инте угоняли машины только для развлечения, чтобы покататься. Обычно бедокурили подростки, студенты того же училища, которое заканчивал Андрей, или просто шпана из дворовых компаний. Все машины тут были

известны, в гаражах тоже друг друга все знали, так что просто так не спрячешь и не разберешь, а никакие автомобильные дороги, пригодные для того, чтобы по ним ездить на легковушках, из Инты не выходили. Если угнанная машина не отыскивалась за пару часов, хозяин отправлялся упрашивать кого-нибудь из автопарка, чтобы тот проехал по дороге на Косьювом и пристань «тридцать пятый километр». Где-то уже на третьем километре дороги обычно угнанный автомобиль и стоял, съехавший по жидкой грязи на обочину, да там и увязший. Угонщики — косьювомские мужики, приезжавшие в Инту в магазины, таким образом предпочитали доставлять покупки домой. По зимнику иной раз им удавалось доехать до самого поселка, тогда машину бросали возле школы. За ухарство и разбойную наглость интинцы литературно прозвали их «казбичами». Витькину «четверку» тоже крали, и Витька ездил за ней на КРАЗе, а потом бегал по деревянным мостовым Косьювома и искал казбича, чтобы подраться. Но конечно, никого не нашел. Да и как определить? У всех рожи красные, глаза прозрачные: «Да ты чего, мужик? Не знаем мы про твою машину. Мы люди неподконвойные». Купил на пристани у рыбака мешок копченого хариуса, запутал и недоплатил почти вдвое. Вернулся в Инту победителем, в лице бедолаги-рыбака отомстив всем косьювомцам. Ходил потом, хвастался.

До больницы от дома было два шага. Часы посещения уже закончились, но можно было попасть в отделения через приемный покой. Пост там не выставлялся, а дежурный врач и медсестры за входящими не следили. Даже ночью по коридорам больницы часто шлялись посторонние. Говорили, что наркоманы приходят ночью в больницу за наркотиками. Может, конечно, то были и неведомые никому, почти инопланетные, наркоманы, но местные знали, что в больничке всегда можно пусть втридорога, но купить медицинского спирта.

К приемному покою вела тропинка из огромного пролома в заборе. Андрей от своего подъезда свернул на темную бетонную пешеходную дорожку, проложенную по берегу реки, с задней стороны кинотеатра, и вышел за последними домами четной стороны туда, где заканчивалась улица Бабушкина и начиналась Новобольничная. Фонари на Бабушкина, как обычно, не горели. Начинало моросить.

Какие-то тетki устроились у пролома, поставили сумки на асфальт и о чем-то увлеченно разговаривали, не замечая ни мороси, ни поднявшегося вдруг ветра, погнавшего сморщенную листву вдоль шербогачего асфальта. Их дети, мальчик и девочка лет шести, играли тут же, они кидались камнями в картонную пирамидку из-под молока, плавающую в луже посреди дороги. Камушки попадали в картонку со звонким клекотом, если же случался перелет или недолет, то поднимался фонтан брызг, серебрящийся в свете фонаря, горящего во дворе дома.

Дальше, на самом перекрестке с улицей Мира, хорошо выпившие шахтеры пытались остановить таксистов и, словно дети, швырялись пусть не камнями в пакет, а пустыми бутылками в редкий проезжающий автотранспорт. Бутылки разбивались с еще более сочным плеском. Там было шумно и празднично. День шахтера еще не закончился, еще не затух между последним автобусом и «подкидышем», везущим утреннюю смену на Южный.

Все, что случилось дальше, случилось не более чем за десять секунд. Вначале со стороны улицы Мира раздались крики и улюлюканья, потом латунный звон упавшей, но не разбившейся бутылки. С перекрестка, визжа резиной в резком повороте, вылетела большая легковая машина и понеслась в

раскачку по Бабушкина, подгоняемая толпой пьяных, мечущих во след бутылки. В ослепляющем дальнем свете фар, в десяти метрах от себя Андрей различил силуэты детей, ковыряющихся в луже на самой середине дороги. Он кинул в сторону сумку, бросился вперед и, сграбастав детей, вытолкнул их на тротуар, но в тот же миг потерял сознание от удара и страшной боли.

12

Витька мечтал о машине с самого детства. Он упрашивал мать выписать журнал «За рулем», однако та, намекая на Витькины двойки, нарочно выписывала «Науку и жизнь». Но и в «Науке и жизни» публиковались фотографии автомобилей с их сравнительными характеристиками, длиной кузова, объемом и мощностью двигателя, высотой подвески, годом постановки на конвейер и прочими важными подробностями. Витька привык безошибочно отличать «жигули» на картинках и в кино даже не по моделям, а по модификациям. Он представлял, как сидит, держась левой рукой за руль с кожаной оплеткой, как дрожит под правой ладонью ручка переключения передач, как поскрипывают дворники, сметая дорожки капель с лобового стекла, когда он гонит свою машину вдаль по бесконечной трассе.

Но никаких трасс, конечно, в Инте не было, автомобильные дороги в город не вели, шоссе заканчивалось в Печоре, рассыпаясь на десяток узких дорожек, пропнырнувших к необязательному человеческому жилью, да там и скисших без асфальта, подавившись гравием и гудроном. Да и сами легковушки можно было сосчитать по пальцам. Правда, по городу рыкали бензиновой отрыжкой с десяток раздолбанных «волг» местного автопредприятия, но их привычно за машины не считали. Только к концу восьмидесятых не то что-то разладилось «на материке», не то наоборот стало налаживаться, но появились в городе подержанные «жигули» и «москвичи».

Когда, после увольнения с шахты, Витька купил себе аварийную «четверку», сбылась его мечта. Теперь он мог даже спать в гараже, есть и пить за рулем, готов был тут же отдать все заработанное извозом за новый карбюратор от «фиата», подходивший, «как родной», или за хромированные накладки.

Витька знал в машине каждую деталь, каждую скобу и патрубков. Он рад был сутками находиться за рулем, но по ночам интинцы никуда не ездили, и ему приходилось с сожалением оставлять машину перед окнами квартиры и идти домой, где его ждала Наталка, которую он понимал гораздо хуже своей «четверки».

И еще Витьке не хватало бесконечности. Каждая дорога небольшого северного городка так или иначе, но заканчивалась тупиком. Иной раз дорога резко сбрасывала с себя асфальт, оставшись в рваном шлаковом исподнем, а потом и вовсе махала водителю легковушки ржавым платком предупреждающего знака, чтобы голой пьяной бабой отправиться в раскачку двумя глубокими колеями в сторону Уральского хребта. А Витьке хотелось ехать и ехать, лучше по прямой, так долго, как ездят только за чем-то важным.

Однажды в Крыму, в котором Витька оказался впервые, отправленный поправлять здоровье в легочный санаторий под Алупкой, он испытал настоящий восторг от дороги. Его от Симферопольского аэропорта вез таксист по широченному, как тогда показалось, шоссе. В обе стороны от дороги уходили ровные ряды персиковых деревьев, упираясь в некрутые по уральским меркам

гряды. То и дело лес на склонах редел, обнажая белый, казалось, оббевшийся солнцем камень. А когда таксист на вопрос, где кончается дорога, небрежно ответил: «А нигде. В одну сторону через Харьков до Москвы и дальше, а в другую, через пролив, так хоть в Пекин», — Витька чуть не заплакал.

Уже из Алупки он отправил брату телеграмму в Печору: «Покупаю тачку зпт ищи битую». Однако с машиной сладилось только в следующем году и то скорее случайно. Битые машины находили новых хозяев еще в гаражах, никто объявления о продаже таких на столбы и заборы не вешал. Витька уже было отчаялся, как вдруг брат прислал телеграмму, мол, приезжай, и Витька сразу сорвался. Одноклассник брата в прошлую осень попал в аварию, закрутившись по мокрому асфальту на опавшей листве, остался инвалидом. Машина с расплюсченной крышей и смятым в гармошку капотом почти год ржавела на посту ГАИ между Котласом и Сыктывкаром, потом ее в кузове сто тридцать первого «зилка» довезли до Печоры, где одноклассник собирался продать ее на запчасти. Когда «сто тридцать первый» въезжал во двор, Витькин брат выгуливал свою лайку. Не выпросись псина под дождь, не видать бы Витьке авто. А так — чистое везенье.

Ремонтировал он свою «четверку» самостоятельно. Это был гараж соседа, Дарьиного отца, раньше там хранилась зимой «волга», полученная в качестве премии от комбината еще ее дедом вместе со званием Героя социалистического труда. Уезжая в Сыктывкар, Дарьин отец погрузил на платформу и машину. Гараж пустовал.

Через два месяца «четверка» была уже на ходу, а через три Витька принялся сутками бомбить по городу, отбирая хлеб у штатных таксеров интинского автотранспортного предприятия. Несколько раз его поколачивали, но видя Витькино упорство, атепешники поняли, что сила тут бесполезна, и отстали.

Числился Витька при водокачке, где регулярно получал заработную плату. И хотя за четыре года таксером они с Наталкой прибрахлились, сделали ремонт и заново обставили квартиру, Витька себя счастливым не чувствовал. Вроде и сбылась мечта, а вроде и не совсем. Чертовы интинские дороги с их тупиками не давали Витьке покоя. Не замечал он ни простора, ни силуэтов Уральского хребта, ни неба со звездами такой яркости, какой не бывает на материке. Мечтал он купить нормальную машину, но пуще мечтал ехать на этой машине по шоссе между Симферополем и Алупкой, или между Симферополем и Керчью и знать, что если долго-долго ехать в одну сторону, то будет Москва, а если в другую, то хоть Пекин, хоть какой еще невозможно далекий город и невозможно другая жизнь.

Когда старший Коробкин отломал жестяную кепку очередной бутылки и, полностью разлив содержимое по стаканам, поднял тост за «настоящего мужика Виктора, нормального парня, у которого есть мечта», Витька еще и подумать не смел, чем дело закончится. Они сидели в Витькином гараже и к тому времени уже приговорили три поллитры. На печке жарилась картошка с грибами, на столе стояли миски с нарезанным крупными кусками малосольным хариусом и ломтями похожего на серую губку хлеба интинского хлебокомбината.

— А давай, Витька, мы тебе отцовскую «победу» отдадим? — сказал вдруг Коробкин-старший и посмотрел на братьев.

Те, не прекращая жевать, кивнули, выказав согласие с идеей старшего брата. Средний потянулся к портфелю за следующей бутылкой, а младший

пошарил в сумке, вынул всю в солидоле банку армейской тушенки, аккуратно отер ее газетой и поставил на стол.

— Ты, Витька, хоть и балабол, а мужик аккуратный. Вот смотрим на твое хозяйство, — он обвел рукой гараж, — все у тебя по уму, как должно быть. Правильно брат говорит, бери у нас «победу», бери даром, по цене «четверки». То есть свое ведро нам взамен оставишь, чтобы гараж не пустовал. Машина ездить должна, а лайба без дела у нас ржавеет.

— Ага, — осенило вдруг среднего Коробкина. — Ты после хватай Наталку, грузись на платформу и айда в Крым, патиссоны окучивать. Авось и детей там навтыкаете на грядках. Здесь у вас от мошки да сырости ни хера не получится.

Братья заржали, а Витька смотрел на них растерянно, не понимая, шутят Коробкины или всерьёз предлагают обменять его «жигуленка» на «победу».

«Победа»! С этой машиной не сравнится никакой желанный многими «форд», никакая фантазия тутошних бомбил — подержанный «опель-кадетт». И даже черный джип «Чероки», который в Инту на отдельной платформе с автоматчиками из ВОХРы привез директор молокозавода, и тот казался игрушкой рядом с идеальной стальной каплей советского шоссе́йного крейсера. В двухлитровый, четырехцилиндровый движок пусть и запряжено было только пятьдесят лошадей, но те из таксеров, кто еще застал «победы» в автопарке, уверяли, что в бензобак можно было «хоть с похмела ссать», машина ехала.

— Вы что ли серьезно? — просипел Витька.

Старший Коробкин поставил стакан на столешницу, запихал в рот большой кусок рыбы, вытянул между зубов мягкие паутинки костей, вытер руки о висевший на гвозде обрезок махрового полотенца и, поманив Витьку за собой, пошел к выходу из бокса. Остальные Коробкины тоже отставили табуреты и похватили куртки. На улице к тому времени уже стемнело. Из окон общежития доносились звуки модного ленинградского ансамбля «Кино».

«Мы не знаем слово "да" и слово "нет", мы не знаем ни чинов, ни имен», — пел солист. И эхо отражалось от металлических дверей подстанции и сверкало в лужах.

Гараж Коробкиных находился у самого въезда. Старший снял замок, открыл дверцу и щелкнул пакетником. Установленные под самым потолком ртутные лампы, как в школах или в поликлинике, замигали и загорелись, осветив холодным белым светом огромный автомобиль цвета беж, с хромированными ободами фар и такой же решеткой радиатора. Старший Коробкин сунул руку в карман висевшей на гвозде потертой кожаной куртки, выудил ключ с брелком в виде волка из «Ну, погоди!», протянул его Витьке и кивнул на машину, мол «садись и заводи».

Витька пробрался между верстаком и кузовом автомобиля, осторожно, чтобы не стукнуть об угол, открыл дверь и протиснулся на водительское место. Большой белый руль оказался непривычно высоко. Он вставил ключ в гнездо зажигания и поискал глазами ручку переключения передач.

— Под рулем смотри, — хмыкнул старший Коробкин.

Витька нашел, выжал сцепление, подергал туда-сюда рычажок, понял, что у автомобиля только три скорости, повернул ключ, включил зажигание, но стартер не заработал. Витька вынул ключ, вставил опять, но двигатель признаков жизни не подал.

— Аккумулятор, наверное, сел, — неуверенно сказал Витька, щелкнул тумблером дворников, и те резво замахали, очищая лобовое стекло.

— Ёксель-моксель, это же «победа», у ей ножной стартер.

Витька заглянул под торпедо, нашел нужную педаль и надавил на нее. Двигатель завелся и сразу заурчал гулко и сердито.

— Не торопись, дай ему пробздеться, — крикнул младший Коробкин и пошел открывать ворота гаража.

— Ты представь себя в Крыму на «победе», — сказал средний Коробкин, приподнимая дворники и протирая тряпкой обе половинки и без того чистого ветрового стекла. — К поезду подкатишь, все клиенты твои. Только выбирай. Это не автомобиль, ёсель-моксель, это мечта о счастливой жизни.

— И не жалко? — спросил Витька, так и не веря в свое счастье.

— Жалко, — ответил средний и швырнул тряпку в угол. — Если бы у нас на троих было не семь дочерей, как сейчас, а семь сыновей, то хер бы тебе отдали, а не «победу». Давай уже, не бзди, выезжай.

Витька воткнул первую передачу и аккуратно надавил на акселератор, одновременно отпустив тугую педаль сцепления и опасаясь, что машина может заглохнуть. Но «победа» плавно выкатилась из гаража.

— Смотри! — заржал средний Коробкин. — Он, оказывается, водила!

— Ты поездь тут, можешь домой за заначкой смотаться, — старший Коробкин наклонился к Витьке, который опустил стекло водительской двери, — а мы у тебя подождем, картофан пока поджарим.

— Надо отметить это дело, — поддакнул младший, — у нас все закончилось, а завтра мы уже не пьем. Закон такой.

Витька кивнул, включил тумблером дворники, вмиг смахнувшие бисер начинавшего накрапывать дождя, сглотнул образовавшуюся во рту горечь и выехал за ворота. Круглые часы на панели приборов были не заведены и показывали не то полночь, не то полдень. Фонари на Промышленной горели через один, но Витька и так знал на этой улице каждую колдобину. Он вообще знал в Инте все лужи, все выбоины в асфальте, даже трещины в бетонных плитах и те объезжал, стараясь, чтобы пассажиров не трясло. То на «четверке», а «победа» шла мягко, словно не замечая отчаянную оспенную шербатость улиц северного города. Только разгонялась машина нехотя. Мощности двигателя с трудом хватало для такого тяжелого автомобиля. Но зато как урчал мотор!словно это был не двигатель, а горячий зверь, спрятанный под капотом, огромный, уютный.

Витька свернул на Дзержинского и поехал по площади. На углу Мира стоял милицкий экипаж. Из желто-синего «жигуленка» выбрался мент и махнул полосатым жезлом. Витька притормозил. Это был его одноклассник. Одноклассник подошел, узнал Витьку и заулыбался.

— Коробкинская тачка? Угнал что ли?

— Не поверишь, поменялся, — ответил Витька.

Милиционер обошел «победу», поцокал языком.

— Вещь! Но, парень, ты совсем оборзел. От тебя водкой воняло, когда ты еще только с Промышленной сворачивал. Имей совесть!

— Да я только кружок и обратно в гараж, — Витька щерился в открытую пассажирскую дверь. — Обкатка. Я же не на работе.

Одноклассник демонстративно закрыл ладонью глаза и махнул рукой в перчатке с белым обшлагом.

— Ехай уже! Но смотри аккуратнее. Таксеров по всему городу лупят. Мы только что Матвеича от расправы спасли. Вшестером били. Кричали, мол,

натерпелись от коммуняк. А он вообще беспартийный. Просто рожа его примелькалась.

Матвейч был самым старым интинским таксистом, возившим еще полковника Халеева, а потом долгие годы трудившимся на АТП. Хороший был мужик, из старой гвардии. Все его знали и уважали. Портрет Матвейча годами висел на доске передовиков производства. И уж что-то, а бить Матвейча считалось западло. Он единственный, кто всегда мог в День шахтера работать спокойно.

Витька отсалютовал приятелю и мягко тронулся с места. Одноклассник что-то кричал. Витька притормозил, потянулся к ручке и опустил пассажирское стекло.

— Красота!

Витька сделал знак, что не понимает.

— Тачка, говорю, красивая. Повезло.

Витька махнул рукой, закрутил стекло и нажал на газ. Он проехал мимо темных витрин универмага и закрытых дверей гастронома и свернул на хорошо освещенную улицу Мира. Движения на улице почти не было. Впереди виднелись габаритные огни рейсового автобуса. Витька решил, что это самое место, где можно немного разогнаться и почувствовать машину на скорости. Но только стрелка спидометра дошла до отметки в сорок километров, как, откуда ни возмись, посреди улицы возник какой-то дурак в расстегнутом полупальто из искусственного меха и, растопырив руки, попытался остановить автомобиль. Витька рванул руль вправо, чтобы объехать, но тут же из-под светофора выскочили еще двое и что-то закричали. Витька дал по тормозам и, одновременно выкрутив рулевое колесо, с визгом свернул на Бабушкина и лишь чудом вписался. После резкого поворота машина закачалась маятником, ища равновесие. Сзади что-то кричали и где-то совсем рядом лопнула брошенная бутылка.

Витька взглянул в зеркало заднего вида, но из-за того, что позади было не привычное стекло «четверки», а узкая, под самой крышей, амбразура «победы», он ничего в нем не различил и перевел взгляд вперед. И как раз вовремя. Прямо перед ним, на дороге, метрах в двадцати копошились дети. Барабанные тормоза, не задобренные гидроусилителем, завывли, но машина продолжала двигаться.

Еще секунду, и Господь сам заплакал бы над стигматами ран в асфальте, но из темени метнулась фигура, кто-то оттолкнул детей и принял удар на себя. Человека отбросило в сторону, а машина наконец замерла. Витька выскочил из-за руля и бросился к сбитому. Это был сосед — Англичанин. Англичанин лежал в какой-то невыразимо нехорошей позе, на ноге, так люди обычно не лежат. И нога казалась согнутой неправильно, а из-под волос вытекала струйка крови и пачкала воротник куртки. Подбежали, размахивая бутылками, мужики с перекрестка, но увидев аварию, стушевались. Вид сбитого человека и детей, которых обнимали матери, ощупывая руки и ноги, стряхнул с преследователей пыл и кураж.

Англичанин дышал, но был без сознания. Витька, обернувшись к давешним преследователям, истошно заорал, чтобы те рвали в приемный покой за санитарями. Но пьяницы, смекнув, что дело пахнет статьей, бросились в сторону Новобольничной.

Тогда одна из женщин, убедившись, что ее ребенок невредим, а только запачкан, оставила его подруге, а сама поспешила за помощью. Когда через десять минут появились двое с носилками, Андрей уже пришел в себя. Витька придерживал ему голову, а он молча лежал и смотрел своими серыми глазами,

ставшими в свете фар почти прозрачными, на то, как дети, уже потеряв интерес к происходящему, бегали в догонялки вокруг женщины. Они, пытаясь сорвать друг с друга шапочки, кричали, размахивали руками. Андрею было больно. Но он улыбался.

Дейнега, пробравшийся в палату Андрея через два дня после аварии, увидел друга в гипсе и с ногой в чудных металлических кольцах. Поза друга на больничной койке была столь торжественна, что Егор расхохотался.

— Чего ржешь? — спросил Андрей, нахмутив брови, но не выдержал и рассмеялся сам, разглядев на друге короткие, не по росту, пижамные штаны, торчащие из-под казенного больничного халата.

Они проговорили больше часа, как вдруг в палату заглянул Витька. Вид у него был сконфуженный.

— А ну ка иди сюда, — поманил его Дейнега. — Ты чего это, кроссинговер хренов, людей давишь?

Витька вошел и встал у самой двери, опустив голову.

— Небось опять бухим ездил? Говорят, у Коробкиных «победу» по пьяному делу угнал и поехал пассажиров с воркутинского встречать, — строгим голосом допрашивал Дейнега.

— Брехня все! — взвился Витька. — Болтают ерунду. Англичанин, эт самое, ну не верь ты ему! Обещал же, что не буду работать в День шахтера. Вот и не работал. Мы с Коробкиными машинами поменялись. Ну и решил опробовать. Это же несчастный случай. Все шпана с Южного виновата. И вообще, — он замялся, — хотите знать, я после того, как тебя в операционную увезли, сам пошел и мильтонам сдался. Вот. Погоди. Сейчас.

Витька открыл дверь в коридор и кого-то позвал. Вошел гаишник, Витькин одноклассник, в белом халате, наброшенном поверх форменного кителя. Он поздоровался, извинился за беспокойство и осведомился, будет ли «гражданин Краснов» подавать заявление. Андрей подавать заявление отказался. Милиционер пожал плечами, сказал «на нет и суда нет», пожелал здоровья, отвесил Витьке подзатыльник и вышел из палаты. Витька остался стоять, склонив голову и разглядывая кафельные шашечки на полу палаты.

— Я еще просил мне дырку в правах сделать, — выдохнул он, не поднимая головы. — Чтобы у меня как узелок на память была.

— И как, сделали? — спросил Дейнега.

— Не сделали, — мрачно ответил Витька. — Матом обложили.

Андрей подозвал соседа и протянул ему левую руку, правая была в гипсе.

— Нормально все, вот теперь полный кроссинговер, — сказал он и подмигнул Дейнеге.

Андрей на друга не сердился. Невероятно, он даже обрадовался тому, что произошло. Словно что-то замкнулось, зарифмовалось в жизни. Здесь, в палате, на больничной койке, под тонким вытертым одеялом, он с удивлением почувствовал себя счастливым. Такого полного и спокойного счастья он не испытывал раньше. Даже когда за ним закрылись ворота КПП «восемнадцатой», даже когда шел он, получив подорожную, по насыпи узкой колеи от поселения к железнодорожной станции Харпа, и даже когда родилась Варвара, счастье было в четверть силы, в треть, в половину. Словно годы на воле оставался он заключенным, а освободился по-настоящему только сейчас. Может быть для того нужно было вдруг подняться на мгновение над землей в полете, чтобы сразу

и рухнуть, переломать руки и ноги, получить сотрясение мозга, ушиб всех внутренних органов, но освободиться по-настоящему.

Перед выпиской Дейнега зашел к Андрею в палату попрощаться. Уже одетый по-городскому, в джинсах и сером джемпере, сунул в руки другу пакетик с соевым арахисом, который купил в магазине возле больницы.

— Я, Андрюха, уеду, наверное, — сказал он, рассеянно глядя в окно на качающиеся от ветра ветки ивы.

— И правильно, — согласился Андрей, — чего в Инте торчать, если работы сворачивают, сегодня и садись на поезд.

— Не, ты не понял. Я насовсем уехать решил, в Австралию.

Андрей с удивлением посмотрел на товарища.

— Помнишь конверт, что Фёдор для меня передал? Тот, что с пирожками в сумке был. — Андрей утвердительно кивнул. — Там приглашение, анкеты мне и Лидке, документы для оформления разрешения на работу и контракт с государственной геологической службой Австралии.

— В эмиграцию что ли? — дошло до Андрея. — Ты же вроде не еврей.

— При чем тут это, «еврей — не еврей», — вспыхнул Егор. — Сейчас всех выпускают, хоть чукчей. Стена рухнула, Англичанин! Все! Нет стены. И страны, той, к которой привыкли, тоже нет. Еще никто не понимает, что произошло, но произошло нечто великое. Теперь ни войн не будет, ни гонки вооружений, ни ленинской тетради, ни парткомов с местками. Все. Закончилось. Было и сплыло. Теперь новая власть, народная. Теперь весь мир наш. Понимаешь? Весь мир, Англичанин! Не марксизм-ленинизм, а Фрейд и Сартр. Ты в свою Америку поедешь или куда ты там собирался, когда английский учил. Ду ю андестенд ми, миста Краснов?

Андрей промолчал. Он не любил, когда Егор начинал говорить про политику. В такие минуты друг казался ему чужим.

— Фёдор уверяет, что говно великое произошло, — сказал Андрей тихо, — работы по всему северу сворачиваются. Говорит, Урал по кусочкам дербанить начнут.

— Дурак твой Фёдор и коммунист. Он член их партии, хотя и нормальный мужик. Его же никто на западе на работу не возьмет. Люстрация. Слышал слово? Коммунистов в Европе на работу не берут. Чаушеску вообще расстреляли. Там с большевиками не чикаются.

Андрей промолчал. Ему не нравились слова Егора, но он не умел сказать так же складно, хотя и прочел много книг.

— Но я не про то хотел, — махнул рукой Дейнега. — Англичанин, проси Теребянко, чтобы написал тебе характеристику в Университет. Поезжай и поступай на подготовительное отделение, потом на геологический. Геологи по всему миру ценятся. Налегай на английский, а как окончишь, я вас всей семьей к себе вытащу.

— Куда, в Австралию? — переспросил Андрей.

— А то! — рассмеялся Дейнега. — На зеленый, мать его, континент. Все там и будем жить среди кенгуру и утконосов. Я к тому времени уже докторскую напишу. Ну, бывай!

Егор попрощался и ушел. Андрей остался в палате один. Он лежал, смотрел в потолок и представлял себе кенгуру, пигмеев, Дейнегу с геологическим молотком и созвездие «Южный Крест» на ночном небосклоне. Только себя под этим небом представить никак не мог. Не получалось.

Пока Андрей лежал в больнице, Витька съездил на поезде в Воркуту и подал

объявление на междугородний обмен. К январю появился вариант. После нового года приехал пожилой армянин в мохнатой шубе из нутрии, посмотрел Витькину двухкомнатную с досками в прихожей, с наборным паркетом в большой комнате, с чешской сантехникой и кафелем на кухне, взглянул из окна на заснеженный склон Большой Инты, по которому с визгом катились на санках мальчишки, и достал из портфеля пачку фотографий маленького домика. Сговорились.

Весь февраль Дарья с Витькиной женой паковали вещи. Андрей тоже вызывался пособить, но всякий раз зацеплялся за углы каких-то чемоданов, от чего чудом не падал. Наконец его убедили сидеть у себя и «не соваться со своим костылем». Пока жена заворачивала у соседей посуду в газеты или шила из старых простыней мешки, Андрей играл с дочерью. Варьке исполнилось десять месяцев, и она уже пыталась ходить, держась за кровать и за стены. Иногда, встретив пассажиров котласского, приходил Витька. После аварии он был в завязке, не пил, много курил и чаще молчал, чем говорил. Андрей и без того был не из разговорчивых.

На Двадцать третье февраля из Сыктывкара заехал проститься Егор с женой и ребенком. Привез бутылку кубинского рома. Был возбужден, говорлив пуше обычного. Обозвал Андрея дураком за то, что тот не хочет уехать вслед за ним. Потом играл на взятой у Витьки гитаре, пел песни. Ром выпил сам, захмелел и уснул на постели Андрея и Дарьи, не сняв одежды, раскинув в стороны руки. Сестры проговорили и проплакали всю ночь. Им казалось, что разлучаются они навсегда. Наверное, так и было. Наутро Витька отвез Андрея и Дейнегу с семьей к московскому поезду и помог сесть в вагон.

— Давай, не поминай лихом, — Егор протянул руку, потом порывисто обнял друга и прыгнул на площадку. Поезд начинал движение.

Платформа и контейнер в Крым были заказаны на начало марта. Мебель Витька возил на контейнерную площадку на багажнике «победы». Грузить и разгружать помогали Коробкины. Наконец последние вещи были упакованы, машина стояла на платформе, укрытая палаточной тканью и притянутая к бортам стальными тросами. В квартире оставались только два дорожных чемодана. Только после этого Витька взял билеты на самолет до Москвы.

Приехала Витькина мать, до того не появлявшаяся и демонстративно удалившаяся от хлопот сына. Привезла Витьке денег. Витька отказывался, кричал, что способен самостоятельно заработать и на себя, и на свою семью, но в конце концов сдался, принял заклеенный почтовый конвертик и поцеловал старую женщину в макушку. Та расплакалась. Долго обнимала до того сиротливо незамечаемую Наталку и совсем по-бабушкински охала. Когда Витька отвез мать и вернулся, веки его были припухшими.

В последний вечер перед отлетом, как и три предыдущих, Витька с Наталкой ночевали на тахте у Андрея. Накануне состав с платформой и контейнером отправился из Инты в Котлас на сортировочную. Наталка, переволновавшись и устав, уснула быстро, а Витька пил чай стакан за стаканом и то и дело ходил курить в свою уже «бывшую» квартиру.

— Вот что я не понимаю, — сказал Витька Андрею, когда тот утром вышел на кухню, — через пару недель в Крыму уже зацветет миндаль. А в Инте снег сойдет только к июню. И зачем я столько лет тут проторчал? Не понимаю. И еще, — Витька заулыбался, — Крым теперь, оказывается, — это другая страна, у них даже деньги свои. И я получаюсь, как твой Егор, эмигрант. Такие дела, Англичанин.

13

По расписанию дополнительный пассажирский на Вильнюс прибывал в Струги Красные в несусветную рань. Андрей так и не заснул от самого Варшавского вокзала, хотя, послушавшись проводницу, купил комплект постельного белья и застелил нижнюю полку. Соседи — трое рабочих-белорусов споро и без лишней болтовни поужинали водкой под вокзальные жареные пирожки с яйцом и храпели уже от Гатчины. Андрей взял костыль и вышел в тамбур. Привыкший за пять лет к полярному дню, он уныло смотрел в окно на бледную ленинградскую летнюю ночь, прыскающую в стекла вагона слепой рассветной моросью.

От Луги распогодилось. И когда Андрей поддался секундному порыву и, не доезжая одной остановки до Струг, спустился на узкую платформу в Плюссе, солнце уже жадно пиялось на свои отражения в стеклах второго этажа ближайших к железке домов. Расписание за эти годы изменилось. Автобус на Струги уходил только через час, Андрей купил билет, побродил, хромая, вдоль платформы, посмотрел на этикетки импортных бутылок в витрине ларька на остановке, постоял перед серым одноэтажным зданием вокзала и зашел внутрь. От зала ожидания осталось только два ряда кресел, остальное пространство теперь занимал видеосалон. Из-за стеклянной перегородки доносился мультипликационный шум. Андрей положил сто рублей в картонную коробку на столике, за которым, откинув назад голову, спал молодой парень, и прошел внутрь. В темноте видеосалона в ожидании поезда на Ленинград дремали несколько человек. Они сняли обувь и устроились поперек кресел. На экране телевизора шел иностранный мультфильм. Веселые утята под предводительством злого селезня искали сокровища, и персонажи то и дело с хохотом выбирались из безвыходных ситуаций. Было несмешно и душно. В зале отчаянно пахло несвежими носками и виргинским табаком: в задних рядах кто-то курил смолистые американские сигареты. Андрея тоже начинал смаривать сон, и он, опасаясь, что пропустит автобус, с трудом вытерпел полчаса и выбрался на свежий воздух.

Старый оранжевый «пазик», точно такой, как Андрей помнил все свое детство, а может быть даже тот самый, уже стоял под посадкой с раскрытой гармошкой передней двери. Андрей поднялся по ступенькам, показал билет равнодушному водителю, переступил через стоящие в проходе ящики и прошел назад между рядами сидений. Кроме Андрея в автобусе сидели только две женщины под пятьдесят, похожие, словно сестры от разных отцов, с высокими прическами и яркими тенями вокруг глаз. В открытые окна доносились железнодорожные голоса. Слов, как обычно, было не разобрать. В автобус заглянула диспетчерша, шариковой ручкой пересчитала пассажиров «по головам», что-то отметила у себя в карточке и ушла к себе в будку. Автобус завелся, водитель закрыл двери и с хрустом воткнул первую передачу.

В Симоново тетки с тенями вокруг глаз вышли и направились к магазину. Водитель помог им донести до дверей ящики, сунул в карман какие-то деньги и вернулся в автобус.

— До Пятчино? — спросил он, обернувшись в салон.

— На Хмеру останови, — кивнул Андрей.

Водитель откашлялся, закрыл двери, и автобус затрясло по плохой дороге.

От вибрации немного заныла нога. Врач, который снимал инопланетную конструкцию аппарата Илизарова, сказал, что будет болеть еще год или около того и дал памятку с рисунками упражнений, которые нужно было делать ежедневно. Всю зиму Андрей изводил себя лечебной физкультурой, постелив вместо матов на пол матрасы в пустой квартире соседа. К весне он уже только чуть-чуть прихрамывал, но врач пока запрещал ходить без костыля.

Автобус остановился напротив погоста, там, где в зарослях крапивы угадывались контуры фундамента Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, разрушенной и сожженной немцами в сорок третьем. Старые, замшелые валуны, служившие некогда оградой кладбища, поросли лещиной и березняком. Где-то за этими зарослями в тени и путанице сирени, ореха и терна стоял чугунный крест над могилой прапрадеда Андрея. Его показывала Андрею бабушка Маша. Рядом с крестом в безымянных могилах сплошь лежали останки Андреевых предков, память о которых сгорела вместе с церковной книгой деревянной Ризоположенской церкви. Книги сгорели, а скульпы, высокие лбы и русые головы нет-нет да и появлялись в деревне от поколения к поколению.

Андрей обогнул кладбище и зашел с ближней к деревне стороны. Прошел мимо нескольких огороженных участков соседей к синей, свежепокрашенной на Троицу оградке с родными могилами. Зашел внутрь, постоял у каждой, вглядываясь в лица на эмалевых овалах, вновь читая имена и даты рождения и смерти. Посидел на скамейке напротив самой свежей могилы — бабушки Маши, мамы отца. Бабушку хоронили, когда он служил. Его на похороны не отпустили — считается, не близкий родственник. А кто тогда близкий?

Напротив, на участке Симагиных, новое надгробие бабушки Шуры, той, что спасла отца. Мать писала в письме, что она умерла прошлым летом. Андрею показалось странным, что женщины даже не дружили, а просто соседствовали. Вот и теперь соседствуют.

Вздохнул, прикрыл калитку, замер на несколько секунд, собрался с духом и, наконец, уверенно пошагал, чуть прихрамывая, тропинкой к тому месту, где виднелась небольшая пирамидка со звездой. Там он повернул направо и через несколько шагов оказался перед аккуратным участком Слепневых, посыпанным белой мраморной крошкой.

Могила Алёнки оказалась с самого краю. Возле низкого обелиска из черного габбро лежали свежие, срезанные накануне цветы. Андрей встал напротив, оперся обеими руками на костыль и замер, склонив голову. В зарослях орешника гомонили воробьи. Ветер доносил запах паленой травы. По шоссе с воем и железным грохотом ехал пустой самосвал. Кто-то смотрел на Андрея. Он поднял голову и увидел Слепневу, стоящую чуть поодаль, на тропинке, с пластиковой бутылкой в руках, полной воды.

— Здравствуй, Андрей.

Он поздоровался в ответ.

— Рассказывают, детей на Севере спас. Правда? — Слепнева зашла за оградку, подняла букет и поставила в воду.

Андрей кивнул.

— Рассказывают, чудом не погиб, — женщина взглянула на костыль, на который Андрей до того опирался, а теперь стыдливо прятал за спину.

Андрей пожал плечами и отвел взгляд.

— Ты не стесняйся. Хорошего не надо стесняться. Молодец, если правда все.

И что к дочери моей на могилку пришел, тоже правильно. Значит, совестливый человек.

Андрей молчал.

— Я каждую субботу прихожу. Хотела бы чаще, да сил потом нет работать. Лежу на кровати, в одну точку смотрю. Есть у меня на коврик с оленями такая точка, где грибы у леса и не то зверушка какая, не то просто нитка неудачно прошла. Вот туда и смотрю. Не утихнет, Андрей, ничего, сколько бы лет ни прошло.

Хотел Андрей что-то сказать, но не мог. Как утешить?

— А на тебя зла не держу. Раньше думала, что убью, потом успокоилась. А как узнала, что не ты за рулем был, так и вовсе простила и даже пожалела, что из-за Людки, дуры такой, столько греха на себя взял. Симагина год назад разболтала на всю деревню, кто во всем виноват. Они с Людкой ругаются, дом тети Шуры делят. Хотя и Людку простила. Что с нее, с шалапутной, взять. Ее и так Бог наказал, детей ни от одного мужика не дает.

Андрей в волнении достал было из карманы сигареты, но постеснялся закурить и спрятал обратно.

— Что же ты отцу своему и матери правду не сказал? Нехорошо так. Скажи. Они, поди, теперь и сами знают, но ты скажи. Им тоже полегче будет. От правды всем легче.

Андрей поднял голову и встретился взглядом со Слепневой. И не было в том взгляде уже ничего, кроме усталости. Он неловко попрощался и поспешил к выходу с кладбища.

14

Дом стоял на центральном перекрестке деревни, наискосок от магазина, напротив старого тополя, на верхушке которого каждый год оживало новой семьей гнездо аиста. В этот год отец методично пилил старые яблони, что росли вокруг дома и вдоль забора. После какого-то особо сильного заморозка они вдруг овяли, засохли и перестали плодоносить. Если и появлялись теперь плоды, то лишь на паре веток, как напоминание о бывлых урожаях, когда по осени всю землю, вплоть до забора, пятнали розовошекие, пахнущими медом восковые яблоки. Вначале деревья еще пытались пробиться к солнцу почкой, но этой весной остались в своем буре в прорехах исподнем. Они замерли, словно застигнутые какой-то страшной небесной карой, раскинув руки-ветки, подобно солдатам в самоволке, до того пьяно плясавшим нагишом поперек устава, в чужом огороде, на виду у противника.

Отец завел бензопилу и грыз пахнущие медом красноватые комли, разбрызгивая вокруг яркое конфетти опилок. Звук старой отцовской «дружбы» Андрей признал издали. Среди десятка движков он с уверенностью различил бы этот, с заметным не то лязганьем, не то полаиванием. Еще школьником, примостив пилу в коляску «урала», ездил Андрей валить сушины по лесной дороге к бывшим хуторам, что если напрямик через лес, были на полпути от дома до хмерского погоста. Дорога та давно заросла и частями ушла в болото, но мотоцикл проходил. Андрей помнил тяжесть инструмента, злой его, деловой озноб, масляный пот на коже. Отец учил выбирать дерево, определять наклон, готовить место под падение, показывал, как надо делать подпил, как валить. Но что бы та наука, если бы не опыт? Как ни предупреждал отец, но однажды пилу

зажало. И Андрей больше часа, стараясь не повредить цепь и шину, мучил топором звонкую, давно обронившую ненужную кору ель. Справился, сдюжил, чуть не пропал сам под рухнувшим тонным стволом, но пилу спас.

Теперь он прошагал, чуть прихрамывая, от перекрестка в светлом итальянском плаще поверх серого джемпера, перепрыгнул, упираясь на костыль, с островка на островок по архипелагу тверди, торчащей посередь даже в июльскую жару не подсыхающей деревенской лужи. Тут и расслышал лай старушки «дружбы» и остановился на обочине в прозрачной еще весенней тени дичка сливы, стал рыться по карманам в поисках сигарет. В переносице свербила слеза, и он морщился, выдыхал шумно, тер нос, но все равно веки намокли, и он устыдился того перед ветром и пыльными придорожными кустами. И хорошо, что был он на дороге совершенно один, что никто вместе с ним не вылез из разбитого «пазика» у Хмера, не доезжая таблички «Плюсненский район», хорошо, что никто не шел навстречу, никто не маячил у забора бывшей фермы. Он снял сумку с плеча, поставил на валун, закурил и долго смотрел на солнце, чтобы другие слезы, те, что от нестерпимого сияния звезды, вымыли из глаз соль и горечь возвращения, узнавания и покаяния всякого уехавшего и позабывшего.

Андрей не звонил, о приезде не предупреждал. Решил, пусть будет родителям сюрприз, чтобы не дать им извести себя ожиданием, сутками колготящимися от одной клетки календаря на стене в кухне до другой. Пусть лучше так, сразу, как снег на голову. Как бы ни были заняты деревенские работой, а нет-нет да и посматривают на дорогу, словно какого знака ждут: путника, гонца ли, бродягу. По тому, как замолкла вдруг пила, с холостого хода провалившись в яму тишины, Андрей понял, что его заметили. К старости отец сохранил остроту зрения, на спор соревновался с мальчишками, считая фарфоровые изоляторы на крыльях далекой вышки линии электропередач, по походке за пару верст узнавал соседей. И собственного сына, хоть и хромот тот теперь изрядно, конечно, узнал. Андрей непроизвольно ускорил шаг, когда увидел мать, выбежавшую с крыльца и устремившуюся к калитке. Отец, отирая руки о тряпку, поспешил за ней. И теперь Андрей не удержался, подобрал костыль и, не замечая боли в ноге, бросился навстречу родным. Он подхватил маму у тополя на перекрестке, уже не бегущую, а летящую к сыну отчаянной птицей, легкую, почти невесомую, и закружил, уткнувшись головой ей в волосы. И вдыхал мамин запах, запах корвалола и сдобы, дыма и нежности. И вот уже отец колет его субботней утренней щетиной и хлопает по плечам. И аист в гнезде у дома вытягивает шею и трещит клювом, разбивая апрельское небо в мелкое крошево каленого стекла.

Ербол Жумагул

Покуда жизнь — загадка

* * *

Поднимутся ли веки на азан
и добегут ли ноги до Магриба,
пока судьба не даст по тормозам,
я буду жить, раскаиваясь, ибо

мирская грехо-римская борьба
и не таких способна на лопатки...
В гламурный век разврата и бабла
лишь мёртвые на что-нибудь не падки.

От бытия нисколько не устав,
идя свой путь (на фоне звёзд — короткий),
аз есмь казах с айтысом на устах
и трудной мыслью в черепной коробке.

Знать, прервалась батыров череда
на предках, удивляющих делами.
Мне стыдно перед ними иногда
за роковую пропасть между нами.

Они знавали соль больших побед:
бойцы Едиля, братья Темучжина,
кто каждый третий — пламенный поэт,
а каждый первый — воин и мужчина.

Тумены знаний сломлены о рвы
невежества. Затем сию, глаголя:
«Блеснёт ли снова золото Орды?».
На всё Творца желание и воля.

Знакомый фильмов и приятель книг,
тех, что стремятся к главному увлечь нас,
я знаю, что и самый краткий миг
имеет среди родственников — вечность.

Тщась отстреляться здесь наверняка,
чтоб не стыдиться, в почве почивая,
в оседлом теле — в жажде движняка —
душа моя теснится кочевая.

Жизнь веселее, чем грустнее смерть,
а вправо шаг — ценнее сотни влево.
Мне часто снятся чеховская степь
и три сестры — Любовь, Надежда, Вера.

Там зорек месяц, выпяченный в темь,
созвездий соблазнительны топазы,
и лошадь щиплет собственную тень
за ночь до отправления на казы.

Поднимутся ли веки, добегут
ли ноги и дотянутся ли руки;
пока снаружи космос берегут,
то и внутри нет места для разрухи.

Пускай опять жестоко ранен век,
веди меня туда, моя дорога,
где в рай скакал бесстрашный Райымбек
и Богенбай всем сердцем верил в Бога.

Ербол Жумагул (Ербол Жумагулов) — поэт, режиссер. Родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахскую академию спорта и туризма. Автор книг «Ерболдинская осень» (М., 2007) и «Трюк драматурка» (Алматы, 2017). Лауреат конкурса «Казахстанская современная литература» (2000). Живет в Алматы.

* * *

Переулками жизни щемящей
среди прочей братвы прохожу
и о том, кто из них настоящий,
ошибиться боясь, не скажу.

Отбывая свой номер беспечно,
на манер бездуховных машин,
человечество — бесчеловечно
исключением за небольшим.

Не жалея ни крови, ни денег
сушат реки, сжигают мосты.
Поднимите мне век с четверенек,
и поставьте его на мослы!

Чтобы там, где эпоха метельна,
наступила благая весна.
Время — временно. Смерть — не смертельна.
Только вечность в натуре вечна.

Так играй же, судьбы мелодрама,
кинофильму мирскую крути,
где сгорает потомство Адама
в стороне от прямого пути.

* * *

осень в городе воздух тягуч и горек
низко мечется птица-метеоролог
где небесное приливает море к
берегам горизонта который долгон

в мутном воздухе сером сыром и сиром
громко пахнет призывами и санчастью
был я веку пасынком а не сыном
дальним родственником мировому счастью

церемонится небо грозит грозою
монотонно планеты бегут по кругу
на которые бережно я глазею
семена вдоль дороги с тоской под руку

ветра с ветошью преддождевые танцы
гонят с шелестом жухлую вдоль забора
и стоят деревья как арестанты
в ожидании приговора

Новая река

Спеть в степь про казаха в проказах; про пыль и былль, про закат за так.	«Сила сильна, слабость когда слаба», — наши слова. Твои и мои слова.
Про шлак Мангышлака и Жестьказган, аул Атырауленный и «Ур-р-ральск!»	Всем резон перемен и бризол пюремен, богатырь краснеет, моржовеет хрен.
Астана виста сквозь шум Ишима, в эру чин-чина и времена жим-жима.	Новой на реке — шарм. На руке — шрам. Рукав реки разорван по всем швам.
О, времена! О, травы! О, сок отравы. Воздух щекочет злой шепоток облавы.	Вот и стою бубню, напрягаю бубен: «Никого не простим, никого не забудем!»

* * *

благостен путь мой ей богу зело хорош левых рублей рублей правый ценнее грош вера моя верна духа подъём подъём в этом вина вина истина только в нём как писал саади лучше упасть чем лечь	пьяных введут в сады трезвым дадут отжечь лыко словес вяжу с тягой о главном спеть так и живу живу благо не смерть не смерть радость ишу в труде хоть и нет нет грешу слава тебе тебе верю боюсь прошу
--	---

* * *

Вот тишина, знакомая до боли;
она о том, как, медленно стеля,
долгим долги усердные дороги
в пространство настоящего себя.

В брошюре жизни — вечера закладка,
пуста души раскинутая степь.
Я счастлив здесь, покуда жизнь — загадка
и трудный шанс достойно встретить смерть.

Закат ума — к сердечному рассвету.
Как написали: многая печаль,
пока горит (других Творцов раз нету)
на лбу вселенной Господа печать.

Как бы мозги об этом ни слагали,
не существует в мире языка,
чтобы суметь подробными словами,
какая плещет в сердце музыка.

В любой момент, в котором смерть отлога,
живу и неизменно сознаю:
что всё — любовь и дивный дар от Бога,
что, как и все, из света состою.

Ирина Цыгальская

Два рассказа

Десятый

Показалось, он старый и грустный, он шел по мокрой дорожке парка, ступая прямо в лужи; она услышала вдруг, как чавкают промокшие ботинки.

Ничего она не могла слышать, была далеко. И может быть, он купил новые ботинки на добротной подошве, и они не промокают, оттого-то он так смело и шагает по лужам. И ничуть не грустный, вон, остановился у канала, вполоборота к ней, улыбается.

— Зайди, — говорит, — в наш магазин: там дают яички.

— Да? — она обрадовалась было, но тут же скисла, у нее полная сумка, и сетка уже полная. Спросила с надеждой: — Очередь? — потому что, если очередь, то не так обидно, мало ли, где что дают.

— Без очереди.

Светлана выразительно качнула обеими сумками.

— Не могу.

— «Не могу»... выходит, зря меня прогнала, теперь не понесу.

— Много ты мне носил, — рассердилась она.

Но Володя не слышал, он уходил от нее, и она опять услышала, как зачавкали промокшие ботинки.

«Старый и грустный, неприкаянный и бездомный...»

«Что за наваждение, — бормочет Светлана, — давно пора образумиться...»

Глянула на себя в темное стекло кафе, седая прядь из-под берета, тяжелая походка. Это, конечно, из-за нагруженных сумок.

Володя уходил.

Так он ушел однажды от *той женщины*, первой жены. Объявил ей и матери, сыну с дочкой, что он — писатель.

— У тебя золотые руки, — охнула старая. — Господи, писатель...

Володя показал на свою голову и сердце: — Вот, где золото.

Сын смотрел во все глаза, удивленно и, кажется, с уважением, похоже, он один из всех был готов поверить, что отец говорит правду. Володя сказал на прощание всем, но смотрел только на сына:

Цыгальская Ирина — писатель, переводчик латышской прозы и поэзии, автор нескольких сборников рассказов и повестей, книги эссе и зарисовок, редактор «Рижского альманаха». Живет в Риге.

— Со временем вы поймете...

Он написал рассказ о *той женщине*, назвал Марией, а себя Антоном. Они оба жили в детстве трудно, потому что были война и послевоенные годы. Антон рано ушел из дому — поступил в ремесленное училище в райцентре. Рано женился, и в семейной его жизни если и не было, может быть, счастья, то был покой и достаток.

Но никогда не было праздников. Потому что Мария не допускала отклонений от заведенного порядка. Махнуть куда-нибудь ей казалось ненужным безрассудством. Позвать гостей? Можно, только с условием, чтобы вовремя ушли, в одиннадцать часов пора спать. По рассказу так и было: Мария ухитрялась всех выпроводить не позднее половины одиннадцатого. Не гнала, не ругалась, однако умела показать. То станет убирать посуду, а сама приговаривает: «А вы ничего, вы сидите, не обращайтесь на меня внимания». Да как-то вот так, что каждому ясно: надо именно не сидеть. То вдруг спокойно расскажет, что вот какая с ней странная штука: в одиннадцать часов не заснет, то потом вся ночь пропала, глаз не сомкнет до утра. А против гостей — часы на стене: тик-так, тик-так...

Долго ли коротко, но герою рассказа стало жить с Марией невыносимо.

— Это про нее? — прочитав рассказ, спросила Светлана.

— А что, похоже?

Светлана пожала плечами. На самом деле ей показалось, что ничуть не похоже. Она знала его жену, когда-то жили на одной улице. И город был небольшой, даже и не город, а поселок городского типа. Володина жена бывала и веселой, и грубой. А уж праздники закатывала! Вся улица знала, что у них гуляют. Но была работающей, это верно, и праздники от будней отличать умела. И сидеть Володе на кухне ночами не позволяла: завтра на работу, мне, тебе. Детям в школу.

Что Володя — писатель, не верила. Верила в его золотые руки и хорошую зарплату на заводе.

— Ничуть не похоже, — сам себе ответил Володя. — Она была хорошая женщина, простая.

— И жил бы с ней, — Светлана обиделась.

— К тому же умница, — продолжал терзать Володя, — говорила мне: приедешь из своего писательского института, кем будешь? На завод не вернешься, ни то, ни сё. Сопьешься с круга. От больших претензий одно горе.

— Вот мне оно и досталось, — шепнула Светлана.

— Да, — согласился Володя, — но не от претензий: от ума и чувств.

— Ого!

— Не сердись. Путь художника — всегда риск, всё ставится на карту. А что выйдет, никто не знает. И в девяти случаях из десяти не выходит ничего. То есть жена моя права была в девяти случаях. Зато в десятом — нет!

— Ты — десятый?

— Если бы я знал...

Он уже сомневался.

А тогда, уезжая в Литературный институт и навсегда расставаясь с *той женщиной*, верил безусловно.

Поверила и Светлана. Уехала от мужа с шестилетней Асей. Поселились у Володи в общежитии, скрывались от коменданта: расписаться не могли, так как

муж Светланы не давал развода... «Много всего пережито... Асей жертвовала, не только собою. То и знай шикала на девочку: тихо, комендант услышит. — Поедем домой... к папе. — Нет, я люблю дядю Володю». Светлана говорила с Асей, как со взрослой.

...Володя уходил по мокрой дороге, ступая прямо по весенним лужам, и она слышала, все время слышала, как хлюпает вода в его ботинках. Хотелось броситься за ним вдогонку, он ведь уходил от любви, и любовь уходила вместе с ним. Закричать: Воло-одя.

Но бежать сил не было, сумки тянули к земле... Нет, она не знала с ним никакой радости. Он ее не понимал. Вырвался из сильных рук *той женщины* и... «Лучше не вспоминать, какую жизнь вели. Куда-то бежали, будто хотели догнать ускользающие радостные мгновенья. Асю хозяйкой сделали». — Ты у меня маленькая хозяйка большого дома, — грустно улыбалась Светлана десятилетней Асе. А дом был совсем не большой. Разменяв с мужем квартиру, Светлана получила в Риге комнату в коммуналке. «Ах, всё куда-то торопились, были какие-то шумные компании — литераторов, художников, день и ночь сливались в одно. Время бежало вместе с нами... Ася меня совсем не видит, — мучилась я. — Да что Ася: кажется, я и сама-то себя не вижу. За одним гонюсь: не походить на Марию. Стараюсь все делать обратно тому, как, мне кажется, поступила бы она. Что ни день, восстаю против размеренности, не жалею ни себя, ни своих часов. И постепенно растворяюсь в этом выдуманном образе — "противоположность Марии". Поворотом стала встреча с цыганкой. Так мне кажется».

Светлана спешила на работу, бежала через парк. Цыганка шагнула к ней из-под пушистого, в белом снегу, дерева.

— Девушка!

Светлана не откликнулась, побежала быстрее, цыганка за ней:

— Да погоди, я не гадать...

— А что? — она приостановилась.

— Дай две копейки, позвонить хочу.

Светлана пошарила в кармане, нашла трехкопеечную монету. — На, разменяешь.

Цыганка, молоденькая, в пуховом платочке, лукаво заулыбалась — теперь не уйдешь. Светлане все равно стало, пусть гадает. А цыганка уже тянула за рукав, и уж они обе сошли с дорожки и по глубокому снегу шагали вниз, к каналу.

— Заверни монетку в бумажную деньгу, вот так. Ох, какая ты несчастливая! Ой! С кем хотела, жизнь свою соединила, но мучаешься... погоди, сейчас скажу... уже без малого пять лет. На-ка, — она сунула в ладонь Светлане зеркальце, — взгляни сюда: врага увидишь. Вот, кто тебе жить не дает. А теперь заверни рубль в пятирублевку или в десятку, да не бойся, мне твоих денег не нужно, держи крепче в своей руке, а я тебе твою судьбу рассказывать стану, заворачивай!

У Светланы, кроме рубля, последняя пятерка до получки.

...Володя после института на завод не вернулся, все говорил ей: — Получу за книгу, рассчитаюсь с тобой, вот увидишь, — но книга не выходила, и никакой расплаты Светлана не ждала.

— Хватит, — сказала цыганке, — прощай. — И быстро пошла в гору, к

дорожке. Цыганка опять за ней: — Судьбу разгадаю! — Светлана не обращает внимания. Цыганка рассердилась и швырнула ей вслед рубль с завернутой в него трехкопеечной монетой. — Лови! — Деньги бесшумно ушли в глубокий снег. — И рубля мне твоего не надо, несчастная! Гляди — своего лютого врага увидишь! — И бросила вдогонку еще зеркальце, которое тоже потонуло в снегу...

Цыганка долго не шла из головы, «какие глупости, лучше бы то зеркальце Володе швырнула...»

Володя уходил и вдруг опять остановился у канала, вполоборота к Светлане.

— Зайди в наш магазин, возьми торт...

— Не могу! — она закричала. — Ты же видишь: — и с силой тряхнула сумками, так что из одной выпрыгнул «жулик» за три копейки и упал на мокрую дорогу.

— Светлана, я тебя прошу. Пожалуйста, в последний раз. Сергей приезжает, я донесу, только денег у меня нет. Купишь? Сын же, надо встретить по-человечески.

— А моя Ася, а я ... Сергей, сынок... А дочка моя...

На них стали оборачиваться люди.

— Светлана...

— Да-да...

Она понимает, что, конечно, Асе это не так важно, как Сергею. Ася может сочувствовать, может презирать или жалеть дядю Володю, но его плачевное положение никогда не отзовется в ней жарким стыдом и острой болью.

Она все сделала. Был и торт, и стол накрыт по-хорошему, в доме все было, их жизнь после встречи с цыганкой стала размеренной... Тогда Светлана отыскала, вынула из глубокого снега зеркальце. Цыганка уходила и сыпала проклятия, а она гляделась в зеркальце, словно оно и вправду было волшебным. Гляделась в зеркальце и видела чуть искривленный усмешкой рот и едва приметные морщинки. Убрала усмешку, и морщинки разгладились, но лицо сделалось невыразительным, никаким. С таким лицом... жить не хотелось. Светлана улыбнулась зеркальцу, и морщины углубились. Трапедия. Глубокие борозды, а лицо усталое. Почудилось, что зеркальце цыганки над ней смеется. Уронила его обратно в снег.

Ту женщину Володя забыл, а Мария — так Марии же нет, значит, нет и ее противоположности. Володя пишет о слесаре из маленького городка. Тот влюблен в свою работу, и лишь ночами снятся ему голубая река и белые крылья, на белых крыльях взмывает он ввышину и летит над голубой рекой.

Их жизнь стала почти монотонной.

Она и Ася спят ночью вот так: вдоль одной стены Асина кровать, вдоль другой диван, широкий, раздвинутый на ночь, и на нем спит Светлана. Проход остается узкий-узкий, в нем, у окна — стол, тусклая настольная лампа, и Володя сидит над белым — ослепительно белым, ярче этой лампы — листом бумаги. Под утро ложится на диван, лежит без сна. Светлана всю ночь неслышно мучается вместе с ним, вроде спит, вроде не спит, чувствует все, что происходит в комнате, и знает, что скоро зазвенит будильник. Вот Ася отбрыкивает ногой одеяло, вот встал Володя, вышел на кухню курить. Утром соседка со стуком распахнет окно,

громко скажет: — Ф-фу! — и Светлана сквозь стенку увидит ее раздраженную гримасу.

... — Мы засиделись? Почему ты убираешь? — шепотом спрашивает Володя, выходя следом за ней на кухню.

И опять вспоминается Мария, как она выживает в половине одиннадцатого гостей. «Ах, ну пусть: Мария — так Мария!»

— Ну как почему? Стол надо сдвинуть, чтобы поставить Серёже раскладушку.

— А может...

— Мне с Асей лечь? А ты с ним? Пожалуй, хотя у Аси тесно. Но если хочешь...

Ночью она лежит на краешке, на боку, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить Асю. На диване шепчутся Володя с сыном.

— Пап, я все хочу тебя спросить... ты уже написал свою книгу?

— Да, лежит в издательстве, как выйдет, сразу пришлю. Скоро ли? Да, сынок, скоро-скоро.

«Боже мой, — думает Светлана, — я, живя тут с ним, давно не спрашиваю о книге, а они там ждут. И ему... как ему важно послать им, чтобы оправдаться. Как давно он уже не рассказывает мне о книге, что рассказывать, бок о бок живем...»

— Мама говорит, лучше бы не ездил ты никуда, работал с ней на заводе.

— А ты?

— Я... я, пап, не знаю, как лучше, но...

— Что — но?

— Ты не рассердишься?

— Нет.

— Нам хорошо было с тобой. Но я знаю, ты не виноват, что... ну...

— Говори, не бойся.

— Да не знаю, как сказать.

— Как скажется, все равно. Не виноват, что писатель?

— Нет, не писатель, а... хотя вот и мама говорит, что *та женщина* ни при чем...

— Какая? — тихо смеется Володя, и Светлана, не видя, не открывая глаз, чувствует, что он посмотрел в ее сторону. «Чудно, — улыбнулась в темноте, — я ее так называю: *та женщина*, а она меня, оказывается, так же. Один Володя внес ясность в жизненный сумбур, назвал — Мария. Мария — и все понятно. Мария, которая не хочет праздников или хочет, чтобы праздники размеренно чередовались с буднями».

— Я тебя понимаю, — шепнул Серёжа.

«А, вон что — понимает. Влюбился, что ли? Может, романов начитался, или... узнал предчувствие любви, в какой-нибудь весенний день, когда солнце светит и все девушки такие красивые, ах ты, чудо-юдо, Серёжка, небось и Ася, спроси, тоже с умным видом скажет: я тебя понимаю, мама... Дети, дети, вы предчувствуете радость любви... Ну еще, может, неотвратимость предчувствуете, что ничего нельзя с ней сделать, ни-че-го. А муки... Даже если соединить свою жизнь, с кем хотела, как сказала цыганка. Уж и молодая цыганка знала, что соединить-то соединила... Да ну ее, цыганку, слова. Какая же это из женщин себя счастливой считает? Миг, один лишь миг мы счастливы, и в этот миг

брызжет наше счастье из глаз, бьет, как солнечные лучи, ослепить может. Так этот миг всякий заметит, не то что лукавая цыганка».

— Спасибо, сынок, что понимаешь, — серьезно сказал Володя. С грустью сказал, потому, видно, что все-таки не угодил ему Серёжа, не совсем-то понял.

Они умолкли и молчали так долго, что Светлана решила: спят. И сама расслабилась, прильнула к Асе, девочка повернулась к ней во сне, обняла за шею, безмятежно улыбнулась.

Как давно она не ласкалась к матери, Светлана сама ее отучила. Когда-то Ася просилась к ней вечерами или звала к себе: «Мама, ляг со мной, пригрей меня», — но она была сурова, неумолима. Не только из-за Володи, считала, что это вообще не нужно, достаточно на ночь поцеловать Асю в щеку.

Светлана закрыла глаза, и уже закачались белые ромашки на желто-черном фоне...

— А она... — вновь зашептал Серёжа, помолчал и потом закончил: — приветливая.

«Долго подбирал слово, может, хотел сказать «хорошая», чтобы сделать приятное отцу, да вспомнил про мать. Уж какая я для них "хорошая"».

— Спи, сынок.

— Не спится.

— Тогда послушай, что я тебе скажу. Видишь ли, твоя мама права... в девяти случаях из десяти было бы правильно остаться там и работать вместе с ней на заводе. Но в десятом — у десятого иной долг, и дело тут, правда, не в «той женщине».

— Ты — десятый?

— Ох, Серёжа, ну что вы все заладили — десятый, десятый. Не знаю я, десятый или ...седьмой. Мы все, то есть все десять, должны уехать из того городка... или не уезжать, все равно, и пытаться, пробовать, узнавать, кто из нас — десятый, а то, может, и сотый, понял?

— Угу, — прошептал Серёжа.

«Знает ли, в каком деле себя должен пробовать? Есть тысячи дел, где все десять хороши, а уж если и не хороши, то как-нибудь все равно сойдут. Хоть бы у нас в экскурсионном бюро. Хуже ли, лучше расскажу о Старой Риге, не велика разница. Кому дано, и без меня почувствует, кому охота — литературу найдет. Когда-то в библиотеке сидела, стихи разыскивала, следы пребывания в Риге знаменитостей...»

Были каникулы, и Светлана утром предложила Володе съездить куда-нибудь с детьми, с Серёжей и с Асей. Володя глянул очумело:

— Да ты что? А кто работать будет?

— Я. — Ответила с тихой яростью. — Я.

— Светлана, — взмолился он.

И ничего больше, при детях нельзя, не надо. Но она и без слов понимала. Что в другой ситуации, скажем, с одной Асей, поехал бы, как она велит, и ездил, хоть и не часто, потому что она не хотела его обременять своей Асей.

Но не сейчас. Сейчас он должен показать сыну, что он действительно работает, какой же писатель может быть свободен от рабочего места за столом? Речь не о нем, не о Володе, речь о сыне, о том, чтобы тот понял: и теперь отец трудится, хоть и не уходит рано утром на завод, как когда-то.

— Хорошо, — сказала она, — поедут со мной. Серёже будет интересно.

— А мне? — заикнулась Ася: она была на этой экскурсии уже много раз.

— Что — тебе? Собирайся.

Он остался один в доме, в целой свободной комнате, и сел в тишине за стол, как настоящий писатель.

Так было все каникулы. Светлана чувствовала себя не то артисткой на сцене, не то отъявленной лгуньей. Ведь их отношения с Володей уже давно сложились по-иному! Не было ему уважения, которое теперь оказывалось, при сыне; не было ни от нее, ни от Аси! Да и за что? Он так мало заработал с той поры, как уехал от *своей Мариин*, что значили по сравнению с их нуждами жалкие гонорары за несколько публикаций? Разве это деньги? За все-то годы!

Светлана знала, зачем устроила и Володе «каникулы», не только Серёже. Совсем не к досаде *той женщины*, не затем, чтобы ей доказать или показать что-то через Сережу.

Она растила в Серёже веру в отца. Кто-то, хоть кто-нибудь, должен верить в его работу!

Она уже не могла. Не могла, хоть и болело за него сердце, хоть и не знала, права ли в своем неверии. Ну, были рассказы, иные нравились. Да, она грустила над ними. Но может, и не над ними, а над своей жизнью? Может, грустила «вообще».

...Он шел, он уходил от нее, шел по мокрой весенней дороге, ступал прямо в лужи, она опять слышала, как хлупает вода в его ботинках. И опять он остановился у канала, вполоборота к ней, с улыбкой уставился на весеннюю воду. Вода несла какие-то прутики, два или три прошлогодних листочка, и чему это он улыбается, ну чему?

— Прогнала, так теперь не узнаешь, — казалось, он усмехается с загадочным видом.

Он принес ей однажды что-то большое, прямоугольное, в оберточной бумаге, перевязанное бечевкой.

— Поздравляю.

— С чем?

— С пятилетием нашей совместной жизни. Развяжи.

Она забыла о пятилетии, смутилась из-за этого, в смущении развязала и... открылись ей белые ромашки на желто-черном фоне.

— Картина, — сказал Володя.

Она закрыла глаза и представила настоящий луг, зеленый-зеленый, и множество белых ромашек и желтых одуванчиков, целое половодье красок и света, прозрачный воздух, солнце.

Был такой луг, где-то был, в Сигулде, что ли? Но она не могла хотя бы минутку постоять на этом лугу, ждали экскурсанты, пещеры, башня.

Почему художник изобразил свои ромашки на желто-черном фоне? Может быть, хотел напомнить, что есть настоящие луга и там есть все, чего нет на его полотне? Как она затосковала по лугу, увидев эти ромашки на желто-черном фоне! Может быть, они и выражали это — тоску горожанина по настоящему лугу? Было в картине что-то необычайное — радость и даже буйство красок, при том что их было всего три: белая, желтая и черная.

...Володя уходил. Он шел, он уходил от нее, шел по мокрой весенней дороге, ступая прямо в лужи. Уходил от любви. Но любовь, ну никак, вместе с ним не уходила.

Школьный сон

Мальчишка привлекал меня, и не только тем, что так часто во время урока торчал за дверью класса.

Мне, конечно, интересно наблюдать школьников и на перемене. Но как все самое таинственное, а может быть, в причудливо зашифрованном виде — и самое значительное для человека — происходит ночью, так в школьной жизни оно происходит в опустевших после звонка коридорах.

Школьный сон. Тишина. И того, кто не в классе на уроке, охватывает чувство отдельности, дающее возможность себя осознать вне класса, кружка, группы...

Мне нравится во время урока послоняться по школе, воображая себя... ну, скажем, лисой, которая вышла на охоту. Хотя в учительской во время урока тоже интересно. Учителя пьют чай, разговаривают, рассказывают сны. Устав от их метафизики, делятся иногда своими кулинарно-кондитерскими достижениями. Но это уже не так волнует: я молода, и домашним хозяйством пока не увлекаюсь, считая, что создана для чего-то совсем другого.

... Этот мальчик — не из моего класса, который я воспринимаю как нечто единое, — как, например, сорокаголовую гидру. Этот — какой-то отдельный. На вид — лет десяти.

В перемену я нередко ускользаю от сорокаголовой гидры в учительскую, чтобы, стоя в сторонке, покурить. Директор школы Барбос Иванович... Глупости. Совсем не так его звали. И что это мне в голову пришло? Не походил он ни на какого пса. Высокий, серьезный... Ладно: пускай остается Барбосом. Наперед знаю: сейчас начнет: «Вместо того, чтобы...» «Да-да: я должна быть с классом, перемена для учеников, а у меня рабочее время».

Я бегу, и мальчишка бежит куда-то, я ему — р-раз! — подножку, и он летит в угол, падает и ушибается, но, к счастью, не очень сильно, а я чуть не плачу: «Мальчик, милый, прости!» Какими глазами он на меня брызнул, до того поразился: не слышал, в жизни еще не слышал, чтобы ему сказали «прости». Нет, это он должен постоянно просить прощения. Чтобы из угла выпустили. Дневник вернули без замечания.

Но он пережил смерть. Кто мне сказал, что у мальчика умерла мама, я не помню. А это — «он пережил...» — это я потом повторяла часто, стараясь объяснить и его учительнице, и директору, отчего мальчик не может сосредоточиться на задачах о каких-то метрах ткани или костюмах и пальто, которые будто бы завезли в магазин и частично продали.

Курение Барбос Иванович мне прощает. Но мои кольца дыма ему не нравятся, какими-то кажутся не такими. А мне как раз кольца, одно, второе... стою, оцепенелая, гляжу на кольца замороженно. И вдруг — всегда вдруг! — звонок. Я так и дернусь, журнал под мышку...

«Куда вы? У вас же *окно*. Давайте еще покурим». — Это он, Барбос Иванович? Покурить со мной. Значит, мои кольца...

— А что за камешек у вас? Блестит...

Конечно, блестит.

Выхожу из учительской. Тишина, будто сон сковал всю школу. Пустые коридоры... После перемены все преобразилось, школа и дышит, чудится, по-другому. Или и совсем не дышит?

Из кабинета завуча доносятся глухие всхлипы, небось, какой-нибудь лодырь или хулиган уже признался, кается; сейчас ему вернут дневник без замечания, а он даст слово, что больше никогда.

«Смерть он пережил...»

За углом — группа: учителя-предметники и классный руководитель распекают десятиклассника и его маму. У мамы нервы не выдерживают: бросается шлепать сына сумкой, а классная останавливает: «Ах, что вы?! Воспитывать надо по-другому!»

Подобную же группу замечаю издали и на втором этаже, иду лучше на третий, к малышам и подросткам, едва ставшим таковыми. Навстречу неслышно бежит первоклассница, старается сквозануть, куда ей надо, мышкой; меня увидев, шепчет «Здравствуйте!», затем исчезает в туалете... для мальчиков.

В следующем коридоре, за поворотом — немая сцена. Учительница, стиснув зубы, молча выпихивает за дверь «моего» мальчишку. Тот сопротивляется, но она пересиливает — и все, хлопает дверью. Однако едва успевает отступить от двери, чтобы вернуться к уроку, как мальчишка, разгоряченный возней, набрасывается на дверь — и обваливается в класс. Сцена повторяется, как часто бывает в сновидениях, эти-то повторения и делают их порой неизбежными и страшными. Учительница опять избавляется от мальчишки и — запирает дверь на ключ.

Мальчишка здесь — выпал в школьный сон, но еще захвачен недавней явью, кажется, хочет подраться, все равно с кем, лишь бы отстоять свое достоинство. Если заметит, то может наброситься с кулаками и на меня.

Я теперь плохо понимаю свою запись. Она почти документальна. По ней можно вспомнить школьный сон. Был, и правда, мальчишка, и, наверно, я выпадала в сон вместе с ним, то есть мы выпадали, конечно, по отдельности. Кажется, я тоже готова наброситься на учительницу, потому что лицо у нее неприязненное... Или это готовы сцепиться явь и сон.

С годами сознание все дальше отодвигается от подсознания. Сознание становится выхолощенным, в нем исчезают разнообразие, нюансы. Оно делается ровным, незамутненным, настолько устойчивым, что уже не может его ни потревожить школьный звонок, ни встрепетать петушиный крик.

Первоклассница — мышка или, скорее, грациозный котенок, бежит так, будто бы исполняет фрагмент из балета.

Я разглядываю давнюю запись-фотографию, вижу, как вспыхивают вокруг девочки световые пятна, слышу музыку. Облик, движения девочки еще соответствуют ее внутреннему миру, она так гармонична, летит по коридору, почти не касаясь пола. И не ожидает, что кого-нибудь тут встретит. Это ведь сон, в коридорах школы длится сон. Слышится музыка — из «Спящей красавицы», а может быть, это «Танец маленьких лебедей» или — новая, неизвестная сюита. Девочка радуется себе, своему грациозному бегу. Как она растерялась, шепнула мне «здравствуйте» и от смущения скользнула в мальчишеский туалет. Хорошо, не застала никаких там мальчишек над писсуарами, не слышу ни ее вскрика, ни

гогота мальчишек, все остается тишиной и сном; вот она бежит обратно, может быть, даже и не заметила, что ошиблась дверью.

...Я подхожу к мальчику, он и не думает драться, вдруг улыбается мне, может быть, узнав, вспоминает подножку и как он грохнулся, но нисколько не ушибся, а я его утешаю: «прости!»

А теперь изображаю строгого педагога и спрашиваю: «Н-ну?! Что случилось?» «Ничего», — бурчит мальчик.

А я продолжаю допрос, как это ничего, да так не бывает, и так далее, так далее, занудливо, скучно...

Да не допрос: я просто не знаю, как подойти к нему, как сообщить, что все понимаю, знаю о пережитой им смерти, знаю и сочувствую... Словом, я неумело к нему пристаю, но все же не так грубо, чтобы с разбегу выложить: «Мальчик, я хочу тебе помочь!»

— Как это — ничего? А за что тебя выгоняют?

— Да-а, я говорил, что дома никого нету, отец на работе, а она...

— Кто?

— Училка. Все равно, говорит, иди домой и без матери не возвращайся.

— Ты, верно, что-нибудь натворил?

— Ничего я не делал.

— Ну, не может быть.

— У меня ручки второй день нету. Я говорил...

Мы увлеклись и говорим громко, на шум ключ в замке снова поворачивается.

— Ты еще здесь? — и ко мне: — Вы знаете? Он же камнем швырнул в отца!

— Да я не в него, я в евонную женку.

— Иди за матерью, — будто не слыша про женку, велит учительница и захлопывает дверь.

Мы стоим. И я ничем не могу помочь, стою просто рядом, долго-долго, сон длится-длится, тягучий, неизбывный, коридоры, лабиринт... Тишина.

Мы встретились с мальчишкой еще раз — через несколько месяцев, а может быть, и через год, далеко от школы, где он учился, а я работала. Была осень. Мы встретились на взморье.

Все разъехались, опустели дачи, замерли на зиму детские сады. Смотрю — во дворе детского сада стоит корабль. Из песка. Нос и борта — синие доски, впереди руль, есть и мачты. Чуть поодаль — гриб. Мухомор, огромный, метра полтора. Я подошла к кораблю, и вдруг из-за гриба выходит тот самый мальчик, с ним еще какой-то пацан, у обоих на спине школьные ранцы. Пацан говорит: «Извини, у меня другие дела. Не пойду с тобой ни в лес за грибами, ни к морю».

Мальчишка остался один. Кажется, не узнал меня, забыл, наверно, мало ли учительниц к нему привязывалось в школе.

— Это наш корабль, вы его не ломайте.

— Хочешь, я с тобой пойду? И за грибами, и к морю...

Думала, откажется, но он тут же согласился:

— Ладно, — и быстро скинул ранец с плеча: — держите!

Я взяла, и мы пошли. Он впереди и вовсе не оглядываясь, иду ли следом. Но найдя первый гриб, он обо мне вспомнил.

— Смотрите, — вопит, будто я за версту, — смотрите!

Грибов было много, он то и дело вскрикивал о новой добыче. Потом мы свернули к морю. По дороге я спросила: «Ты почему не в школе?» Он не ответил. Море беспокойно шумело. Я стала искать янтарь. Мальчишка смотрел-смотрел и наконец спросил: «Что это вы ищете?» — «Янтарь» — «На что он вам? Да его здесь и нет. Лучше деревяшки собирайте. Вот!» — и принес деревяшку, похожую на рыбу с одним глазом, с коротким туловищем и большой головой. Мы вместе нашли еще несколько обточенных морем деревяшек — вроде лодки, воющей собаки со смешным хвостом и просто причудливые обломки.

— Тебе нравится у моря?

Он не ответил, встал на самую черту между водой и песком, глядел долго на волны — или поверх волн, будто стараясь разглядеть, что там, за морем.

— Я хочу туда.

Я засмеялась:

— Там Швеция.

Он нахмурился, терпеливо стал объяснять: «Да нет, вы не поняли... Я хочу туда», — он указывал куда-то вбок, кажется, там был этот же берег, по левую сторону залива, где виднелись дома и уже загорались огни. Может быть, его взгляд притягивали как раз огни. Или их отражения?

А скорее — он и сам не знал, куда хочет. Может быть, ему и не важно было, куда, главное — прочь отсюда... Вырваться из этой жизни, уйти от печали по матери, избавиться от «евонной женки». И обрести что-то неведомое и прекрасное, которое — он уверен — есть где-то «там».

Кто он теперь — тот мальчишка, о котором хранятся в моей тетради наивные записки давних лет моего учительства? Бизнесмен, для кого туманная даль обрела четкий контур благополучной страны? И в сон выпадает теперь его ребенок, мальчик или девочка, уже не он.

Безработный? Стоит в очереди за пособием, выпав уже не в сон, а в называемый жизнью крошечный ад.

Забыл? — забыл, наконец, свою тоску по матери. Состарились, а может быть, и ушли уже в мир иной его отец и «евонная женка».

Все стало другим, и в новую эпоху этому человеку безразлична чужая жизнь. В том числе и собственные детские переживания: теперь они кажутся ничего не значащими, даже — смешными. Как в прежней жизни — арифметические задачи про какие-то костюмы, которые будто бы завезли в магазин.

Анна Павловская

Держи меня в воздухе

Баллада о крыльях

мне выдали крылья как прочим тесак и рубанок
а я между прочим была неразумный ребёнок
я не понимала что крылья нежнее пелёнок
и лучше пуховых перин и дубовых лежанок

я встала так рано как будто ещё не ложилась
тяжёлая бабочка рядом со мною кружилась
и я оступилась и в чёрное небо споткнулась
и я с этим небом в бессмысленной схватке схлестнулась

нельзя победить говорили поддайся и сдайся
нельзя победить говорили напейся и сдуйся
и чёрного неба уже никогда не касайся
не смей не моги говорили уйди и раскайся

а я не могла отступить не могла отступиться
осталось одно в это чёрное небо вцепиться
и слиться крылами как плотная вязь лигатуры
на звёздном ветру на краю бесхребетного мира

я встала так рано а было уже слишком поздно
и всё что я делала было напрасно и тленно
и я проиграла и падая мордой о звёзды
я крылья сломала о чёрные зубы вселенной

на каждом рассвете не важно на каждом закате
в каком бы болоте меня не застало светило
спасибо тебе говорю что в безумном полёте
и я не сдавалась а ты меня всё ж победило

Павловская Анна Славомировна — поэт, прозаик, сценарист. Родилась в Минске. Закончила Институт Журналистики и Литературного Творчества. Автор двух поэтических сборников: «Павел и Анна» (М., 2002), «Торна Соррьенто» (Минск, 2008). Лауреат литературных премий. Живет в Подмоскowie. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Мир лежал как на ладони,
не менялся календарь,
мчались бронзовые кони
в гобеленовую даль.

От реки плыла прохлада,
растворяясь на ветру,
солнце горьким шоколадом
обливало детвору.

Мыла бабушка тарелки,
пах на печке девясил,
дед потёртую шинелку
просушиться выносил.

Я по скошенному лугу
шла до речки босиком,
пахли розовые губы
деревенским молоком.

Всё как надо начиналось,
беззаботно и легко,
в небе ласточка качалась,
пузырилось молоко.

Пусть всё это повторится
в будущий далёкий год —
девочка увидит птицу,
в небо руки окунёт.

* * *

раскрывается луг нараспашку
бьёт крылом над запрудой ветла
кто родился в несчастной рубашке
понимает такие дела

вот карасик тебе вот подлещик
что ты скажешь мне хемингуэй
я люблю настоящие вещи
в стороне от фальшивых людей

это сна золотая излука
это облачных кущ облучок
что ввалилась волшебная щука
на последний пропащий крючок

* * *

Прими, мой рыцарь (варвар или скальд),
поэзии укатанный асфальт,
где след уже оставить невозможно.
Судьба растает, как брикет с морожным,
навзрыд заплачет горький шоколад
(и здесь, мой друг, тебя опередят).

Прощай, тебе не это обещали,
я замуж выхожу за горизонт.
Бьют соловьи из тьмы очередями,
и больше не с кем лаяться ночами
и с удочкой ходить на Ахеронт.

* * *

Я ушла от тебя, поселилась в прихожей,
В тёмном зеркале, в шапке, в пуху и пылице.
Я ушла в белом платье в зелёный горошек
Самым длинным тоннелем со светом в конце.

Это я превращаюсь в чудовищ по Кафке,
И меня зарывают, как княжеский клад.
Это я — с острия протестантской булавки
Улетаю на небо с толпой ангелят.

Оставляю гнездо на твоей батарее —
Алый шёлк и ласкающий душу капрон,
И свистя, пролетаю кометой Галлея
В галерее дородных сикстинских матрон.

Это я и мои inferнальные тени
Покидаем надменно предательский дом.
Мы уходим по шпалам других измерений —
Кто с мешком, кто с разбитым дурным котелком.

Свет померкнет, погаснет последняя точка,
Растворится в тумане ночной силуэт.
Помаши мне вослед оренбургским платочком,
Потому что никто не помашет в ответ.

Андрей Диченко

Рассказы

Контакт

Все детство Серёжа страдал аутизмом. Сам он точного диагноза не знал, но взрослые с холодными ладонями и морщинистыми лбами называли всякие его странности именно так. К 14 годам мальчик вроде бы поправился, но так и не начал говорить. Считать и писать Серёжа умел, но применял эти навыки только в одном случае — когда катался на общественном транспорте.

Многие, кто знал Серёжу с самого детства, считали его глупым мальчишкой, оставшимся мозгами на уровне второклассника. Но это мнение было в корне ошибочным, ибо юный искатель истины вовсе не вписывался в общепринятые рамки человеческих способностей. Ему открывалась человеческая суть, едва только тонкие костлявые пальцы касались чьей-нибудь плоти.

По этой причине все свое свободное время, которое начиналось с восходом солнца и заканчивалось в сумерках, Серёжа катался на маршрутных такси.

Выйдя в морозное утро на остановку, он тут же доставал из кармана мягкое удостоверение, заверенное размытой печатью. Благодаря этому клочку картона необычный пассажир ездил бесплатно от одной конечной остановки и до другой. Почти все водители маршруток в городе не знали русского языка, но отлично знали Серёжку в лицо. Считалось, что если он сел в машину, значит, никаких неприятностей на дороге не произойдет. Часто водители угощали его конфетами, а ближе к ночи отвозили домой на окраину города, чтобы мальчик не бродил по темным, пустым переулкам в поисках своего дома.

Серёжа садился на самое первое, зачастую продавленное сиденье в потрепанном салоне автомобиля. Делал он это для того, чтобы передавать деньги людям, расплзшихся по миниатюрному автобусу. Прикосновения к пальцам незнакомого человека, ощущение шершавой купюры в руках и безразличные взоры городских обывателей наполняли воображение Серёжи яркими вспышками. Про них он думал уже перед сном, когда наступало важное переосмысление прожитого в пространстве автобуса желтого цвета, покрытого грязевым инеем.

Диченко Андрей Станиславович — белорусский русскоязычный писатель и журналист, редактор журнала «Я». Родился в 1988 году в Калининграде. Автор книг «Кульм сала», «Минское небо», «Аномалии. Inferno», «Ты — меня», «Плиты и провалы». Рассказы публиковались в американских, белорусских, российских, сербских, испанских, азербайджанских и израильских литературных журналах. Живет в Минске. В «Дружбе народов» печатается впервые.

Заглядывая в мысли людей и исследуя их тайные желания, Серёжа хотел напасть на след избранных человеческих организмов. С самого детства он представлял себе тысячи ракет, которые летели к планете из далеких миров и по ночам падали на заснеженные поля. От огненных кратеров разбредались голые и утомленные невесомостью люди. Одни выживали, другие становились чистой энергией и в совершенно ином качественном состоянии возвращались домой.

Серёжа хотел найти тех, кто выжил. Просто потому, что сам был таким. Никто ему об этом не говорил, но далекие миры, в которых он не чувствует себя изгоем, он видел в своих снах. Там же его собратья смотрели в гигантские телескопы и наблюдали за жизнью на берегах океанов, спонтанно возникшей на этой планете.

К сожалению, многие не понимали своей ценности и хотели с ней покончить раз и навсегда, но Серёжа верил в великий смысл любой жизни. С местным населением он никогда не общался обычной человеческой речью только лишь из-за того, что его разум не умел этого делать. Сначала это его печалило. Он метался, словно был вольной птицей в запертой комнате. Потом же напрасное отчаяние сменилось безразличным ко всему смирением. На рубеже десяти и одиннадцати земных лет он много думал о том, что, наверное, есть другие способы общения с людьми.

Во многом на чудесные открытия одаренного мальчугана повлияла приемная мать и ее прикосновения. Когда она своими теплыми губами целовала его в лоб и гладила по густым русым волосам, то незримые солнечные лучи будто бы просвечивали насквозь спину и ноги. Кожа покрывалась мурашками, и от этого тело мальчика содрогалось, а лицо невольно озарялось улыбкой.

Однажды в разгар рабочего дня Серёжа забрался в очередную маршрутку с налетом грязи на стекле. Через несколько остановок напротив него уселась черноволосая девушка с мечущимся взглядом. Сначала она долго рылась в сумочке, а потом извлекла из нее несколько мятых купюр. Серёже она показалась подозрительной и слишком неестественной. Едва протянув к ней руку и коснувшись кончиками пальцев ее плоти, он внезапно ощутил прилив необычных, лишенных логики решений.

«Ура! Свои! Ура! Свои! Ура! Свои!» — вертелось несколько одинаковых слов в голове. Еще немного — и они вырвутся из сплошного потока мыслей и обретут собственное звучание.

Но пока что еще рано.

Девушка пристально смотрит на своего спутника. Затем складывает губы трубочкой и будто бы целует его нос. Серёжа в ответ на эти телепортационные ласки кивает в ответ головой. Всем своим видом он дает понять, что готов к контакту и именно ради этого наездил тысячи километров по разбитым городским дорогам. Машина трясется, металл дребезжит. Люди в салоне дергаются от резкого торможения. А Серёже радостно на душе.

«Это все так похоже на аттракционы в парке».

— И может ты... — она говорит будто бы шепотом, но больше никто ее не слышит. Только два человека. Человека ли?

Девушка берет Серёжу за руку и просит остановить машину где-то между районным гастрономом и заводом, стены вокруг которого такие высокие, что даже если распрыгаться на батуте, все равно не увидишь невзрачных зданий и грязных проходных.

Выйдя на свежий воздух, они попрощались с маршруткой взмахами рук и

побрели вдоль забора, поверхность которого давным-давно потрескалась и напоминает фантасмагорические карты неизведанных миров в двумерной плоскости.

Огибая кирпичные дома, разбитые детские площадки и просто ничем не застроенные пустыри, они вышли на просторную полянку, в кустах рядом пахло гнилыми листьями и горелым лапником. Девушка достала из сумочки маленькую скатерть, на которой белыми и черными нитками аномальная швея выткала звезды и пустынное космическое пространство так, будто оно было *качественно иным*.

Постелив скатерть на холодную землю, новая знакомая с укоризной посмотрела на Серёжу.

— Положи все, что способно тебя здесь удержать, — и Серёжа в ответ достал из внутреннего кармана одно лишь удостоверение, наивно полагая, что спутница избавит его от бесконечных поисков.

Замотав удостоверение в скатерть, она спрятала сверток в сумку. Попрощавшись с Серёжей, девушка отскочила в сторону и спешно убежала в лес.

Оставшись в одиночестве, Серёжа вдруг понял, что все вокруг — это сплошная фальшь, которая случилась по очень большой ошибке. Одержимый мыслями об отсутствии реальности, он пешком возвращался домой, врезаясь в витрины магазинов и неприветливых прохожих.

Вскоре водители и приемная мать перестали его узнавать. А люди — и вовсе замечать его присутствие среди них.

Ощувив предел человеческой сути, Серёжа замкнулся и навсегда забыл, как это бывает, когда случается счастье.

Из иного он превратился в обычного. В этом и заключалось освобождение.

Высшая форма некрофилии

Иван вместе со своей бабушкой сел в пыльный полупустой автобус, пахло в котором выхлопными газами и подгоревшей свиной кожей. Ивану и бабушке повезло: они заняли целое сиденье, из дыр которого лез рыжий поролон. Иван отрывал поролон и клал горькие кусочки в рот. Бабушка смотрела в испарпанное окно и вспоминала юность. Ехать им нужно было до самой конечной остановки, которая называлась «Кирпичный завод». До нее — пробки, светофоры, дорожное бескультурие и сотни людей, которые никому не желали добра.

Сразу за мрачным заводом (походившим на средневековый форт) располагалось кладбище. Когда бабушка шла мимо бетонных коммуникаций и вдыхала аромат горящей смолы, то всегда задавала один и тот же вопрос:

— Как можно трудиться в таких условиях? — сама она всю жизнь проработала с биологическим материалом в закрытом НИИ.

Иван же думал о том, что не хочет навещать дедушку, потому что тот уже никогда не смастерит ему пистолет и рацию из деревянных обрезков, оставшихся валяться в подъезде после визита ремонтников. Китайские пистолеты в цветных упаковках Иван не любил, потому что такие были у всех детей. Мальчик был уверен, что ему доступно больше тайных знаний, а поэтому вообще не хотел иметь с кем-либо что-то общее. Бабушка это стремление Ивана не поддерживала и периодически называла внука эгоистом. Мальчик не знал, какой смысл несет это слово, но на всякий случай злился и всем своим видом источал недовольство.

Когда они пришли на кладбище, усеянное пластиковыми цветами и купыми черными крестами, то много плутали и не могли найти заветную могилу.

— Это потому что приходим редко, вот и ругает нас деда Витя. Опять разозлился и поводить решил. Снова злится и водит! Эх, Витенька, не обижайся ты на нас, непутевых...

Пока бабушка ходила по кладбищенским бороздам, Иван смотрел на черно-белые фото усопших. Некоторым он улыбался, в иные плевал. Бабушка всегда теряла Ивана из виду, потому что тот был маленького роста и напоминал скорее злого гнома, а не ребенка.

Когда бабушка понимала, что очередной участок в сотый раз огибает без внука, то начинала орать.

Она кричала «Иван, вернись!» Ее вопли наполняли кладбищенскую тишину воем загробного ветра. Когда бабушка горланила, Иван смотрел на далекую черную трубу кирпичного завода и представлял, что там находится крематорий. Люди делают кирпичи из пепла усопших, потому что они все равно уже превратились в продукты распада. С самого своего рождения.

Через несколько минут бабушка находила изумленного Ивана. Некоторое время они снова вместе блуждали по лабиринту могил, всматриваясь в номера над крестами. Дедушку они находили примерно через два часа после приезда, если день был ясный и солнечный.

— Витенька! Вот ты где, родненький! Витечка, поводит так поводит ты нас! — бабушка стояла на четвереньках и рвала траву, которой заросла неухоженная могила дедушки Вити. Иван глядел на цифры, которые никак не мог запомнить. У него уже была математика в школе, но понять, сколько лет прожил его дед, он не мог. Единственное, что он знал, так это то, что родился дедушка в очень страшное время, когда всем было не до цифр.

— Витенька! Любимый мой! Ну и поводит же ты нас опять, так поводит! Любимый мой, прости, пожалуйста, старую, набитую дуростью, прости, родненький! — вела свою песню бабка.

Ивану захотелось пописать. Но вместо того чтобы спустить штаны, он, кряхтя, встал на четвереньки.

— Вот теперь мы, Ваня, хищники! — сказала бабка. Вместе с внуком она начала есть землю с могилы дедушки Вити. Главное в этот момент — не помогать руками. Иначе бабка зверела, брала в руки сумку и била Ивана ей по спине.

Песок был сухим и скрипел на зубах. Бабушка что-то говорила с набитым ртом, а Иван радовался, что сегодня не было дождя.

— Когда родненький умирает, песочек покрывается черной жижей. Грибная жижечка, как суповой набор из боровичков. Каждая песчинка — вся Витечки, родненького моего. Ох... — ворковала бабушка, как будто натура ее была вовсе не человеческая, а голубиная.

Иван ел землю молча. Единственное, чего он боялся, так это что бабушку похоронят на другом кладбище и в один день в году ему придется ехать на поминки сначала на кирпичный завод, а потом на другую окраину, где крестов намного больше. Да и бабка намного вреднее деда — будет водить не два часа, а все четыре.

Несмотря на то что родственники вроде как решили схоронить их рядом, такая вероятность все же была.

Проглотив первый земляной комок, Иван тайно пожелал бабушке смерти и ухмыльнулся.

Мелитина

Мелитина жила в городе, который казался ей практически родным. Точно так же и отчим — почти родной человек. Тем не менее она никогда не называла его папой, а он не повышал на нее голоса (даже будучи сильно пьяным).

Приемный отец уважал выбор своей дочери, а иной раз даже восхищался ею. Не каждая женщина так свято чтит память своего ушедшего в лучший мир мужчины. Иногда они общались, сидя за кухонным столом. Мелитина вспоминала свою деревню где-то в сотне километров от Белграда. Отчим говорил, как принимал участие в осаде Сараево, а когда русские уходили из Югославии, прихватил ее мать с собой. Разумеется, оставить на тлеющих углях маленькую девочку в грязных обносках он не мог.

— Ты тогда был роботом, а не человеком! — вспоминает Мелитина.

В первый день своей учебы в школе Мелитина села за одну парту с болтливой русским мальчишкой, который тут же признался ей в любви. Он говорил очень смешными словами. Кажется, отдельные из них она могла понять, но в целом речь была какая-то враждебная и совсем незнакомая. Мелитина тогда подумала, что такими словами наверняка крайне сложно писать стихи.

Впрочем, ее первая учительница читала какие-то причудливые рифмы, от которых дети в классе смеялись. Мелитина тоже смеялась, но скорее по инерции, потому что смеяться дома в последние дни существования Югославии было просто невыносимо.

Каждый раз, когда кто-то смеялся, она вспоминала старый телевизор и большой зал, а еще сидящих на диванах и креслах гостей с чашками крепкого чая. Потом гости все куда-то подевались. Вместе них появились дядьки в военной форме и с миниатюрными игрушечными автоматами, стволы которых они часто наводили на детей и делали «бах-трах-бах». Один из них принес к ним домой обожженную голову ее родного отца. С закрытыми глазами.

Когда мама от страха упала в обморок, маленькая девочка смотрела на эту голову, как на конструктор, детали которого искусный мастер идеально заточил. Вдруг, если найти остальные части тела, можно будет вернуть голову обратно и папа снова заговорит? Не таким грубым языком, как эти дети, и не так громко, как роботы.

Папина голова молчала. Даже когда вокруг было много дыма, а за домом раздавались страшные фразы на родном языке, Мелитина смотрела на безмолвную голову, рассматривая кровоподтеки и узоры из лопнувших капилляров.

А потом проснулась мама, а вокруг были только дым и внезапно появившиеся роботы в черных чешуйчатых майках. Она знала, что они придут, но побоялась сказать папе и маме. Теперь уже поздно.

— У вас головы, как у хищных рыб... — говорила Мелитина, когда страшный робот взял ее на руки и куда-то побежал, звякая металлическими предметами и разрыхля горячую землю тяжелыми ботинками на высокой шнуровке.

Соппротивление бесполезно. Сдавайтесь в плен. Соппротивление бесполезно.

Это такие далекие отзвуки знакомых голосов. Кажется, они говорят так же, но приносят головы отцов в фирменных спортивных сумках. Сумки они украли, а головы отобрали, чтобы дочки выросли их собственностью. Но не тут-то было! Подоспели роботы.

Мелитина шагает неуверенно ножками по холодной земле и пытается понять, откуда доносятся голоса своих, ставших злыми, чужими и смертоносными.

Робот снимает маску и кладет игрушку на землю. Он такой грязный, что девочка тянется к нему мокрыми ручками. Ладонями по щекам — и будет, как на утреннике. Чистенько. Радостно. Игрушка только вся оплавилась — но ее можно любить и такой. Отчего же не любить? Робот смеется. Пахнет у него изо рта так, будто питался он сырой дунайской рыбой. Понравится только коту. Не маленькой девочке.

Страшные взрывы, из-за которых корни деревьев превращаются в щепки и оседают на колючем лапнике. Не насобираешь шишек! Маленькую Мелитину вновь берет на руки робот и кладет в брезентовую колыбель. Он прямо, как мама с младшим братиком. Мама тоже рядом, но теперь шипит вместо слов. А братика оставили вместе с безмолвной головой папы в домике, растворенном в дыму. Он был таким спокойным, что хоть тыкай в него грязной палкой — не пошевелится. Спокойнее, чем во сне, хотя и спал он всегда плохо. Болел.

Теперь, в школе, Мелитина слушает русского мальчика, и он говорит точно так же, как отчим, только быстро и не так явно.

— Мой папа робот. Его невозможно убить. Только лазерами! — но он ничего не понимает, этот юноша. Лишь рисует сердечки на парте, озираясь по сторонам. Не видел он роботов настоящих, у которых вместо лазеров автоматы русского инженера — Калашникова. Это он, инженер, сражался вместе с пришлыми механизмами за целостность чужой страны. Он.

Мелитина отбирает карандаш и возле сердечка рисует молнии. Дескать, только так умирают роботы. От перепадов электричества и в полной темноте.

Мальчик совсем ничего не понимает и зачем-то говорит, что его зовут Алексей. Мелитину смешит это имя. Но, едва улыбнувшись, она вспоминает зеленые машины смерти и людей с родными голосами.

Вот идет ее отчим. Через плечо несет игрушку, с которой брат часто гонялся за соседскими козами. Он очень осторожный и невероятно тихий. А там — свои. Они спят. Робот будет их убивать своими металлическими руками. Еще глаза. Они погружают в сон. Мелитина долго смотрела на них, а уже через несколько минут засыпала и видела папу, который зачем-то становился каменным и холодным.

Каменный папа ходил по лесам, и свои стреляли в него, но все тщетно. Пули, как искры, отскакивали и гасли. Папа сильными руками хватал своих и сталкивал лбами, чтобы те рассыпались. Лица у папы больше не было. А все потому, что свои похитили его и спрятали в сумку.

Папа ищет свое лицо.

Маленькая Мелитина злилась, когда мама приносила роботам котел с горячей и невкусной кашей. Она отказывалась кушать и даже ругалась на своем магическом детском языке. Роботы давали ей поддержать оружие, и она ощущала, как становится их частью. Потом она замерзла, и один из них замотал ее во флаг поверженной республики.

Дальше — высокая температура и желание согреться как можно быстрее.

— Мы уходим из Югославии навсегда! — он это маме крикнул, на своем языке, но не был своим, потому что не стрелял по папам девочек. Мама пошла с ним и взяла с собой Мелитину.

В новом городе, где было много машин, она тоже ожидала увидеть таких же черных и зеленых человечков без чувств. Но тщетно: это был практически Белград (даже с похожими лицами), но абсолютно тихий.

— Тут не жгут дома и живут люди, — говорила мама Мелитине, подбадривая ее сделать шаг в новую жизнь. Девочка с интересом осматривала шеи тысяч новых людей и представляла, как надо их ровненько обезглавливать, чтобы не получилась рваная бумага. Неопрятная рваная бумага, которую хочется комкать.

На шею Алексея она тоже долго смотрела, а потом взяла и провела пальцем. Ему стало щекотно, и он покраснел. Учительница сказала строго несколько слов, и в ту же секунду дети начинают смотреть в тетрадки и очень редко — друг на друга. Мелитина влюбилась в его шею.

Еще через 10 лет она впервые уснула с молодым человеком и попросила не сдавливать ее горло, когда он делал ей хорошо. Утром она долго плакала и просила прощения у своего родного папы, который к этому моменту уже был в одной лодке с отчимом.

Анины мужчины

От всех своих подруг Аня отличалась одной особенностью — она никогда не говорила про своих мужчин. Если в шумном кафе в пятничный вечер такая тема все-таки поднималась, то девушка вежливо улыбалась, а на все наводящие вопросы в свой адрес скромно пожимала плечами.

Открылась Аня только однажды.

В канун сочельника она встретила своего одноклассника, с которым провела за партой весь первый и одно полугодие второго класса. Ввиду врожденной олигофрении однокласснику пришлось проходить учебу в другом, совершенно недружелюбном месте, в котором никогда не заклеивали окна.

— Привет, Свят! — Аня была пьяна, а поэтому вела себя развязно и по-женски притягательно.

Святослав был одет в лохмотья и обут в летние кеды, утепленные натянутыми поверх шерстяными носками. Кожа его лица вообще не знала лезвий, поэтому походил он на святого старца, слишком рано познавшего Бога и от этого потерявшего рассудок.

Святослава не очень-то интересовала Анина красота. В 11 лет случился поворотный момент в его жизни, и мальчик, отчаявшись выучить таблицу умножения, решил стать дворовым псом. Родители Святослава пили, а поэтому на эти его причуды внимания не обращали.

С 11 лет Свят ходил по городу, лаял на прохожих, получал пинки и даже пытался грызть твердые говяжьи кости. От этого запах Свята знали во всей округе, но со временем привыкли и вообще отказывались верить в его человеческое существование.

На Аню он лаять не стал. Вместо этого Святослав, стоя на четвереньках, облизал ее красные туфельки на высоких каблуках.

Аня рассмеялась и, взяв своего давнишнего знакомого за шкурку, поставила его на ноги. Стоять на двух ногах Святу было непривычно, но, едва заглянув в глаза своей старой знакомой, он вспомнил запах свежих роз, разогретый асфальт и гул озорного ребячества.

— Ну что, Свят, помнишь ты меня, псина? — Аня рассмеялась.

Парень засмеялся без всякого подобия на искренность. Аня сжала его указательный палец в своем кулачке, и они вместе пошли в ближайший подъезд многоэтажного дома.

Достав из сумки бутылку с молоком, девушка отдала ее своему спутнику, а сама села на холодные ступеньки.

— Так вот, Свят. Первого моего парня звали Михаил. Мы познакомились на вечере у друзей, вместе легли спать, и он всю ночь боялся ко мне подступиться. Смешно было. Потом мы все-таки встретились на простынях, но с ним было безумно больно. Особенно когда он зубами пытался вырвать с корнем мою сонную артерию. В общем, ничем хорошим это все равно бы не закончилось.

Пока Аня рассказывала свою историю, Святослав разлил молоко на бетонный пол подъезда и жадно лакал из белой лужи. Из-за нее интерьер парадной казался со стороны сюрреалистичным и невероятно глупым.

— С Михаилом мы попрощались, когда я сбежала из городка на пригородной электричке. Затем я, точно так же, как и ты, слонялась по улицам, заглядывала в окна на нижних этажах и искала понимания, но все было тщетно!

Если бы Святослав смотрел сейчас на Аню, то она бы непременно расплакалась. Но парень обнюхивал углы подъезда, пытаясь определить наличие враждебной среды. Аня сохраняла надежду, что Свят все-таки ее слушает, а эти его поиски — попытка защититься от незнакомых самцов, способных претендовать на ее расположение.

— Потом, замерзая в заброшенной сторожке возле недостроенного бассейна, я познакомилась с кем-то, кто просил называть себя Некто. Он взял меня прямо там и ушел туда, откуда пришел. Быть единой с пустотой — это великая награда, Святослав!

Услышав про пустоту, Святослав прильнул к Ане. Ему показалось, что нечто похожее он уже испытал, а потому Аня если и не любимая его девушка, то хотя бы двоюродная сестра. Они обнялись.

— На утренней электричке я вернулась сюда, к нам. Но ты знаешь, все теперь настолько иное, фальшивое и зловонное, что хочется остановить время и забраться в ту холодную сторожку. Прижаться к холодному Некто, держать своей теплой рукой его холодный член и слушать инопланетные мантры, смысл которых нашему человеческому мозгу никогда не понять.

Святослав игриво покусывал шею Ани. Она же ладошкой била его по подбородку и всячески старалась отпихнуть от себя подальше. Если Святослав поставит ей засос, то ее выпорют солдатским ремнем (от которого на попе останутся красные звезды) и терпеть жизнь станет еще сложнее. Когда первая волна эйфории от взаимопонимания прошла, она принялась за последний рассказ.

— Так вот, Свят, мы с тобой подобрались к финалу. Моего последнего кавалера зовут Алексей, и он святой. Вот правда. Мы вместе лежим, а он гладит меня по голове и говорит, что на моем лоне печать дьявола манит в греховные печи. Просит, чтобы при свете дня я раздвигала для него ноги, а потом читает молитвы, глядя на меня *там*.

Закрыв глаза и глубоко вздохнув, Аня сказала последнее:

— И ты знаешь, мне кажется, я в него влюбилась.

Поднявшись с пола, они вышли из подъезда на улицу и отправились выть на Луну.

Остаток их ночи прошел на заброшенной свалке среди разбитых кинескопов и пластиковых бутылок.

Наталья Аришина

Куплю тебе бронежилет

Край скалы

Надежду оставляла на потом,
жила, с погодой споря.
Ровесница плывёт за Флегетон,
а я сижу у моря.
Легко прошли высокие валы.
Всему готова смена.
Волна уже задела край скалы.
В ногах — мальки и пена.

Гурзуф

Ещё пейзажем кипарис не правил,
когда отмечен Пушкиным Юрзуф.
Шаляпин пел.
В холстах Коровин славил.
И мимо шли Осман или Юсуф.
А девочка Цветаева скучала,
одна, в гурзуфской крепости, весной.
И думала,
спускаясь,
у причала:
— Ну кто сюда отправится за мной?

Львы у ворот

При свете ночных фонарей,
в часы, когда день устаёт,
люблю этих спящих зверей
в саду, на мостах, у ворот.

Я каменный холод кудрей
не раз утепляла рукой,
когда леденил их борей
у входа в больничный покой.

И кто меня щёлкнуть успел
сидящей на звере верхом?
Тот снимок ещё чёрно-бел
и снят в освещенье другом.

При свете ночных фонарей,
в часы, когда день устаёт,
люблю этих спящих зверей
в саду, на мостах, у ворот.

Сколько раз

Сколько раз уходили столетья понуро —
археолог увидит трезвее и проще.
Сколько раз уходящей казалась натура?
Сколько раз обживались прибрежные рощи?
Что взойдет на земле вперемешку с камнями,
коль осколки похожи на зубы драконы?
Не хочу я меняться ни с кем временами:
что повадки дракона, что — вора в законе.
Пахнут пеплом следы миновавшей эпохи,
опалённые лавры лежат на бастиде.
Сосны ржа достаёт и сквозь чертополохи —
олеандр, как законная кровь на корриде.

Последняя стирка

Из прошлого летит к тебе снежок.
Там холодно. Там редко топят печи.
Девичья шубка не ласкает плечи.
Нешадно жмёт невесткин сапожок.
Предчувствуя, что близится побег,
мать промолчит и раздраженье спрячет.
Вдогонку по себе невестка плачет.
Тугим узлом завязан бабий век.
Неужто жить при мужниной родне,
варить обед без должного пригляда?
— Как ты живёшь, сама себе не рада?
— А ты?
— Давай не будем обо мне.

А век спустя: — За всё меня простите.
Я так легко отделалась тогда!
Плескалась в оцинкованном корыте
последней стирки мутная вода.

Ты

Старый кедр, не жалея, смели
две ненастных весны и стройбат.
Те, кому не хватает земли,
уж совсем не на звёзды глядят.

Лишь вчера отшумел водосток
и порывистый ветер остыл.
И, взглянув на беззвёздный восток,
ты кедровую шишку зарыл.

Лишь тебе

Это вновь повторила расцветку
моего головного платка
углокрыльница, спутница ветра
и подруга любого цветка?

Это я как ни в чем не бывало
просыпаюсь — и в пятом часу
вместе с горлицей, без интервала
предрасветную вахту несу.

Бронежилет

Куда рванешь? Какая блажь
разбудит нас в ночи?
Но ты ответа мне не дашь.
Ну что ж, молчи, молчи.

Ужо какой мне белый свет —
с утра в глазах рябит.
Куплю тебе бронежилет.
Пускай в шкафу висит.

Нижний на страницах «ДН»

В гостях у «Дружбы народов»
авторы из Нижнего Новгорода —
участники Международного литературного
фестиваля им. Максима Горького



Ильдар Абузьяров

Троллейбус, который идёт на север

Рассказ

1

Иногда, думал он, глядя на свою жену, которая в это время в одних бежевых трусах и персиковом свитере, с распущенными, разбросанными по плечам и спине каштановыми волосами, согнувшись в три погибели, как прядь волос, собирала с шершавой материи кровати крупнолистовую пыль.

Иногда, только точно неизвестно когда — жена была близорукой и поэтому очень близко нагибалась к ворсинкам, подтягивая за собой за хобот пылесос. Собирала пыль уже час или два, была близорукой и не обращала внимания на круглые, как выбитый глаз совы, часы на стене.

Жена была близорукой, ползала на коленках, а часы на стене, выпучив глаза во весь циферблат, размахивали когтистой ножкой маятника.

Иногда, когда уже становится невыносимо, — думал он, наблюдая за пылесосом, что, вытянув свой хобот, который — хобот — по всем инструкциям должен прикрепляться к такой палке, чтобы было удобнее собирать пыль, не сгибаясь в три погибели, и даже пыль под шкафом на ножках.

Иногда, когда становится совсем невыносимо, — часы тоже были близорукими, а стрелка, похожая на крючкообразный нос совы, указывала на мышь номер 6. Комочек с хвостиком, если взглянуть.

Занавеска, как расправляемое ветром крыло коршуна, тоже охотилась на тень. А палка, как длинная шея цапли, торчит себе где-то в углу за шкафом-бегемотом и слушает пение красно-желтого радио-попугая. Хотя на палку-цаплю мог вести охоту

Абузьяров Ильдар родился в Нижнем Новгороде. Окончил исторический факультет Нижегородского университета. Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир» и других. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Новой Пушкинской премии (2011). Живет и работает в Москве.

пылесосный шланг-питон. Обвить своими кольцами, задушить, заглотить целиком. А в это время палка-цапля сама могла бы выпускать пыль из-под кровати, как выпускает рачков в ручье.

О, как невыносимо, душно и противно. Но иногда наступает такой момент, — уверял он себя, глядя на тучный хоботочленистый пылесос, которым — хоботом — жена, согнувшись в три погибели, помогала себе собирать пыль с шершавой поверхности кровати без матраса, простыни, пододеяльника и покрывала, что, как чайки, слетелись на него.

А сама кровать очень походила на кита с жировой прокладкой матраса. А слева и справа к ней, словно щенки к суке, притулились низкие, пухлые, безногие тумбочки-китенки. Мальчик и девочка. Толкаются, дергают мамку за бока, сосут сосцы проводов от ночников.

Иногда становится так невыносимо, что весь этот зоопарк хочется послать к чертям собачьим, — глянул он на решетки на окнах, потому что их квартира находилась на первом этаже.

2

И тогда слоны вытягивают свои хоботы и, издавая страшный рев и ломая все преграды на своем пути, идут на север.

....

Зачем они идут на север, он не знал, но был уверен, что рано или поздно эта страшная тайна детства откроется ему. Ведь еще лет в семь он загадал, поставил себе в жизни цель: узнать, почему слоны идут на север. Раз услышав, что, оказывается, однажды слоны берут и идут себе на север, он уже не мог успокоиться. И вот когда он наблюдал за своей женой с пылесосом-слоненышем в обнимку, смутные догадки вдруг нахлынули на него, как покрывало и пододеяльник и простыня вместе взятые, которые он держал у себя на коленях. А на матрасе сидел.

Он вспомнил, как они в детстве, играя в «дочки-матери» или «тили-тили тесто», устраивали себе в пододеяльнике домик, залезая с головой. И там с фонариком клялись в вечной верности и верной любви. А потом вдруг девочка предложила — покажи свой хобот.

Точнее, догадки на него нахлынули чуть позже, когда он, протискиваясь в троллейбусной толпе, краем глаза увидел в развернутой газете у восседавшего на месте кондуктора старика заголовок одной заметки: «Наезд троллейбуса номер 6 на водокачку был далеко не случайным».

Этот заголовок так взволновал его. Ведь ему с самого детства хотелось узнать, почему слоны идут на север — но разве троллейбус не похож на слона с двумя длинными бивнями-токоприемниками, ушами-фарами и хоботом? Другой вопрос, где у троллейбусов-слонов хобот?

А тут еще — это загадочное «далеко не случайно».

3

Вот и вчера, в первый выходной за последние тринадцать лет, он, грузчик продуктового гипермаркета, куда его пристроили по большому благу, вышел из дома будто бы на работу в ночную смену, но и на работе, где он чувствовал себя, как рыба в тихой заводи (родном болоте), тоже сидеть спокойно не смог. Ему обязательно нужно было в троллейбус, где он заметил наконец-то, очутившись сначала в троллейбусе № 9, а затем и троллейбусе №17, что кондукторы уже тоже не могли продолжать спокойно сидеть и сидя работать. Они были чрезвычайно увлечены газетами и

взволнованы заметками о том, что троллейбус № 17 врезался в фонарный столб, а виновник происшествия скрылся за ближайшим углом.

И еще заметкой о том, что троллейбус № 9 покатился назад — под горку — из-за отказавших тормозов и сбил засохший тополь. Стало окончательно ясно — троллейбусы в городе сошли с ума. Теперь уже все троллейбусы в городе психи, у всех них весеннее обострение. У них отказали тормоза, а виновник скрылся за углом.

И вот он вышел из троллейбуса № 22, который вдруг неожиданно встал. Да так резко, что даже вздрогнул, а не покатится ли он назад? Он побежал к остановке мимо вереницей стоявших троллейбусов — 6, 17, 9, 5, 13, к киоску союзпечати, где за пятнадцать рублей приобрел газетку, в заголовке одной из статей которой говорилось: «Троллейбусы города объявили бессрочную забастовку».

Обдумывая, где бы ему было удобнее прочитать эту статейку, он остановился на троллейбусе № 13 с распахнутыми дверьми, ближе всего стоящем к остановке. Подходя к троллейбусу № 13, он уже читал первые строчки заметки, в которой говорилось, что недостаточное количество энергии в электротранспортной сети города не позволяет давать тягу троллейбусам и трамваям.

4

Что значит тяга, которую не могут давать по проводам в этом городе? Он не знал, что такое тяга, но чувствовал, что у него в груди ее столько!.. Что у него в груди ее чересчур, излишек. Три последующих часа он слонялся по улицам, вдоль троллейбусных веток, сам удивляясь тому, сколько всего он помнит и знает.

Например, то, что киты выбрасываются на берег, принимая эсминцы за врагов или друзей, особенно когда те своими радиоприборами вторгаются в эхолокационную нишу океана. И то, как выбросились из жизни Хемингуэй во Флориде и Стефан Цвейг в Бразилии и Жанна Эбютерн в Париже. Маленькая такая крошка Жанна. Он помнил ее портрет работы Модильяни с рыжей огненной копной волос. Хотя нет, это была Жанна д'Арк на костре. Или даже работа Рене Магритт под названием «Любовь», где от выбросившейся из себя девушки остались только волосы и ботинки. Хотя ботинки — это у застрелившегося Ван Гога, а у девушки Магритт были туфли.

Черт, все смешалось в его голове, все перепуталось, все пошло не так, словно перепутавшиеся троллейбусные провода.

А слоны — они нет. Слоны все-все помнили. Он чувствовал, что слоны помнят все, что у слонов самые большие височные доли, отвечающие за память. И что слоны никогда не бросают своих детенышей, если те угодили в браконьерский капкан, и даже мертвых детей пытаются взять с собой в путь. А тут целое стадо собирается покинуть город. Голова сильно болела, височные доли распухали, размножаясь клетками, как пух на тополях, но он продолжал идти вдоль троллейбусных путей и смотреть на звезды, сверкающие между нитями стальной паутины.

Звезды походили на мух. И они, и все предметы в этом городе шептали ему: «Иди, иди вместе со слонами на север. Уходи вместе с ними из этого города. Там, на севере, ждут тебя твое счастье и твоя удача».

От звуков и голосов внутри ему порой казалось, что он угодил в эхолокационную нишу троллейбусов.

«Там, на севере, — шептали ему мерцающие в небе провода, — там, на севере, где зеленеет тайга и цветет мелкими желтыми цветочками мох, там, где пахнет хвоей и шишками, там, где ветер, и северное сияние, и где тундра осенью красна, там, там ждет тебя твое счастье».

«Троллейбусные провода, — думал он, глядя, как ради своей сиюминутной выгоды их снимают и скручивают алкаши, — это млечный путь». Ему казалось, что он

близок к разгадке, почему же троллейбусы идут на север, особенно когда провода не могут дать тягу, а потом вдруг дают ее в избыточном количестве. И он шел и шел, потому что его нервы вполне обеспечивали тягу, да иногда такую, что он боялся сорваться с тормозов, наехать на водокачку или разрушить ударом кулака угол ближайшего дома, прекрасно понимая, насколько это бессмысленно, ведь виновник происшествия обязательно скроется за углом.

5

Он словно попал в эхолокационную нишу слонов и троллейбусов.

— А давай уедем с тобой на охоту или рыбалку, — набрал он вдруг ни с того, ни с сего номер своего друга по мобиле.

— Прекрасная идея! Давай. Я сам тут недавно думал и хотел тебе это предложить, — смеялся в трубку приятель. — А когда?

— Да хоть завтра. Мужчинам это необходимо — поохотиться или порыбачить. Ты же знаешь. Побывать одному в засаде. Инстинкт охотника-зверя.

Ему так не терпелось немедленно идти на север, сокрушая все на своем пути, как слоны сокрушают привычную им среду. И ему было так приятно, что друг понял его зов и откликнулся, что, остановившись у пузатого, как носорог, бочонка с пивом, он выпил, лакая литрами, три больших кружки, считай ведра, пива на голодный желудок. Утоляя свою жажду этим затхлым желтовато-болотным пойлом.

А потому напившись, хотя было уже поздно, снова решил набрать своего друга. Но только он достал телефон, как за спиной услышал приближающиеся, как у отбившихся от прайда львят, шаги.

— Эй, мужик, закурить есть?

— Есть, — оглянулся он и заметил, что один подросток подошел близко, а трое других остались в тени.

— А дайте по мобиле позвонить?

— Угощайся, если сможешь, — задорно и весело отвечал он, пряча мобилу в карман.

— А че как грубо?

— А как могу, — смеялся он им в лицо.

— А не пожалеешь? — начала окружать его шпана. Слово за слово, и он схлестнулся с этими молодыми, ищущими добычи шакалами. Схлестнулись, он отбивался, отбрасывая их одного за другим, пока они не завалили его на землю в лужу, но даже тут он извернулся и оказался сверху, вцепляясь в глотку самому сильному и дерзкому.

Потому что в таком состоянии даже море по колено. И что толку разрушать угол дома или сбивать сухой тополь, ведь жертв все равно нет, даже несмотря на то что хобот слона гораздо сильнее руки человека. Что в хоботе слона больше мышц. Другой вопрос, где у троллейбусов хобот. Одна мысль о том, что виновник скрылся за углом, сводила его с ума.

— Что вы делаете? Как вам не стыдно? — завопила проходившая мимо женщина. — Трое на одного!

— Четверо! — поднялся он, отряхиваясь, когда ребята бросились врассыпную. А потом, отряхнувшись, спросил ласково у поднявшей крик и шум женщины:

— Откуда у вас такой интересный и приятный акцент?

— С севера, с ярославской области.

6

Неизвестно откуда, будто с севера, с ярославской области, набежал дождь. Небо взревело, и порыв ветра разом сорвал все провода длинными нитями. Дождь налетел такой плотности, словно на раму пролились запасы всех бобин и паковок современных пневматических небесных станков, да еще невидимая рука тут же уплотнила эти нити линейкой.

Это, к его удивлению, один троллейбус остановился прямо перед его носом.

— На «Северный», — крикнул кондуктор, — последняя дежурная машина следует до микрорайона «Северный».

— Чего задумался? Больше шанса не будет! — шелкнул троллейбус на своем языке. Так шелкают дельфины или киты, приглашая в дальнее путешествие.

И тогда он не выдержал и заскочил в полупустой троллейбус, раздвигая лихо, как меха гармошки, сжимающиеся пневматические двери. И раздвинув, растолкав их, словно айсберги, увидел прелестную молоденькую девушку с намокшими волосами и блестящими глазами, в которых, казалось, отражался весь горящий ночной город. Она стояла на задней площадке, облокотившись на поручень, изящно изогнув бедро. Он сел напротив, время от времени они кидали взгляды друг на друга, раскачиваясь под ритмы дождя.

Троллейбус шелкал, шипел и скользил по блестящей наклонной асфальта. На губах и щеках девушки сверкали дождевые капли. Спустя какое-то время он заметил, как девушка расстегнула куртку с высоким воротником, выставив свою грудь в маечке с надписью «Nord». Он посмотрел ей в глаза, что, мол, она хочет этим сказать, и после этого они, уже не отрываясь, смотрели друг на друга.

Он подошел к девушке ближе и расставил ноги пошире, отгородил ее от мира, а девушка оперлась спиной о стекло и звонко рассмеялась.

В ее глазах заискрилось северное сияние. Ноги ее стояли в позиции номер 3, видимо, она была балериной. И все в целом походило на реверанс в ответ на приглашение на троллейбусный танец.

7

— Вы знаете, — сказал он девушке, — вы знаете, что однажды слоны берут и идут на север.

— А вы знаете, что у слонов самое большое в мире сердце.

— У слона все самое большое, — заметил он, — и сердце, и уши, и мозг. А значит, он знает то, чего не знаем мы.

— И что же он знает? — с неподдельным интересом спросила девушка.

— Он знает, что нужно оплачивать проезд, — заметила кондукторша, которая к тому времени кряхтя слезла с места и будто нехотя подошла к ним.

И тогда он достал мелочь и протянул кондуктору несколько серебристых капель на ладони.

Получив свою добычу, кондуктор, пятясь задом, поползла, как краб, к себе на корягу, а они понимающе переглянулись.

Девушка хихикнула и положила голову ему на плечо. И они покатались вот так в поселок Северный, еле дыша. Точнее, он еле дышал, разглядывая из окна сверкающие, как северное сияние, неоновые надписи. Маркет «Артика», кафе «Айсберг», киоск мороженого «Пингвин».

И там, в поселке Северный, он вышел вместе с девушкой, вызвавшись проводить ее до подъезда. Наохлившись у кафе «Айсберг», со свисавшими, как у моржей бивни, длинными усами мужики-моржи лишь проводили их суровым взглядом, пока они не

достигли лежбища морских котиков и тюленей на детской площадке. По крайней мере, лавочки и бревна напоминали ему морских котиков плюс еще вырезанные фигурки белых медведей, а мужики в распахнутых куртках-алясках, с будто вырезанными из льда стаканами на краю снежных плато мраморных столов, и правда напоминали моржей.

А там, на детской площадке, за маркетом «Арктика» он долго еще о чем-то ей говорил, возможно, о своей молодости, о ткацкой фабрике, о китах, что выбрасываются на берег. Мимо проплыла кепка-ледокол и папироса в чьих-то зубах дымила, как труба парохода. Он проводил кепку-трубу глазами, держа девушку за талию, ощущая сквозь мягкость пуховика ее гибкое и горячее тело с тонкой талией. Хотя в пуховике она походила на пингвина. А потом в темном подъезде они целовались как сумасшедшие. И он брал ее, прижав к стене, на которой были написаны слова песни «Ветер северный».

И возвращаясь совершенно счастливый, он еще напевал себе под нос этот блатной мотивчик.

8

Домой он пришел поздней ночью. Боясь собственных шагов, тихо, бочком-бочком, подошел к двери. Весь дрожа, он только с пятого раза попал ключом в скважину и потянул ручку вниз. Дверь не хотела поддаваться, тогда он тихонечко надавил, толкнул плечом, навалился всем телом, но, поскользнувшись на предательски мокрой плитке, рухнул на пол. Вот так не попасть ключом в замок, зато попасть с первого раза глазом о ключ и ручку — это нужно было умудриться. Раздраженный, он поднялся, отряхнулся, потер глаз. Дверь, показавшая мастер-класс, задрожала в унисон с дрожью его тела, и тогда его осенило, что дверь — это уши слона, которыми он машет во время беседы. Если машет слишком часто, то это знак приветствия. И тогда он поприветствовал, потрепал слона за ухо, одновременно проворачивая ключ на несколько оборотов.

Затем, проникнув внутрь квартиры, быстро скинув ботинки, он юркнул в постель к жене и обнял ее за плечи. Лег на поверхность, широкую, ровную, прислушиваясь к размеренному дыханию кровати-кита. Ощущая всем телом его прохладную кожу.

Но заснуть сразу не получалось. Он мысленно снова и снова возвращался туда — в поселок Северный к каждой произнесенной фразе.

И чтобы не будить жену и не мешать ей спать, он перебрался в глубокое кресло — прямо в пасть кашалота из чрева кита. Чтобы уже там вспомнить, как замирало его сердце, когда они с девушкой-пингвиненком сидели на лавочке. И как целовались, ощущая ледяной от ментоловой жвачки вкус во рту.

От воспоминаний о поцелуе во рту пересохло. Выскользнув из кресла-кашалота, он поплелся к воде. Ощущая всем телом это давно забытое чувство тяжелого похмелья, когда на ватных ногах топаешь в ванну, с трудом открываешь кран с холодной водой и жадно начинаешь глотать живительную влагу с металлическим привкусом.

Затем теми же ватными ногами вернулся назад в пасть кашалота и оттуда наблюдал, как жена его проснулась, пошарила рукой по широкой спине кита, привстала.

— Ты здесь? — спросила она сонно.

Потом будто снова на миг затихла, рухнув на кровать. Но резко вскочила. Нашупала очки на тумбочке. Надела, прошла в коридор. Нашла, нашупала его куртку.

— Ничего не понимаю, — шепнула себе под нос, — ты где?

Вернулась и рассеянно села на кровать. Снова позвала его по имени. Затем снова легла, положив очки на тумбочку. Вздохнула. Затем будто засопела, засыпая, но снова

проснулась, точнее, выбросила вверх сначала одну руку, потом все тело, резко вскочила, нащупала очки, надела очки. Прошла к раковине в ванной и там уже, склонившись, горько заплакала.

— Никто, никто никогда меня не полюбит. Меня, такого маленького дельфиненка...

— Я тебя полюблю снова, — пытался он ее успокоить, как мог, но она выгнала его в коридор.

— Уйди, прошу, уйди сейчас, — выталкивала она его. — Мне надо побыть одной, мне надо пообщаться с раковиной-ракушкой. Мне, маленькому дельфиненку...

9

А утром, словно стыдясь своих слез, не глядя в глаза, пытаюсь затереть следы, жена начала генеральную уборку. Она старалась и стирала так, словно вычищала квартиру от скверны. Словно чувствуя своим женским сердцем, где он был и что он делал накануне.

А он покорно сидел, заваленный с головой белыми холстами простыни и пододеяльника, и, глядя на свою растрепанную жену, все думал и думал, почему же он не остался у той девушки на Северном, а вернулся домой — в этот зоопарк на колесиках, в эту квартиру с решетками и москитными сетками на окнах. В это царство быта, в этот мертвый музей ковров и гобеленов.

Буфет-бегемот, часы-сова и пылесосная палка-цапля, стоящая на одной ноге, и печатная машинка-бурундучиха, копящая за пухлыми щеками смыслы, прячущая за резцами зубов-клавиш буквы-зерна и даже целые фразы-колосья, невозмутимо взирали на жену, которая в этот миг наводила чистоту в комнате.

Когда-то, покупая все эту нехитрую мебель и домашнюю утварь, они радовались, считая себя самыми счастливыми людьми на свете. Окаменевшие тотемные животные из палеонтологического музея — надо же было такое придумать!

Но теперь этот зоопарк душил его, душил, давил нестерпимо, как подушки и ватное одеяло, и свернутый в трубу матрас. И он из угла наблюдал, как жена подтаскивала слоненка за хобот ближе к крупнолистовой пыли и ворсинкам.

Иногда она поднимала с ковра нитки и просовывала их в хобот-шланг, словно пыталась накормить еще беззубого слоненка с руки. Разжевать все до мельчайшей крошки.

А он уже битый час пытался решить задачу: почему слоны идут на север, почему троллейбусы так заволновались и запаниковали, какое важное событие или катастрофа нас ожидает? Что там, на севере: великая любовь или великая смерть? Но ничего не мог придумать. Хотя ему казалось: еще чуть-чуть, и он ухватит сотканную из воздушных нитей истину, вычленил ее из пыли и запечатлеет на листе.

10

— Я уже все, — сообщила жена, оттаскивая пылесос за хобот в угол. — Можешь положить матрас на место.

— Хорошо, — хотел было ответить он, но тут зазвонил телефон, точнее, заклекотал, защелкал, как птенец. Их телефонный аппарат — вороненок со сломанным крылом, к которому он кинулся, бросив все простыни и подушки на пол. Хотя, по идее, он не мог подойти к телефону, потому что был завален барихлом с головой. И зная это, жена тоже, путаясь в длинных проводах, бросилась к птице-подранку, но споткнулась и упала. По колготкам пошла стрела, и нитка распустилась.

— Алло, — раздался вкрадчивый голос в телефоне, — это ты?

— Да, это я, — сказал он, — распутывая, разминая нить провода.

— Я нашла твой телефон по базе данных.

— Ок, — старался он отвечать односложно. А сам подумал: «Слоны, это опять, наверное, слоны вторгаются в нашу эхолокационную нишу».

— Ты придешь сегодня?

— Да, — выдохнул он. Не сказав «нет» только для того, чтобы не вдаваться в объяснения.

— Приходи, — сказала она, — я очень жду. Я соскучилась.

— Хорошо, — сказал он, прижимая трубку-крыло как можно ближе к уху.

— А почему мы говорим шепотом? — спросил, притворно-обиженно повесив клюв, пингвиненок в трубку.

— Я не могу сейчас говорить, я занят, — сказал он сквозь зубы и тут же нажал отбой. А затем выдернул ногой провод.

— Кто там? — спросила жена, будто притихшая на время разговора.

— Это меня, — отмахнулся он.

— И все же, кто это? — спросила жена. — Это из больницы?

— Нет, — ответил он.

— Вчера звонили из больницы, — сказала жена.

— Из какой больницы? — испугался он, боясь, что жена скажет, что звонили из его больницы, что результаты ухудшились, что у него снова видения. И что ему неплохо бы снова полежать месяц-другой под присмотром врачей.

— Из моей больницы, — сказала жена. — Пришли результаты анализов. Все уже лучше. Я абсолютно здорова, и мы можем снова попробовать зачать нашего малыша.

— Вот это хорошие новости, — улыбнулся он, — я очень рад.

— Ну что, попробуем еще раз? — ласково улыбнулась жена.

За то время, что он разговаривал по телефону, она успела заправить простыни и уже разглаживала их рукой, убирая все морщинки.

— Давай, — покорно подошел он к кровати-киту, скидывая с себя одежду до последней, собираясь броситься в пучину моря, туда, где только гул и пронзительный зов. А потом лег на волнующуюся поверхность, стараясь подстроиться под ритм плавания вместе с китом-кроватью, отправляясь туда, где шипение и треск.

11

А после, когда они накрылись волной одеяла, прижавшись к ней, он почувствовал на своей ладони ее горячие слезы. И это были не слезы радости, сладкие, как океан, а горькие слезы отчаянья.

— Что-то не так? — привстал он на локте.

— Зачем ты опять это сделал? — спросила она сквозь хлынувшие рыдания.

— Сделал что?

— Не отпирайся, это бессмысленно. Ну? Скажи, зачем ты это сделал опять?

— Что сделал? — еще раз, будто не понимая, спросил он.

— Не говори, будто не понимаешь. Я знаю, ты снова пытаешься выкинуться на берег из окна.

— Тебе показалось, — попытался он успокоить ее, поглаживая по волосам.

— Не пытайся сделать из меня сумасшедшую, — вскочила она с кровати, — смотри, окно разбито. Решетка в твоей крови. Твое лицо в ссадинах и кровоподтеках. Под глазом у тебя синяки.

— Это мальчишки сделали, — попытался оправдаться он, рассмеявшись.

— А это? — вытащила она лист из печатной машинки-бурундука, который, зажеванный, чуть не утащился в черную нору чрева.

— Это что? — трясла она мятым листом бумаги. — Ты пишешь, что выбросишься, как Цвейг, что уйдешь на север вместе со слонами!

Он молчал.

— Для кого ты написал эту предсмертную записку? — рвала она листок, на который уже нацелились выпить мусорных корзин. — Для чего?

— Иди ко мне, — позвал он, поманил к себе, — это уже все в прошлом.

— Не пойду. Ты не понимаешь, как это серьезно. Не понимаешь, что нам, дельфинам, можно только здесь, у кита-кровати, врачи сказали, что тебе нельзя на улицу. Что только квартира и домашний режим, и спокойная атмосфера моря смогут тебе помочь. Только поэтому я никуда не выпускаю тебя. Поэтому держу взаперти.

Он снова молчал.

— И потом, если ты уйдешь, ты можешь заблудиться и не вернуться. А что будет со мной, с нашим малышом? Что будет, если ты выбросишься? Ведь мы так рискуем, пытаюсь зачать его. Я так рискую. Я боюсь, что он будет таким же, как ты...

12

— А ты? — перешел он в наступление, пытаясь парировать, защищаться. — Я видел, как ты его обнимала.

— Кого? Что ты такое говоришь?!

— Пылесос! Зачем ты его купила? Потому что у него такой милый хобот?

— Ты это о чем?

— О нем! — указал он на пылесос, усиливая натиск. — Отпираться бессмысленно.

Жена промолчала — какой смысл спорить, когда дело уже сделано.

— Ну, зачем ты купила пылесос? Ведь мы хотели на отложенные деньги съездить в хорошую клинику в Швецию или в Норвегию. А на обратном пути заехать в Карелию.

Жена молчала, глядя стеклянными глазами мимо него.

— А знаешь ли ты, что пылесос — это слоненок. А стадо слонов не бросает своего детеныша.

Жена опять промолчала, понимая, как серьезна ее вина.

— И теперь все слоны сбежались в этот город. Они окружили нас, разве ты этого не видишь? Посмотри в окно на эти гиганты-небоскребы. Они раздавят нас, сотрут в порошок. Превратят в пыль. И все из-за тебя. Из-за того, что ты хочешь жить не хуже других. Разве ты не понимаешь?

— Ну скажи, почему ты так стараешься жить чужой, не своей жизнью, — теперь он начал заводиться всерьез, — зачем тебе чужой детеныш, ведь мы могли бы зачать своего, не хуже чем у других, там на севере, в тайге, на природе под звездами, как и собирались. Ведь врачи же нам сказали, что чистый воздух, чистая вода пойдут нам на пользу!

В ярости он схватил тумбочку и метнул ее в еще целое окно.

— Нет, — завопила жена, бросаясь ко второй тумбочке. Упала на колени, обняв руками и прикрывая всем телом вторую тумбочку-девочку.

— Давай отдадим им слоненка, — швырнул он пылесос в окно, — пока они нас не раздавили!

Жена, не отвечая, снова тихо заплакала, обнимая свое, слышите, свое — никому не отдам, — дитя-тумбочку. Цепляясь за тумбочку не только руками, но и слезами.

Не выдержав напряжения, он упал позади жены и обнял их вместе с тумбочкой. Таких маленьких и беззащитных, и хрупких. И заплакал вместе с женой...

...

В этот момент он прозрел, понял, почему слоны идут на север. Они идут на север в минуты отчаянья. Уходят из стада за десятки километров, но даже там, на севере, за сотни и тысячи километров они двигаются параллельными курсами. Потому что не важно, зачем слоны идут на север, важно, как они идут туда. Ведь слоны никогда не бросают своих близких, даже если те лежат в глубокой яме могилы или спрятались в яме утробы. Они стараются следовать параллельным курсом, параллельно и мертвым, и живым, отчего их сердца рано или поздно не выдерживают и разрываются на две части.

Дмитрий Бирман

Машина времени

Рассказы

Большие деньги

— Чем тебе помочь, Диман? — спросил он, когда мы выпили по три кружки пива, — хочу долг вернуть.

Я посмотрел в «арийские» глаза Феликса Кауфмана, когда-то поволжского немца, а сейчас самого что ни на есть настоящего немецкого немца, и вспомнил, что он мне действительно должен...

Тогда, на памятном комсомольском собрании курса, взгляд его был потерянным и тоскливым. После драки в общаге (Феликс дал в морду хаму, пристававшему к девушке) разразился вселенский скандал (папа хама оказался партийным начальником), и «пьяницу-дебошира» должны были исключить из комсомола (а значит — и из института).

Когда секретарь комитета комсомола курса закончил скучно-обличительную речь и предложил голосовать за исключение негодяя, ожидая всеобщего «за», я зачем-то встал и начал говорить.

Суицидально пребывая в спокойно-философском настроении после выпитого накануне, я предложил выразить благодарность студенту третьего курса Кауфману за принципиальную позицию настоящего комсомольца, который не смог остаться равнодушным к хамству, а как известно, от хамства до неуважения к коммунистическим идеалам, то есть их предательства, всего один шаг.

Неожиданно зал поддержал меня, а под секретарем комитета комсомола закачалось удобное кресло.

Феликс закончил институт, поработал на стройке, а в 1986 уехал в Германию, где успешно натурализовался. Язык он знал с детства, а «перестройка» и «ускорение» в СССР дали ему возможность быстро заработать. На продуктах питания.

И вот сидит эта акула капитализма напротив меня, очень мелкого предпринимателя (хотя и слова-то такого тогда не было, говорили «кооперативщик», добавляя к нему прилагательное на выбор), и хочет отдать давний должок.

Бирман Дмитрий Петрович — поэт, прозаик. Родился в 1961 году в г. Горький. Окончил Горьковский инженерно-строительный институт и Нижегородский государственный университет. Автор многих книг, в том числе «Как вкусно пахнет дождь» (2012), «Ежедневник» (2013), «Странные люди» (2016). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— А давай, продуктов пришли! — сказал я, перегнувшись к нему через стол и чуть пошатнувшись, потому что в пиво мы, как полагается, добавляли водку.

— Давай! Каких? — «немецкий немец» был серьезен и собран.

Тут мне вспомнилось, как в возрасте лет четырнадцати я три часа стоял в очереди за ЭТИМ, а мне не хватило. Вспомнил, как плакал от обиды и стеснялся своих слез.

Сурово, по-сталински, глянул я на «гитлерюгенда» и отрубил:

— Ананасы!

«Новый немец» поднял на меня ословевшие глаза и забормотал:

— Ананасы консервированные, банки по пятьсот грамм, в коробке двенадцать банок, на палете сто ящиков, в контейнере двадцать палет. Получать в Ленинградском порту. Деньги заплатить не позднее чем через три месяца после получения!

Потом назвал сумму, от которой я сначала зажмурился, а потом («Гитлер капут!») выпалил:

— Валяй!

Через месяц я встречал в Ленинградском порту паром «Анна Каренина» с вожделенным грузом.

О мучительной процедуре таможенной очистки и перегрузки ящиков даже вспоминать не буду.

В общем, сел я в грузовик рядом с водителем и поехал в магазин «Елисеевский» на Невском проспекте.

Захожу с банкой в кабинет директора. Дама, очень похожая на Снежную королеву, и ее вертлявая собеседница удивленно посмотрели на меня.

Нацепив на лицо доброжелательнейшую улыбку, я стал рассказывать про чудесные дольки ананасов в собственном соку и предложил купить четыреста ящиков за наличные.

Назвал им цену за банку, зажмурившись в ожидании пощечины.

Холодная дама с холодными бриллиантами на руках посмотрела на меня с холодной улыбкой и сказала:

— Юноша, а откуда в Германии ананасы? Они же там не растут! Да и наличные расчеты у нас запрещены, правда, Рая? — спросила она у вертлявой холодным голосом.

Когда я вышел из кабинета, мои щеки пылали от стыда и злости.

— Суки фашисты! — выдохнул я.

— Согласна! — сказала вертлявая, выскользнувшая следом за мной из ледяного кабинета.

С теплой улыбкой она тронула меня за локоть и шепнула на ухо:

— Возьмем пятьсот ящиков!

У заведующей секцией Раисы Фаридовны в подвале был склад товара и... денег, которые она хранила в холодильной камере.

Четверо грузчиков, сплюнув «приму» и поднявшись с корточек, быстро побросали ящики из грузовика на ленту транспортера, который унес «стратегический продукт» в чрево царства непорочной Снежной королевы.

Раиса притащила мне сумку, полную денег, а сверху щедрой рукой добавила две бутылки виски, банку черной икры и блок сигарет «Кэмел»...

В мгновение я стал богат! Правда, свербела гнусная мысль, «а выберусь ли я из этого подвала с деньгами»? Однако обошлось, и вскоре мы с водителем мчались в родной город, заедая виски черной икрой и покуривая «Кэмел».

Вернувшись домой, я сделал два важных дела.

Во-первых, рассчитался с «пьяницей и дебоширом» Феликсом Кауфманом.

Во-вторых, отвез огромный букет роз и плотный конверт с деньгами Ленке Волиной, из-за которой напился накануне того самого комсомольского собрания.

Рыцарь круглого стола

Мое детство проходило сначала в коммунальной квартире, где на общей кухне толкались внушительными попами четыре хозяйки, а потом в малогабаритной хрущевке с кухней аж в четыре с половиной квадратных метра.

Моя детская мечта была приземленной и неромантической.

Я не хотел стать космонавтом или продавцом газированной воды.

Мне не нравилась военная форма.

Я не хотел быть регулировщиком уличного движения с красивым жезлом в руке и звонким свистком во рту.

Я мечтал... о большом круглом столе!

Я видел этот стол — круглый, — за которым собирается вся семья!

Тогда я наивно полагал, что несколько поколений могут ужиться на одной кухне, конечно, если это не лающие соседи, а дружная большая семья.

Коммунальная жизнь в те времена была нормой, мои мама и папа мечтали об отдельной квартире, которая была роскошью, а зачастую просто смыслом жизни.

А я... Я мечтал о большом, круглом (не знаю почему, но обязательно круглом!) столе...

Прошло много лет... У меня на кухне стоит большой круглый стол, за которым время от времени мы собираемся с компанией друзей.

С большой семьей как-то не получилось...

Ушла бабушка, за ней дед и мамина сестра, мои двоюродные сестры уехали жить в другую страну, а папин брат в пух и прах разругался с моей мамой...

Время от времени, когда уходит прочь дневная суeta и дом погружается в сон, я выхожу на кухню и, не зажигая свет, усаживаюсь за большой круглый стол и вижу то, чего уже давно нет, и тех, кто уже давно ушел.

Я думаю, что мечтал-то правильно, только, наверное, все же немного не домечтал...

Путешествие в детство

На улице с военным названием Провиантская, в двух комнатах коммунальной квартиры на «элитном» втором этаже двухэтажного деревянного дома (печное отопление, туалет в сенях, на кухне четыре хозяйки), жили я, папа, мама, мамина сестра и мамин папа — мой любимый дедушка.

Улица тогда была, как мне казалось, длинной. Это сейчас на ней три кирпичных дома, и мало кто вообще знает о ее существовании, а тогда...

Тогда, в моем детстве, главной тайной внешнего мира был двор нашего дома. Там, во дворе, был еще один дом, поменьше, на первом этаже жила семья Хабибулиных, а на втором Рубинштейн.

Ленка Рубинштейн рассказывала мне страшные истории, после которых я боялся подходить к их дому, а Руслан Хабибулин выстрогал мне кривой турецкий меч, который я всегда брал с собой в Путешествие.

Путешествие начиналось за их домом, в огромном, как мне тогда казалось, саду. Какие там джунгли! В этом саду моего детства было все! И закрывающие небо деревья с манящими плодами, и непроходимые кусты, и притаившиеся за ними страшные животные (слова «монстр» тогда я еще не знал), от которых я мог защититься своим деревянным мечом...

Главной целью моего Путешествия был большой садовый стол. За этим столом летними вечерами собиралась интернациональная компания из двух наших домов,

которая пила чай с вареньем, ссорилась, мирилась, праздновала и горевала. Этот стол представлялся мне машиной времени, способной унести в мое взрослое светлое будущее...

Года через два мы получили двухкомнатную квартиру в далекой новостройке, я пошел учиться в школу, а дедушка стал приезжать к нам чаще, чем мы навещали его на Провиантской. Загадочный сад стал забываться, стираться из моей памяти...

Я вспомнил о нем совершенно неожиданно. Однажды вечером, измотанный и уставший, я присел на диван у телевизора. По «Культуре» шел один из моих любимых фильмов — «Красное и черное» Сергея Герасимова. В фильме есть сцена, в которой Жюльен Сорель (в исполнении кумира восьмидесятых Николая Еременко-младшего) во время вечернего чаепития в саду незаметно берет за руку госпожу де Реналь (Наталья Бондарчук была чертовски хороша в молодости!). Вот эти кадры и включили тогда мою «машину времени»...

Сначала показалось, что я видел уже этот сад, этот стол, даже этих людей... Потом возникло ощущение тепла и радости, какое бывает у проснувшихся детей, когда они открывают глаза... А потом я вспомнил сад моего детства и мои Путешествия...

Много позже я понял, что именно тогда и пришло в первый раз Вдохновение!

И я стал часто приезжать на улицу моего детства и заходить в сад — маленький, со сгнившим столом и заросший кустарником...

Потом дома снесли, построили новые, из холодного кирпича, с безликими фасадами и асфальтированной площадкой для машин на месте Моего Сада.

Но! Когда устает душа, тяжело на сердце, не приходит Вдохновение, я приезжаю на улицу моего детства, выхожу из машины и... снова вижу сад, стол, неторопливое чаепитие, слышу голоса тех, кого уже давно нет, и с легкостью отправляюсь в Новое Путешествие.

Дядя Лёня

Лет с пяти, когда мы, взрослые пацаны из песочницы, стали определяться с планами на будущее, у меня уже было совершенно четкое представление, кем я хочу быть.

Серёга мечтал о фуражке с кокардой, толстому Женьке снилось, как он продает мороженое, Колян говорил, что уже умеет ездить на машине, а я... я хотел быть дядей Лёней!

Дядя Лёня поселился в доме напротив и сразу полностью завладел моим вниманием.

В нашем унылом микрорайоне, полном серых панельных домов и неулыбчивых людей в серых пальто, появился сказочный герой.

Ярко одетый, вызывающе красивый и какой-то... свободный.

Конечно, все это я осознал не сразу, но сразу же захотел быть таким же.

Лет в семь я понял, что он работает врачом, потому что папа, когда мы как-то встретили дядю Лёню, спросил его о средней температуре по больнице.

Смысл вопроса мне стал понятен много позже...

Однажды мы с друзьями решили препарировать (в то время, правда, я такого слова не знал) дохлую лягушку. Колян положил ее на лавочку, а толстый Женька принес из дома кухонный нож. Стояли мы, смотрели на нее, а решиться не могли. Вдруг подошел дядя Лёня, взял из потной Женькиной руки нож, в два-три взмаха сделал из лягушки демонстрационный материал и ушел. Мы были в шоке, Женьку рвало, а Серёга добил нас неведомым словом: «Хирург!»

Так вот, я не хотел быть хирургом, как дядя Лёня. Я хотел стать дядей Лёней-хирургом!

Лет в двенадцать я окончательно убедился в правильности своего выбора, потому что увидел, как моя мама, здороваясь с ним, чуть сморщила нос. Она всегда делала так, когда ей не нравилось мое поведение, и, конечно, дядя Лёня стал просто моим кумиром!

В четырнадцать я дико завидовал джинсам «Вранглер», которые были в нашем микрорайоне только у него. А с каким шиком он ходил в чуть сдвинутой на лоб фетровой шляпе!

В шестнадцать я вдруг понял, что дядя Лёня просто красавец!

Высокий, широкоплечий, с сильными руками и уверенной походкой, а рядом — очередная красотка. Надо сказать, что этот мужчина с большими серыми глазами, смуглой кожей, тщательно постриженными усиками и гривой густых черных волос, привлекал внимание женщин. Правда, по какой-то неведомой мне тогда причине дольше трех-четырех месяцев они с ним не оставались. Было это постоянной темой разговоров микрорайонных бабушек, раздражителем для наших мам и предметом зависти наших пап.

В общем, человек-загадка стал моим идеалом. И моей тайной. Никогда и никому я не рассказывал о своей мечте.

После окончания школы папа настоял, чтобы я пошел в строительный институт, я не возражал, потому что знал — не поступлю, буду дядей Лёней-врачом.

Поступил. Но дядя Лёня стал для меня... запасным вариантом.

Ну, например, когда на первом курсе обиделась на меня Светка и перестала разговаривать, я думал себе: «Да и ладно, вон дядя Лёня каждые три месяца женщин меняет».

Или на втором, когда половина группы в джинсах, а у меня нет — так не беда, хожу себе в папиной фетровой шляпе, чуть сдвинув ее на лоб, как дядя Лёня.

В общем, жил я себе с этой палочкой-выручалочкой, институт окончил, в другой город по распределению уехал, потом женился, потом мир вокруг стал совершенно другим...

И вот мне уже за пятьдесят, и папы, увы, нет, ладно мама, слава Богу, жива. Сидим мы как-то у нее, чай пьем и учебу мою в институте вспоминаем. И тут я про дядю Лёню спросить решил.

— Слушай, мам, а помнишь, дядя Лёня в доме напротив жил, ты все морщилась, когда с ним здоровалась, а папа про среднюю температуру по больнице спрашивал?

— Конечно, помню, — отвечает мама, — красавец-мужчина!..

— Так чего же ты морщилась? — спрашиваю.

— Понимаешь, сынок, все же надо иметь особенное свойство психики и характера, чтобы работать патологоанатомом...

Я ехал домой в автомобиле, медленно и без музыки, с полным ощущением того, что жизнь прожита зря...

А потом прибавил газу, включил радио и улыбнулся, радуясь, что так и не стал дядей Лёней!

Место силы

Во дворе нашей школы стоял турник. Такая п-образная железяка, которую лет сорок тому назад ставили во всех школьных дворах для массового оздоровления и «физкультуризации» трудящихся (что, кстати, само по себе очень неплохо). На самом деле, железяк было три — для малышей, подростков и старшеклассников. Каждый год турники (мы их называли «перекладины») шкурили, красили, и энергичная детвора принималась лазить по ним, время от времени сваливаясь в песок, который был уложен вокруг турников «для мягкости».

Я уже не помню, кто первым начал приходить летними вечерами на турник и болтаться на нем, пытаясь изобразить некие гимнастические фигуры. Точно помню, что это был вызов.

Тогда, в далекой юности, считалось особым шиком расположиться на огромной «пришкольной» территории в высокой траве с бутылкой красненького и гитарой. По

сигаретному дыму, поднимающемуся над лебедой, можно было определить, где и сколько компаний отдыхает после тяжелого дня тягучих летних каникул. И вдруг...

Через неделю рядом с турником начали собираться человек семь. Каким-то непостижимым образом стало интересно, кто, извиваясь червяком, подтянется большее количество раз, а кто сумеет сделать «выход на руку», «выход на две», «склепку», «краба»...

Эти словосочетания и обсуждение успехов или неудач на турнике наполнили нашу жизнь новым содержанием и, главное, изменили наши отношения.

И вот уже здесь каждый вечер стало собираться человек двадцать-двадцать пять. «Ботаны» (впрочем, такого термина тогда еще не было) и «хулиганы», старшеклассники и выпускники, которые, готовясь к институтским экзаменам летнего семестра, приехали «на перекладину» отдохнуть от зубрежки.

Термин «на перекладину» прочно утвердился в нашей жизни. «На перекладине» назначали «разборки» и свидания, устраивали «показательные выступления» и соревнования. Неожиданно «ботан» Олег Пятаков стал героем «перекладины», и «хулиганы» перестали отбирать у него деньги, а «толстый Костян», головная боль учителей и гроза микрорайона, похудел в стремлении сделать «склепку обратным хватом».

Когда меня спрашивают о ярких воспоминаниях юности, я, конечно, рассказываю об учителях, надеждах, мечтах... Но если начистоту, то само яркое воспоминание — это встречи «на перекладине», а мечта — крутануть «солнышко» и не сорваться.

Школьный турник стал знаковым местом. Окончив школу, мы еще лет пять собирались «на перекладине», красили эту стареющую железку и болтали о жизни. Я знаю, как минимум, восемь пар, свадебное шествие которых началось «от перекладины».

Прошло тридцать пять лет. Каждый год двадцать второго июня, в день очередного выпускного, мы собираемся «на перекладине». Седые юноши, многие из которых уже стали дедушками, скидывают пиджаки, галстуки и возвращаются в юность, лаская мозолистыми ладонями старую железку.

Пётр и Павел

«Питер Блад, бакалавр медицины, раскуривал трубку, стоя у окна...»

Так, или примерно так, начиналась книга Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада».

Найденная в грудe макулатуры, собранной пионерами в светлом порыве помочь стране, любимая книга моего детства уносила меня в неведомые дали...

Корсары, Барбадос, Ямайка, Арабелла...

Детская фантазия рисовала картины битв и любви. Они были то приторно-романтичными, то зловещими (особенно после того, как я узнал, что «Блад» в переводе с английского означает «кровь»).

Я даже вырезал из дерева трубку и попытался курить ее, набив табаком из папирос «Беломорканал», которые стащил у папы.

Крепкий табак вызвал кашель, головокружение и тошноту, а папа терпеливо прочитал мне лекцию о вреде курения и взял слово, что я больше не притронусь к его папиросам.

Я попытался отрастить волосы, как у отважного капитана, но завуч по воспитательной работе, которая каждое утро проверяла на входе в школу чистоту обуви и длину шевелюры (страна боролась с мерзким явлением «хиппи!», отправила меня в парикмахерскую, где в знак протеста я постригся наголо.

Арабеллой мне мнилась первая красавица класса Ольга Морковина, которая, после того как я начал разговаривать с ней на «вы», категорически отказалась со мной общаться, решив, что я над ней издеваюсь.

Я перечитывал книгу восемь раз.

Каждый раз открывал что-то новое для себя и, наверное, изменялся сам.

Герои пиратских времен не представлялись мне людьми далекими и нереальными, я видел их лучшие черты в моих друзьях, ну а плохие, безусловно, приписывал врагам.

Особенно странным и неожиданным может показаться, что рядом с моим кумиром, капитаном Бладом, был... Павка Корчагин!

Да-да, тот самый нестигаемый коммунист, борец за правду и справедливость из романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

Каким-то непостижимым образом в голове десятилетнего мальчика эти выдуманные герои оказались рядом.

Мама крайне удивилась, когда застала меня за чтением «Как закалялась сталь», и строго заявила, что мне еще рано читать такие книги, что я в них ничего не пойму. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что я уже прочитал «Декамерон» Бокаччо, который она тщательно прятала в шкафу под постельным бельем?

Так вот, мне казалось, что горящий взгляд Павки в исполнении Василия Ланового, вполне мог бы принадлежать Питеру Бладу, когда он отдает команду «на abordаж!»

Как ни странно, но романтика строительства узкоколейки была не менее притягательной, чем романтика пиратской жизни...

Много лет спустя я перечитал обе книги, и они показались мне наивными и уже не такими неинтересными.

А вот разочарования не было, потому что никогда и никто не убедит меня, что Павка Корчагин — это собирательный образ, а корсара Питера Блада вообще не было!

Герои моего детства по-прежнему где-то рядом, тем более что моего лучшего друга зовут Павел, а сына Пётр!

Сладкая жизнь

Волшебная кладовка моего детства находилась в туалете.

Однажды папа, работавший на стройке прорабом, принес нечто, завернутое в мешковину, и бережно положил на пол, гордо поглядывая при этом на маму.

— Купил? — спросила мама настороженно.

Папа опустил глаза и отрицательно мотнул головой.

Ночью, когда мне полагалось спать, я почти не дыша прислушивался к разговору за стеной.

— Ты завтра же отнесешь обратно! — громким шепотом выговаривала мама. — Еще не хватало не спать из-за унитаза!

— Это не унитаз! — горячо шептал в ответ папа. — Это компакт-бачок! Он крепится на унитаз, я его поставлю, а старый, подвесной, вместе с трубой уберу, вот и будет место для маленькой кладовки! Я тебе уже сто раз об этом рассказывал! Ты же сама хотела шкафчик в туалете!

— А я не хочу, чтобы в доме были краденые вещи! Я же тебя просила его купить! — тихо возмущалась мама.

— Да нельзя купить! Невозможно! — задыхался от возмущения папа. — И он не краденый, а списанный!

Я слышал, как папа вышел на кухню, налил в кружку воды, шумно выпил, потом зашуршал, доставая папиросу из пачки «Беломорканал» и, щелкнув зажигалкой, закурил.

— Форточку открой! — прошептала мама, вышедшая следом за ним.

Так в нашей «двушке» появилась кладовка.

Папа установил бачок, в освободившейся над ним нише сделал полки из толстой фанеры, а из старого шкафа, который давно стоял у бабушки в сарае, смастерил вполне себе симпатичные дверки.

Мама очень любила кладовку. Она застелила фанерные полки аккуратно нарезанной клеенкой и почти каждый день протирала дверки.

Лично меня в кладовке интересовала только верхняя полка. Именно туда мама (наивно полагая, что это лучшее место) прятала от меня сгущенку.

Нет, мое детство не было «холодным и голодным»! Просто наидефицитнейшее тогда сгущенное молоко покупалось «по блату» и хранилось до праздников, чтобы можно было сделать торт.

О, мамины «наполеон» и «зефирный»! Когда я вспоминаю их вкус, мой рот наполняется сладкой тягучей слюной, а в ушах звучит мамин голос: «Сынок, не торопись! Никто у тебя не отнимет!»

С появлением кладовки началась моя сладкая жизнь.

Шесть банок сгущенки были надежно (по мнению мамы) спрятаны на верхней полке. Почему шесть? Ну давайте посчитаем. Новый год, Восьмое марта, Первое мая, и наши три дня рождения. Шесть главных праздников в году, когда мама ваяла свои шедевры. Банки стояли в два ряда, по три в каждом.

Солнечным зимним утром, когда папа и мама были на работе, а у меня начались школьные каникулы, я взял табуретку и аккуратно достал заветную банку (разумеется из второго, дальнего ряда).

Дальше — дело техники. Я пробил, нежно постукивая папиным молотком по папиной отвертке, два аккуратных отверстия в крышке.

Да-да! Это очень важно! Именно два! Дело в том, что когда ты начинаешь наслаждаться райским вкусом, высасывая сгущенку из одного отверстия, воздух, поступающий через второе, позволяет, не отрываясь, поглотить все содержимое за раз.

Я развалился на диване, включил телевизор — показывали любимый польский сериал «Четыре танкиста и собака».

Когда банка опустела, я, тяжело вздохнув, аккуратно поставил ее на место.

Международный женский день прошел безоблачно. Папа подарил маме три гвоздики и духи «Быть может». Кроме того, он приготовил на завтрак мои любимые картофельные оладьи. Мама, загадочно улыбаясь, пошла в туалет и вышла оттуда со странно оттопыривающимся карманом халата. Потом она разрешила на половинки зефир, чтобы вечером, за чаем, мы насладились нежнейшим тортом.

Катастрофа случилась в апреле, за день до маминого дня рождения.

Были приглашены гости, папа купил (конечно же «по блату») копченую колбасу, майонез, шпроты, банку растворимого кофе и шампанское. Мама хлопотала над селедкой «под шубой», чтобы за ночь она как следует пропиталась, и делала заготовку салата «оливье», который следовало заправлять майонезом перед самой подачей.

Когда я ужинал гречневой кашей с молоком, а папа задумчиво курил у открытой форточки, мама (как всегда, с загадочным видом) пошла в туалет, чтобы достать заветную банку сгущенки.

Когда она вышла, на ней не было лица. словно новорожденного, она держала четыре банки сгущенки.

— Петя, Петя! — простонала мама, глядя на папу, а потом повернулась ко мне, и я увидел, как слезы текут по ее щекам.

Папа бросился к ней, не понимая, что случилось, увидел банки, которые мама обреченно прижимала к груди и... засмеялся.

В каждой крышке было по два аккуратных отверстия.

Папа пошел к соседям и попросил у них займы банку сгущенки. Так что день рождения прошел на соответствующем уровне.

Куда после этого случая мама стала прятать сгущенку, я не знаю до сих пор.

До сих пор, четыре раза в год, когда домашние спят, я беру банку сгущенки, протыкаю в крышке два ровных отверстия и удобно устраиваюсь на диване.

Я закрываю глаза и вижу, как январское солнце светит сквозь тюлевую занавеску, как польская собака помогает танкистам, как протирает дверки кладовки мама, которая, слава Богу, жива, и смеется папа, которого, увы, уже давно нет.

Горелый

Он всегда возвращался домой в шесть часов вечера. Шел не торопясь, сутулый, ростом с пятнадцатилетнего пацана. Иногда он что-то напевал или бормотал. Черные без седины волосы зачесаны назад, черный костюм и белая рубашка без галстука. Соответственно сезону добавлялось черное демисезонное пальто с черным шарфом или черное зимнее пальто с черной кроличьей шапкой. Да — еще перчатки! Вне зависимости от сезона, он носил черные перчатки.

Мы, первоклашки, практически жили на улице, где нас интересовало все и вся. Сначала мы называли его «Чёрный человек».

Пару раз кто-то из особо смелых ребят пытался с ним заговорить, но он молча шел и что-то бормотал. Когда мы стали постарше, то стали понимать, что Чёрный человек всегда был... выпивши. Именно выпивши. Мы, десятилетние пацаны, стали презирать его и называть «Горелый».

Узкие щелки глаз без ресниц, ввалившийся нос, бесформенные губы. Страшная маска вместо лица. Совершенно невозможно было понять, сколько ему лет.

Горелый жил в доме напротив. Зимой мы кидали в его окно снежки и ждали, что он отодвинет занавеску. Нам было интересно посмотреть, в чем он ходит дома, так как мнения разделились. Сенька Стукин говорил, что Горелый носит дома черный халат, а Миха Лягин утверждал, что Горелый дома ходит голым. Кто из них был прав, мы так и не узнали. Окно всегда было наглухо занавешенным. Даже летом.

Середина июля. Мне двенадцать лет. В ожидании ужина я сижу на лавочке и смотрю по сторонам. Вдруг я увидел Горелого. Он шел качаясь и, как обычно, что-то бормотал.

Он был сильно пьян. Его рука, в черной перчатке, сжимала горлышко открытой бутылки водки. Он остановился, запрокинул голову, сделал глоток, помотал головой и увидел меня.

Время — удивительная вещь. Иногда оно летит так быстро, что мы не успеваем за ним, а иногда минуты ожидания превращаются в часы.

Прошло много лет, а я как сейчас вижу тот июльский вечер, лавочку, съжившегося от страха мальчишку и Горелого, который сидит рядом и говорит, говорит...

У него был приятный баритон и больная, обожженная душа. Он пил и говорил, вернее рассказывал. Я не все понимал, но — война, танк, Прохоровка — запомнил навсегда. Что-то было о любви, друзьях, жизни.

Был мат и слезы, которые он вытирал, сорвав перчатки, и я увидел обожженные кисти рук, пальцы без ногтей.

«Тридцать лет, — кричал он, — тридцать лет я живу во сне!»

Мне было очень страшно. Потом стало жалко его. Я попытался забрать уже почти пустую бутылку, и он отдал, не сопротивляясь.

Пришла мама, взяла нас за руки, привела домой и усадила за стол. Накормила, напоила чаем и велела мне проводить дядю Толю (тут только я узнал, как его зовут) до дому.

Вечером папа рассказал мне о Курской битве, о сражении под Прохоровкой и о командире танка дяде Толе.

На следующий день я все рассказал ребятам во дворе. Мы договорились теперь называть дядю Толю уважительно «Танкист».

А через месяц он умер. Узнали об этом только через неделю — соседи почувствовали запах.

Его провожали в последний путь в закрытом гробу. Перед гробом несли три подушечки, на которых лежали его боевые награды. В том числе звезда Героя Советского Союза.

Когда меня спрашивают: «Кто ваш кумир? Кто, по-вашему, человек года? Кто, как вы думаете, лучший по... (неважно, по чему)?», я называю какие-то имена и фамилии.

Да, это имена достойных людей. Но!

Каждый раз я вспоминаю моего кумира, человека года и моей жизни.

Человека в черном, Горелого, Танкиста. Дядю Толю.

Запах свободы

Я влюбился сразу и навсегда. Она была на год старше, училась в десятом классе и за то, чтобы носить ее портфель, сражались главные мачо (правда, это слово тогда никто не знал) нашей школы.

Каждое утро я прибегал в школу за час до начала уроков, вставал недалеко от входной двери и ждал.

Суеутилась малышня, носились пятиклассники, входили серьезные и деловые старшеклассники, но я не видел ни их, ни моих одноклассников, которые, посмеиваясь, хлопали меня по плечу.

Я ждал. Она появлялась в белом сверкающем облаке, оно светилось и... пахло. Это был запах чуда... Чудо звали Инна.

После того как она проплывала мимо меня, я погружался в глубокие раздумья.

Как? Как и, главное, чем я мог заинтересовать ее?

Я, среднестатистический ученик, не отличник, не спортсмен?

В общем, через месяц мучений меня осенило! Я должен сразить ее наповал тем, как я буду одет и, главное, как я буду пахнуть!

С одеждой решилось само собой. Старинный папин друг, дядя Веня, привез из командировки на Кубу (о, как же тогда это было круто!) удивительно модные вельветовые брюки.

Они были последним западным шиком. Широкие темно-синие и желтые полосы чередовались, создавая атмосферу солнца и океана. Я тут же примерил и упросил маму немедленно подогнуть их по моему росту.

Теперь осталось придумать, чем я буду пахнуть. Выбор был не очень большим. Одеколоны «Тройной» и «Шипр» я отмел сразу, а «Саша» мне был не по карману. Собственно, и выбирать больше было не из чего. Немного помучавшись, я уговорил папу позвонить дяде Вене и спросить, нет ли у него какого-нибудь волшебного запаха. В результате я стал обладателем крошечной пробирки, которую мне с улыбкой вручил дядя Веня со словами, что это самый модный кубинский запах.

Я летел домой на крыльях любви (которая теперь-то уж наверняка станет взаимной!), зажав в кулаке волшебный элексир счастья.

Мой триумф был назначен на двадцатое мая.

Ранним солнечным утром я принял душ, впервые побрился папиным станком с бритвой «Нева», надел бесконечно-модные вельветовые брюки в сине-желтую полоску, белую рубашку на выпуск, папины белые парусиновые туфли (на два размера больше моего), полил из пробирочки расчесанные на идеальный пробор волосы дурманящим запахом острова Свободы и с гордо поднятой головой двинул в школу уверенным шагом победителя.

Надо сказать, что в нашем микрорайоне на окраине города люди не очень привыкли видеть с утра экзотические персонажи, которые вышагивают в самой модной одежде и пахнут самым модным запахом.

Сначала я относил их удивленные взгляды на то, что они были поражены, как же я все-таки красив. Потом, когда шедшая мимо бабушка сплюнула и перекрестилась, насторожился.

О, как я запомнил двадцатое мая, конец учебного года в девятом классе!

В тот день дежурила по школе завуч по воспитательной работе Агнесса Павловна Бельдюкова. Она первой увидела меня, когда я взлетел на школьное крыльцо и уверенно распахнул входную дверь.

Она схватила меня за руку, зажала в углу входного холла и прошептала: «Ты что в пижаме в храм знаний приперся?! Совсем с ума сошел?!»

Я, конечно, представлял, что такое пижама, но у меня ее никогда не было, а спал я, как все нормальные люди, в трусах и майке.

«Агнесса Павловна... я... дядя Веня... Куба...», — выдавливал я из себя в полном ступоре.

«Да ты еще и накурился с утра! Дышать нечем! — вдруг взвилась Агнесса Павловна. — Вон из школы! Чтобы вечером с родителями пришел!»

Откуда же... ну откуда я мог знать, что запах острова Свободы — это запах моря, солнца и... сигар...

С тех пор я побывал во многих странах, покупал одежду в бутиках, а на полочке в ванной комнате у меня неплохая коллекция мужских ароматов.

Инна, моя любовь, к счастью не видевшая моего позора, уехала в Москву, поступила в институт и навсегда исчезла из нашего микрорайона.

Река времени все унесла, выровняла и стерла.

Вот только я никогда в жизни не надевал пижам и терпеть не могу запаха сигар!

Муза

Она жила в доме напротив. Окна в окна. Рыжая, полногрудая и крепконогая.

Утром она причесывалась, стоя у окна. Волосы были рассыпаны по ее спине, ночная рубашка открывала моему жадному взору круглые плечи и сильные руки, усыпанные веснушками.

Она раскрывала занавески, брала в левую руку зеркало, в правую — то расческу, то пинцет для выщипывания бровей, то пудру, то помаду.

А вот ресницы она не красила. Вообще непонятно, как у рыжей и голубоглазой женщины могли быть черные, густые и длинные ресницы.

Потом она уходила вглубь комнаты, исчезая из поля зрения, и возникала у кухонного окна с чашкой кофе и сигаретой. Она задумчиво смотрела в никуда, выдыхая дым в открытую форточку. Докурив сигарету и поставив пустую чашку на подоконник, она растворялась до следующего утра.

Каждый раз, наблюдая это действие, я хотел спуститься вниз, выйти из подъезда, попытаться заговорить с ней или пойти следом, чтобы узнать, где она работает.

Каждый раз, когда она плавно опускала сигарету в пепельницу, делала последний глоток кофе и растворялась, я бросался к письменному столу и начинал писать. Стихи. Они рвались наружу, царапая изнутри грудь и полностью подчиняя меня себе.

Однажды, жаркой июльской ночью, я проснулся от жажды и пошел на кухню попить воды. Сделав несколько глотков, я поднял глаза и увидел свет на ее кухне. Абсолютно голый мужчина стоял спиной к окну и тоже пил воду.

Я был раздавлен. Я поклялся себе, что утром прослежу за ней и найду повод для знакомства.

Я не увидел ее утром следующего дня. Она пропала. Исчезла. Растворилась.

Я не находил себе места, у меня пропали аппетит и сон.

Зато как много я стал писать! По три-четыре стихотворения в день.

Они были о далеком и близком, неизведанном и странном, о том, что заставляет кипеть кровь и леденит душу.

Тогда я думал, что они о смерти.

Теперь считаю, что они о любви.

Через неделю я снова увидел ее. Она наливала вино из бутылки в стакан и, чуть запрокидывая голову, пила. Ее движения были легки и неторопливы. Когда бутылка опустела, она повернулась лицом к солнцу.

Я спрятался за занавеску, мое сердце разрывало грудную клетку и стучало в висках. На нее было невозможно смотреть.

Тогда я подумал, что она очень устала.

Теперь я думаю, что это были боль и страдание.

Я начал писать поэму. Моя разорванная в клочья душа требовала слов и рифм.

Лихорадка охватила и не отпускала меня, пока не была поставлена последняя точка.

Я решил во что бы то ни стало прочитать ей мою поэму.

Я был уверен, что она все поймет. Я не сомневался, что после прочтения она снова станет прежней и позволит мне быть рядом.

Еще через неделю, возвращаясь домой тихим ясным вечером, вдыхая аромат свежескошенной травы и разглядывая яркие точки неведомых звезд, я увидел ее спящей на лавочке у подъезда дома, на который я смотрел каждое утро и каждый вечер.

Юбка задралась, обнажив до трусов ее крепкие ноги, блузка была расстегнута, и белый бюстгальтер едва удерживал грудь, которой, видимо, было очень тесно.

Одна туфля валялась рядом, а у скамейки аккуратно стояли пустая бутылка и стакан.

Кашель начал душить меня, я бросился прочь и нос к носу столкнулся с нашим соседом, очень известным и уже очень пожилым профессором философии.

Он взял меня за плечи и спросил: «Что случилось?»

Тут только я понял, что не кашель, а рыдания сотрясают меня. Торопливо и не очень вразумительно я рассказал ему все, что мучило меня и не давало покоя.

Даже начал читать ему свою поэму, но сбился и умолк.

Профессор взял меня под руку, и мы пошли под его неторопливо-рассудительную речь.

У нашего подъезда он остановился, посмотрел на меня с мудрой, доброй улыбкой и спросил:

— Кстати, молодой человек, а вы знаете, что такое катарсис?

Позвольте, ну откуда же я мог знать это слово?

В свои-то тринадцать лет!

Джинсы

На свете много удивительных и замечательных вещей. Нужных и не очень. Понятных и странных. Красивых и своеобразных.

В одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году самой желанной, важной и недостижимой вещью для меня были джинсы.

Да, джинсы, в которых ходили кривоногие ковбои в далекой Америке и которые в СССР тогда только начали появляться.

Мы знали их в лицо. Поименно. По отстрочке определяя фирму.

От их названий веяло радостью и свободой: «Супер Райфл», «Вранглер», «Левайс».

Мы смаковали эти чуждые советской идеологии слова, а Галина Сергеевна, наш классный руководитель, пренебрежительно скривившись, втолковывала нам, что предмет нашего поклонения — это просто рабочая одежда.

Нам было, если честно, глубоко наплевать. Мы до судорог хотели эту рабочую одежду, даже если ее до нас уже долго носили заграничные пролетарии.

Тем более что ношенные, «тертые» джинсы стоили значительно дешевле «новых», за которое нужно было отдать целое состояние.

Я не мог и мечтать о новых джинсах, а вот на «тертые» упорно копил.

Лето после окончания девятого класса я провел во вспомогательном цеху макаронной фабрики, постигая высокое искусство подготовки листов картона к изготовлению из него упаковочных коробок.

Через два месяца ударного труда меня выгнали за пререкания с вечно пьяным мастером цеха. Получив честно заработанные тридцать рублей, я загрустил. Моя мечта находилась от меня на расстоянии в двадцать рублей. Кстати, огромные по тем временам деньги для школьника!

До весны последнего, десятого, учебного года я брался за все, что угодно, лишь бы приблизить желанный миг обладания чудом.

Я помогал дворнику убирать снег и заливать водой каток, в зимние каникулы разгружал хлеб в булочной и даже продал Юрке Дяхову любимую серию марок эмирата Оман с картинками великих мастеров, на которых, по странному совпадению, были изображены раздетые женщины.

Таким образом я заработал еще пятнадцать рублей, но этого было опять недостаточно.

Я пребывал в отчаянии...

Если честно, дело было в том, что я влюбился в конце девятого класса. Перед самыми каникулами, когда стало уже тепло и девчонки надели юбки одна короче другой, оказалось, что Ольга Макова стала ослепительно хороша. Тогда у меня и созрел план, как завоевать ее внимание.

Теперь мой план был близок к провалу: Ольга после десятого класса хотела ехать в Москву, поступать в МГИМО, а там уже разве ее чем-нибудь удивишь?..

Из предсудцидального состояния меня вывел Андрюха Ветров, единственный мой друг, который не только знал про мой план, но и сам ждал джинсы, которые обещал ему привезти папа из загранкомандировки к окончанию школы и вступлению, так сказать, во взрослую жизнь.

В середине апреля, накануне моего дня рождения, он ворвался в нашу малогабаритную хрущевку.

— Во, Диман! — кричал Ветров, потрясая чем-то упакованным в плотную бумагу, перевязанную бечевкой. — Забирай, отдадут за сорок пять, только там молния сломана!

— Тетя Маша! — тут же взял мою маму в оборот Андрюха. — Вы же сможете молнию заменить, правда? Вон машинка-то у вас стоит, я давно заметил!

— Дядя Петя! — это уже папе. — Что, Диман давно так на диване валяется?!

Ответы Ветрову были не нужны. Пока я нехотя вставал с дивана, еще не осмыслив сказанное другом, он развязал бечевку, эффектно разорвал бумагу и, как фокусник, разложил передо мной... джинсы.

Это были «US TOP» — «Вершина Америки», пошитые, как потом выяснилось, в Бразилии.

— А-а! — заорал я, метнулся на кухню, достал из жестяной банки в красный горошек, на которой было написано «сода», заветные сорок пять рублей и сунул их Ветрову, вырвав у него из рук долгожданное чудо!

Андрюха очумело молчал, мама растерянно смотрела то на меня, то на Ветрова, а папа довольно усмехнулся и пошел курить на кухню.

С того самого момента мне, как принято сейчас говорить, «поперло»!

Я надел джинсы с любовно замененной мамой молнией на «последний звонок», который закончился для меня первым поцелуем с Ольгой Маковой.

Я был в них на вступительных экзаменах и поступил в институт!

Я хорошо учился и был любим, я легко шел по жизни уверенной походкой победителя в «тертых» джинсах, плотно и надежно обтягивающих мой костлявый зад.

На третьем курсе я их продал и купил «Вранглер», новые, с так любимыми мной «хулиганскими» карманами.

И вот что интересно. Вадик Галкин, друг моих друзей (ему «US TOP» были

проданы уже за шестьдесят рублей), через двадцать пять лет стал вице-президентом ЛУКОЙЛа.

Иногда, когда становится тяжело, когда кажется, что жизнь зашла в тупик, я задаюсь одним и тем же вопросом: «Если бы я тогда не продал джинсы, стал бы я вице-президентом ЛУКОЙЛа»?!

Письмо самому себе

Ну, здравствуй, мой далекий, хороший, честный и чистый Я!

Прошло каких-то тридцать пять лет, и я решил написать тебе письмо. Тебе, только что окончившему школу и радостно стоящему на пороге новой, взрослой, неведомо-притягательной жизни.

Начал писать это письмо и вспомнил, как мама говорила тебе, пятилетнему, одевая зимой в детский садик: «Сынок, не ешь желтый снег!»

А ты его и не ел. Ты просто всегда любил собак.

Вот так и я, сегодняшний, хочу предупредить себя «тогдашнего» от того, за что через тридцать пять лет будет стыдно, неприятно, больно...

Увы, даже предупрежденные (а значит вооруженные чужими знаниями), мы любим совершать свои ошибки.

Странные, глупые, смешные, но свои!

Так вот, мой любимый Я, прояви характер и все же попробуй поступить в Ленинградский государственный университет на факультет журналистики! Не слушай двоюродного дядю, который проработал там двадцать лет и отговорил тебя. Отговорил, потому что в твоём паспорте, в еще не отмененной «пятой» графе, была записана «не та» национальность.

Не слушай его, доверчивый дурачок! Через пятнадцать лет люди с «не той» национальностью будут очень востребованы, а еще через пять лет у выпускников ЛГУ появятся очень неплохие перспективы в Москве!

Мой влюбчивый Я, не верь улыбчивой Ленке и не трать на нее три года из замечательных пяти студенческих лет!

Не трать нервы (они ох как тебе еще пригодятся) и не думай, что Серёга ей «просто друг». Все будет противно-банально. Ты застанешь их у нее дома, зачем-то ударишь Серёгу, который ответным, хорошо поставленным ударом отправит тебя в нокаут, после которого останется горбинка на носу... Кстати, мой впечатлительный Я, видел я эту Ленку через десять лет после того, как ты ушел с залитым кровью лицом. Она растолстела, поглупела (или ты поумнел) и смотрела на меня (тебя) таким нежным взглядом, что, казалось, повяжи ей бантик, погладь по голове, и она, замурлыкав, долго и преданно будет тереться о твою штанину.

Знаешь, мой любимый Я, жизнь твоя будет очень непростой. Я бы даже сказал, что ты проживешь несколько жизней за эти каких-то тридцать пять лет. Ты будешь учиться и работать, будешь любить и будешь любимым, будешь бесконечно счастлив и переживешь горе, которое чудом тебя не убьет, а значит, сделает сильнее, ты будешь начинать с нуля несколько раз, однажды Бог уберезет тебя от суицида, а через десять лет после этого пошлет тебе ту, которую ты видел только во сне...

Мой далекий, хороший, честный и чистый Я! Ты здорово прожил эти тридцать пять лет! Не слушай меня, сегодняшнего, иди вперед, совершай ошибки, трать нервы и здоровье, смейся и плачь... только не садись в ту машину...

Благодаря Тебе я, сегодняшний, именно такой, каким бы Ты хотел видеть себя через тридцать пять лет. Спасибо тебе, мой юный и мудрый Я!

Хочу, дописав это письмо, положить его в конверт, запечатать, а на конверте написать: «Открыть через тридцать пять лет».

Вадим Демидов

Из сборника «Сказки про животных»

Утро в сосновом бору

Жил-был медведь. Род его вел линию из сосновых дворян, сословия, возникшего еще при славной императрице Екатерине. Звали медведя Илларион Данилович Виленский, он без малого четверть века проработал массовиком-затейником в подмосковном пансионате «Заря», и в следующем году ему был обещан выход на почетную медвежью пенсию.

Далекие предки Иллариона Даниловича служили на егерском посту в имении фаворита императрицы Александра Семеновича Васильчикова в селе Лопасня-Зачатьевское, и все были хороши ростом, сильны лапой, кряжисты и содержали большие веселые семьи. Илларион Данилович тоже отличался ростом и силой, но был одиноким и бездетным и бывало кручинился от того, что некому передать тайну своего рода. Секретом с ним поделился его батюшка Данила Петрович, что застал еще Великую Отечественную, правда, на передовую не ходил, а служил в обозной бригаде художественной самодеятельности. Рассказывал, что на подступах к Варшаве их бригада пересеклась с Клавдией Шульженко, и он, тогда еще слюнтявый малыш, так певичке понравился, что она на прощанье повязала ему на шею синий платочек из китайского шелка. Тряпица перешла по наследству Иллариону Даниловичу, он хранил ее в деревянном сундуке, но при пожаре, случившемся в пансионате, сундук сгорел, и даже ни одной нитки от платка не осталось. Вот уж как Илларион Данилович переживал...

Что же до тайны, которую Иллариону Даниловичу передал старик-отец, то была она связана с великим полотном художника Шишкина «Утро в сосновом бору», на котором изображена поляна с поваленным деревом и четыре медведя — отец и трое сыновей. Медведь, что стоит ближе всех к зрителю, Микула Михайлович Виленский, приходился Иллариону Даниловичу прапрапрапрадедом. А младший сын Микулы Михайловича, Никита, что, слегка согнув колени, косится на солнце, был прапрапрадед Иллариона Даниловича.

Художник Шишкин в пору его громкой славы нередко заезжал к своему товарищу, егерю Семену Поликарповичу Волгину, с ним они охотились на селезней, а когда вечерело — разжигали пушистый костер и пугали друг друга страшными

Демидов Вадим Игоревич (1961) — российский музыкант, лидер группы «Хроноп», журналист, писатель. Работал корреспондентом в еженедельниках «Новая газета», «Аргументы и факты» и «Нижегородский рабочий». Печатался в журнале «Новый мир». Автор романов «Сержант Пеппер, живы твои сыновья!» и «Там, где падают ангелы» (2011), «#Яднаш» (2016), а также сборников стихов «Стихи» (2013) и «Стихи-2» (2014). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

рассказками. Медведь Микула Михайлович, прапрапрапрадед нашего Иллариона Даниловича, был приписан к егерскому посту Волгина и на охоте прислуживал то хозяину, то его другу-художнику. Не единожды случалось им втроем ночевать в лесу. Медведь спал посередине, а по бокам Волгин и Шишкин.

Один раз Шишкин придумал нарисовать Микулу Михайловича с его медвежатами на залитой светом поляне. Поделится он своей идеей с медведем — и тот ее с почтением одобрил. Тут надо заметить, что Микула Михайлович тоже порой баловался с кистями и красками, только не показывал никому свои работы, называя их «помазушками».

Натянул художник Шишкин огромный холст, обмакнул кисть в краску... Написал одну сосну, другую, третью. Еще четвертую сосну, поваленную. А потом принялся за медвежьи фигуры — да только выходили они у него похожими на каких-то гигантских полевых мышей. Художник злился, стирал с холста жесткой щеткой, рисовал заново, но вновь мыши получались. Тогда Шишкин разозлился да и запил. Употребив литр белого вина, обычно падал он на пол мастерской и спал беспробудным сном до полудня. Продрав же глаза, вновь упрасивал медведей позировать — но снова терпел позорное фиаско. И запустив кисть в стену барского дома, топил он поражение в крепком вине.

И в один вечер, пока Шишкин валялся в беспамятстве, Микула Михайлович, медведь во плоти, взял палитру да и нарисовал себя на холсте. Потом изобразил и двух сынишек на разломанном дереве. Последним нарисовал своего младшего, самого любимого. И нанеся завершающий мазок, довольный завалился спать.

Когда художник Шишкин пришел в себя, Микула Михайлович с чувством выполненного долга сладко похрапывал в своей широкой медвежьей постели. Изрядно похмелившись, Шишкин подошел к холсту и оглядел каждого медведя. Вчерашний день он помнил смутно, но фантазия помогла ему достроить недостающие кусочки мозаики. В том, что он в высоком полете вдохновения успешно завершил полотно, сомнений не возникло. И в счастливом расположении духа Шишкин побежал к егерю Волгину хвалиться удачей.

Семену Поликарповичу картина понравилась. И друзья, не сходя с места, принялись обильно обмывать ее ячменной брагой. И уже хорошенько набравшись, разбудили медведя Микулу Михайловича и подвели его к картине, чтобы тот порадовался вместе с ними.

Микула Михайлович поначалу хотел сообщить им, кто тут настоящий художник, а кто просто пьяный человеческий человек, но потом решил оставить это своим секретом.

Однако на смертном одре поделился тайной с младшим сыном Никитой, а тот — со своим младшим сыном. А тот — со своим младшеньким. Так и дошел секрет до нашего Иллариона Даниловича. Жаль, не с кем ему поделиться секретом своего рода. Картину Шишкина он видел раз двадцать — почти каждый год наведывался в Третьяковку и любовался точным мазком своего гениального пращура.

Да, умели в ту пору медведи рисовать. Не то что люди.

Улыбка Мэрилин

Жила-была свинья. Лежала она в грязном хлеву и представляла себя Мэрилин Монро. Вот она в облегающем платье с шестью тысячами бриллиантовых блесков поет Happy Birthday, Mr. President. Бомонд в зале рукоплещет. Вот ее на съемках неловко приобнимает за талию стареющий Лоуренс Оливье. «Ха-ха-ха, — смеется про себя свинья, — вот так имечко, как салат...» А вот ее обхаживает бейсбольной битой мускулистый муженек Джо Ди Маджо. «Бьет, значит, любит, так говорят у нас на

кулебакшине», — вздыхает свинья сквозь туман грез. Но замечает, что ее действительно кто-то бьет. — Эй, полегче!

Фермер Василий Иванович в рваном ватнике будит ее суковатой палкой.

— Вона я тебе наложил, лопай!

Действительно в корыте появилась еда. Свинья представила, что бы сейчас съела Мэрилин Монро. Наверное, закуску из помидорок-черри, фаршированных сыром и икрой. Или стейк-шатабриан с кровью. Или небольшую порцию романьольской лазаньи. И любимого шампанского «Пайпер Хайдсик», только его! Растянувшись в грязном закутке, свинья мысленно нарисовала, как она стягивает коктейльное платье и остается лишь... в аромате Chanel номер 5. Над ней склоняется Mr. President и лобзает прямо в розовый пятачок. После каждого поцелуя пятачок превращается в двадцатипятицентовик с изображением белоглового орлана и слетает к ее ногам. Не прошло и четверти часа, а квотеров набралось на небольшое состояние. И все звякают, звякают... А это фермер, оказывается, бьет в чугунный рельс. Собирает своих сыновей по округе. Свинья догадывается, что этот колокол звонит по ее душу. Нарастила она себе бока, набрала вес — пора и честь знать, пора. Сейчас они заточат масляный шуп от трактора. Старший сын наступит ей на задние ноги. Младший станет держать передние. А фермер вонзит обоюдоострый клинок через подмышку в сердце. Зрелище не для вегетарианца. Но свинья подготовилась к этому дню. У нее тут скоплено в кармашке... И она достает пузырек с белоснежными кристаллами.

— Вам не вышибить из меня дух! — хрюкает свинья. — Я засну, как великая Мэрилин. Но как же трудно отворачивать крышку пузырька свинными копытами. Пузырек падает, разбивается. Кристаллики рассыпаются по земле. Свинья языком подбирает каждый. Не пропускает ни одного. И когда трое войдут в хлев со своим сверкающим оружием, они найдут не грязную свиноматку, а спящую глубоким сном блондинку в золотом платье, и поза будет выгодно демонстрировать ее формы. Нос Василия Ивановича услышит едва заметный запах Chanel. Фермер вздрогнет, нелепо взмахнет рукой и выронит клинок, который глубоко вонзится в его ногу. И Мэрилин, услышав дурной крик, улыбнется во сне.

Пу-пу-пи-ду.

Письмо эпохи Великой Матки Екатерины

Прежде чем, дорогой мой Агриппа, поблагодарю тебя за присланный фотопортрет, хочу с тобою побороться. Был бы ты сего дня у меня под рукой, то я бы тебе уши выдрал. Почти год я имею про тебя только неверные известия. Тряс я, тряс дрянную мешковину, ожидая, что выпадет хоть четвертушка почтовой бумаги, напрасно: ничего не выдрочил, понял лишь по цвету мундира, что ты переменил полк. Да и прошлогодние письма твои бывали слишком коротки, ты или не хочешь, или не можешь мне говорить обо всем открыто, а жаль — болтливость братской дружбы была бы мне большим утешением. Уж нашел бы минутку черкнуть другу школярских утех листика три-четыре строгим артиллерийским почерком, а то давно не доходит до моей кельи ни один дружный голос. Впрочем, я надеюсь, что еще до скончания века буду иметь удовольствие видеться с тобой; перо так глупо, так медленно — письмо не может заменить разговора, а дружба прежняя твоя меня совершенно избаловала.

Время мое до некоторых пор протекало между трапезами в веганской столовке и демагогическими спорами в красном уголке, общество мое, теперь рассеянное, еще недавно было разнообразная и веселая смесь умов оригинальных — много острых слов, много тамиздатовских книг, много шампанского из медвяной росы. Но жить пером мне невозможно при нынешней цензуре в муравейнике, ремеслу же военному я не обучался, в жрецы не могу идти из-за своего положения, хоть знаю закон божий,

но служу и не по своей воле в хлебном амбаре, веду учет ржаных зерен, что доставляют неприкасаемые.

Каково поживаешь ты в гарнизонном городке? У нас же тоска: частный пристав Верлиока бранится и дерется по-прежнему, драгуны и прочие пьяницы толкутся в коридорах с утра до вечера. А ору-то от них, ору...

Вероятно, ты, верный Агриппа, и не узнал бы теперь меня: я оброс бакенбардами, остригся под гребешок, обрюзг. Я совершенно подавлен, сам не свой. Хандра схватила, и черные мысли мной овладели. А причина сему такова... Ты, верно, помнишь Ботафого, прошедшего с нами столько веселых часов, Ботафого, которого мы видали и пьяного и влюбленного, не всегда верного своим обещаниям, но неизменного товарища в футболе, пивных мальчишниках и походах на танцплощадку к Сухому дубу, где наша компания неизменно билась с рыжими, а если не с рыжими, то с черными, где мы теряли конечности и жвалы, а все же уходили победителями. Конечно, ты помнишь Ботафого, который в страстную пятницу Старого года хорошенько отрезвил тебя рассолом из брюшек липовых тлей, того славного Ботафого, который изумлял озорными эпиграммами на однокашников, но частенько разменивал свой гений на запой и беличью горячку... Я всегда видел в нем славу нашей школы, любил в нем муравья с ясным умом, с простой, прекрасной душой, попечительного друга, всегда милого. Без предрассудков, с сильным характером, и чувствительный, умный во всем смысле слова, он невольно привязывал к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить высокие муравьиные качества. Запой очередной и принес беду на его голову. Уже три месяца, или более того, содержится он взаперти, не позволены ему ни перо, ни сахар, о медвяной росе я и не заикаюсь. Мочи нет, как жаль товарища нашего Ботафого. Началась такая каша, что хуже овсяного киселя.

Как-то в эсэмэске, адресованной Асмодею (помнишь ли его, вечно слюнявого, что даже конопатая Бестия на выпускном его отвергла, он на дипломатическом поприще ныне прозябает), наш друг Ботафого упомянул, что Великая Матка Екатерина на руку нечиста. Речь шла о двух незадекларированных лакшери-дуплах Матки Екатерины в квартале Ма-Ями. В той же эсэмэске Ботафого вопрошал: откуда у Муравьиной Царицы золотишко на недвижимость, уж не черпала ли она из трофейного хабара, не запускала ли длань в Неприкосновенную Казну Благосостояния. Вопросы, вопросы... Сплетни о Великой Матке Екатерины ходили давно — главным образом о том, что она который год ленится откладывать яйца в Спальню Будущего, а не секрет, что демографический провал может сказаться на преуспевании муравейника и всех наших колоний. Болтали в курилке и о жирных гусеницах, что неизменно доставляют боевые фуражиры, да только гусеницы те попадают исключительно на царский стол, хотя по уставу муравейника должны через распределители залетать и в солдатские пайки, и в ритейлы для охлоса. Ну и о крыльях судачили... Ох, уж эти крылья Великой Матки Екатерины! До сего дня сама себе их не отгрызла и другим не позволяет — ни евнухам гарема, хотя это их должностная нагрузка, ни фавориту Овидию, а тот еще и сам с целехонькими крылами, что уж совсем моветон.

Вот ответь, друже Агриппа, зачем им крыла? Несчастный Ботафого в злосчастном сообщении Асмодею о том высказал догадку. Чтобы, дескать, летать в квартал Ма-Ями и нежиться в мягчайших лакшери-дуплах (незадекларированных, топ аmі). Я отдаю полную справедливость истинным достоинствам Великой Матки Екатерины, никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив, но свидетельства Ботафого, согласно которым Муравьиная Царица со своими фаворитами навевалась в свои любовные лакшери-дупла не менее пяти раз только за неделю Великого поста, и меня вводят в раздражение. Желая поддержать Ботафого, готов я был нагрязнать в его норку с отверстыми объятиями и с откупоренными бутылками, но хорошо и то, что не совершил оно.

К прискорбию то сообщение Ботафого было запеленовано Службой Охраны.

И жрецы, среди которых, милый мой Агриппа, немало наших однокашников — тот же Гомер, тот же хромой Капоте — уже бросили к ногам бедного Ботофого черную спорынью, которой, как ты помнишь, в нашем муравейнике пятнают зараженных либеральной чумой. Это, уверяю тебя, пахнет если не палачом, то каторгою в самых дальних колониях. Жаль нашего школяра, сызмальства он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Следователь Манн, который по иронии судьбы тоже оказался нашим школьным товарищем, правда, он из параллельного класса, и замечу *nota bene* — глуп, как архиерейский жезл, — запросил с мобильного поста распечатку всех эсэмэс Ботофого, как входящих, так и исходящих, которые и были ему доставлены на зеленое сукно. Среди эсэмэсок, адресованных Ботофого, нашлись и три моих, в том числе гораианская сатира, тонкая, легкая и веселая, но ее при желании можно перетолковать как злостный пасквиль. А времена такие: то, что может быть странно перетолковано, обязательно будет странно перетолковано. Но пойми меня, бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки. Жрецы, как мне передали, уже готовят жалобу, которая может причинить большие беспокойства. Голова моя кипит, и я зол на целый свет, и никакая поэзия, увы, не шевелит моего сердца.

Мой добрый Агриппа, надеюсь, что я не потерял твоего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи. И вперед прошу тебя быть со мною на старой ноге. Мне жаль, что наделал я эту всю тревогу; но что мне делать? Пожалей обо мне: живу в безвоздушном пространстве, никто не понимает меня. Я второго дня пошел к нашему почтенному старосте Фу Манчи, высказал ему все печали, что имел на сердце. Но он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением и упрекать в том, что я преподаю безбожие и вольтерьянство, мимоходом высказав догадку, что меня ввел во искушение демон липовой тли. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность старосты не позволили мне с ним до конца объясниться. Не понимаю, какой бес его укусил. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он выбежал из кельи и объявил, что я намерен был его бить, замахнулся, мог прибить... Чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских или Соловецкого монастыря? Позже я узнал, что старосте заранее предложили распечатать всю нашу переписку, которая какое-то время назад была весьма обширна, короче — быть моим шпионом. Но приличное ли дело вывешивать напоказ дружеские мокрые простыни? Мало ли, что мне приходит на ум в дружеской переписке — а им бы всё печатать. Это разбой, решено: прерываю со всеми переписку (кроме тебя) — не хочу ни с кем (кроме тебя) иметь ничего общего. Судьбе Ботофого не позавидуешь, но скорее всего меня ожидает та же участь. За две строчки перехваченного сообщения я могу быть сосланным в глухую колонию. С ужасом ожидаю решения судейских жрецов и обнародование приговора.

Милейший мой друг Агриппа, мудрено мне требовать твоего заступления пред Великой Маткой Екатериной, не хочу охмелить тебя в этом пиру. Твердо надеюсь на великодушие Муравьиной Царицы и ее жрецов, почитаю за счастье во всем повиноваться высочайшей его воле. Уповаю на то, что правительство удостоверится, что я заговору не принадлежу и с возмутителем Ботофого политических дел не имел. Свидетельствую при сем как на духу, что я ни к какому тайному обществу не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них, и обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать, такова моя клятва. А Ботофого... Ты и без меня знаешь, что он весь был создан навыворот, постепенности в нем не было, он как созрел и возмужал, был готов к бунту, и не удивлюсь, если туманного содержания прокламации, появляющиеся в именины Великой Матки в темных переулках муравейника, его рук дело.

Нынче после пятой склянки по местным радиосетям передали, что яичко, из которого появился Ботофого, было заброшено в муравейник резидентурой рыжих, и

действительно, если приглядеться, рыжина сквозь кожу нашего бывшего приятеля просвечивает. Вон оно как вышло! Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если чужеземец и к тому же шпион разделяет со мною это чувство. Я уже крепко сомневаюсь в его политической безвинности.

Не могу поверить, чтобы ты, милейший Агриппа, коего гений и труды на военном поприще весьма высоки и чтимы, забыл меня. Я почел бы своим долгом переносить мою опалу в почтительном молчании, но почувствовав себя опозоренным в общественном мнении, впал в полное отчаяние. Обращаюсь к тебе: о, муравей благородных правил, какие бы ты посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации? Если иной раз и вырывались у меня жалобы на установленный порядок, если иногда и предавался я юношеским разглагольствованиям, все же могу утверждать, что, как в моих писаниях, так и в разговорах я всегда проявлял уважение к Великой Матке Екатерине как представителю тонкого вкуса, верного стража и покровителя нашей словесности и я не участвовал ни в одном революционном заговоре. Повинуюсь священной для меня воле Матки Екатерины, как бы ни была прискорбна для меня сия мера. Я желал бы вполне и искренно помириться с правительством и рассчитываю на монаршее великодушие. Но при том чрезвычайно за себя беспокоюсь, не сболтнул ли чего-нибудь лишнего или необдуманного. Я понимаю теперь, насколько перо мое было опрометчиво, но, по крайней мере, не было ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения. Верю, что мое чистосердечие не повредит мне в твоём ко мне благорасположении, столь драгоценном для меня, — мне казалось лучше объясниться прямо и откровенно.

В келье я под строгим присмотром, уединение мое совершенно. Хотя требование полицейской подписки унижает меня в собственных глазах, и я твердо чувствую, что того не заслуживаю. Соседи ходят смотреть на меня, как на позорную тлю. Я почел бы своим долгом переносить опалу в почтительном молчании, даже письменном, если бы необходимость не побудила меня нарушить его. Коли тебе, славная душа Агриппа, заблагорассудится мне ответить, то на всякий случай пиши на имя Гайто (он все такой же придурюшный, как в школьные годы, и целиком на моей стороне). Грустно, душа моя, обнимаю тебя и целую в пупок. Кстати: надеюсь на тебя, как на каменную стену. Честь имею быть с чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности, твой Сверчок.

Старики-разбойники

Жил-был заяц. В юности он снимался в сериале «Ну, погоди!», но полвека уже пролетело — в могиле и волк, его вечный партнер, и режиссер. От продюсера давно вестей не приходило. Постарел и заяц. Актерская пенсия больше символ, чем деньги. Купил лекарства в начале месяца и кукуеш до следующей выплаты — ни тебе капусты белорусского сорта «Слава», ни даже свежей подмосковной морковки. Хлеб. Плавленный сыр. Килечка. Кипяток. В Доме киноактера иногда праздничный набор отхватишь, так прямо сердце распирает от счастья. Ух ты, гречка, сгущенка!

Да и сам сериал нынче полузабыт. А ведь когда-то нешуточно гремел! И есть что вспомнить. Волк на съемки частенько притаскивал афганского гашека. Делился с зайцем, они закидывались и такие *кренделя* отмачивали, что впокатуху все, от гримеров до грузчиков. К сожалению, цензура многое повырезала. Эпизод, когда волк тайком от режиссера притащил в кадр молодую Алферову и они там с ней о-го-го как зажгли, на монтаже зарезали. Как он, заяц, в комнате смеха изображал Брежнева на пленуме ЦК, — тоже под нож. Как они вдвоем с волком эпизод про вступление войск в

Афганистан разыграли — все это лишь воспоминания, никто из зрителей не видел тех проделок. А жаль, в отбраковке как раз и ночевало настоящее искусство эпохи застоя.

Заяц, сколько себя помнил, мечтал сбежать в свободную Европу, выклянчить там политубежище, но вот беда — из-за вечной фронды считался невыездным. Напрасно ему высылали приглашения Багз Банни. Напрасно за него хлопотал Кролик Роджер. Господи, да его даже в страны соцлагеря не выпускали.

Однажды организаторы фестиваля в Сопоте пригласили зайца в качестве почетного гостя, так он впервые оказался за пределами Родины. Его привезли из аэропорта прямо к началу номера. Когда он спел песню Снегурочки из любимого сериала, ликование толпы не было предела, в утренних газетах его успех будут сравнивать с битломанией. Но вместо заслуженного выхода на бис зайчишку впихнули в тонированную машину — и на всех парах в аэропорт. Даже сувениров для волка не дали купить.

Заяц лезет в холодильник, вынимает кастрюльку постных щец на предмет разогреть. Чиркает спичкой. Кто-то стучится в форточку. Заяц отодвигает шпингалет, и вместе со стильным воздухом на кухню влетает толстяк с пропеллером. Еще один герой соцреализма. Мигом за стол — и давай уминать щи за обе щеки. Заяц и ложку не успел зачерпнуть, а у толстяка уже пуста тарелка. И просит добавки.

Но тут звонок в дверь! Кого еще принесло? Курьер с «Союзмультфильма» протягивает депешу. Зовут на съемки ремейка. Гонорар по договоренности. Райдером интересуются.

Воссиял заяц, воодушевился. Эх, еще не забыли старика! К зеркалу подбежал. Живот втянул. Уши расправил. Усы кисточкой нафабрил. Вырвал из тетради лист, стал райдер сочинять. Итак, отдельный трейлер, морковно-капустная кухня, дежурный врач-кардиолог, афганский гашек... Да, гашек... И друга своего закадычного вспомнил. Кем же его в ремейке заменят? Некем заменить. Волчара ты, волчара... Никто теперь такой афганский гашек не достанет, никто так не рассмешит. Никто не прохрипит низким басом, что твой Том Уэйтс. Никто не вывернет лампочку из прожектора и не подсунет бегемоту как грушу.

Перечитал заяц депешу да и разорвал. И райдер, что только что накарябал, — в клочья. Отодвинул занавеску на окне. Туман начал сгущаться. А это условный сигнал. Значит, все-таки сегодня, как и планировали... Толстяк с пропеллером тоже подвинулся к окну, уперся плюшевым лбом в стекло. Многозначительно посмотрели друг на друга.

Когда туман станет как топленое молоко, придет ежик. И они, три ветерана, отправятся грабить ближайший ломбард. Что они там возьмут, лишь мультяшный бог ведает. Потом надо будет отнести награбленное старику Маугли, тот обменяет товар на деньги.

А иначе не проживешь. Они уже пробовали.

Андрей Иудин

Незабытый

Рассказ

С утра я разбираю и вытаскиваю мебель, потом собираю и двигаю по кабинету новый офисный гарнитур для главбухши. Отвез в архив на тележке грудку ненужных папок. Папки были дешевые, со шнурками, в ломких от старости переплетах, наверное, еще времен молодости ее и фирмы. Она хотела открыть одну, но узелок затянулся, она махнула рукой. Напоследок сгоняла меня в буфет и велела оставить сдачу.

Конец рабочего дня я досиживал в подсобке, катал шарик на мобильнике и думал, как распорядиться сдачей (осталось прилично, даже слишком) и чего захочется тетке в следующий раз. Позвонил вахтер:

— Тут тебя спрашивают. Выйдешь?

— Кто спрашивает?

— А я знаю? Человек. Сам говори.

— Алло? — Голос в трубке поменялся. — Господин (назвал мою фамилию)? Алло, вы слышите?

— Да... — ответил я с задержкой, — да, слышу.

У него было южное глухое «г», нечастое здесь, в центре России. Но ведь и не совсем уж редкое, верно? Мало ли наших посрывались тогда с родных мест куда глаза глядят, лишь бы подальше — от войны, от крови, от своих, да так и не вернулись. Я сам такой, только что не «гэкаю» — пару лет как избавился, поборол себя.

— Трубку барахлит, — сказал я. — Вы кто?

— Вы меня не знаете, но заочно, так сказать... — голос волновался. — Мы земляки, днепропетровские оба...

— И что с того? — Меньше всего я нуждался теперь в земляках. — Вообще у меня тут народ, так что...

— Вы были дружны с моим сыном, служили вместе...

— Нигде я не служил.

— Ну, то есть не служили, да, да, понимаю, — голос заюлил, зачастил, — но... общались, в общем. На майдане... и потом.

— Как его зовут?

— Юрко, Юрко Пищик. Звали.

Иудин Андрей родился в 1953 году в Горьком. Окончил Горьковский госуниверситет, работал инженером-программистом, вздымщиком на Урале, журналистом, редактором газет.

Автор романов «Инсайт» и «Морф», а также сборников стихов. Шеф-редактор журнала «Нижний Новгород». Член Союза писателей России.

Я следил за шариком на экране мобильного, выдерживая горизонталь. Шарик покачивался на входе в тупик, не дойдя до штрафной лунки.

Ничто во мне не дрогнуло, не отозвалось. Словно это случилось вчера и не минули годы переездов, мыканий по квартирам, работам. Словно ничего не забылось. Наверное, потому, что как бы хорошо ты ни забыл, кто-то в твоей башке все равно продолжает помнить. Сторожит закоулок памяти, чтобы ты не сунулся по ошибке.

— Вы были вместе последние дни, вот я и хотел... ну, вы понимаете. Просто поговорить.

— Да мы не так чтобы дружили...

— Ну, все-таки... Понимаете, мне любая мелочь... Он про вас рассказывал, по телефону, хорошо отзывался, очень хорошо, да... Фотографии присылал. У вас тогда еще другая фамилия была.

От той фамилии я избавился легче, чем от «гэканья», просто женился на пару недель. Но он-то откуда знает? Как меня нашел? То есть найти-то можно любого, и под другой фамилией, и в другой стране (да уж какая она другая). Было бы желание. И терпение... И деньги, конечно. Он вот нашел. Зачем? Поговорить?

Я качнул телефон, шарик упал в лунку.

— Тут ниже по улице парк, на другой стороне. — (Конец рабочего дня, ни к чему нам вдвоем отсвечивать в вестибюле.) — Подождите на лавочке, я скоро выйду. Как вас узнать?

Я еще посидел в подсобке, подумал. На стеллаже стоял ящик с инструментами, из мотков проволоки торчали плоскогубцы, молотки, набор отверток... Идиотская мысль. У него такой усталый печальный голос. Если бы он что-то знал и хотел моей крови, мог бы просто отнести заявление. Ему нужны воспоминания. Мы поговорим и разбежимся. Поговорим, поскорбим... помянем — почему нет? В крайнем случае опять перееду, я привык, хоть и надоело. Подамся дальше, за Урал. Говорят, там «гэкают» чаще, чем здесь. Да, так будет лучше. Опять уехать, забыть.

И чтоб тебя забыли. Хорошо бы все.

Он и выглядел под стать своему голосу, таким же усталым и печальным: неказистые усы, двухдневная седая щетина, мешки под глазами. Потертый костюм, тяжеловатый по летней поре. На скамейке под рукой — дорожная сумка. Увидев меня, он взял ее на колени.

— Как вас зовут? — Я не сел рядом, и он поднялся сам, протянул руку. Он был ниже меня и легче килограммов на двадцать.

— Сергей Петрович. А Юрко... не говорил? — Он, кажется, огорчился.

— Говорил, — соврал я, — но столько лет... сами понимаете.

— Да, да, понимаю... Пять лет, шестой уже...

— Так о чем хотели поговорить?

— О последних днях, об обстоятельствах. Что вспомните...

— Но вам же сообщали, должны были.

— Да, попал в плен, замучен сепаратистами. Но это все официоз, неживое... извещение, свидетельство о смерти, личная скорбь какого-то клерка в погонах. Да и напутать что-то могли при тогдашней-то неразберихе.

— То есть вы думаете, он...

— ...Жив? Нет, конечно, давно не думаю. Просто любая деталь, штрих от человека, который был с ним рядом, под огнем, делил, так сказать... я был бы очень благодарен.

Он смотрел на меня снизу вверх.

— Хорошо, — сказал я, — спрашивайте.

— Прямо здесь? Может, посидели бы где-нибудь, чтобы не на ходу... Я бы вас угостил, если позволите.

Я знал, что быстро не получится. Надо перетерпеть, исчерпать тему разом и больше не пересекаться. И все равно лучше уехать. Искать меня заново он вряд ли станет

— Можно посидеть, — кивнул я.

В углу парка притулилось недорогое кафе, мы заняли столик, он сходил к стойке и принес коньяк и по порции курицы. Я спросил, сколько с меня.

— Что вы, что вы! Это меньшее, чем могу, за вашу любезность...

Я не настаивал: пусть считает меня обязанным. Ожидание благодарности повышает доверие.

Коньяк оказался неожиданно приличным, а гриль почти сырой. Ни салата, ни даже компота он не взял, а хлеба — по три куса; похоже, сэкономил на закуске. Видно, не так хорошо у него с деньгами.

— Как вы меня нашли?

— Не спрашивайте. Все эти военкоматы, паспортные столы... того нельзя, это не положено. Пока допросишься, убедишь, неофициально, так сказать...

Да, убедить чиновника — дело затратное. Что по ту сторону границы, что по эту. Но, скорее всего, он нанял кого-то для поисков, а это еще дороже.

Здесь, в помещении, от него потягивало потом, глаза были в красных прожилках, костюм измят в толкотне по вокзалам и поездам. Вряд ли стоит опасаться новых встреч, подумал я, ему и этот вояж дался недешево, во всех смыслах.

И все равно лучше уехать.

— Юрко — каким он вам запомнился?

— Хорошим парнем, добрым таким и вообще... Смелым.

Когда нас перебросили в лагерь на Донбассе, Юрко оказался первым, из кого сержант Щербак вытряс все деньги в долг до вечера. Он же чаще других чистил котелки, пилил дрова и следил за буржуйкой в палатке. Но, может, ему это даже нравилось, отвлекало, что ли...

Нет, трусом он не был, помню, со здоровенной цепью выскочил вперед на беркутовскую «черепаху». Цепь с грузом была тяжеловата для него, он неуклюже размахивался, сзади полетели камни и «коктейли», и, шаркнув пару раз по щитам, Юрко отбежал с волочащейся цепью, пока не пришибли свои. Но там был майдан, все мы были братья по борьбе, и с нами была правда. И газ, и водометы, и когда стали стрелять снайперы, и обгорелый труп солдата-срочника на остриях металлической ограды — все это была лишь малая цена правды, и мы платили ее, не торгуясь. Это было как шквал, нас несло этим шквалом.

Потом шквал утих, но нас несло по инерции. И в полевом лагере, где мы отстреляли по пять патронов, спали на голых матрацах и штопали бэушный камуфляж всех армий мира, который носили вперемешку с гражданскими шмотками, — еще порой чудился в ушах гул майдана, перекрываемый выкриками Щербака.

В лагере у Юрко пропал дорогой мобильник, отнятый еще в Киеве у титушек, а к вечеру Щербак разжился бурячихой и ввалился в нашу палатку, и плеснул каждому, и хвастал, как еще до майдана был в мобильной группе в Запорожье и бензопилой отрезал голову бронзовому Сталину и какое резонансное было дело. И все выпили, и слушали сержанта, и Юрко тоже. А как-то он сказал мне: «Помнишь того солдата на оgrade? Мы теперь тоже в форме».

Но для отца Юрко должен остаться героем, ведь так? Он же за этим приехал, за светлым образом сына.

— Вытащил раненого из-под обстрела. Сам вызвался, полз с ним под огнем. Объявили благодарность перед строем.

Надо бы деталей для убедительности; плохо сочинялось. Ну, пусть видит, что я

не мастак рассказывать. Скорее закончим. Что-то устал я сегодня больше обычного — на работе, теперь вот он.

— Вы отправились добровольно?

Странно, что он спросил. Ведь Юрко звонил ему, успокаивал, храбрился, пока еще был с телефоном. Мы были патриотами. А он сомневается?

Я подумал, что до сих пор не знаю, как он относится к тому, что произошло тогда с нами, со всей страной. Что это было? Приступ безумия, кровавая пелена, заставшая глаза миллионам? Отчаянный порыв к свободе, преданный политиками, укравшими вековую мечту?

Что он хочет услышать?

— Нам грозили, — сказал я наудачу. — Три года тюрьмы или... Грозили семьям. И мы записались. Юрко не хотел, чтоб вас...

Он не удивился, кивнул. Кажется, я угадал.

— Ну, а как все... случилось? — Он разлил по бокалам, посмотрел на часы. Боится опоздать на поезд? Тем лучше, недолго уже.

Я рассказал, как нас подняли после отбоя и двинули на зачистку. Город был проутюжен артиллерией и с воздуха и оставлен сепаратистами. Колонна миновала разгромленный блокпост и шла по ночному шоссе, когда из лесопосадки ударили из гранатомета по головной машине. Из открытых люков БТРа рвануло пламя и стали выскакивать горящие, они метались и катались по земле, один выбрался наполовину и догорал, упав лицом на броню. Колонна остановилась, мы высыпались из кузова «шишиги», в нас и вокруг стреляли, кто-то полз под колеса, волоча неподвижные ноги, Щербак орал, в кузове «камаза», вставшего за нами, что-то загорелось от трассеров, стали рваться боеприпасы. Юрко побежал, мы оба побежали.

Мы хотели рассыпаться и занять круговую оборону, сказал я. Так нас учили. Рядом еще бежали и падали, но мы добежали.

Мы вломились в лесопосадку, и я потерял Юрко из вида. Стрельба продолжалась, били и в нашу сторону. Я пополз в темноте, натываясь на стволы, продрался сквозь кустарник, свалился в ложбину и наткнулся на него. Он сказал, что напоролся на бегу на какой-то сук и теперь не может поднять руку. Он дышал так, будто пробежал пару километров; хэбэшный «дубок» от ключицы до подмышки пропитался кровью, и сзади тоже. Надо было перевязать, но аптечек у нас не было. Я разорвал на себе футболку и велел ему прижать к ране здоровой рукой. Я спросил, может ли он ползти. Он сказал, что подвернул ногу, когда прыгал через кювет. Я потрогал: нога была тоже в крови. Я сказал, что помогу ему, надо вернуться ближе к своим, сейчас террористов отгонят и его перевяжут. Нет, сказал он, ты что, не слышишь? Стрельба стихала, и двигатели надсаживались в заглохших перегазовках: уцелевшие машины разворачивались, наши отходили. Беги, сказал он, ты еще успеешь...

Я замолчал. Пусть не думает, что мне легко говорить.

Пищик-старший (или уже не старший? младшего ведь нет) подлил в фужеры. Думает, я прервался, чтобы выпить? Я выпил.

— И что было дальше? — Он поглядел на часы.

— Дальше? Нет, сказал я ему. Я тебя не оставлю. А как иначе?

— Да, да... — Пищик закивал.

Через пару минут все стихло, рассказывал я. Надо бы подождать, но Юрко мог истечь кровью. Здесь шоссе делало крюк, и я знал, что окраина где-то неподалеку, за балкой. И там должна быть больница, ребята упоминали о ней перед наступлением, у них был свой интерес. Я не знал, цела ли она, остались ли там врачи и заодно ли они с террористами, но это был шанс. Я догадывался, что командиры ошиблись и сепаратисты в городе есть, скорее всего, разрозненные мелкие группы, одна из которых и устроила засаду на шоссе. Но не могут же они быть везде. Я взвалил Юрко на себя и потащил. Он был уже без сознания. Не знаю, сколько я его тащил. Особенно

тяжело было перебираться через балку, заросшую густым терновником, мне мешал автомат, я боялся споткнуться и упасть вместе с Юрко, боялся уложить его на землю и передохнуть, потому что мог не поднять его снова. Боялся опоздать. Как нас там примут, об этом не думал. Я плохо соображал, просто шел.

— Вы герой, — покачал головой Пищик. — Но продолжайте...

Городская застройка обрывалась рядом домишек, разбитых артиллерией. Через упавший забор с Юрко на плечах я пробрался в сад, заваленный истерзанными деревьями. Ветки были еще свежие и упругие и путались под ногами. За распахнутой калиткой я увидел улицу, уходящую с окраины в глубь микрорайона. Угловые панельные дома были в пробоинах от снарядов, в одном обрушилась секция. Следующий дом уцелел, а за ним я различил трехэтажное здание с несколькими елями вдоль фасада. Часть окон была выбита, но в глубине здания, на первом этаже, брезжил свет. Больше свет нигде не горел; я надеялся, что это больница.

Вокруг не было ни души; я двинулся через улицу, ожидая окрика или выстрела. В торце здания было крыльцо с пандусом. В углу подъездной площадки маячил белый фургон в рваных вмятинах, без колес. Это точно была больница. Надпись над входом в темноте не читалась, но я не сомневался: «приемный покой».

Я не знал, есть ли здесь охрана. Я хотел положить Юрко у входа и позвонить, если там есть звонок, или поколотить в дверь и сразу скрыться. Убежать я не рассчитывал, но, может, не станут искать в темноте. Ничего другого я придумать не мог. Я был уже у пандуса, когда на крыльцо вышла женщина с незажженной сигаретой в руке. Я замер с Юрко на плечах. На ней был белый халат и темные брюки. Женщина тоже замерла и придержала дверь, шурясь в мою сторону, затем сказала: «По коридору, вторая дверь налево. Донесешь?» В потемках она приняла нас за своих. Я держал Юрко и чувствовал, что сейчас упаду вместе с ним. Женщина чиркнула зажигалкой, прикуривая. «Чего стоишь? Катя примет, я сейчас... Тю, да ты...» У меня подогнулись ноги, я осел на пандус и уронил бы Юрко, если бы она не подбежала и опустила его, придерживая голову. «Каталку!» — крикнула она в дверь, выплюнув сигарету. — «Да каталку же!.. А ты тоже?..» Она повернулась ко мне. Двери распахнулись от удара каталкой, на меня упал свет из коридора. Я стоял перед ней на четвереньках, в крови, на шее болтался автомат. Было видно, как она напряглась, разглядев нашивки. «Тут есть охрана? — спросил я. — Кто-нибудь... из ваших? Пусть не стреляют. Я сдаюсь».

Мы помолчали.

— Я вас понимаю, — вздохнул Пищик. — Вы сделали выбор.

— Я просто устал. Вообще устал. От всего.

— И приняли решение. Это был выбор, поступок, да... — Кажется, он пытался сказать мне приятное. — А Юрко?

— Его увезли на каталке на операцию. Больше я его не видел.

— Как вы узнали, что он умер?

— Уже потом, когда сидел в подвале. Мне сказали, когда допрашивали.

— Так, так... — он понурился, покивал. — А вас, значит?..

— Связали, кому-то позвонили. Охраны там не было, только старик-сантехник или электрик, не знаю, и парень, тоже в халате. Старик забрал мой автомат и целился, пока парень связывал. Меня бы и ребенок связал... Потом приехали, мешок на голову... ну, и все как положено.

С Юрко мы покончили, и дальше его не касалось. По-моему, он это понял, но все равно спросил:

— Тяжело там пришлось?

— Трещина в ребре и так, по мелочи. Все лучше, чем мертвым.

Зря я так сказал. До сих пор все шло гладко. Но нелегко битый час следить за каждым своим словом и не сбиться. И вообще мне было что-то не по себе. Пора закругляться.

— Сказал, что нас мобилизовали насильно, что дезертировали, в нас стреляли свои, что не хочу воевать, что у меня родня в России... Поверили в конце концов. Дали прибиться к беженцам, камуфляж я поменял на гуманитарный секонд-хенд, там его хватало. С нашей стороны граница была голой, россияне не придирались. Статус беженца, потом гражданство... Вот и все.

— Понятно... И как устроились?

Мы уже допили. Он смотрел как-то странно, будто изучал кожу на моем лице.

— Вы же знаете. Вот и телефон мой нашли.

— Да, да.

— А вы чем занимаетесь? — Мне это было неинтересно, но пора сворачивать разговор.

— Да ничем особенным, работаю провизором.

— Это в аптеке?

— Да, всю жизнь в одной аптеке... Так, живу...

Наверное, живет один, подумал я. Да мне какая разница.

— Ну что ж... — Опять этот ошупывающий взгляд. — Еще по чуть-чуть?

— Нет, все. Устал сегодня.

Я и вправду устал. Разговор был тягостный, и хмель почти не брал. Нет, все же брал: на выходе из кафе меня качнуло, я поскользнулся на ступеньках, но удержался за поручень. Прошел дождь, и ступеньки были влажные.

Мы двинулись в сумерках по опустевшей аллее. Еще чуть моросило, воздух был сырым и пряным; после душного кафе у меня закружилась голова и закладывало уши, как бывает при перемене погоды. Коньяк все же сказывался, и хотелось отлить.

Кроме нас, вокруг никого не было. Я шагнул на газон, где рос плотный кустарник, и меня опять качнуло. На этот раз сильно; Пищик успел поддержать.

— Перебор, похоже, — усмехнулся я. — Даже в ноги вступило.

— Вам надо посидеть, — сказал он. — Идти можете?

Я попытался, с ногами вправду творилось что-то.

Он обхватил меня за талию, неожиданно мосластый и цепкий.

— Держитесь за меня, крепче, за плечи.

Я старался, рука была слабой и соскальзывала.

— Ничего, тут рядом. Помогай, перебирай ногами... — Он вдруг перешел на «ты».

Я помогал, и мы добрались до скамейки. Она стояла в кустах и в сумерках с аллеей была почти незаметна. Кто-то заволок ее сюда из озорства или для быстрой любви.

— Что чувствуешь? — спросил Пищик. Он запыхался, пока тащил меня. Все же он был старый.

— Ноги что-то...

— Вижу. Другие ощущения?

— Закладывает уши... И руки... словно не мои.

Он кивнул. Он все еще не мог отдышаться, но приподнял мне подбородок и всмотрелся в лицо, словно сверял с фотографией. Я начал догадываться.

— Провизор... — пробормотал я. — Коньяк...

— Да, да. Я хороший фармаколог.

— Чем вы меня...

— Миорелаксанты, особая комбинация, плюс некоторые добавки. Слово «релакс» тебе знакомо? Твои мышцы сейчас расслабляются и расслабятся до полной обездвиженности, проще говоря, паралича. Последней расслабится диафрагма, и ты перестанешь дышать.

— Зачем? Почему?..

— А как ты думаешь?

Я подумал про ящик с инструментами у себя в подсобке, про набор отверток: там была одна, тонкая и длинная, с прорезиненной рукояткой. Попробовал пошевелить

пальцами. Я все равно не смог бы ее удержать. Я и себя не мог удержать на скамейке. Лопатки заскользили по ребристой спинке, и я свалился бы на землю, но Пищик не дал и уложил меня на скамейке боком; ноги свешивались вниз сами по себе. Я был как из пластилина, казалось, его руки оставляют на моем теле вмятины.

Он достал зажигалку с подсветкой, оттянул мне веко и посветил в глаз, потом в другой. Похлопал по щекам, наблюдая реакцию. Посветил мне на брюки; да, я чувствовал, что обмочился. Он откинулся на скамейке. Он все равно выглядел понурым и сутулым.

— Я умру? — спросил я.

— К тому идет.

— Убийство... вас найдут.

— При чем тут убийство? Перед смертью ты проглотить дозу метанола. Бутылку, — он похлопал по своей сумке, — найдут рядом. Кому нужны подробные анализы, когда налицо банальное отравление суррогатом. Запредельная доза, остановка дыхания, смерть в молниеносной форме... У полиции есть дела поважнее.

Он меня поймал, подумал я. Потому что я так и не забыл, не сумел забыть. А пока помнишь, ничего не кончилось. Наверное, меня все равно рано или поздно поймали бы. Не он, так другой, не за одно, так за другое. Наверное, каждого из нас, кто там был, есть за что ловить. Не всегда только есть кому. На меня вот ловец нашелся.

— Но не все так плохо. Вот, видишь?

Шея не ворочалась, я не мог повернуть голову. Он поднес к моим глазам шприц-тюбик. Такие водились у ребят на майдане, а потом, в лагере, те, кто мог, покупали их у фельдшера в медпункте, — шприц-тюбики с промедолом из индивидуальных аптек, которые до нас не доходили.

— Легкая смерть? — Я чувствовал, что говорю невнятно. — И что за нее?

— Смерть? — удивился Пищик. — Я не предлагаю тебе эвтаназию. Здесь антидот. Твое спасение. Не веришь? Подумай сам — мы пили из одной бутылки. Просто себе я вколол противоядие заранее. Ну, рассказывай.

— Что... рассказывать? — Слова вязли во рту.

— Как было на самом деле.

— Все так и было... почти... — Я вдруг подумал, что сейчас потеряю голос и не успею рассказать, объяснить ему. Не смогу докричаться из этого неподвижного тела.

— Язык... губы... — вытолкнул я.

Моим телом был страх. Только сердце билось внутри и воздух входил и выходил.

— Затруднения с артикуляцией — это нормально, — сказал Пищик. — Мимические мышцы, голосовые связки тоже расслабляются, однако до конца не отключатся. Добиться этого непросто, но я хороший специалист. Некоторые затруднения с речью неизбежны, но голос ты сохранишь до конца. Говори, я пойму. Кстати, глотать ты тоже сможешь...

От меня остался только голос. Он хотел рассказать и забыть. Совсем забыть.

Голос говорил за меня.

Я сидел связанный в кладовке и услышал выстрелы, два или три одиночных и очередь. Кто-то завыл. Плеснули и смолкли старушечьи причитания, видимо, кого-то из санитарок.

Дверь открылась, и я увидел Щербака. Он был в балаклаве, но я узнал его. С ним была женщина-врач и еще наши.

Щербак навел на меня автомат и закричал, что я дезертир и предатель, мы оба с Юрко предатели. Женщина-врач что-то говорила, вой в коридоре мешал мне понять. Щербак подошел и пнул меня ногой. Он спросил, хочу ли я жить. Я сказал, что хочу. Он спросил, готов ли я искупить. Я клялся и плакал. Я не хотел плакать, слезы текли сами. Меня развязали и вернули автомат. В коридоре корчился на полу старик-

сантехник, и я добил его двумя выстрелами. Я хотел в сердце, слезы мешали целиться, но он замолчал.

Щербак спросил женщину-врача, где Юрко. Она попыталась возразить, но он взял ее за волосы и заглянул в глаза. Она отвела нас в палату. Юрко был без сознания. Щербак спросил, что с ним, и врач сказала, что у него раздроблена ключица и еще две пули в ноге. И что он умер бы, запоздай я еще немного. Хорошо, что не умер, сказал Щербак. Он велел мне, и я выстрелил. Слезы у меня уже высохли, и я не промахнулся, Юрко умер сразу.

— Велел? — уточнил Пищик. — Щербак отдал тебе приказ?

— Он кивнул мне, и я... Он навел на меня автомат.

— Кивнул?

— Он просто смотрел на меня, и я... В других палатах тоже стреляли... Вы не понимаете...

— Понимаю. А потом?

— Потом я убил соседей по палате. Потом женщину-врача. Щербак похвалил меня и опустил ствол. Я выстрелил в него и вылез в окно. В других палатах еще стреляли и кричали, и я смог уйти. Вот и все. Вы обещали...

Пищик достал свою зажигалку и посветил мне в лицо. Просто светил и смотрел. Веки не слушались, я не мог зажмуриться.

— Это Щербак, — сказал я. — Я убил его.

— Не убил, — сказал Пищик. — Как раз его ты и не убил.

— Откуда вы... Но это он... значит, он может подтвердить, спросите...

— Он подтвердил, — сказал Пищик и выключил подсветку.

— Вы обещали...

Он не ответил.

— Это Щербак, — повторил я. — Такие, как он. Война закончилась.

— Нет, — сказал он. — Пока еще нет.

— Закончилась... Надо забыть...

— Ты смог забыть?

— Вы обещали, — сказал я.

Он не ответил.

Я лежал на скамейке боком, слезы стекали на левый глаз, правый начинал подсыхать. В прогале кустарника рваным пятном брезжила крона старой липы, подсвеченная фонарем с аллеи. Листва была тяжелой и свежей после дождя, или мне так казалось отсюда. Здесь, под деревьями, кусты остались сухими.

Пищик расстегнул молнию на сумке, чмокнула пробка.

— Не уходите, — попросил я.

— Я буду рядом, — сказал он. — Не оставлю тебя.

Марина Кулакова

Из цикла «Овстуг тютчевский»

* * *

Умом Россию... Да, и что ж.
Мысль изреченная есть ложь.
Природа — сфинкс. В ней есть
Душа,
Чернобыль, свет
и безрассудство,
Провалы, гейзеры, ЕГЭ,
футбол, искусство.
Россия. Много дивных див
В корнях дубов, под сенью ив.
Она — страна-императив.
Как не поверить, ощутив? —
Повсюду Китеж. Овстуг-стан.
И всеохватный океан —
Шестого чувства.

Ещё о любви *неоправданное, безотчётное, неподтвердившееся*

Другую!? — ты вводишь — и в зал твоих глаз,
и в комнату, и в сновиденье...
Другую! — В себя! — И в сияние трасс.
Она на переднем сиденье.

Другую! — доводишь до дрожи, до дна,
до леса, до ночи, до края!
А мне это снится. Я плачу. Одна.
И где ты сейчас, я не знаю.

Мне снится, что дочь твоя вместе со мной.
И мы тебя ищем. Ты знаешь.
Ты знаешь, что мы тебя ищем. Но. Но
ты — исчезаешь.

Кулакова Марина Олеговна — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в 1962 году в г. Горький. Окончила филфак Нижегородского ун-та им. Лобачевского и ВЛК, училась на театроведческом факультете РАТИ (ГИТИС). Автор десяти книг, в том числе «Сдержанность» (М., 2006), «Живая» (М., 2008), «Человыха» («Деком», 2010), «Корень Русь» (М., 2013) Руководитель творческого молодежного объединения «Светлояр русской словесности».

Я плачу, проснувшись.
Мы ищем отца! —
(кого и к чему мы обяжем?)
Молю!

...Животворно лиенье лица.
И пряди неведомой пряжи

Андрей Дмитриев

* * *

Когда иволга становится простым воробьём —
серым всполохом в голых кустах акации,
словом, что не поймашь, как сердце, перепрыгнувшее ребро, —
мы ищем окошко старой вокзальной кассы,
чтобы уехать в незатейливую страну,
где лица — знакомы по фильмам с тёплой органикой.
Ты крошишь тусклые овощи в грядущее наше рагу
и смотришь на стёкла с росписью Палеха,
пытаясь прочесть код этих узоров. Сонная кипа строк —
выпала на пол из порванного кулька
с эмблемой торговой сети. Тает возле обутых ног
обжитый снег, пока распускает шнурок рука.
Пламень щеки угасает в полутонах холста —
иволгой выпорхнул светлой гуаши луч,
чтобы выписать нас — на хлебной корочке сна,
с которой и воробей в долгие зимы живуч...

* * *

Оловянными пальцами
перебирает зёрна в ладони холод,
пришедший с севера. Нарисованной пальмой —
дразнит экзотика — выйдя голой
из ванной воображения — разум дремотный.
Кто-то стоит под окном — скрытый сгустившейся тенью.
Когда мы закончим с ремонтом —
нас вновь обовьют живые растения
в переводе с латыни на слегка растерянный русский.
Это станет победой — выстраданным восторгом
от счастья опять прикоснуться
к воскрешённому богу...

Дмитриев Андрей — поэт, прозаик, журналист. Автор сборников стихов: «Рай для бездомных собак», «Орнитология воды» и «Африкаснег». Редактор отдела экономики газеты «Земля нижегородская». Лауреат премии имени Бориса Пильняка (2010).

«СВЕТЛОЯР РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ» — это движение и содружество молодых литераторов существует три года. «Светлояр» соединяет природные тропы и тропы литературные. Известны летние фестивали и семинары на легендарном озере Светлояр и, конечно, Китежский маршрут, связанный с именами классиков, с авторскими чтениями и критическими разборами. В работе «Светлояра» участвуют ребята из Нижегородской области (Бор, Городец, Семёнов) и из других городов России. Каждый год они приезжают в Великий Новгород и Старую Руссу на Юношеские чтения по Достоевскому, в тютчевский Овстуг и в Болдино. Светлоярцы — удивительные, они изумляют еще и тем, что умеют и любят писать стихи вместе, в соавторстве. Руководитель творческого молодёжного объединения «Светлояр русской словесности» поэт Марина Кулакова.

Соня Барашкова, 16 лет

* * *

«Я светлячков не видел никогда...»
— ты говорил. Они вокруг летали.
И радости, и светлые печали.
Большие светлячковые стада.
Они садились на руки, одежду.
Селились семьями и парами сапог.
«Я никогда не видел светлячков».
Но никогда и не терял надежды.
Они летят и светят. Помолчи.
И ты услышишь, как они сияют.
Услышишь, тихо!.. как они сгорают,
Чтоб ты заметил, в пламени свечи.
И вот однажды светлячок-калека,
Потухший маленький заблудший светлячок
Возьмет и тихо сядет на плечо:
«Я никогда не видел человека!»

В соавторстве с Сергеем Скуратовским

* * *

Не убивайте поэтов,
Они пригодятся потом
В качестве гибких веток.
Чтобы не стать костром,
Плохо горят, не тлеют.
Хочется им расти.
Было бы чуть умнее
Корзины из них плести.

Если весны дожждаться
И не сжигать дрова,
То деревянные пальцы
Станут писать слова.

Роман Шишков, 17 лет

Шар

Я режу запястья железнодорожных полотен.
Скользит по ним струйкой состав электрички.
Мир — спичка, что подносили к плоти
И выжигали номер и кличку.
В спячке все чувства теперь. Заснули.
Поставьте им свечку за упокой.
А я ищу среди льда и сосулёк
Разбитый вдребезги шар земной.

Анастасия Бездетная, 20 лет

Наваждение

Я проснулась от гулкого крика.
По степи, через травы и ямы,
По земле, к лесу, где земляника,
Через тень, через свет, через гаммы,
Шел старик через вечное тихо.
Через время он шел мимо звезд,
Проходил мимо счастья и лиха,
Проходил мимо брошенных гнезд.
Он кричал своим голосом низким,
Окликая все в мире живое:
«Когда кажется путь тебе близким,
Когда мир вдруг оставит в покое,
Когда некому крикнуть *останься*,
Когда некому крикнуть *держись* —
Вот тогда лучше с жизнью расстанься,
Вот тогда это, братец, не жизнь!»

Я заснула под гулкие крики.
По степи, через травы и ямы,
К вечной жизни и к солнечным бликам
Так и шествует старец упрямый.

Александр Котюсов

Теракт

Рассказ

Три тысячи раз увидишь его и не запомнишь. Хотя наизусть учи. Фотографию носи в кармане, вынимай поминутно, смотри на лицо — подбородок, нос, лоб, брови... Потом фото обратно в карман, закрыть глаза и постараться вспомнить. Подбородок, нос, лоб, брови... Как бы не так. В памяти ноль, словно стерта хакером информация за пять секунд. Некого вспоминать! И нечего. Будто и не встречались.

Серое пальто, серые брюки, меховая шапка. Тоже серая. Кролик. И шарф. Почему-то запомнился только шарф... жесткий, колючий, колкий, мохеровый. Шарф непослушно громоздится на шее, словно она мала, пряжей, нитками своими стреляя в разные стороны. А еще взгляд. Глаза серые, каким еще быть, хоть при такой погоде цвета не угадать, а взгляд иногда, вдруг, чирк, вспыхивает ярко, как лазером прожигает тебя. Такой же, как шарф. Жесткий, колючий, колкий. Только по нему и выхватишь из толпы. А так человек как человек. Средний рост, средний вес. Мимо пройдешь, глаз не споткнется.

— Сядьте, пожалуйста, в машину, нам надо поговорить, — сухо произносит он, голос потрескивает, словно березовые поленья в печи, и раскрывает перед моим лицом удостоверение. Темно-бордовое, плотное, без прозрачной обложки, на углах немного протерлось, с тисненным, давленным золотом гербом. Три пальца сверху держат, большой снизу, мизинец немного отставлен. И движением своим — рукой к лицу, словно в гипноз меня — бойся... Что натворил? Почему? За что? Мысли вразнобой. Не воровал, на митинги не ходил, к бунту не призывал, антиправительственные листовки не расклеивал. Не за что брать. Запугали за семьдесят лет.

Оглядываюсь по сторонам. Он один. Мы словно два валуна на быстрине. Поток пешеходов течет мимо нас, огибает. У пешеходов своя жизнь, свои хлопоты, им нет до нас дела. У тротуара «Волга». Про цвет молчу. И так понятно. Время идет... пять секунд, десять. Носятся мысли в голове, вспоминаются сцены из фильмов: насильно берут по-другому, «пожалуйста» не говорят. Заламывают руки, пошел-пошел, голову вниз рукой, чтоб не ударился, толчок в спину, на заднее сидение... быстро, слева один, справа второй, третий впереди на сидении, водитель на газ. Прохожие слышат лишь визг резины.

За моей спиной зима. Серая, холодная, колючая, колкая, как шарф, как трехдневная щетина, как жизнь. Новый год на носу, 25 декабря, у католиков рождество.

Котюсов Александр Николаевич — прозаик, критик. Родился в 1965 году в г. Горький. Окончил Горьковский политехнический институт по специальности «электрофизика». Работал в НИИ, в администрации Нижегородской области. Избирался депутатом Государственной Думы. В настоящее время занимается ресторанным бизнесом.

Рассказы и рецензии публиковались в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал», «Волга» и др. Последняя публикация в «ДН» — роман «Гнездовые бакланов, или У каждого своё Саргассово море» (2016, № 3).

Выпал бы снег — забелил. И католикам радость, и православным не беда. Не хочет выпадать, чего-то ждет. Может быть, когда зимнее время снова введут?! Рождество серого цвета, что вниз смотри, что вверх, ищи пять отличий, не найдешь и двух, только линия горизонта подскажет, где земля, где небо. А после обеда, когда солнце в закат — а его и видели лишь раз за весь декабрь — и линию не понять, стерли горизонт, словно школьник ластиком карандаш, небо как земля, земля как небо, одного цвета все, цвета депрессии. Самое дело запить русской водкой эту серь, авось заиграет яркой краской. Да не о водке речь...

Стоит машина, открыта дверь, он открыл — садись, садись.

— Можно еще взглянуть?

Снова протягивает удостоверение, на — смотри, в руки не дает.

Пытаюсь запомнить фамилию, должность, не хочет память принимать, мимо сыплются буквы с корочек, на землю куда-то, в грязь. Фамилия такая же серая, как он. Ни одной яркой буквы. Не рычит, не свистит, не шипит. Как лоб, нос, подбородок, брови... Так и буду звать тебя Серым...как-то же надо звать...

— Вам знакома Саида Гаджиева? — спрашивает он спокойно, мешая вчитаться.

Вот черт! Откуда он знает?!

* * *

Южный берег заполнял стрекот цикад. Их рулады насыщали воздух, теплый и тягучий, словно свежеприготовленная сладкая патока. Кипарисы вносили в этот коктейль частицу своего аромата. Немного улавливался эвкалипт. Он добавлял свежести и остроты ощущений. Белые орхидеи украшали яркий солнечный день. Чайки на своих крыльях разносили вдоль берега красоту этого пейзажа. Морская вода плескалась у пирса, желая нам счастливого пути.

Ты подошла ко мне застенчиво и мягко. Ветер донес до меня легкие нотки акации. Юбка ниже колен, пожалуй, слегка плотновата для лета. Пухлая, немного неуклюжая. Темные, чуть заметные глазу волосы над верхней губой шепнули о твоей кавказской крови. Ты боялась собственной смелости, стараясь подчинить ее вековым традициям своего народа.

Карие глаза, легкий, недоверчивый взгляд из-под ресниц. Жгучая брюнетка, ворон словно накрыл своими черными крыльями твою голову, отбрасывая в синеву лучи полуденного солнца. Девочка-подросток, выросшая быстро под знойным южным солнцем, вобравшая вдоволь его тепла и ласки, запахов трав, горного меда и ярких цветов.

Ты немного покачнулась и ухватила за поручни. Это дрогнул морской лайнер, увозящий нас от Батумского причала. Рукой отвела со лба упавшую прядь волос и взглянула на меня из-под бровей. Чуть блеснули дьявольским огоньком глаза, в них отразилось Черное море. Я закрыл глаза на секунду и представил на твоём плече контрастом белую чайку.

— Привет! Меня зовут Саида. Давай дружить, — сказала ты мне совсем по-детски, словно выстрелив в меня острой стрелой своей южной страсти, целясь наповал, с близкого расстояния, зная, что впереди у нас еще целая неделя и этого срока хватит тебе, чтобы залечить мне рану сердца, если она окажется слишком серьезной.

Стрела пролетела мимо, не задев. Наверное, ты никогда не тренировалась. А может, это был твой самый первый выстрел в жизни, и ты просто не умела целиться. Я улыбнулся и подал тебе руку. Дружить? Почему нет? Мне же нужно с кем-то общаться целую неделю.

* * *

— Знакома, — киваю я. — Девочка из Дагестана. — Мы сидим в «Волге». Водитель курит на улице, изредка бросая в сторону машины осторожные взгляды. — После школы я отдыхал в Батуми с мамой. Оттуда мы плыли на корабле до Одессы. Целую неделю. Батуми, Сухуми, Новороссийск, Севастополь, Одесса. «Колхида». Семь палуб, или больше. Там мы и познакомились. У нее ко мне была детская любовь. Мне так показалось. А я видел в ней просто маленькую девочку, только закончившую школу, не более того, — я смущаюсь. — Я был старше ее на два года. Мы не виделись давно, страшно давно. Прошло уже двадцать пять лет, почти двадцать пять.

Настало его время кивать головой.

— Мы знаем, — произносит он. Говорит серо, буднично, словно про грязный снег вокруг, про лужи, которым некуда течь в этом городе.

Мы! Серая, колючая, мохеровая масса. Семнадцать процентов ангорской шерсти, восемьдесят три акрил. Темно-бордовые удостоверения с потертыми углами, серые пальто, кроличьи шапки, взгляды, как лазер. Прожигают насквозь.

— Мы наблюдаем за ней уже не первый год.

Откуда ты взялся, Серый? Подошел ко мне именно в этот день, не вчера... не неделю назад, а сегодня, когда она...

— Она написала мне сегодня, — говорю я. — На мой электронный адрес. Первый раз за все время. Нашла меня в социальных сетях. Как это просто сейчас, погуглил и все... ты весь как на ладони. Всего лишь час назад. Я прочитал ее письмо утром. Утром, перед завтраком. Письмо из другой жизни, из прошлого века, мы же познакомились в двадцатом. Прошло столько времени, а словно вчера. Когда-то я написал в ее честь книгу, про нас, про любовь, про «Колхиду». Я же писатель. Там вся наша история, от начала до конца. Я даже имена сохранил такими, какие есть. Книга называлась «Дегустация любви». Запомнил все, что было в те дни с нами — лайнер, волны, море, кипарисы. И написал. Но ее письмо... Это было так неожиданно. Через двадцать четыре года. Почему? И тут еще вы. Я прочитал, вышел на работу. Вы ждали меня у подъезда? Зачем? Зачем вам я, Саида?

А он мне в ответ совсем буднично вздохом:

— Ждали... Работа...

И пытается поправить свой непослушный мохеровый шарф.

* * *

Наш морской лайнер «Колхида» урчит довольно, как сытый кит. Он разрезает мощью своей волны и снисходительно смотрит на мелкую рыбешку, суетящуюся рядом с его большим и красивым телом. Мы плывем величественно и гордо, мимо нас проносятся остроносые дельфины, чиркая серым гляncем по кромке воды и выбивая искры брызг, сапфирная пыль которых поднимается к верхней палубе, оставляя на губах наших соль и загадку морских пучин. Море полно тайн и изумрудной глубины. От всего остального его отличает вечность.

Ты сидишь со мной рядом в тесном баре и смешиваешь в бокалах шум моря и терпкий вкус красного вина. Белые чайки сопровождают нас своим многоголосьем. Мы бросаем в бокалы кубики льда и добавляем в этот коктейль легкий флирт наших отношений. Лед, треснув, шепчет нам что-то свое, словно знает какую-то тайну. Только чайки понимают его язык, потому что они выросли в море. Чайки летят дальше и пропадают в ночи, до утра забывая в темных волнах перезвон тонкого чешского хрусталя. В море отражаются звезды, и, кажется, словно кто-то выбросил за борт миллионы дорогих алмазов.

Ты приглашаешь меня на танец, и мы движемся медленно в такт песни тогда еще молодого итальянца. Его мягкий баритон говорит нам что-то о любви, раз за разом повторяя свое «аморе», и ты стараешься прижаться ко мне всем своим телом, но где-

то под поясом все равно проходит граница нашего непонимания. У моря тоже есть граница, и как бы оно ни стремилось перейти через нее волнами, ему приходится возвращаться назад, оставляя на берегу соленые следы своих желаний. Каждое утро эти следы находит солнце.

Обнимая тебя в танце, я вспоминаю моего деда. Просто вспоминаю, как будто вдруг, невзначай. На его балконе в Кишиневе многие годы растет виноград. Дед живет на пятом этаже и виноград, обвивая своим телом уже пожилой, изрядно потрескавшийся дом, добирается до балкона от самой земли. Он так хочет вырасти и созреть, так хочет дотянуться до солнца, вобрать в себя весь его свет и силу...

Дед каждый год терпеливо собирает урожай, немного незрелый, да ладно... и делает домашнее вино. Оно получается вкусным. Дед готовит его с любовью, для себя, моей мамы, тети Марины из соседней квартиры. Разве на юге может быть плохое вино... О чем вы? Только у тех, кто добавляет в него листья табака, чтоб оно сильнее ударило в голову. Мы такое не пьем... это лишь на продажу...

Так и ты, Саида, ты — как этот зеленый виноград. Ты тянешься ко мне, думая, что созрела. Ты стремишься стать сочной и яркой, красивой, желанной женщиной. Тебе не хватает моей любви. С ней ты быстрее созреешь, и твое вино станет ярче. Ты хочешь понравиться мне, Саида... Саида, ты — еще ребенок. Ты — сочный, но еще зеленый виноград. Я не твой мужчина, Саида! Не твой!

* * *

— Мы наблюдаем за ней не первый год. Сама из Махачкалы. После школы уехала в Одессу. Через год вернулась. В восемьдесят восьмом вышла замуж, родила. Тогда ей было всего семнадцать. Семнадцать для женщины на Кавказе — это уже зрелость, — на его лице мелькает что-то похожее на эмоции, — у них там свои представления о семейном укладе. Дом, дети, сиди воспитывай, полное подчинение мужу. Ахмед, дагестанец, учились в одной с ней школе. С того времени и отношения. Все бы ничего, но не заладилась жизнь с первого дня, считай. Его тогда в ислам сильно потянуло. Сначала-то нормально все было. Подумаешь ислам, не беда же какая. Просто религия, чем им там еще увлекаться, когда мечеть в каждом селе, не кёрлингом же. А тут в Чечне война началась. Девяносто первый год. Он и ушел на нее, сперва рядовым бойцом в отряде служил. Вокруг убивали одного за другим, а он каждый раз уходил, все ему нипочем, ни пуля не брала, ни граната. Всех пережил. Стал полевым командиром. А позже занялся подготовкой террористов-смертников в специальном лагере. Ну и теракты лично организовывал. Много чего натворил. И на Дубровке его «ученики» работали, и в московском метро. Сколько лет уж мы его поймать не можем. Руководил всем из-за границы. Но недавно вернулся. Где-то здесь теперь, в стране. Руководство поставило задачу найти и уничтожить. Любой ценой. Скоро Олимпиада. Потому и наблюдаем за всеми, у кого с ним хоть какой контакт, пусть даже теоретический. А тут Саида. Она из страны давно уехала. Тогда же, как он в бандиты ушел. Вот только почему она вам написала через столько лет? Может быть неслучайно все это?

* * *

Ты прижимаешься ко мне близко, и я чувствую жар твоего тела. Сколько градусов сейчас у моря? Нас словно накрывает волной.

Итальянец устал за вечер. Мы вместе выходим на палубу. Ветер мешает запах твоих волос с морскими брызгами. Этот коктейль мне нравится больше. Я чувствую, как обнимают меня твои руки, словно ночь хочет свести с ума своей лаской. Я делаю шаг назад и пропадаю в ночи. Ты ищешь меня движениями своих губ, но находишь лишь теплый ветер, который приносит тебе немного соли. Прости, я снова хотел уйти не попрощавшись...

— Где ты учишься? — задаю я вопрос.

— В Одесском технологическом, только закончила школу, поступила на первый

курс, — ты, словно лесной зверек, нерешительно поднимаешь на меня глаза и смотришь недоверчиво снизу, — буду специалистом-технологом по производству вина. Представляешь, старшекурсники рассказывали, что у нас будут практические занятия по дегустации. Наливают десять рюмок водки по двадцать грамм в каждую, а нам надо определить по вкусу и запаху, что это за сорт, какие там есть особые ингредиенты, а потом рассказать о послевкусии. Дегустация бывает первой парой в восемь утра. А затем еще три лекции. Многие засыпают... со стакана-то водки! Может это неправда, они пошутили?

Я вдыхаю твой запах и ощущаю ингредиенты. В нем смешались запахи дыни, персика и черного винограда. И еще акации. Белой акации. Ее я услышал на нашей первой встрече. Интересно, при производстве вина добавляют цветы? Ведь это было бы так вкусно. Я пил бы и вспоминал тебя.

— А на занятиях по дегустации закуску дают? — спрашиваю я, чуть отстранившись.

Твои ресницы взмывают вверх подобно дагестанскому клинку твоего великого народа, рвущемуся из ножен. Ты задеваешь ими мою шею, и я представляю на мгновение, как на белую палубу падают несколько капель крови. Словно зерна красного граната, — думаю я.

— Нет, — говоришь ты, уходя в свою каюту, — только зерна кофе. Они освежают вкусовые рецепторы.

Гранат и кофе. Это очень красиво.

Я смотрю тебе вслед и вспоминаю фильмы Параджанова. Помнишь, как текла кровь из его ритуальных баранов? Хочу ли я знать вкус твоих гранатовых губ? Пожалуй, нет. Для меня ты лишь девочка-ребенок.

* * *

— В институте она проучилась всего год. Потом бросила, ребенка надо растить. С мужем разошлась до того, как он в Чечню подался. Снова переехала в Одессу, еще на год. А потом... потом эмигрировала. В Одессе жила у дяди. Да вы ведь знаете, вы же в той квартире тогда были.

Он пишет на запотевшем стекле машины слово «Одесса». Пишет жестко, почти через «э», я чувствую это по движениям. Там это слово произносят мягче, «е» расплывается волной по песчаному пляжу Ланжерона — Оде-е-есса...

Я опускаюсь в большое и теплое кожаное кресло. Оно словно вбирает меня в свои объятия. Передо мною стоишь ты с огромной тарелкой крупной красной черешни. Час назад мы оставили наш гостеприимный корабль, подаривший нам неделю морского соленого ветра и будущих воспоминаний. Сегодня наш последний день вместе, Саида.

Мы купили на одесском Привозе пять килограммов самой крупной и самой красной черешни, которая там продавалась. Продавцы с улыбкой смотрели на нас и шептались за нашими спинами. Гарна дивчина, хлопец, подумай, — крикнул один из них вслед. Ты покраснела тогда, а я не понял.

В порту нас встречал мой дед, тот самый, из Кишинева. Погуляйте, поняв все, сказала нам мама, мы с дедом походим по магазинам. Через три часа встречаемся на железнодорожном вокзале. И поцеловала тебя в щеку. Ты привела меня в свой дом. Ты хотела удивить своим гостеприимством. Но меня удивило большое и теплое кожаное кресло. Кресло твоего дяди. Я залез на него с ногами и закрыл глаза. Немного пахло табачным дымом. Когда-то давно здесь курили трубку.

В доме белые стены и белые овечьи шкуры, разбросанные по полу. Ты стоишь передо мной с большой белой тарелкой красной черешни. На тебе яркое красное платье и белый широкий ремень. Когда ты успела переодеться? Наверное, если бы я был художником, я нарисовал бы картину.

Но я не умею рисовать.

И еще я не умею любить.

Я не умею любить тебя.

Я тогда честно сказал тебе об этом, не прячась за словами: — еще рано, ты совсем ребенок, мы так мало знаем друг друга. Я пытался объяснить тебе это еще там, на «Колхиде», но ты не хотела меня слышать. Или не могла. Наверное, не могла.

— Я не умею любить тебя, Саида! — говорю я. — И, наверное, не хочу этому учиться.

Ты роняешь тарелку на ковер, и я вижу, как медленно рассыпаются яркие красные ягоды на белом. Они блестят и напоминают мне твои глаза, полные слез. Где-то совсем рядом стоит Параджанов со своей камерой. Он ловит каждое движение, каждый взмах ресниц, каждую каплю крови, вытекающей из твоей любви. Любви ко мне. Безответной, ненужной. Возможно, это будет в его новом фильме.

— Очень жаль, — говорю я.

— Что? — откликается Серый.

— Параджанов, — произношу я, — он мог бы снять целый фильм по нашей встрече. «Дегустация любви» — тоже название, что и у книги. Представляете — красная черешня на белых овечьих шкурах. Очень жаль, что он умер в девяностом, слишком рано.

Серый поправляет мохеровый шарф и шепотом матерится.

* * *

— Да, нам известно, что сегодня она написала вам, — говорит Серый сухо (снова в голосе треск разгорающихся поленьев), — и с содержанием письма мы знакомы. Именно поэтому я и решил встретиться с вами немедленно, но неофициально, — в его словах одна работа, он выполняет ее в соответствии с инструкцией, необходимо спросить это, потом то. Я чувствовал ваш взгляд за спиной, открывая свою почту, ваши глаза отражались в моем мониторе. Вы курите не очень дорогие сигареты, их запах я ощущал во время моей с ней переписки. Что-то навроде «Соверейна». Вам надо менять их, по ним вас можно узнать. Это неприемлемо для агента. Агент должен быть неузнаваем. Вы все читали. Понимаю. Инструкция! Не по своей воле. Безопасность. Надо спросить, вдруг я скажу что-то, о чем вы не знаете. Или наоборот не скажу. Тогда на заметку — скрывает...

— Так надо, — произносит он, — мы получили разрешение на доступ. К ее и вашей электронной почте. Собственно, если бы она вам не написала, мы бы не стали встречаться. Только в рамках переписки, не волнуйтесь, другие письма нам не интересны, у нас адекватное представление о частной жизни. Хотя вы же понимаете, в вопросах безопасности не может быть никаких ограничений. Тем более есть информация. Я не могу пока сказать всего.

Вечно они прикрываются заботой о людях. И говорят, что есть информация.

— Раз вы читали, значит, знаете все, — пожимаю я плечами, — что же вам еще нужно?

— Некоторые моменты этого письма нам не понятны. Мы бы хотели, чтобы вы нам кое-что пояснили.

* * *

«Привет, — написала мне Саида час назад. — Помнишь меня? Наконец-то я нашла адрес твоей почты. Мы виделись с тобой в прошлом веке. Всего неделю. Неделю рядом. Я до сих пор чувствую твои руки, ты держал меня в танце, крепко, немного жестко, мне нравилось, что жестко, хотя тогда я не понимала почему. Сегодня 25... двадцать пять лет, как мы не виделись. Вот такая дата. Я решила написать тебе поэтому. Забавно, да? Я отмечаю все наши даты в календаре. Дату нашей первой встречи, второй...»

— Какой второй? — спрашивает Серый, снимая кроличью шапку, — вы виделись с ней второй раз? Когда это было? Недавно?

Вон что тебе нужно. Вторая встреча.

— Я расскажу, конечно... хотя вам вряд ли это будет интересно. Для вас это мелочи.

— Вы зря так думаете, — в машине становится жарко, — в нашей работе мелочей не бывает. Особенно сейчас.

«...Я живу в Торонто. Не в самом городе, рядом, полчаса на машине. Живу вдвоем с сыном. Его зовут Аслан. Он уже взрослый. Недавно ему исполнилось двадцать четыре. Он говорит по-русски. Но совсем не умеет на русском читать. Это беда всех эмигрантов. Мы уехали двадцать лет назад. Я покупаю ему диски с русским роком. Больше всего ему нравится «Любэ». Хотя не уверена, что это рок. Странно, да? Вот такой он, мой сын. Ты должен его увидеть... обязательно должен».

— Почему она написала — должен?

— Не знаю. А что?

— Зачем?

— Я правда, не знаю...

— Она не сказала, когда он приедет?

— Кто?

— Сын?

— Куда?

— К вам...

Молчу. Я не знаю, что ответить. Почему он должен приехать? Ко мне! Зачем? Что ждет его в этой незнакомой ему стране?

— Не говорите про нашу страну «в этой».

— А как говорить?

— В нашей.

— В вашей?

— Имейте уважение. Вы голосовали...

— Я голосовал за другого.

— Ясно.

Что тебе ясно, Серый? Я даже не знаю, как тебя зовут в жизни. Имя твое в темно-бордовом удостоверении проскочило через сито моей памяти так же быстро, как твое лицо. Что тебе ясно?

Двадцать четыре. Снова это число. Так странно! Как наваждение...

— Так на кого похож сын?

Пожимаю плечами.

«...Знаешь, у нас здесь мороз. Сегодня было минус сорок. Не работает общественный транспорт, учреждения. Настоящее рождество. Весь город покрыт инеем. На улицах никого, мир словно вымер. Как тогда. Помнишь?»

— Через полгода после нашего знакомства Саида приехала ко мне, — объясняю я Серому. — Пошла в авиакасса и купила билеты на самолет. Туда и обратно. И прилетела. Всего на один день. Это было зимой, во время ее институтских каникул. В тот год мороз ставил рекорды, было под сорок. Саида прилетела ко мне на один день. Даже меньше, на полдня и полночи. Чтобы увидеть меня.

* * *

Я прикладываю руку к замерзшему стеклу. Вокруг все белое. Снег и лед сковали землю и сделали ее холодной. Я последний оставшийся на этой земле человек. Я чувствую, как под рукой тает зима. Иней нарисовал на окне причудливый узор. Я убираю руку со стекла. Капли воды устремляются вниз и замерзают тут же на пути. К оттаявшей брешке красным глазом с той стороны примкнул градусник. Ему холодно.

— Тут минус сорок, — грустно сообщает он мне.

— Прости, но не могу помочь тебе, — отвечаю я. — Это твоя работа. Кроме того, я последний, на земле, больше никого не осталось. Все замерзли. Замерзло даже время.

Белые часы в доме запорошил снег. Я не нуждаюсь во времени больше. Оно осталось в прошлом, на солнечной стороне прежней жизни.

Телефон звонит уже пять минут, немного согревая своей энергией ледяное жилище. Значит, в этом мире остался кто-то еще, — посещает меня мысль. Я снимаю трубку. Шум морского прибоя и крик чаек наполняют мой дом. Становится теплей, словно кто-то включил десятки отопительных приборов. Я ощущаю запах южных фруктов, белой акации и эвкалипта. Белой акации! Я слышу, как ты улыбаешься мыслям обо мне. Мы не виделись уже полгода, с тех пор как я вернулся в свой заснеженный, замерший город.

— Завтра я прилетаю к тебе, — доносится до меня твой голос. Немного картавый, он словно любовный говор молодой чайки, — встретишь?

— Разве до меня можно долететь? Как? Это невозможно, — удивляюсь я.

— Чайки. В небе летают чайки. Я прилечу вместе с ними, — смеешься ты в трубку.

— Чайки не смогут этого сделать. Они замерзнут. У нас — минус сорок, — я смотрю в замерзшее окно.

В трубке становится тихо, будто море пытается осознать произнесенные мною слова.

— Я не понимаю такой температуры, — медлишь ты, — у нас никогда не бывает зимы и снега. Разве только в горах. Я живу на юге, ты же помнишь. В Дагестане, а сейчас в Одессе. Мне что минус сорок, что минус десять, все равно холодно. Я прилечу завтра, чего бы мне это ни стоило. На один день, точнее на полдня и половину ночи. Встреть меня. Я просто хочу тебя видеть.

Черноморская волна врывается в мой дом, и брызги ее застывают в среднерусских морозах, превращаясь в миллионы мелких кристаллов. Я зачарованно смотрю в искрящуюся темноту ночи и вспоминаю твою теплую улыбку. Что-то попадает мне в глаз и немного колет. Зачем ты прилетаешь, Саида? Я же все объяснил тебе тогда, на море. Неужели ты думаешь, будто что-то изменилось в моей жизни за эти полгода, пока я не видел тебя?

— Я хотел, чтобы вы знали, как выглядит муж Саиды, — выводит меня из воспоминаний голос Серого. — Ахмед. Вот фотография, — он вынимает из внутреннего кармана пальто карточку. На ней угрюмый мужчина с широкой бородой и резким носом. Пронзительный взгляд, сведенные к носу густые брови. Такого нельзя забыть, даже если видел всего секунду.

— Фотография плохая и старая, трехлетней давности, говорят, он давно бреется, — добавляет Серый, — но другой, к сожалению, нет.

— Зачем мне знать, как он выглядит? — снова спрашиваю я. — Зачем? Я не хочу с ним встречаться.

Собеседник разводит руками. — Все может быть. Никто не хочет. А он и не спрашивает. Приходит сам, не здороваясь. Позвоните, вот моя карточка. В любое время.

Мы прощаемся. Встреча закончилась.

— У него есть особая примета, — вспоминает Серый, — он заикается, сильно заикается. Говорят, в Чечне его контузило.

Я выхожу из машины. Когда же наконец наступит зима?

* * *

Мы идем вместе по улицам моего города, держась за руки. Говорить холодно, да и не о чем. Все было сказано прошедшим летом, на борту белоснежного морского лайнера «Колхида». Мы идем, взявшись за руки, и я показываю тебе свой город. Мы словно первооткрыватели замерзшей планеты. Редкий свет выхватывает покрытые белым инеем деревья, будто призраки, они следят за нашими движениями. Ты говоришь мне что-то о любви, я чувствую это по твоим губам, но слова не долетают

до меня, замерзая на лету и падая звонкими кусочками льда. В городе нет звуков, кроме звона ледяного хрусталя.

— Я люблю тебя, — говорят мне твои глаза.

Губы запорошил легкий снег. Я смотрю на их движения при свете уличного фонаря.

Ты кутаешься в теплый пуховой платок моей мамы и пытаешься защититься им от холода нашей зимы и моего ледяного сердца. Я знаю, что ты можешь вынести любой мороз, кроме холода моей души. Я вижу, как иней покрывает твои ресницы. Ты садишься на промерзшую скамейку и начинаешь плакать. Слезы льются по твоим щекам, моментально превращаясь в прозрачную ледяную корку. Я стою рядом заснеженной статуей. Слезы не могут растопить холод моего сердца.

* * *

Дзинь! Полночь. Мой айфон сообщает о поступившем на почту письме. Твоем втором письме. Сколько сейчас в Торонто? Восемь утра? Девять. Я открываю приложение и начинаю читать.

«Мы полюбили друг друга еще в школе. Он был старше меня на два года. Я училась тогда в восьмом, он в десятом. Начал провожать меня после уроков, нес портфель. У нас там все строго, до свадьбы ни-ни. Я поцеловала-то его первый раз только после полугода знакомства. Ахмед был сильный и добрый, он хотел настоящую семью, много детей. В восемнадцать его призвали в армию. Я тогда закончила девятый класс. Прощаясь, он сделал мне предложение. Я согласилась и обещала ждать его. Каждую неделю я получала от него письмо, а иногда два. Он писал мне о своей службе, о том, что он на хорошем счету у начальства. Я отвечала ему, рисовала в письмах своих картины нашей новой с ним жизни. Потом он написал, что его куда-то переводят. Куда не сказал. Написал только, что там стреляют, но чтобы я не волновалась, что все будет хорошо. Потом письма перестали приходить. Их не было месяц, потом два, потом полгода. Я звонила в военкомат, там меня отправляли в штаб. Я звонила в штаб, переадресовывали в дивизию. Я обзвонила десятки мест, надеясь, что он жив и мне хоть что-нибудь расскажут о его судьбе. И в конце концов мне сказали, что он погиб в бою. В Афганистане. Но тела не нашли, поэтому мне так долго не говорили. Я ревела два месяца. Но жизнь не стоит на месте. Высохли слезы. Я закончила школу и переехала в Одессу, чтобы учиться дальше. Мама купила мне билеты на "Колхиду" и отправила одну на пароходе. Из Одессы в Батуми и обратно. Чтобы я отдохнула перед учебным годом. Там я встретила тебя. Встретила и полюбила. Безответно. Ведь я была тебе не нужна, маленькая, не очень красивая девочка, да-да, не очень красивая, не возражай. Мне исполнилось только шестнадцать. В этом возрасте так сложно быть разумной. Можно легко потерять голову».

Монитор моего компьютера подсвечивает ночь густым синим цветом. В доме тихо, слышно каждое слово, которое ты пишешь.

«Я хочу поговорить с тобой об Аслане, — продолжает Саида. — Он пропал год назад. Давно ощущалось — что-то не так, он приходил из института и сразу за Коран. Весь в себе, словно один. На любой вопрос: что случилось, сын? — ответ: все хорошо, мам. Замкнулся в себе — "да, мам", "нет, мам" — вот и все разговоры. Я сама, конечно же, верующая, но здесь, в Канаде, стала забывать ислам, работа для меня на первом месте. Аслан сошелся с ребятами из Саудовской Аравии, стал ходить с ними в мечеть ежедневно. Я вначале спокойно к этому относилась, а потом, когда увидела, как он изменился, стала переживать. И вот он пропал.

В тот вечер я пришла домой как обычно после работы. Дома никого не было. На дверце холодильника висела прикрепленная магнитом записка. "Я уезжаю, мама. Куда? Пока не скажу. Так надо. Не волнуйся и не ищи меня. Когда придет время, я позвоню".

Я ждала его до утра, думала, что может быть это глупая шутка. Утром начала

обзванивать всех его знакомых. Никто ничего не знал. Потом пошла в мечеть. Там мне сказали, что он приходил вчера утром с несколькими своими друзьями-арабами, помолился и ушел. Больше его не видели.

Я обратилась в полицию. Они просмотрели всю квартиру, думали, что найдут какие-нибудь следы насилия. Но когда поняли, что он просто сам ушел из дома, отказались его искать. "Вернется, — сказали они, — молодежь сейчас такая, тянет на странствия". И я стала жить одна, без сына... А теперь... теперь главное... Помнишь тот день? Двадцать пять лет назад. В ночь на рождество. Мы пришли к тебе домой с улицы. Мороз минус сорок. Самолет завтра рано в шесть утра. Напои Саиду горячим чаем, — сказала твоя мама, а потом неожиданно добавила, — мы уходим к друзьям справлять рождество, вернемся утром, — папа в коридоре уже подавал ей пальто. Какое рождество, советское время, твоя мама член компартии. — Ты такая хорошая, Саида, — улыбнулся папа и обнял меня. А мама кивнула. Они ушли, закрыли дверь на ключ... я словно слышу сквозь годы эти обороты ключа... два оборота. Ты поставил на три часа ночи будильник, налил мне горячую ванну и заварил чай. Я залезла в воду и ждала. Ждала, что ты придешь ко мне, мой любимый, единственный, но ты не пришел. Я укуталась в халат твоей мамы, маленькая, смуглая восточная девочка. Ты сидел рядом со мной на кухне и кормил меня с ложки малиновым вареньем. "Это мама сварила", — сказал мне ты и улыбнулся. А я тебя тогда поцеловала. Сама! Не стала ждать. Ты обнял меня, как... младшую сестру вначале, как ребенка... но я прошептала тебе — не бойся, я уже взрослая, и тогда... В три часа ночи... утра... не знаю, что это за время суток — нас разбудил будильник. Он вытащил нас из объятий, отнял друг у друга, украл... Эта ночь так и осталась той единственной в моей жизни ночью, в которой я любила тебя. Через час приехало такси. А через девять месяцев родился Аслан. Я не говорила тебе об этом. Я никому не сказала, от кого ребенок. Даже своей маме. Впрочем, она догадалась сама. Сердце матери отгадывает безошибочно. Аслан тоже не знает, кто его отец. Он много раз спрашивал меня, когда вырос. Я молчала. Об этом он узнал только вчера. Он позвонил вчера, впервые за год и сказал, что сейчас в России. И назвал город. Это был твой город, в котором ты сейчас живешь. Еще он сказал, что все это время прожил в Дагестане, в лесу, в лагере. В каком-то лагере. А потом он извинился, что так долго не давал о себе знать. "Что ты делаешь там?" — спросила я его. Он не ответил. Пробормотал что-то вроде — так надо, а потом, что скоро все сама увидишь, мам, по телевизору в новостях, завтра, не пропусти. И я испугалась за него, для меня он всегда ребенок. В этом городе живет твой отец, почти прокричала я в трубку и объяснила, как тебя найти. Я до сих пор помню твою улицу и дом. Конечно, ты давно мог переехать, но у меня нет другого адреса. "Найди отца, — попросила я сына, — ты очень похож на него. Вы как две капли воды, не ошибешься". "Хорошо, мама, — ответил он, — хотя у меня слишком мало времени", — и положил трубку. Прошу тебя — сохрани мне сына... сохрани его нам...»

Я словно вижу сквозь монитор ее слезы. Они текут по экрану, мешая мне читать. Я выхожу в коридор, роюсь в карманах куртки и возвращаюсь в комнату с визиткой Серого в руке.

— Аслан здесь, — говорю я ему.

Серый спросонья матерится. Гребаная работа.

— Семейка в сборе, — пытается шутить он. Но дальше уже серьезно. — Сейчас приеду. Вы должны знать еще кое-что. Утром, как проснетесь, идите туда, — он замолкает, — ну к тому дому, в смысле, где вы тогда жили. Будьте во дворе. Аслан придет. Столько лет не знать, кто отец, и вот... только зачем он приехал, вопрос... Неужели случайность? Не думаю.

Он снова замолкает и добавляет через секунду — называйте адрес, тот, старый. Мы будем завтра утром рядом. Мало ли...

Серый идет рядом со мной по ночному парку, пиная отколотую таджикским гастанбайтером ледышку.

— Забыл вам вчера сказать, — говорит он, раскрывая новую пачку «Кента», сменил-таки курево, — вам это многое объяснит теперь. Ахмед принимал участие в Афганской войне, срочником. За год до вывода. Он и двух раз выстрелить не успел, как его в плен взяли. Убивать не стали. Потому что не русский. В плену он больше года провел, а у нас все решили, что он погиб. Не знаю уж, что бы там дальше с ним случилось, но в результате спецоперации его удалось освободить. Правда, когда освобождали, он не очень на пленника походил. Жил в отдельном помещении, без решеток, матрац, белье чистое, стол с едой. Весь плен в замке на двери только заключался. Наши тогда всех покосили. Кроме него, еще троих освободили. После освобождения он домой вернулся. В Махачкалу. Злой на весь мир.

Неожиданно он останавливается. Я тоже. Фонари смотрят на нас безразлично.

— Не хотелось бы вас расстраивать, но другого выхода нет. Ахмед в городе, — буднично произносит Серый, — уже неделю. Где прячется, неизвестно. Ищем. Не хотел вам вчера рассказывать, да надо. Будьте аккуратны. В любом случае мы обязаны вам сообщить. Тем более, что, судя по письму, вы для него не чужой человек. Возможно, он уже тоже все знает.

* * *

— Мы уехали в Канаду, когда я был совсем ребенком, — говорит мне Аслан. Слова даются ему с трудом. Он думает по-английски, понимаю я. — Я ничего, конечно, не помню. Вчетвером, мама, я и мамины родители. Как мне потом объяснила мама, там существовала программа заселения севера Канады, требовались рабочие руки. Дед с бабушкой были тогда молодыми, всего-то за сорок. Прошли отбор, им разрешили выехать, а нас с мамой они взяли с собой. Уже позже нам удалось переехать ближе к Торонто, но не сразу, только лет через десять. Про тебя мама мне никогда ничего не говорила. Я часто спрашивал, кто мой отец. Ничего конкретного в ответ. В нашем доме хранились фотографии Ахмеда, и мама вначале говорила мне, что отец — это он. Но когда я подрос, я понял сам, что это не так. Ахмед настоящий дагестанец, джигит, черные волосы, густые брови, волевой нос, глядя на его фото, сразу понимаешь его национальность. А я... по мне сразу видно, что я русский. Моей внешности даже от мамы ничего не досталось... все твое.

Мы гуляем с Асланом в парке. Немного начинает подмораживать, в утреннем свете искрятся снежинки. Зима, похоже, начинается. Полчаса назад Аслан встретил меня у подъезда дома. — Отец, — окликнул меня высокий светловолосый юноша и произнес чуть слышно, уже подойдя ближе, — отец, я правда похож на тебя, как две капли воды. — Мы обнялись.

— Ахмед не смог простить маме измены. Он женился на ней после возвращения из плена. Мама тогда уже была в положении. На четвертом месяце. Они прожили вместе четыре года. Она рассказывала, что вначале жили неплохо. Сравнительно неплохо. Но постепенно все изменилось. Во многом из-за меня. Слишком уж я не похож был ни на маму, ни на Ахмеда. Все вокруг понимали, что я чужой ребенок. Родители Ахмеда меня так и не приняли. Не хотели приходить к нам и Саиду в свой дом не пускали. А потом он стал бить маму. Ахмед ударил ее первый раз, когда мне исполнилось три года. Он кричал на нее, требовал, чтобы она рассказала, кто отец ребенка. Потом стал бить ее почти каждый день. А однажды ударил меня. И сломал мне два ребра. Так рассказала мама. Меня положили в больницу, мама дежурила рядом. Она хотела написать заявление в милицию. Тогда его могли бы осудить. Но мама решила по-другому. Отпусти нас, — попросила она его. Ахмед согласился. И мы уехали. Вначале в Одессу к дяде, а потом в Канаду. А про тебя она ему так и не рассказала.

Я молчу. Ахмед в городе. Он нашел меня. Через двадцать четыре года.

— Ты можешь съездить со мной на вокзал? — неожиданно произносит Аслан.

Я пожимаю плечами: — Могу. Зачем?

— Надо, — уклоняется сын от ответа, — я объясню тебе там, на месте. Для меня это важно... Я хочу увидеть, как это могло быть... тем более время подходит, — добавляет он после паузы.

— Что могло? Какое время?

— Не беспокойся, отец. Потерпи. Я объясню тебе все на месте.

Мы садимся в такси и едем. Утренние пробки мешают движению. Через полчаса мы достигаем цели и выходим из машины. Аслан широко расправляет плечи, потягивается и долго-долго глядится в здание вокзала, словно пытаясь выучить его наизусть.

— Почему ты ушел из дома? — спрашиваю я его. — Что ты делаешь здесь, в моем городе?

— В нашем городе, отец, — широко улыбается Аслан, — не забывай, что к нему я тоже имею отношение.

Он оборачивается вокруг, бросает быстрый взгляд мне куда-то за спину и произносит:

— Я шахид, отец. Террорист-смертник.

Я стою как парализованный. Мой сын — шахид?

Он ухмыляется грустно и продолжает:

— В Канаде, в районе, где мы жили, стало селиться много арабов, возникла потребность в мечети, и власти дали разрешение на ее строительство. Там я и познакомился с парнями из Саудовской Аравии. Мы часто встречались, говорили об исламе. Потом они позвали меня к себе домой, в гости. Мне там понравилось. Они дали попробовать наркотики. Это было первый раз в моей жизни. А еще у них были книги, много книг. Про Аллаха, его сущность, его атрибуты. Я рассказывал им, как моей маме нелегко жилось в те далекие годы, когда я был ребенком. Как унижали ее в городе за то, что она изменила Ахмеду, как он бил ее и меня. Они подумали, что ты изнасиловал мою мать. «За это надо мстить», — говорили они. Я знал, что это не так. Иначе бы мне об этом сказала мама. Они не хотели меня слушать. «Ты полукровка, — объясняли они, — ты всегда для всех будешь чужим. У тебя нет будущего на земле». «Будущее твое в раю, убеждали они, — рядом с Аллахом». Я совсем запутался тогда. А потом они предложили мне уехать на родину. Обещали помочь во всем, дали денег. Я согласился. Так я оказался в России, в Чечне, в диверсионном батальоне шахидов. Там я узнал, что когда-то в нем воевал Ахмед. Но это было давно. Несколько лет уже его никто не видел. Там из меня и начали готовить шахида, называли будущим героем ислама, объясняли, что после смерти я буду сидеть в раю по правую руку от Аллаха. Теперь смертников ищут среди людей славянской внешности. В российских городах мы не привлекаем внимания.

Аслан ежится от холода и что-то поправляет на поясе.

— Оказывается, после смерти у шахида будет 72 жены-девушечки и он сможет пригласить в рай 10 своих ближайших родственников. Маму, тебя тоже, не хочешь? — Аслан подмигивает мне и продолжает, — кстати, семьям террористов полагается 25 тысяч долларов. Тоже деньги. Вот так, отец. Я даже похороны свои видел. Их для меня делали, постановку, чтобы я знал, как все это будет. Меня обработали. Я согласился. Не знаю как, не спрашивай. Там работают очень хорошие психологи. Гипноз, наверное. На мне сейчас пояс со взрывчаткой, — он берет мою руку и прикладывает к своей спине. — Я должен войти через пять минут в здание вокзала и взорвать себя. Как раз отходит московский поезд. На вокзале много народа. То, что надо. Жертв будет достаточно.

Он смотрит мне в глаза. Наверное, в них нет ничего, кроме ужаса.

— Не переживай, отец, я не пойду, — успокаивает он меня. — Меня спасли мама и ты. Моя семья. Ночью, когда я позвонил ей, чтобы попрощаться, она рассказала о тебе. Рассказала, как она тебя любит. Любит с того самого дня, как вы встретились.

Я ведь единственный ее ребенок. От брака с Ахмедом у нее нет детей. Мама не хотела. Вот почему он бил ее. Она просила сказать тебе, что хочет, чтобы мы приехали вместе в Канаду. Если ты не готов, я понимаю, это так неожиданно, ты можешь не торопиться, подумай. Главное знай, что у тебя в Канаде есть семья, которая тебя любит и ждет. После нашего с ней разговора, после встречи с тобой с меня словно все спало, все, что целый год мне внушали в лагере. С меня как будто сняли гипноз, я снова стал человеком.

Он обнимает меня крепко и шепчет: «Мама тебя очень любит, она просила тебе передать это. Очень-очень».

Я вытираю слезы рукой. Они мерзнут на зимнем холодном ветру.

— А знаешь, — вспоминает Аслан, — если бы я умел хорошо читать по-русски, мы могли и раньше встретиться. Три года назад мама выписала через интернет книгу. Она называлась «Дегустация любви». Она читала ее и плакала. Когда я спрашивал, почему она плачет, мама отвечала, что просто книга хорошая. А оказывается, это была твоя книга. Там история вашей с мамой любви. Это она мне сказала вчера по телефону. Ты в книге так и называешь ее по имени. Саида. Если бы я прочитал ее, то все понял бы и смог найти тебя. Когда я уходил из дома, я взял книгу с собой, чтобы учить по ней русский. Но не успел. Книга пропала. Буквально на следующий день, как я приехал в лагерь. Во время тренировки. Кто-то ее украл. Кому надо было красть книгу?

Внезапно Аслан становится серьезным.

— Скажи, отец, — произносит он, — та серая «Волга» с тремя антеннами, которая ехала за нами и стоит сейчас за углом, это то, о чем я думаю?

Я киваю головой. Сына не зря учили в лагере.

— Это хорошо, — в его словах я слышу радость. — Это очень хорошо. Пойдем к ним, они помогут мне снять пояс и его деактивировать, мне надоело носить эту тяжесть... да и опасно, — добавляет он, — пояс приводится в действие переключателем. Он у меня в кармане. Переводишь рычажок в другое положение и... все. Взрыв. Пойдем, еще переключу случайно. Полицейские об этом знают и всегда стараются при захвате смертника, если вычисляют его в толпе, в первую очередь вытащить ему руки из карманов и заломить их за спину. Но террористы это знают и, чтобы все проходило без сбоев, на контроль иногда ставят второго человека. На всякий случай. У него в кармане тоже переключатель, только дистанционный.

Внезапно Аслан умолкает. На его лице проступают страх и отчаяние. Он смотрит куда-то вдаль. Я слежу за его взглядом. В пятидесяти метрах от нас, за колонной, стоит человек. Он вынимает руку из кармана и машет нам, словно здоровается, а может наоборот, прощается со мной и с моим сыном.

— Нет, — громко вскрикивает Аслан, — нет, не делай этого.

Он срывается с места и устремляется к колонне. Из Волги выскакивает Серый, его мохеровый шарф выбивается из пальто, за ним еще двое, они в одну секунду догоняют Аслана, валят его на грязный снег, удерживая руки за спиной.

— Нет, — кричит им Аслан, — уходите. Сейчас...

Его слова смывает взрывной волной. Я падаю, не в силах удержаться. Земля холодна. Внезапно приходит боль. Много боли. В животе, ногах, голове. Во всем теле одна сплошная боль. Что-то липкое и горячее течет на глаза. Я слышу крики, много криков. Хочется приподняться, облокотиться на руки, посмотреть вокруг себя, узнать, как там Аслан, жив ли он. Сил подняться нет совсем. Становится холодно. И темно.

Через пять минут на площадь перед вокзалом приехали машины скорой помощи. Двое санитаров подошли к одному из лежащих без движения людей. Один из них раздвинул тому веки пальцами, посмотрел на зрачок и покачал головой.

— Грузи, — сказал он второму, и они начали укладывать тело на носилки.

К санитарам подошел мужчина. Черная куртка, черные брюки, жесткий взгляд.

— К-к-как у него д-д-дела? — заикаясь, спросил он санитаров.

— Плохо, — прозвучал ответ.

— Н-н-на все в-в-воля Аллаха, — произнес мужчина, — ж-ж-жаль только, я не смог взять ав-в-в-втограф.

Он вынул книжку из-за пазухи, бросил ее на землю и ушел, не оборачиваясь.

«Дегустация любви», — прочитал вслух санитар.

* * *

Рано утром следующего дня, около шести, мужчина кавказской национальности сорока-сорока пяти лет вышел на остановку общественного транспорта в районе центрального рынка. На улице было безлюдно — редкие прохожие, ежась от промозглого ветра, спешили по своим делам. Мужчина пропустил два пустых автобуса и вошел в подъехавший вслед за ними через несколько минут троллейбус. Внутри широко зевала кондуктор. Увидев пассажира, она прикрыла рот рукой, поднялась с места и подошла к вошедшему.

— Ско-о-олько стоит б-б-билет? — заикаясь, спросил он.

Кондуктор ответила. Пассажир вынул из кармана горсть монет и, зажав оторванный кондуктором билет в руке, уткнулся в прихваченное льдом окно. Троллейбус тронулся.

Остановка за остановкой за окном проплывал город. Сегодня он был приятней на вид. Ночью приморозило, из-под ног ушла грязь, немного припорошило снегом. Троллейбус осторожно наполнялся людьми.

Пассажир сидел на своем месте, вглядываясь в едва видимую за окном ночь. Иногда он бросал взгляд на очередного вошедшего, но лишь на мгновение, и вновь принимал к окну. За час троллейбус сделал полный круг и снова вернулся на остановку возле рынка. Пассажир задумчиво посмотрел на открывшуюся дверь и остался сидеть на месте. На этом троллейбусе он сделал еще два круга. За окном стало светло. Казалось, что пассажир спит. Но вдруг он поднял голову, медленно оглянулся вокруг себя, посмотрев на каждого, потом закрыл глаза и что-то зашептал. Через несколько секунд вновь открыл их, снял перчатку с правой руки и полез в карман. В этот момент троллейбус начал притормаживать. Через несколько секунд он остановился, лязгнули металлом двери и в них шумно ворвались несколько ребятишек, мальчик и две девочки на вид лет от пяти до восьми. Следом за ними, крепко держась за поручни, тяжело поднялась женщина. Выпирающий живот не оставлял никаких сомнений в ее положении.

— Тихо, тихо, — прикрикнула она на детей. — Держитесь крепче, а то упадете.

Свободных мест в троллейбусе не было. Пассажир аккуратно, словно боясь что-то сломать, вынул руку из кармана, надел перчатку и встал.

— С-с-садитесь, п-п-пожалуйста, — произнес он, обращаясь к женщине.

Она благодарно кивнула и села. Ребятишки сгрудились вокруг нее. Пассажир стоял рядом, временами качая головой, словно коря себя за что-то. Через три остановки женщина поднялась, подошла к двери и, обернувшись к пассажиру, сказала: — Спасибо.

Пассажир не ответил и только посмотрел в ее глаза долгим, пронзительным взглядом. Женщина вышла на остановке, вслед высыпали дети. Троллейбус тронулся, а она так и осталась стоять, провожая троллейбус глазами, пока он не скрылся за поворотом.

Ахмед решил не садиться, хотя место, которое он уступил женщине, осталось свободным. Снова обвел медленным взглядом салон, шурясь немного, словно от солнца. Троллейбус потряхивало на неровностях дороги, всем стоящим приходилось крепче держаться за поручни. Ахмед закрыл глаза и начал шептать что-то про себя. Через минуту он снова снял перчатку, опустил правую руку в карман и нащупал там холодный металлический переключатель...

Елена Крюкова

Чек

Рассказ

Они взяли его в кольцо.

Как зверя, они взяли его в кольцо, сходились, вытягивали вперед руки и скалились. И Чек подумал: все, схватят.

Чепуха какая. Нет, не схватят.

— Уйду все равно! Даже если загребете! — взвопил он на высокой, на остроколючей ноте. Льдинка голоса хрупнула и сломалась.

— Не-э-э-э-т, уж не уйдешь!

Выхрип жесткого, наждачного голоса царапнул Чека по щеке, потом внутри головы, глубоко под черепом. Разве голос может так резать, подумал Чек, внутри человека? И тут они все, разом, бросились и навалились на него, одного, на маленького.

Адская куча мала. В ней возились и дергались тела взрослых дядек в рваных штанах, тут же толкся хилый подросток, стриженный под ноль, а может, просто долыса побритый. Под кучей бешеных тел сначала орало, потом жалко, худо попискивало.

И никого не было вокруг. В темном зимнем дворе.

Вокруг была Сибирь. Железная, исхудалая, проклятая своим недожравшим народом, расчерченная вдоль-поперек своими безумными ледяными реками Восточная Сибирь.

Точнее, город Красноярск был.

А еще точнее — микрорайон Солнечный на окраине Красноярска, с тощими бездомными собаками и кошками, с тощим солнцем над проржавелыми крышами, — и дома здесь были тощие, камень недоедал солнца и воли.

Одинаковые дома. Одинаковая житуха. Одинаково обречены.

Нет! Не одинаково! Этого — сейчас — изощренно замочат!

Этого... пацана... он же совсем еще малек...

Куча барахталась на снегу.

— Што, Снулый, капец ему?!

Крюкова Елена Николаевна — прозаик, поэт. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им.А.М.Горького (1989). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Автор книг стихов и прозы, лауреат премии им. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» за лучший роман 2012 года, премии им.А.М.Горького Международной премии им.И.А.Гончарова и др.

Куча развалилась, как битая скорлупа с крутого яйца. Дядьки распались, в их разнявшемся, миг назад крепко сбитом кровавом тесте виднелся разрыв, прореха. Земля. И на этом земляном лоскуте лежал человек.

Человек?!

Не человек. Нет. Лежал мальчик.

Маленький мальчик. Ну как маленький? Восемь лет? Десять? Двенадцать?

Да, пожалуй что десять. Червонец, в самый раз.

А может, дюжина, да просто такой худой.

А может, восьмерка всего малявке, да вымахал дылда.

Никто не знает. Никто не знал.

Зачем они его?!

Окна закрыты. Ни одного любопытного, каменного лица. Ни одной собаки.

Нет, собака лаяла, выла; далеко, очень далеко.

Один из дядек глянул на другого. Сплюнул на грязный снег. Слюна, под напором ветра с Енисея, полетела не на землю. Лепешка плевка шмякнулась на белый, будто мраморный, лоб пацана.

— Слышь, Прыщ, ты его не до этого, а?

Другой пожал плечами под ватником. Рубаха расстегнута, ватник расстегнут. Под седой кудрявой шерстью на груди — синие невнятные наколки. Не рассмотреть. Все заросло. А в гробу вообще никто ничего не рассмотрит. Вся красота насмарку.

— Пес знат! А может, до этого!

— Хватай живей... понесем...

— Ну...

«Ну» — это значило «да». Согласье.

— Бл-л-л-лин, он не дышит!..

— Задышит... тащи...

— Зато нам теперь, х-х-х-ха, долги покроет...

— Ты, давай, шевелися, Зяма-то заждался уж...

— Вот! Допрыгалси! Таперь никоно не омманешь, тля!

— Тля, тля... кренделя...

— Хватай, тащи, ну же, давай, тебе говорю!

Но никто не трогался с места.

На пустыре в Солнечном, меж одинаковыми слепыми домами, за веревками, где моталось нищее выцветшее, ледяное на морозе белье, амнистированные, выпущенные из тюряг да из лагерей, их тут в районе обзывали просто — Эки, били-били — и прибили-таки мальчишку, соседского пацанчика, малого совсем, издеваться над ним вроде как даже и неуместно было, да вот связал черт веревочкой одной, — ну да, вроде как прибили, черт, да он совсем не дышит, нет, врешь, дышит еще, а я думал, мы его насмерть, за насмерть тебе бы, Штырь, еще срочок впаяли, да не впаяли б, нет, мы б его шас в Енисей сволокли — и все, а ты, мерин, забыл, зачем мы его тут били?! забыл?! А я не забыл зато! Не забыл! Не забыл!

И я нэ забув. Ну шо ты увесь час мене лупцюешь, Батя. А мене лупцеваты нэ трэба. Я сам тебе побью, Батек.

Ну! Еще поговори!

И кажу, якщо захочу.

А этот лежит. Лежит... дышит, братва...

Нам, значитца, свезло. Хватай! Зяма довольнешенек будет. Бабки нас ждут.

И все остальное тоже, што ль, ждет, Батя, а?!

Мальчонка все лежал на снегу. Он лежал кверху лицом.

В белом, без кровинки, задранным вверх лице, как в мертвом зеркале, отражалось высокое, чистое и холодное небо. Зимнее небо. Галки ли, вороны ли летали, галдели оглушительно, противно, черно, отчаянно. Мертвого разбудить можно, как галдели.

Мальчика звали Чек. Он был должен экам деньги. Много денег.

А может, мало. Он не знал. Для него и мало было много.

Они ему нужны были для дела.

Сначала для дела. А потом для удовольствия. Он же был еще ребенок; и он хотел мороженого, и хотел в цирк, в Красноярск приехал цирк из Москвы; и он хотел пепси-колы с друзьями; и он хотел сигарет для себя и для пацанов, курить он научился очень рано и уже не мог без курева. Он был еще оголец, недоросток, и он хотел удовольствия. А за удовольствие надо платить.

Он и платил. Чужими деньгами.

Он еще не знал, что деньги — на самом деле не бумажные и не стальные. И вообще они не снаружи. Не в руках, не в карманах у людей. Деньги на самом деле красные, горячие, и они текут внутри. И если живого человека разрезать, то они вытекут все. До капли. До малого остатка.

— Ну, ты! Поднимайся! Дышишь ведь!

Его пнули. Больно, хорошо пнули под худое мальчишье ребро.

— Чуть дышит. Спешить надо. Пока мы тут базарим...

Они все толклись вокруг маленького, беззащитно распростертого на снегу тела и чего-то боялись.

Так боится собака, слямзив кус со стола. Кошка так боится, нагадив на драгоценный хозяйкин ковер.

— Яво мать-ть-ть, личико-т какая-а-а-а...

— Ты!.. Ж-ж-ж-жива... шпарим отсюда...

— Ша-а-а-ас... Неззя так... Возьмем ево — поташим — а из окон-то так все и попятятся... Уф-ф-ф-ф... И сразу все... споймут...

Батя осмотрелся молниеносно, его глаза сузились жесткой, железной щелкой.

— Да никого ж. Никого ж тут нет. Цапай!

Они подкрались, озираясь бешено, тусклыми глазами поводя, слепыми пальцами щупая серый пыльный воздух, подхватили мальчишку на руки, и их руки тут же стали деревянными, как бы нарочно сработанными носилками для поверженного. И он угнезвился на этих живых грязных досках, на носилках этих сиром и убитом, а может, он и впрямь был убитый уже, он сам не знал, и они — не знали.

Они бросали друг другу голоса, как твердую сухую воблу к пиву, а вобла была одна на пятерых, и надо было ее разыграть. Как приз. Сухой, жесткий и соленый приз. Награду. Кому хвост, кому пузырь.

— Снулый... куда?..

— Батя знает.

— Батя! Куда?!

— Прямо. Заверни у помойки. Так. Теперь направо. Делаем вид, что груз несем. Прыщ! Ватник скидай! На него накинь. Не видать будет, что тащим. Может...

— ...ящик с коньяком волокем, а-а-а!

— Размечтался. Губищу-т раскатал. Вперед. Уже скоро.

— А каво это так недалече-то? А?

— Хозяин хорошо это место выбрал. Для самой той жизни место. Охота тут, вишь, хорошая какая.

Охота. Охота хорошая тут.

Он был дичь, а они на него поохотились.

Понимал ли он, что ждет его?

Чувствовал?

Он не чувствовал ничего.

Когда ты птицей вылетел из себя — что ты чувствуешь? Да ничего.

Вот и он не чувствовал ничего.

Руки эков чувствовали легкую, птичью тяжесть его тощего, жалкого детского тела.

* * *

Сначала он помнил Тьму.

Он появился из Тьмы, он так думал, он из Нее родился, потому что он раньше всего начал помнить: черное, серое, и тени колышутся, и густой мрак надвигается, обхватывает черными ручищами со всех сторон, и, чтобы не пропасть во Тьме, он кричит.

И ему в рот суют мокрое, теплое, острое, сладкое.

Сосок. Он не знал, что это сосок, — и он уже сосал. Он не знал, что это слезы, — и он плакал, взхлеб, горько, будто вместо соска с пробрызгом сладкого синего бабьего молока ему дали, в насмешку, пожевать чеснока.

Тьма то наступала, то откатывалась вбок и вдаль, и он начал видеть.

Может быть, он родился слепым, а потом вдруг прозрел, такое тоже бывает с живыми. Но он этого не знал; он ничего не знал.

Знать — это думать.

Думать он начал поздно, очень поздно.

До первых молний мысли все время была Тьма, и грозы, и тучи, и черная земля, и черные доски кругом; и теплые живые руки то и дело выхватывали его из Тьмы, больно, крепко прижимали к теплоте, к толстому и шевелящемуся, и безжалостно встряхивали. И визгливый, зверино-визжащий звук доносился из Тьмы: «Господи! Зачем я тебя родила, убоище! Да зачем же! Да по кой ляд! Да достал ты меня своим ором, гаденыш! Достал!»

Он не знал тогда, что значит «ор», что значит «убоище» и «гаденыш», он кричал взхлеб, просто потому, что есть очень хотелось. А сладкое из теплого и острого лилось в глотку все реже и реже.

На пол со стола падала бутылка и катилась, пустая. На боку бутылки было написано: «ВОДКА». Но он еще читать не умел.

Потом он обнаружил, что Тьма все чаще куда-то проваливается, вроде бы насовсем, хотя и не насовсем. Тьма исчезала, и можно было все видеть. Ну, не все, но хоть что-то. Он медленно поворачивал голову и видел: никелированное коромысло кроватной спинки, свинцовые шарики на ее решетке, серые длинные, долгие доски по бокам — это были стены, серые долгие, тягучие доски внизу — это были половицы; пушистое, и двигало лапой по шерсти и по торчащим проволокам, и шерсть была рыжая, а проволока — это были усы, и все вместе это был старый кот, и из него то и дело прыгали вверх, в пустоту и смерть, черные блохи.

Он вертел головой, и когда был свет, видел все. Или почти все.

За границей света была Тьма, он это знал уже точно.

Он боялся Ее прихода.

Теплое и трясущееся иногда резко спускало его с высоты вниз, и он топал по полу кривыми, ухватиком, ножками, чувствуя: ох и хорошо! Я сам иду! — и не думая ничего, ибо мыслей не было еще у него. Нога запинаясь о выгнутую горбом половицу, он падал и опять орал. И теплое, пахнущее сладким и кислым, поднимало его и шлепало, больно ударяло по крохотному, жалкому зад; иногда так больно, просто невыносимо, жестоко, но он еще не знал слова «жестоко», а просто орал сильнее, надсадней.

Так он, выходец из Тьмы, постепенно становился человеком.

Маленьким человеком.

Че-ло-век — слишком длинное название для такого малявки; его кликали Чек, оставив от человека только первые буквы и последнюю. Это имя выхаркивали, плевали, им ругались, его швыряли в мусорный ящик, им хохотали и насмехались, им обманывали, им клялись и божились. Имя на все случаи жизни, очень удобно. Всегда под рукой, на языке.

«Чек! — кричали ему. — Влезь в форточку!» Его подсаживали, он влезал.

«Чек! Возьми! Плохо ведь лежит! А будет лежать хорошо!» Он брал.

«Чек! Что ждешь! Что пялишься! Бей!» Он бил.

Он делал то, что ему прикажут.

Чем человек отличается от собаки? А ничем. Он тоже дрессируется. Даже самый дикий. Даже дурак. Ты можешь быть немым, но ты понимаешь простые команды. Ты можешь быть глухим, но если тебе перестанут давать жрать, ты услышишь все.

* * *

...он был не глухой, и он не слепой был.

Он слышал: к человеку, у ног которого он, связанный, лежал, обращаются так: Зяма.

Он видел: Зяма этот рослый и мощный, и лысый, и во рту у него блестит золотой зуб.

Подумал: если Зяма наступит на него своим тяжелым башмаком, ему конец, раздавит, как гусеницу.

Он понимал: сейчас его будут спрашивать, и он должен будет отвечать.

Если он не будет разевать рот и вытаскивать из него слова, его опять измучат.

И он был уже так избит, что ему трудно было говорить.

— Ну что? Отомстили? Потешились?

Глотка у Зямы скрипела, как несмазанная.

Зэки потупились. Тот, кого зэки называли Батя, подал голос.

— Как видишь.

— Кажется, перестарались.

— Уж как вышло. Не суди строго.

— Как хочу, так и сужу, — надменно проскрипел Зяма, наклонил голову, и Чек увидал, как могучая лысина его маслено блеснула.

— Но мы же приволокли его тебе. Как ты просил.

— Не просил, а приказал.

— Виноват. Как ты приказал!

Зэки выпрямились и подобрали животы, как в армейском строю.

Зяма обвел всех пустыми, ледяными глазами.

Чек лежал на дощатом полу и снизу вверх смотрел в белые, будто налитые всклень водкой, глаза Зямы.

— Брысь все отсюда! — Из глотки Зямы донесся уже не скрип, а почти визг.

Зэков как ветром сдуло.

Зяма вразвалку подошел к Чеку. Присел перед ним на корточки.

Чек ждал, что Зяма развяжет ему руки, но Зяма рук ему не развязывал. Руки затекали. Пальцы опухали.

— Развяжите мне руки. Пожалуйста, — тихо попросил Чек.

— Ты с нашего района? с Солнечного? — так же тихо проскрипел Зяма.

Чек, слушая этот противный скрип, пожалел его больное горло.

— Да.

— Хилый ты. — Зяма придирчиво оглядел его всего. — С родичами живешь? Или сиротка?

— С матерью. Но она такая...

— Какая? — с интересом проскрипел Зяма.

— Она мне хуже мачехи. Бьет... лупит жутко... — Чек судорожно вдохнул воздух. — Вот и вы тоже бьете.

Зяма, шутя, пнул его ногой.

— И еще побьем, если что! Бьет, говоришь? Скоро тебя не будут бить. Больше никогда.

Тревога обняла пламенем все потроха Чека. Он начал мелко трястись.

— А как это — больше никогда?

— Никак. Вот так! — Мощный Зяма, стоя над малявкой Чеком, лежащим у его ножищ, неожиданно светло, по-детски улыбнулся, и золотой зуб сверкнул. — Мы тебя на органы продадим.

Тот ээк, что говорил по-украински, по прозвищу Штырь, покормил его, как собаку, из своих рук. Чек сидел со связанными руками, а Штырь всовывал ему в рот куски хлеба, и Чек покорно жевал. После хлеба настала очередь мяса. Мясо было вареное, несоленое, невкусное; вынутое из плохого супа. Чек все равно ел жадно, он был голоден. Потом Штырь отвернул пробку от большой бутылки и дал ему попить. Это была дешевая крашенная газировка. Чек крупно, жадно глотал, и Штырь отдернул бутылку.

— Выстачить! Розкатав губу!

— А вы украинский фашист? — спросил Чек.

Штырь несильно заехал ему по затылку.

— Захочу и буду йим!

— Понятно, — сказал Чек.

— Ничого тобі незрозуміло!

— А можно еще попить?

— Так страждай!

Штырь встал с пола, взболтал газировку в бутылке, подтянул портки и исчез.

Голое окно комнаты, где сидел у стены Чек со связанными руками, стало затягиваться синей, потом лиловой, потом смоляной пеленой. Наваливалась черным тулупом, с пуговицами звезд, ночь; но и под тем тулупом было холодно, ознобно.

На органы — это что значит? Продадут, это он понимал. Тут мысль разрежала ножом, и он, разрезанный, задрожал и задержался. Понял! Вскочил с пола. Газировка булькала в желудке. Желудок из него вырежут. И продадут. Сердце стучало в горле. Сердце тоже вырежут! И продадут. Глотку вырежут, легкие, печень, почки. И все, все продадут, и может, даже на развес. Он не сознавал, о чем думал; не запоминал ни свои мысли, ни свой страх. Время летело вокруг него, и внутри него летело тоже, и свистело, и наконец над ним небесным костром вспыхнуло: спастись! Спасть! Как?

Он огляделся. Пустая комната, ни мебели, ни штор. Закрыта снаружи. Дверь толстая, крепкая. Окно. Он покосился на окно. Подошел к нему. Положил горячие ладони на стекло.

Окно без решетки.

Он осторожно выглянул на улицу.

По карнизу медленно шел рыжий кот. У него топорщились усы.

У него никто не вырвет усы и не продаст на органы для других котов.

Ему почудилось, это его старый рыжий кот; но тот рыжий кот давно уж сдох, и мать, брезгливо держа труп за хвост, вынесла его из дома и выкинула на дорогу. Водители притормаживали, кто объезжал мертвого кота, кто злобно проезжал прямо по нему. Старый кот. А он никогда не станет старым. Его убьют еще маленьким. И выпотрошат. Нет. Решетки нет. Нет решетки, значит, не все потеряно.

Внезапно он превратился во взрослого и опытного вора. Он воровал свою жизнь.

Чек, ведь ты же влезал в форточки, вспомни свое искусство! Он беззвучно, крепко вцепляясь пальцами, ногтями в оконные створки, стараясь не шуметь и не греметь, распахнул их. Внизу дышала зима. Зима лежала на земле, как громадный зверь, и медленно, тяжело поднимала белые груди крыш и гаражей. Чек смерил глазами расстояние от окна до земли. А потом зажмурился. А потом глаза опять открыл.

Отсюда до земли четыре этажа. Он сосчитал.

Он был на пятом.

Ни балконов. Ни водосточной трубы. Только выступы карнизов.

«Я легкий, — сказал сам себе Чек, — я очень легкий, и у меня получится».

«Или вырежут из тебя печенку, или что там еще есть внутри, там много чего есть!» — бормотал он сам себе, а руки сами делали за него то, что надо было быстро делать.

Он перевел глаза на свои связанные руки. Потом — на острый железный штырь, торчавший чуть ниже карниза из красной кирпичной кладки.

Сел на подоконник. Все время стриг ушами, по-собачьи слушал, что творится за дверью. Может, идут. Если войдут, ему несдобровать. Свяжут и ноги, засунут в мешок, кормить не будут. Тогда все, поминай Чека как звали. Наклонился и опустил связанные руки ближе к штырю, так опускают обожженные руки в холодную прорубь. Ветер бил в лицо, завивалась в кольца легкая метель. Ночь лезла в глаза, в уши, залепляла лицо белым и черным пластилином. Он ковырял штырем веревку. Она размахрилась, стала похожа на рыжую водоросль. Настал момент, когда она порвалась. Веревочные браслеты остались на запястьях, но это было все равно.

Он перекинул ноги наружу, держался за подоконник. Носки нащупывали хоть одну прогалину в каменной кладке. Нашупали. Он утвердил ногу, потом угнездил и другую. Чуть согнул спину. Сначала одной рукой, потом другой схватился за железный черный штырь. Спасибо, штырь, спаситель! Теперь было дело хуже. Надо было вцепиться руками во что угодно: в выступ, в щель, в выемку. Он слепо шарил руками по стене. Ничего не было. Никаких выступов и щелей.

Так и висел, обхватив руками стальной штырь, а ногами впившись в кирпич.

«Хорошо жукам, — думал Чек, — они легкие и ползают хоть вверх ногами. И котам хорошо, они ловкие, прыгают, где хотят, и даже по колям забора ходят».

Он возил ладонью ниже штыря, на уровне живота. Ага! Нашел. Вот она щель, и туда запросто уложатся три-четыре его пальца. Держался крепко. Нога нашаривала следующую неровность. Каменная кладка только с виду гладкая. На самом деле она корявая, шероховатая, во впадинах и вмятинах. Иногда и кирпичи вываливаются.

Он, всунув пальцы в щель, ногой нашарил карниз четвертого этажа. Теперь можно было крепче поставить ногу. А потом приставить к ней другую. Он стоял на узком карнизе и отдыхал, и карниз казался ему райским блаженством, небесной лодкой. И он сейчас уплывет. И его не догонят.

Ну что ж, вперед!

И он стал опять спускаться. Пальцы, выступ, щель. Впадина, дрожь, выступ. Карниз, отдых, подышать глубоко, хрипло. Зима, холод, ночь. Он мерз в легкой курточке. Спасибо, куртку с него не сняли. Почему у Зямы золотой зуб? Сейчас они не в моде. Сейчас модно как натуральные.

Третий. Это третий этаж. И никого внизу. Все спят. Это двор. Никто даже не тащит в пакетах вечный мусор. Всем завтра на работу. Спит Солнечный, и дрыхнет солнце за пологом Тьмы. Тьма рядом. Она смеется над тобой, и зубы у нее все черные, и язык черный, и в язык и в черные губы вдеты слепящие пирсинги. Это звезды. Так все просто. Проще некуда. Все живое, и ночь просто живая девка в пирсингах, и Тьма живая и злая. А может, тьма — его злая мать? Если он спустится на землю, он никогда не вернется домой. Пусть мать пьет свою вечную водку без него. Теперь без него.

Кирпич, иней, выступ. Вмятина, камень, рука. Нога, слепота, хрип. Это он дышит

так громко? Его старый рыжий кот тоже храпел. Еще как. Как человек. Даже постанывал во сне. И дергал лапами. Ему снились сны. Он кричал матери: «Мама, коту снятся сны!» Мать ударяла его пустой бутылкой по затылку и вопила: «Отстань, убоище!» Он падал на пол рядом со спящим котом и хрипел, теряя разум, а потом, оглушенный, засыпал в слезах, как кот, и обнимал кота, и утыкался носом в его теплую старую, вылезшую шерсть.

Второй этаж. Чуть подольше отдохнуть на карнизе. Он отдохнул внаглую, надышался морозом и стал возить, елозить руками и ногами по стене, ища спасительные опоры. Нет. На этот раз ему повезло меньше. Можно сказать, совсем не повезло. Ни шелочки. Ни куска камня. Ни шматка железа. Голая, как лысая башка Зямы, стена.

Он посмотрел вниз. Земля рядом! Рядом снег! Надо прыгать. И ничего, и прыгнет. Пусть сломает ногу, руку. Зато останется жив. Отползет к автобусной остановке. «Микрорайон Солнечный! На выходе предъявите билеты!» Дом, по стене которого он полз, как кот, опередил его. Он ухватился за кирпич, а кирпич возьми и вывалился из кладки. И рука взлетела, и Чек полетел.

Он полетел вниз, да неудачно, откинувшись назад, и наверняка стукнулся бы головой о подмерзлый асфальт; но ветер и судьба помогли, и он брякнулся спиной в сугроб. На миг перестал видеть и слышать. А может, надолго, он сам не знал.

Когда очухался, все было вокруг так светло от снега, что он подумал: рассвет. Ползи, Чек, скорее уползай! Он вспомнил те деньги, что занимал, клянчил у эков. Они давали, смеясь. И криво, косо глядели на него, на его лоб, на его дрожащие пальцы. «Наслаждаешься? Ответишь!» — кричали их глаза. Но он не слышал этого крика. А слышать надо было.

Он выполз из сугроба и пополз. В спине стояла вбитым штырем дикая и нелепая боль. Он никогда не испытывал такой. Он полз по двору, потом выполз из двора, и так еле продвигался вперед — все полз и полз, вцепляясь ногтями то в снег, то в лед, то в шершавый, заметенный снежной крупкой асфальт, все полз и полз, как старый кот ползет умирать, так человек уползает из-под смерти, если он еще жив и любит жизнь. Боль сидела у Чека на спине, а он полз. Боль ввинчивалась ему в уши, а он полз. Боль обцепляла его виски колючками, а он все полз и полз. Не было минуты, чтобы он не полз вперед; он полз без передыха. Тьма! От нее надо уползти. Мать! Катится по доскам пустая холодная бутылка. Жизнь! Она еще может стать другой. Там, за поворотом. За автобусной остановкой «Микрорайон Солнечный». Надо только уползти. Как можно дальше. Чтобы тебя не догнали. И не выпотрошили.

* * *

Он открыл глаза. Кафельные стены, как в бане.

Мать однажды водила его в баню. Чек там поскользнулся на гладком полу и упал, а мать его была веником, потом тазом, и голые бабы орала и вырывали таз у нее из рук.

Голос раздался над ним. Это не был голос Зямы, голос Штыря или голос кого-то из эков.

— Впервые вижу, чтобы ребенок с переломом позвоночника столько прополз.

— Да, Игорь Иванович. Его нашли в овраге около Енисейского тракта. Едва не замерз.

— Судя по всему, он упал откуда-то с высоты. Или, может, его кто-то выбросил в окно. Или с балкона.

— А не в драке покалечили? Он же весь избит.

— Нет. Я знаю такие компрессионные переломы, они чаще всего бывают при падении с высоты. И именно в нижне-грудном отделе. И потом, у него сломаны пяточные кости. Высота, Ольга Юрьевна, высота. Скинули парня.

— Избили и сбросили! Какие... нелюди!

— Должно быть, так.

— Игорь Иванович! Мальчик открыл глаза!

— Вижу. Ольга Юрьевна, вы вставили хороший имплантант? Импортный?

— Да.

Над Чеком наклонились белая маска, огромные очки и белая шапка.

— Как тебя зовут?

Чек смотрел в блестящие толстые стекла. Он не мог говорить и не мог шевелиться. Его сковала странная зима. Он мог только думать, а тела у него не было.

— Чек, — сказал Чек.

Очки блеснули резче.

— Чек? Но это не имя. Это какая-то собачья кличка!

— Игорь Иванович, не грубите, — сказал нежный голос рядом, — может, это восточное имя. Казахское... турецкое...

— Да типичный русак. Курносый, глаза серые. Чек, говоришь? Чепуха, а не имя!

— Меня так все зовут, — сказал Чек и не услышал своего голоса.

Зима залепила уши. Зима засыпала снегом глаза. Он пытался плакать и слезами протаивать горячие дорожки в этом огромном, лютом сугробе, но он был слишком слабый и маленький, чтобы так, с ходу, победить зиму; его засыпало, заваливало, на его месте возникал большой сугроб, и врач, что сделал ему сложнейшую операцию, голыми руками этот сугроб разгребал, откапывал Чека, выпрастывал из дикого холода его лицо, его руки, его волосы и глаза, и женщина плакала рядом, и несла шприц, нет, он не боялся уколов, он тихо, тише падающего светлого снега, спросил: «А вы меня обратно во Тьму не затолкаете? Я не хочу во Тьму!» «В какую тьму, что за тьма такая», — кричал врач и снова счищал ладонями снег, жгучий снег с его лба и скул, а он смеялся, скалил зубы: «Это моя мать! Она ого-го как может бутылкой драться! Но только пустой! Полную она бережет! Потому что она должна ее выпить! Всю!»

Нежная женщина все плакала рядом, все всхлипывала, и врач сердито сказал: «Чем плакать, лучше берите да усыновляйте, вы все равно одинокая, Ольга Юрьевна, одна как перст, и вот вам живой сын приехал, на тарелочке с голубой каемочкой». «Да, с переломом позвоночника!» — рыдая, отчаянно кричала женщина, а потом наклонялась над Чеком, над его торчащим из белого сугроба жестким избитым лицом, и тихо, нежно, дико, люто, заливая это беззащитное лицо слезами, целовала его, и он слышал невнятный, пылающий шепот: «Потерпи, потерпи еще немного, тебя больше никогда никто не обидит, никогда никто не будет бить, потерпи, милый, родной, золотой мой ребеночек, сыночек мой, единственный мой, жизнь моя, терпи, потерпи».

Андрей Кузечкин

Самая важная инсталляция

Рассказ

Она досталась жене даром: знакомые отдали за ненадобностью. Нам пока тоже была ни к чему, но это такая вещь, которую лучше запасти заранее.

Я приехал забрать ее. Развинтил на пять деревяшек, смотал их скотчем и поволок. Денег на такси не было, а толкаться с этим сокровищем в общественном транспорте не хотелось. Оттащил все в располагавшийся неподалеку музей современного искусства, где работал в то время, и сложил под лестницу.

Вскоре я оттуда уволился, а потом и с женой разбежались. Снял квартиру и стал жить себе в удовольствие, точнее, пытался. Она тоже пыталась. Получилось не очень.

Спустя два месяца встретились снова и стали склеивать по кусочкам то, что сами же и разбили. И не заметили, как прошел год. А наши пять деревяшек, смотанных скотчем, тем временем спокойно себе пылились под лестницей старинного здания в центре города. А заехать за ними — то времени нет, то желания.

И настал день, когда отговорки уже не действовали. Все было очень серьезно.

Я собрался с духом и поехал в музей.

Конечно, коллеги пообещали мне, что присмотрят за моей вещью. Но мало ли что: я там работал и прекрасно знаю, как у них дела делаются. Ее могли отнести куда-нибудь на склад, завалить ненужным бардаком и забыть. Могли просто выкинуть, что тоже вероятно.

Наконец, ее могли оприходовать актуальные художники и использовать для своих инсталляций.

Чего только я не видел в этом музее, будучи зрителем... Видел сложную конструкцию, сваренную из старых коньков. Видел связанный из веников, какими дворники улицу метут, круг с дырой посередине, сквозь которую можно было увидеть изображение огромного мигающего глаза, спроецированное на стену. Посетителям, просившим растолковать смысл этой инсталляции, я говорил, что это буквальная интерпретация русской народной присказки «Глаз на ж... натяну и моргать заставлю». А одной француженке пришлось на плохоньком английском объяснять, что такое веник и для чего он нужен. Удивилась.

Однажды прибыл к нам проездом через Москву пожилой итальянский художник. Вместе с ним приехала сотня шинелей со складов «Мосфильма» и оттуда же — не

Кузечкин Андрей Сергеевич родился в 1982 году в г. Бор Горьковской области. Окончил филфак ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Печатался в журналах «Октябрь» и «Урал». Автор книг «Менделеев-рок» (2007) и «Не стану взрослой» (2011). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

меньше тонны измятых и непригодных для игры духовых музыкальных инструментов. По замыслу художника, в центре зала раскинется огромный крест из рельсов, все пространство вокруг него будет устлано шинелями, на которых кое-где будут валяться трубы и валторны. В процессе изготовления этой инсталляции у художника родилась мысль заменить инструменты камнями. Заказали ему декоративные валуны, какими садики украшают, а рельсы, покрытые толстым слоем засохшей грязи, привезли из ближайшего трамвайного депо. Угадайте, кто отскребал всю эту грязь, таскал все эти рельсы и валуны. Думаете, сам семидесятилетний художник? Как бы не так.

А как-то раз был скандал: приехали рабочие вывозить мусор и заодно прихватили с собой спиленное засохшее дерево, валявшееся у контейнеров. Как оказалось, дерево там лежало не просто так: оно было припасено в качестве декорации для предстоящей авангардистской оперы. По сюжету в это дерево врезается машина, все пассажиры — мама, папа, двое детей и собака — погибают. Потом покойники, включая собаку, выбираются из сгоревшей машины и начинают петь. Не шучу.

Эти концептуалисты любой мусор в дело пускают. Была у нас инсталляция из кучи настоящего мусора. Так и называлась — «Куча». Любой желающий мог подбросить туда стройматериала из собственных карманов. А что может быть в кармане у обычного человека? Пустые пачки сигарет, автобусные билеты, конфеты, жвачка. Некоторые чудаки кидали деньги, которые вскоре таинственным образом исчезали из общей кучи, да и конфеты со жвачками там не залеживались.

Словом, я волновался. Не столько за нашу собственность, сколько за супругу. Если что, она расстроится, а ей сейчас нельзя расстраиваться.

Вошел в фойе. Под лестницей моей вещи уже не было. Позвонил бывшему коллеге и старому другу. Тот привел ко мне нового кладовщика — интеллигентного вида мужчину.

Объяснил ему ситуацию.

Длинноволосый бородатый кладовщик невозмутимо кивнул и повел меня за собой по лабиринту первого этажа: выставочные залы со стенами из красного кирпича, стеклянные двери. Лифт. Подвал. И вновь лабиринт — серые стены, железные двери складских помещений.

Кладовщик привел меня в дальний конец подвала, где все еще велись работы по реконструкции. Здесь было холодно и пыльно. Стены и пол — голый бетон.

Среди строительного мусора лежали мои пять деревяшек, перемотанных скотчем. Целехонькие. И сумка с крепежом.

Пора уносить их отсюда. Лишних денег на такси по-прежнему не было, но я уже был согласен на автобус.

— Проводите меня до дверей, — попросил я. — А то охранник подумает, что я украл какую-нибудь важную инсталляцию.

— Ближайший год она будет для вас самой важной инсталляцией, — заметил кладовщик.

— Это точно, — сказал я и потащил детскую кроватку к выходу.

Юрий Покровский

Всмятку

Сюрреалистическая композиция

Викторов проснулся, как и всегда — в шесть часов утра. Скорее светило могло подняться над землей раньше или позже установленного срока, нежели наш герой — пятидесятилетний инженер с автомобилестроительного завода — позволил бы себе поблажку и отступил от заведенного распорядка. Он легко поднялся с кровати, ощущая во всем теле свежесть обновления, даруемого полноценным ночным сном.

Изо дня в день, повторяя одни и те же привычные действия, мы совершенно перестаем замечать сам процесс их протекания. Поэтому когда Викторов через час с небольшим вышел из дома и направился к своему автомобилю, в его памяти нисколько не задержалась неизменная череда утренних процедур. Приблизившись к своему металлическому божеству, он обнаружил, что забыл ключи от сердца этого «чуда»: возвращаться же за ними не хотелось из-за нахлынувшей лени, а точнее, из-за внезапно пробудившегося желания — прогуляться до родного завода пешком.

Начало дня предстало для Викторова не в обычных заботах — завести мотор, проверить по приборам наличие масла, бензина, аккуратно вывернуть на проезжую часть, вписаться в поток автомашин, — а в несколько ином ракурсе. Его окружали искупавшиеся в прошедшем ночью дожде высокие клены, в зубчато-кружевные своды которых вкрапливалась голубизна неба. Эти большущие деревья точно выросли за минувшую ночь, потому что прежде Викторов не замечал их. Увиденное всколыхнуло глубоко запрятанное под наносным илом прожитых лет воспоминание раннего детства, когда он — белобрысый карапуз — поразился видом поля зеленой ржи, густо переплетенной синевой васильков. Теплые солнечные лучи, скользящие по волосам, порождали смутные ассоциации с нежными материнскими руками. Приглушенный, ненавязчивый шум улицы будоражил тело странным восторгом или ликованием: хотелось вприпрыжку бегать и даже кувыркаться на зеленом газоне. Мягкой волной его подхватило пьянящее ощущение необозримости предстоящей жизни. Он широко улыбнулся, силясь предвосхитить будущее — далекую действительность, которую заволакивали фантастические видения.

Викторов мечтательно обогнул лужу, разлегшуюся посреди тротуара, и напевая песенку из мультфильма, вышел на улицу. С каждым шагом его разум, тщившийся встать плотиной для волны безрассудства, все более отступал. «Если и задержусь минут на десять-пятнадцать, никакой катастрофы не произойдет», — сказал самому себе Викторов и глубоко вздохнул, наслаждаясь свежестью утра. Перспектива опоздания

Покровский Юрий Николаевич (1954) родился в столице Австрии (Вена), в семье переводчиков. В том же году был привезен в Нижний Новгород, где и проживает по сей день. Получил экономическое образование. Автор цикла эссе «Русское» в трех книгах, теодицеи «Миромир» и романа «Среди людей» (шорт-лист «Русского Букера—2015»). Все книги опубликованы в Нижнем Новгороде.

уже не казалась ему недопустимой. Между тем улица, по которой он впервые за много лет шел на работу пешком, становилась все интереснее и как бы росла в своих размерах, не нарушая сложившихся пропорций между зданиями, деревьями, фонарными столбами, дорогой. Он словно сам уменьшился по сравнению со всеми столь привычными контурами и абрисами и даже по сравнению с редкими встречаемыми прохожими. Вдруг что-то случилось с его ногой, которая точно приклеилась к асфальту. В следующий миг кувырком полетели все громады домов, и Викторov растянулся на тротуаре.

— Вам плохо? — услышал он тоненький голосок, поднял голову и понял, что сидит на жестком бордюре. Рядом стояла девочка. На ее голове дрожал бант, похожий на сказочную голубую бабочку с полупрозрачными крыльями.

— Шнурок развязался, — важно пояснил Викторov и тут же похвастался, — я и бантиком, и на два узла умею шнурки завязывать.

— А я маму жду. Мы сейчас в детсад пойдем, — в тон ему сказала девочка.

— А я не хожу в детский садик. Скуотища там, — не без гордости заявил Викторov.

Он легко вскочил на ноги, забыв отряхнуть брюки, и с любопытством посмотрел на постоянно меняющийся рисунок улицы. Девочка обиженно надула свои губки и обронила:

— А мне там интересно.

— Вам бы только за забором сидеть да песочные куличики печь. А я люблю в догонялки играть и по деревьям лазить. И еще в прятки люблю играть. Вот так! — поддразнил ее Викторov.

Чувство необъяснимого превосходства над этой дюймовочкой заставило затрепетать всего, нервы и те запели песню вечной войны между мальчишками и девочками. Откуда-то возникла светловолосая женщина и властно крикнула:

— Марина, я тороплюсь!

У Викторова закувыркалось в тревоге сердце, но ничего страшного не произошло. Девочка, не попрощавшись, подбежала к женщине: они взялись за руки и стали быстро уменьшаться в размерах, все более удаляясь. Вскоре даже их образы полностью растворились в подвижной памяти Викторова. Он нерешительно топтался на одном месте, пока сила условного рефлекса не заставила его сунуть себе под нос часы на руке. До начала рабочей смены оставалось несколько минут. Торопись не торопись, а опоздания не миновать. Но к своей досаде наш герой обнаружил, что никак не может сориентироваться и понять, в какой же стороне расположен родной завод, и почему-то стеснялся поинтересоваться об этом у прохожих. Наконец Викторov облегченно вздохнул и порывисто зашагал по улице, разужоренной сверкающими окнами, наобум.

Викторov с изумлением — попутчиком всякого открытия — взирал на простые геометры современных домов и замысловатые абрисы старинных зданий. Он надолго застрял у шестнадцатиэтажного проектного института, жмурясь от отблесков металлических конструкций. Очнувшись, направился дальше, и в каменном проеме улицы его взгляд заметил чешуйчатую спину реки, зазывно игравшую мириадами золотистых бликов. Подчиняясь некоему глубинному чувству осторожности, Викторov принялся озираясь по сторонам, точно собирался сделать что-то предосудительное. Но никого, кто мог бы воспрепятствовать ему осуществить задуманное, к своему удовлетворению, не обнаружил. Тогда Викторov ускорил шаг.

«Купаться! Купаться!» — его голова гудела от этой смелой идеи. Не доходя до ворот пляжа, он стянул с себя рубашку, но вовремя спохватился: на нем не было плавок. К счастью, поблизости стоял павильон, торгующий купальными принадлежностями. Он приобрел самые дешевые и сноровисто переоделся в дощатой кабинке, потом весело подлетел к воде и озорно крикнул: «Оп-ля!», чтобы вонзиться в речную рябь. Вынырнув, Викторov задорно, по-мальчишески заработал руками, но вскоре устал и лег на спину. Над ним раскинулось необозримое синее небо, его обтекала со всех сторон неостывшая за ночь вода: мир приобрел безграничную

величавость. Как прекрасен этот мир, состоящий наполовину из неба, а наполовину из воды!

Небольшая волна слегка приподняла голову, перекаtilась через нее, плеснулась в рот и в ноздри. Викторov закашлялся. Ему пришлось вернуться к берегу, чтобы отдышаться. Неподалеку он обнаружил ребят лет двенадцати-четырнадцати: стоя по пояс в воде, они играли в своеобразный волейбол. Огромный и легкий мяч, забавно разрисованный, вычерчивал прозрачные арабески на фоне бесконечной голубизны и снова попадал под удар тонких, порывистых рук. Викторov незамедлительно присоединился к игрокам, и смело потребовал:

— И мне, мне давайте!

Он ловко влепил по прилетевшему мячу, а сам плюхнулся в воду, довольный сделанным ударом и поднимая во все стороны крупные брызги. Другие мальчишки также бойко выскакивали из воды навстречу летящему мячу, чтобы перенаправить его в противоположную сторону, а сами окунались с головой, после чего громко гоготали. Загоготал и Викторov. Обуреваемый сонмом неясных побуждений, он украдкой взглянул на пляж. По извилистой, вздрагивающей кромке воды шли две девушки в щедро открытых купальниках. Ему захотелось полюбоваться на гибкие фигуры приглушенно бронзового цвета. Лениво, как бы нехотя, он вышел из реки, покрытый множеством змеек — стекающими каплями, и разлегся на прогретом песке. Девушки возвращались. Они с ленивой грацией ступали по песку. Викторov заворожено следил за ними, распластавшись на песке, точно был лазутчиком в незнакомом мире. Он стремился слиться с белесо-желтым пляжем и жадно сглотнул слюну, когда девушки прикрылись серо-голубоватой ширмой реки. Среди мгновенно вспыхивающих и тут же гаснущих искр остались только их головы.

Чтобы чем-то заняться, он устроился на кабинку для переодеваний. Вскоре оттуда вышли две женщины. А из другой половины, отделенной перегородкой, — двое мальчишек. Случайность? — Викторov насторожился. Ему хотелось быстрее проверить жгучее подозрение. Вот еще одна женщина вошла в переодевалку, а в другую половинку юркнули, как изворотливые угри в норку, двое мальчишек. Минут через пять они вышли улыбающиеся и присоединились к своей многочисленной компании. Вслед за ними покинула кабинку и женщина.

Викторovu стало жарко, его сердце учащенно заколотилось. Неожиданно он снова увидел тех самых загорелых девушек в щедро открытых купальниках: они несли в руках одежду и собирались переодеться. Не мешкая, Викторov вскочил на ноги и поспешил к мужской половине этого ветхого, дощатого строения. Перед самым входом туда, как два плотных, темных смерча, возникли мальчишки, бывшие партнеры по волейболу, но натолкнувшись на столь серьезную преграду, как-то сразу сникли, точно пропал ветер, гнавший их. Тем временем Викторov грозно зыркнул на своих конкурентов и решительно шагнул за перегородку.

Его глаза принялись лихорадочно искать трещину, щель или дырочку. И вот аккуратное отверстие было обнаружено. Припав к нему, Викторov увидел голые ягодицы, при том так близко, что испугался, как бы их обладательница не почувствовала жар его горячих глаз. Внезапно ягодицы пропали, приоткрыв другую фигуру, стоящую в белых трусиках, сквозь тонкую ткань которых смутно просвечивали волосы на лобке. Викторov сильнее пригнулся, чтобы увидеть грудь девушки, но проворные руки, поблескивая розоватым лаком, уже зачехлили столь маняще прекрасную часть тела. Наш герой присел на корточки, пытаясь увидеть другую девушку и наконец смог найти ее: уже полностью одетая, она причесывалась, уставившись в зеркальце, которое держала в левой руке, и что-то говорила подруге. Та коротко отвечала. Викторov слышал только звуки голосов, не разбирая слов. Его сердце бешено колотилось, и к тому же он досадовал, что девушки оделись столь быстро, что он не успел рассмотреть их наготу во всех подробностях. Но вот в незатейливую музыку девичьего щебетания стали вторгаться низкие мужские тона. Викторov испуганно отпал от отверстия и трясущимися от волнения и спешки руками снял плавки, чтобы отжать их. Вошедшие

мужчины не обратили на него никакого внимания, продолжая обсуждать какой-то футбольный матч.

Выйдя из кабины, Викторов снова увидел тех двух девушек: разморенные жарой, они вяло ступали по песку. Ему хотелось последовать за ними, но прозрачный воздух как бы приобрел твердость стекла. Тогда отступил и принялся растерянно озираясь. Почему-то поблекли яркие краски реки и неба, а игры на воде уже показались пустой тратой времени. Он забыл о существовании изумленно тарашившихся на него мальчишек, как не мог понять и того, почему очутился на пляже. Одеваясь, он быстро освободился от неуклюжих движений, присущих подростку. А те две девушки совсем исчезли из вида, и он уже не мог вспомнить, как они выглядели.

Вскоре Викторов опять шагал по улице, шагал уверенно, энергично. Асфальт плавился от жары. На лицах встречных прохожих блестел бисер пота. Даже листья лип покрылись крохотными капельками влаги. Улица мокла от солнечного ливня. Удаляясь от пляжа, Викторов все более удалялся и от «пляжного периода», расшитого множеством озорных затей, сумбурных устремлений, неустойчивых, рассыпающихся и вновь возникающих, как блики на беспокойной воде. Легкий ветерок приятно льнул к его разгоряченной спине, ерошил и сушил волосы на голове и будто бы уносил с собой в неведомые дали множество впечатлений, полученных на берегу летней реки.

Викторов чувствовал, как стремительно взрослеет. Он молод, привлекателен, полон сил. А впереди — еще целая жизнь. В зеркальном зале его воображения вспыхивали и тут же дробились на отдельные, вполне самостоятельные фрагменты буйные фантазии, связанные с предстоящими успехами на многотрудной ниве производственной деятельности. Он приходит на гигантский завод с уже готовыми чертежами нового автомобиля, технические характеристики которого превосходят характеристики всех отечественных аналогов. Разумеется, многоопытные производственники скептически воспринимают его новаторские инициативы, но ему удастся создать группу единомышленников из молодых специалистов. И тогда на отдельно стоящем стенде они вручную собирают чудо-автомобиль и едут на нем в Москву, на ВДНХ, чтобы там получить золотую медаль. А завод начинает спешно переналаживать весь свой громоздкий производственный механизм, чтобы приступить к массовому выпуску таких машин. И вскоре эти замечательные, комфортабельные автомобили заполнят собой все дороги необъятной страны.

Любой громкий успех имеет еще одну весьма приятную сторону. Красивые девушки в первую очередь обращают свое внимание на разных призеров и чемпионов — на перспективных парней — и возводят таких парней на высшие пики любви. Лишь с таких пиков видны заветные пространства страны счастья. Ведь не для серого прозябания рожден человек! Он рожден для дерзания и для полета! Для любви и счастья! Для выдающихся свершений и героических поступков!

Но словно в противовес этим грезам, его глаза ненароком подмечали чьи-то синие сухие губы. Но лица многих прохожих лежал, подобно налету серой пыли, отпечаток неотложных забот, а в глазах притаились усталость или неизбывная тоска. Все куда-то спешили, понукаемые нерешенными проблемами, протискивались в переполненные автобусы, толкали друг друга при входе в шумные магазины. Точно заведенные неумелой рукой, кружили люди в огромном многоугольнике, сторонами которого служили фабрики и заводы, школы и институты, районные администрации и военкоматы, тесные квартиры и крохотные ателье, парикмахерские, вкупе с ремонтными мастерскими. Центробежная сила все сильнее прижимала людей к стенам этого многоугольника, безжалостно размельчала их в труху или сбивала в безликую массу. И некогда было каждому человеку остановиться, отдышаться и тем более заглянуть внутрь себя; некогда было окинуть взглядом стороны этого многоугольника, в котором жизнь превращалась в безостановочное кружение и последующее размельчение и превращение личности в ничто. А сам многоугольник постепенно избавлялся от своих углов и превращался в заколдованный круг, из которого нет выхода.

Неужели обо всем этом сотни тысяч людей когда-то мечтали в юности? Ведь юность тем и прекрасна, что любая тяжесть кажется по плечу, а любая преграда видится преодолимой: хочется жить изо всех сил, а сил переизбыток, кровь бурлит и толкает на смелые поступки. И сколько разнообразных чувств, побуждений, желаний теснится в груди! Каким богатством переживаний, надежд и упований помечен каждый год, и даже каждый прожитый месяц! Так что же заставило этих пасмурных и посеревших людей сникнуть и сдаться? Почему они так покорно смирились с жалкой участью единиц статистического учета, от которых ровным счетом ничего не зависит? Таковую жизнь никак не сочтешь полноценной и тем более — подлинной, а скорее условной и предназначенной разве что для черновика и для корзины.

В Викторове начал расти протест против подобного коловращения, плавно переходящего в перемалывание индивидуальности в пыль. Каждый живущий в его родном городе человек был опутан сетью условностей и предрассудков, пустопорожних лозунгов и никуда не ведущих пропагандистских призывов. В тенетах замшелых догм страдает и бьется человеческая душа, рожденная для свободы. А свободы нет, есть только необходимость, вытекающая из бессчетных уставов, инструкций, положений, правил и законов.

Возмущение и гнев заклокотали в груди Викторова, и только клубящаяся зелень сквера успокаивающе подействовала на него. Ему захотелось посидеть там не из-за потребности тишины и покоя, а по другой причине. Когда-то давным-давно в этом сквере любили собираться лохматые парни и девушки, отличавшиеся раскованным поведением. Целыми днями они сидели на облюбованных ими скамейках или прямо на асфальте, болтали, курили и презрительно посматривали на проходивших мимо обывателей. А последние называли это местечко «уголком дураков».

Теперь скамейки пустовали. Викторов присел на одну из них и с вызовом в глазах посмотрел на прохожих, которые мелькали с внешней стороны сквера. Но никто не обращал на него внимания. Викторов вяло откинулся на покатуую спинку скамьи и прикрыл глаза ресницами. Чего он тут сидит и чего ждет? Получения выговора за опоздание, давно достигшее размеров прогула? Или неполучения квартальной премии за низкие производственные показатели? Конечно, его давно хватились на работе, должно быть, даже звонили ему домой, тем более что сегодня должно состояться важное совещание у главного инженера.

Подчиняясь условному рефлексу, Викторов вскочил на ноги и направился в сторону завода. День был в самом разгаре. Большущий синий циферблат с желтыми римскими цифрами и такими же желтыми стрелками на фасаде одного представительного здания подсказал ему, что совещание уже подходит к своему завершению. И тогда Викторов сбавил шаг, испытав настоящее облегчение. Ему никогда не нравился главный инженер — требовательный, жесткий, с цепким взглядом следователя и не способный разгрести на заводе скопившийся ворох нерешенных проблем.

Но если совещание пропущено, то куда же он идет? Викторов наморщил лоб, точно силился что-то вспомнить. Ему вспомнились бесконечные совещания, не приводящие ни к каким результатам, бессчетные трения с коллегами, нарекания вечно хмурого начальства. Будучи молодым специалистом, он намеревался изобрести принципиально новый автомобиль, ни в чем не уступающий лучшим европейским образцам, но почему-то так и не вышло. Текучка заводская постоянно отвлекала его от задуманного проекта, мешала системно изложить принципы функционирования нового транспортного средства. Когда-то давно он пришел на предприятие с миссией спасителя отечественного автопрома, с чувством благородного дарителя людям чудомеханизма, способного улучшить жизнь миллионов соотечественников. А теперь направлялся к заводу, чтобы выплеснуть из себя все, что он думает о своих коллегах, подчиненных и начальниках. Давно собирался объясниться начистоту, да все как-то подходящего момента не выдавалось. Но теперь момент истины наступил. Ведь не говорящий полной правды — наполовину лжец. А ему опостылело быть таковым: прогибаться перед руководством, заигрывать с подчиненными. Пришла пора объявить

всем, что они выпускают скверную продукцию, которую покупают лишь по бросовым ценам. Обилие невысказанной правды буквально душило его, до боли распирало горло.

Запыхавшись от быстрой ходьбы, Викторов остановился напротив стеклянных дверей проходной и решил подождать директора или главного инженера. Однако медленное течение минут не гнало зверя на ловца. Наконец Викторов смачно сплюнул на асфальт и удалился с гордо поднятой головой. Постепенно прекратились нервные спазмы в горле, а по телу сладким медом растекалось успокоение. Вместе со смачным плевок он точно выплеснул всю горечь бесчисленных конфликтов и жалких сиюминутных побед — всю ту скопившуюся в нем жгучую кислоту, которая неизбежно возникает вследствие жестокой борьбы, преисполненной подлостей и пакостей, изнурительной борьбы за повышение оклада, за получение новой и более высокой должности. Факт свершившегося пьянил Викторова: какой он молодец — взял и плюнул в сторону всего завода! Пускай все они там киснут и преют среди никчемных железок!

Его настроение с каждым шагом стремительно поднималось в гору. Когда он приблизился к своему дому, тот показался ему феерическим видением, полускрытым за резьбой кроны высокого клена. От лучей закатного солнца на торцевой стороне дома рдел румянец, голубели окна на теневой стороне... Однако резкий запах жаренного лука, заполнивший все пространство подъезда, вернул Викторова к реальности. Его воображение стало рисовать сцены скучного вечера наедине с женой, давно переставшей прихорашиваться. Ему опять взгрустнулось.

В прихожей, не включая свет, он взглянул на свое отражение в зеркале и растерянно заговорил с ним: «Есть ли я, нет ли меня — все равно для соседей. Они меня не знают, я их — то же. Не стань меня, этому только обрадуется на заводе мой заместитель. А уж город и совсем не заметит моей пропажи. Жена поплачет-покручинится. А через месяц-другой здесь появится другой мужик — дело житейское. Словно и не жил. Да и теперь, живу ли я?»

Викторову вспомнился пятнадцатилетний сынишка Павлик, который отдыхал в подростковом оздоровительном лагере. Мальчик любил мастерить воздушные змеи и бегать с ними взапуски возле дома. А в последнее время пристрастился делать радиоуправляемые игрушки. Видимо сынишке передалась склонность к техническому конструированию. Викторов растроганно улыбнулся и критически рассмотрел в зеркале свое усталое одутловатое лицо, вылинявшие волосы, заметно поредевшие в последнее время. Он стянул с себя надоевшую за день рубашку, причем сделал это с таким трудом, точно менял кожу. Обозначившийся в полусумрак прихожей торс также не производил отрадного впечатления: плечи покатые, опущенные, зато заметно выпирал животик.

Викторов застонал от нерастрченного желания нравиться красавицам, о которых грезил в далекой юности, иметь много друзей, весело шагать вместе с ними по перламутровой дороге жизни, быть натурой смелой и дерзкой. А та дорога, по которой он плетется уже половину века, никуда не приведет — разве что в затхлый подвал старости. Стремление к обновлению подхватило его, как могучая волна, и поставило под густой сноп теплого душа. Затем Викторов старательно остриг ногти на руках и даже попытался сделать себе маникюр, воспользовавшись заброшенным в тумбочку несессером жены. Тщательно причесавшись перед зеркалом, задумался: для чего так расстарался? Ответ никак не мог обрести внятную форму: послать все к черту... надо пожить для себя, а не применяться каждодневно к постылым обязательствам и обстоятельствам... годы проходят, а память, как пустой зал... ничего в жизни не было примечательного... И вот из хаоса общих слов и обрывочных рассуждений проступило решение, неотразимо убедительное в своей простоте: необходимо пойти в самый шикарный ресторан.

Викторов незамедлительно облачился в цветастую рубашку — подарок жены на пятидесятилетие, — влез в новые брюки и довершил свой туалет полуботинками в

мелкую дырочку, купленными давно, но мало ношенными. Часы показывали начало шестого — близился вечер, и скоро должна была прийти с работы благоверная супруга. Викторов нацарапал на листке бумаги записку, в которой объяснял свое отсутствие прибытием на завод важной делегации бизнес-партнеров, взял деньги, отложенные на предстоящий ремонт квартиры, опрыскал себя одеколоном и степенно вышел из подъезда. На сей раз он не забыл ключи от автомобиля, а цепко держал их в левой руке. Под ногами валялись редкие зеленые кленовые листья, похожие на распластанных среди лужиц лягушек. Повинуясь необъяснимому приступу озорства, Викторов ловко пнул носком полуботинка один такой листик, и тот испуганно взмыл в воздух, чтобы печально прилипнуть к лужице. Удовлетворенный сделанным, Викторов плюхнулся на пружинящее сидение автомобиля, легко завел мотор и тихо промурлыкал: «В ка-бак! В ка-а-бак!»

Ресторан «Мечта», пристроенный к самой респектабельной гостинице города, располагался в центральном районе, куда Викторов в последние годы заезжал нечасто. Первоначально он намеревался сократить свой маршрут и свернул на улочку, израненную канавами и колдобинами, но вовремя спохватился, кое-как выбрался на широкий проспект, устье которого распалось на несколько узеньких проездов, застроенных приземистыми деревянными домишками — свидетелями давно минувших революционных событий. Наконец он увидел набережную, помчался по ней, пересек реку по мосту и, не сбавляя скорости, стал подниматься в гору; автомобиль натружено пыхтел, кряхтел, но исправно работал. Притормозив возле гостиницы, Викторов небрежным взглядом окинул клумбу, пестреющую крохотными, но часто посаженными цветами, и вошел в фойе ресторана. К нему тут же подошел официант с испытующим взглядом и тихо спросил:

— Поужинать или на вечер?

— На вечер, — веско сказал Викторов и был посажен за отдельный столик у огромного, во всю стену окна, из которого открывался великолепный вид на речной простор. Вскоре подошел другой официант, выглядевший как аппетитная булочка. Одним своим видом он вызвал у Викторова голодную резь в желудке. Заказ был поистине купеческим: фирменный, а значит самый дорогой салат, эскалоп из телятины с замысловатым соусом, дальневосточные крабы, бутылка шампанского и фрукты.

Постепенно ресторан заполнялся посетителями «на вечер». Когда все столики оказались занятыми, официанты стали подсаживать прибывающих посетителей на пустующие стулья. К столику, за которым восседал Викторов, подсели двое мужчин, сравнительно недавно перешагнувших сорокалетний рубеж. Один из них скромно обронил официанту: «Как всегда». И тот бережно понес смысл этих слов на кухню. За столиком завязалась дружеская беседа, в интервалах которой взгляд Викторова скользил по лицам и фигурам посетительниц ресторана. Ярмарочная яркость красок на их лицах просто била по глазам, отчего наш герой стал больше внимания уделять беседе за столом. Непринужденно болтали о жаре, уже длившейся три недели подряд, обсуждали качество принесенных официантом блюд и даже особенности их приготовления. Порой пустопорожний треп прерывался тостами с шампанским, к которому подсевшие мужчины добавили бутылку коньяка. Все более разогреваясь от череды тостов, говорили уже наперебой — о том, что в этой жизни необходимо «вертеться» и уметь «вертеть» другими людьми, что люди делятся на производителей и потребителей и «производительность» сидит в генах у одних, а у других с рождения заложена страсть к потребительству. И строительство социализма забуксовало в огромной стране потому, что власти всячески гнобили этих «других», пытаясь переделать их натуру. В итоге общество стало кособоким и просто ущербным — обществом инвалидов.

Заиграл оркестр, и чтобы перекрыть его звучание, вся троица перешла на крик. Викторов гремел, что дослужился до начальника инструментального цеха, но дальше нет никаких перспектив, потому что производство инструментов не является рентабельным и профилем для автомобильного завода. Жена надоела, как затяжная

болезнь, — расплнела еще тогда, когда ходила беременной, и с тех пор не может и не хочет избавиться от своих жировых наслоений. К тому же непоправимо ленива и глупа и постоянно чем-то недовольна. А любовницы нет, любовнице просто неоткуда взяться. Потому что приходится вкалывать от зари до зари в сугубо мужском коллективе. Но друзей, чтобы в «доску своих», тоже нет. А так порой хочется пообщаться с интересным людьми, не грызть подчиненных, не лебезить перед начальством.

В кругу своих новых знакомых Викторов, считавшийся в своей семье и на автомобилестроительном заводе молчуном, чувствовал себя превосходно. Давненько у него не бывало столь приподнятого настроения. Слова легко слагались в емкие фразы, а фразы дополнялись убедительными аргументами, подытоживались неопровержимыми выводами, обогащались новыми смыслами благодаря метким замечаниям собеседников. Он впервые отдыхал в этом ресторане и про себя недоумевал, что же мешало ему раньше приходить сюда — в такое замечательное место, где его не опутывает скованность и не стескивает стеснительность. Вскоре Викторов обнаружил, что и женщины в зале разительно похорошели, а некоторые стали неотразимо привлекательными. Прополоскав горло еще одной рюмкой коньяка, он подпал под другую струю настроения, более лирическую. И наконец решился пригласить на танец приглянувшуюся блондинку, стремительно познакомился с ней и сочувственно выслушал ее сетования. Оказалось, что тот молодой человек, с кем она пришла сюда, — страшный зануда и скупердяй.

Викторов не преминул пригласить Галину за свой столик. Физиономия «зануды» от недоумения перекосилась, потом вытянулась, потом скорчилась от негодования и вдруг опять разгладилась. Когда пальцы Викторова, подобно легким стругам по реке, поплыли по волнистой прическе Галины, «зануда» возмущенно подскочил и сбросил нахальную руку с головы своей спутницы-перебежчицы. Оба новых приятеля Викторова мгновенно оказались за спиной ищущего справедливости молодого человека. А наш герой многозначительно посмотрел на конкурента и плеснул ему в лицо остатки шампанского из своего фужера. В этот же момент кулак «зануды», готовый обрушиться на оскорбителя, завис в вышине, затем молодой человек беспомощно согнулся в три погибели: его рука была поставлена на «излом» одним из стоявших сзади ангелов-хранителей Викторова. Привлеченные испуганным вскриком Галины, подлетели три дюжих официанта, а оркестр настороженно затих. Волны нервозности прокатились по всему залу. «Зануду» грубо выдворили из ресторана. Веселящаяся публика облегченно вздохнула, оркестр опять заиграл популярную мелодию, и все быстро позабыли о досадном инциденте.

Когда оркестр завершил свое выступление, Викторов расплатился за все угощение на столе, дал щедрые чаевые официанту и артистично загрузил. Потом он предложил Галине и своим новым приятелям «издать последний аккорд на улице», и вся компания, целуясь и обнимаясь, вывалилась из ресторана. Редкие прохожие отскакивали от нее, как льдинки от плывущего ледокола. Не одолев и сотни метров, Викторов задумал приятный сюрприз. Он отстал от весело галдящих собутыльников-сотрапезников, вернулся в пустеющий зал ресторана, где пошушукался с официантом и приобрел еще одну бутылку шампанского, после чего зашпешил вдогонку покинутой компании. Но той уже нигде не было видно: всюду подкарауливала тоскливая тишина, которая никак не отзывалась на призывные крики Викторова. Наконец он громко чертыхнулся и затих, а его ищущий взор обнаружил стоящий неподалеку более чем знакомый автомобиль. На непослушных ногах Викторов подошел к нему, нежно погладил фары, затем поцеловал дверную ручку и деликатно заполз на сидение. После долгих и безуспешных попыток ему все же удалось вставить ключ, завести мотор, и он тут же с места в карьер помчал своего железного коня по пустынной дороге.

— Гоп-ля! Гоп-ля! — несся из открытого окошечка его победный вопль.

Викторов быстро достиг городской окраины, пугая заснувших обывателей жутким скрипом тормозов, круто развернулся и снова с упоением врезался в спокойствие

ночных улиц. Он не обращал внимания на светофоры, перекрестки, редкие встречные автомобиля, метался из района в район, залихватски проскочил пост ГАИ и с ловкостью опытного авантюриста благополучно ускользнул от погони служивых людей. Однако испытываемое перенапряжение заставило его протрезветь. Викторов покати к себе домой. Когда до дома оставалась всего лишь пара сотня метров, закончился бензин. Чертыхаясь, Викторов с трудом вытащил из кабины свое огрузневшее тело и задергался в конвульсиях: его тошнило тяжело, надрывно. Он охал и так дергался, точно собрался распротираться со своим взбунтовавшимся желудком. Исторгнув всю ресторанный снедь, обильно смоченную алкоголем, пустопорожний, с гудящей головой Викторов продолжил свой путь домой. И уже увидел знакомые очертания клена, растущего под окном его спальни, как наткнулся на заросшего густой бородой человека, который просто сидел на бетонном бордюре, отделяющем тротуар от проезжей части улицы.

— Ты кто? — икая, спросил Викторов.

— Странник, — просипел простуженным голосом незнакомец.

— А куда путь держишь?

— Куда хочу, туда иду.

— Вот это здорово! — справившись с икотой, воскликнул Викторов. Стоя на пороге возвращения в свою квартиру, давно требующую ремонта, он чувствовал себя блудным сыном и был рад последней зацепке оттянуть миг этого возвращения. И потому предложил. — Возьми меня с собой!

— А чего это ты с насиженного места сорваться хочешь? — поинтересовался странник.

— Понимаешь, все надоело! Куда ни помотришь — всюду сплошная бессмыслица. Свихнуться можно от обложной дури.

— А деньги у тебя есть?

— Конечно, есть, — заверил Викторов и вытащил из кармана брюк пачку купюр.

— Тогда можно до Каспия доехать, чего зря надрываться.

— А почему до Каспия?

— Там осень теплая и овощи даром раздобыть можно.

— Поедем до моря, — охотно согласился Викторов, — а там бродяжничать будем. Прямо на земле спать. А поутру снова в путь. И размышлять будем.

Он пылко схватил странника за руку, помог подняться тому на ноги и потащил в сторону железнодорожного вокзала. Его столь неожиданно-негаданно обретенный попутчик брел тяжело, дышал хрипло — любое движение давалось через силу. А Викторов, прощаясь с городом, в котором прошла вся жизнь, сентиментально вспоминал, что вот здесь, на этой самой улице, много лет тому назад встречался по утрам с хорошенькой девочкой, у которой на голове дрожал голубой бант. Девочка ему очень нравилась, но он почему-то постоянно дразнил ее и даже как-то пытался сорвать с головы бант, отчего она только сердилась и обзывала его драчуном... Перипетии прожитого дня проходили перед глазами, словно то была вся прожитая жизнь, а сама прожитая жизнь совсем никак не вспоминалась, будто ее и не было совсем. Однако образы мальчишек, играющих на пляже, быстро истончались и пропадали совсем, их заменяли неясные образы лохматых бунтарей в драных джинсах и нестиранных майках, которые предпочитали слыть «дурачками». И уже нельзя было понять, видел ли он наяву тех парней или всего лишь придумал их.

В полном молчании эта странная парочка миновала дом, куда Викторов отказался возвращаться. И тут наш герой ступил на кленовый лист, лежащий на подсыхающей лужице, поскользнулся и упал. Он обжегся локтем об асфальт, а светлые брюки испачкал в грязи. Кряхтя и охая, он терпеливо ждал, когда странник поможет ему подняться на ноги, и тут при свете луны отчетливо сумел рассмотреть того, с кем собрался в дальнюю дорогу, — морщинистое, с гноющимися глазами лицо, разбитые тяжелым трудом руки, покрытые то ли струпами, то ли язвами.

— Ты чего это на ровном месте падаешь? — спросил странник, обдавая Викторова своим смрадным дыханием.

Викторов зажмурился от отвращения и самостоятельно поднялся на ноги. Он окончательно протрезвел и, озабоченно осматривая кровотокающий локоть, раздраженно произнес:

— Надо бы йодом обработать, а то инфекция может попасть.

— Уже завтра заживет, сам увидишь, — заверил его странник.

Но слово «завтра» наполнилось для Викторова совсем иным значением. Завтра должен был наступить на заводе новый рабочий день, и необходимо хорошо выспаться перед тем новым днем. А бродяга уже предстал выходцем из грязи человеческой.

— Мне домой пора. Я совсем рядом живу, — сказал Виктор.

— Передумал что ли? — просипел странник.

Вместо ответа Викторов рванул к своему дому. Ночная улица предстала перед глазами тоннелем без начала и конца, и ему страстно захотелось как можно быстрее выбраться из этого мрачного тоннеля. Он вприпрыжку поднялся по лестничным пролетам на свой этаж, скользнул за дверь своей квартиры и прислушался. Тихо, если не считать тревожной дробы, выстукиваемой собственным сердцем.

Скинув с себя порванную рубашку, он обработал в ванной свой поврежденный локоть, наложил на ранку тампон и обмотал бинтом. Бесшумно раздевшись, Викторов крадучись приблизился к кровати и осторожно улегся рядом со спящей женой. Родные стены вернули ему чувство защищенности.

Викторов проснулся с первыми лучами солнца, которые коснулись окна его спальни. Но его разбудил не рассвет, а всплеснувшееся в глубинах сна тревожение: что-то случилось с автомобилем, заглохшим без бензина. Ранка на локте затянулось розовой корочкой, и можно было обходиться без бинта. Викторов поспешно оделся, выбежал на улицу, увидел невдалеке свой автомобиль и облегченно вздохнул. Он перешел на шаг, и тут его передернуло от омерзения. В кабине спал чумазный старик со спутанной бородой и в грязной одежде. Смутные опасения, поднявшие Викторова спозаранку, оправдались: так и есть, забыл закрыть автомобиль на ключ, и там тотчас поселилась нечисть. Превозмогая боль в голове, он грубо вытащил бродягу из кабины, а тот никак не мог очухаться от сна и покачивался из стороны в сторону, будто пьяный.

— Ты чего здесь делаешь!? — гневно спросил бродягу Виктор.

Гноящиеся глаза старика виновато заморгали.

— Тебе кто разрешил сюда нос совать? — свирепея, продолжал напирать Виктор.

— Смотрю дверь нараспашку. Вот и прикорнул чуток, — глухо ответил старик.

— Это разве твое? Отвечай, рожа немая?! — прорычал Виктор.

Не дожидаясь ответа, он отшвырнул старика в сторону; тот не удержался на ногах, плюхнулся прямо в блевотину, оставленную нашим героем минувшей ночью. От резкого движения ушибленный локоть отозвался саднящей болью, Викторов поморщился, а потом его лицо исказила гримаса брезгливости. Кресло в кабине автомобиля, освобожденное от непрошенного постояльца, пахло мочой. Викторов нашел в бардачке тряпку, смочил ее в почти высохшей лужице и тщательно вытер сидение и спинку. Но неприятный запах, хоть и ослабел, все равно остался. Тогда Викторов подошел к лежащему бродяге, пнул его в бок и передернулся от отвращения. Бродяга тихо и коротко застонал, не предпринимая попыток подняться.

А Викторов никак не мог понять, почему он вчера не заметил на табло отсутствие бензина в баке? Почему вообще забыл закрыть автомобиль? В нем всколыхнулось ощущение, что он заблудился. И знакомая до слез улица предстала путем из ниоткуда в никуда.

— Нет, нет и еще раз нет! — вслух сказал он самому себе и даже сердито притопнул ногой. Тошнотворное чувство безысходности сразу ослабило свою хватку. Тогда Викторов мельком взглянул на восходящее солнце, пытаясь определить время, — до начала рабочего дня еще можно было часок поспать.

Олег Рябов

Девятый день

Рассказ

1

— Там тебе телеграмма на столе лежит, — это Соня, жена, кричит с кухни.
— Подожди, ничего не слышу — вода течет, дай хоть рожу-то помыть да побриться, да чаю стакан налей. Пять дней дома не был, в лесу жил.

— Алексей умер!
— Какой Алексей?
— Твой брат, Алексей.

Владимир Демидович, не домывшись, не добрившись, в трусах и майке вышел из ванной, вытирая шею, лоб, руки полотенцем, и прошел на кухню, где жена его Соня занималась своим хозяйством. Ему немного за пятьдесят, для своего возраста он просто видный мужчина: высокий, большой, ни пивного, ни стариковского брюха еще нет, густые, почти пепельного цвета волосы, крупный широкий нос, ветвистые темные брови и контрастирующие с ними щеточки светленьких коротеньких ресниц.

— В комнате на столе телеграмма. Похороны сегодня.
— Сегодня, это — хреново. Значит — уже похоронили.
— А я не могла до тебя дозвониться.
— Опять аккумулятор сел.
— Тебе же мой Коля подарил новый современный мобильный телефон, а ты все со своим старьем носишься, которым, наверное, еще Наполеон пользовался.
— Надо Лизе позвонить, жене Лешкиной.
— Подожди, сейчас я тебя накормлю, чаю попьем, а потом уж и звонить будешь.
— Скажу, что на девятый день приеду.
— Конечно. Девятый день для близких родственников самый важный день.
— Почему?
— А на девятый день Господь велит ангелам привести к нему душу усопшего для принятия решения — как с ней быть!
— Так значит он самый важный не для родственников, а для души Лешкиной?
— Ну да. Но считается, что именно в этот день все близкие родственники должны собраться вместе и вспоминать: какие добрые дела совершал усопший при жизни. Садись за стол, ешь, а потом решим, как быть. Сколько туда добираться-то, если на машине?

Рябов Олег Алексеевич родился в 1948 году в г. Горький. Окончил политехнический институт по специальности «радиоинженер». Первая публикация состоялась в 1968 году. Первая книга — повесть о войне «Письма отца» — вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году. С тех пор вышли пятнадцать книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Наш современник», «Нева», «Север» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская премия». Член Союза писателей России, российского ПЕН-центра, Национального союза библиофилов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород».

— Через Москву километров восемьсот, наверное, будет. А может, и тысячу. Ты пока разбери там мой рюкзак. Там лежат килограмм десять. Надо присолить.

Долго и молча сидел за столом в столовой комнате Владимир Демидович Павлюк, с час, наверное, ковыряя холодную картошку вилкой. Соня несколько раз заходила с кухни, молча смотрела на него и уходила.

Последние годы Павлюка буквально преследовала назойливой мухой мысль, что надо съездить в родной город, где родился, где вырос, где живут друзья детства и молодости, где учился ходить, говорить, читать, жить, любить.

Почти тридцать лет не был.

Надо съездить, чтобы пройтись по забытым, но каждый день настойчиво встающим перед глазами родным улицам, постоять на берегу Волги, вдохнуть ее воздух, ее запах, он его помнит, этот запах — забыть невозможно. Надо, не торопясь, посидеть со школьными товарищами или за чашкой кофе или за бутылкой водки, от души и сладко посмеяться, вспоминая свои детские и школьные проказы. Надо зайти в институт, в свой медицинский институт, к профессорам, которые когда-то были его однокашниками, и с ними тоже повспоминать студенческие годы, рассказать друг другу о своих успехах и победах.

Вот тут-то и вырастал тот барьер, который не позволял Павлюку ехать в город детства, который буквально запрещал ему встречаться со школьными и институтскими товарищами — нет успехов! Нет побед! Одни поражения и потери!

Младший брат, Мишка, чернобыльский ликвидатор, умер от лучевой болезни, от радиации, чуть ли не пацаном, еще в училище учился, не оставив ни детей, ни семьи, — Днепропетровский госпиталь. Почти сразу и отец с матерью сгорели от горя в течение года. Тогда в Киеве, в который непонятно зачем переехали родители на старости лет, на похоронах сначала отца, а потом и матери Павлюк и виделся со своим старшим братом Алексеем последние разы. И вот — теперь никого не осталось. Конечно, где-то есть сын Артём, но его Павлюк тоже не видел много лет, с тех пор, как развелся со своей первой женой Валентиной. Тоже уже пятнадцать лет прошло! А ведь живет он сейчас в его родном городе, и живет он в квартире бывшей первой тещи Павлюка, в той самой, на втором этаже, на балконе которой он забрасывал множество раз букетики цветов, когда еще женился.

При всем своем мужестве, при всей своей выдуманной силе воли, которой он скрытно бахвалился сам перед собой, стыдно ему было за несложившуюся жизнь. Хотя стыдиться тут нечего: честно дружил, честно любил, учился, работал, служил, оперировал, резал, пришивал, спасал, и в результате — у разбитого корыта. Даже не у корыта — у разбитого всего: судьба не сложилась. А ведь он, Павлюк, так уверен был в себе, в своих силах, в своей предначертанной дороге, что трудно понять ему было теперь, что могло все так перевернуться. И генеральские погоны, и министерские кабинеты казались ему в тридцать лет реальной частью его будущей судьбы, а сейчас они вызывали у него лишь горькую усмешку.

2

Володя Павлюк вырос в полковничьей семье: отец его был боевым офицером, прошедшим, как и положено мужчинам его поколения, всю войну. И по общественному, и по материальному положению в шестидесятые и в семидесятые он смело мог себя относить к элите общества, хотя такого разделения и не существовало — страна старалась жить дружно и не выпячивать свои болячки и достоинства. Но и спрятать их было невозможно: автомобиль «Волга» у Павлюков был, а это уже роскошь, которую себе могли позволить немногие. Точнее — иметь эту роскошь кое-кому разрешалось только с очень высокого одобрения.

В таких семьях для мальчиков и порядок, и распорядок были максимально приближены к казарменным: утвержденный режим дня висел приклеенный на стене — подъем, зарядка, обливание холодной водой, завтрак и так далее. Да и вся

личная жизнь большинства мальчиков тех лет, если вдуматься и разобраться, была строго регламентирована: чтение книг, спортивная секция и какой-нибудь кружок во Дворце пионеров — обязательны, а как факультатив еще возможны музыка, балльные танцы или английский язык. Но несмотря на лимит свободного времени, часто прорастали в мальчишеских душах семена романтики, занесенные Майн Ридом и Аркадием Гайдаром, и завязывалась пацанская школьная дружба, на всю жизнь.

Был и у Павлюка закадычный школьный друг Юрка Лалыкин. Этот друг, Юрка, появился на горизонте у Павлюка во втором классе, когда Лалыкину старшему, директору серьезного оборонного завода, дали квартиру в кэчевском доме, где жили Павлюки. Через некоторое время Володя и Юрка уже сидели в одном классе и за одной партой.

Вроде бы дружба как качество, объединяющее людей, должна чаще обращаться на схожие типажи по характеру, возрасту, целеустремлениям. Однако в жизни все происходит наоборот, и для дружбы, видимо, нередко важен фактор компенсации: толстый дружит с тонким, ленивый с энергичным, педант с разгильдяем. Да и это не обязательно. В общем — не поймешь!

Так Володя с Юркой стали друзьями не разлей вода на полтора десятка лет. И дальше бы, может, цвела и крепла дружба эта, да судьба развела. Причем они гордились этой своей дружбой, они ее лелеяли, они ее берегли.

Хотя такие взаимоотношения у ребят и не редкость, но со стороны за этим наблюдать все равно одно удовольствие. Их взаимопонимание было таким абсолютным, что совершенно разное отношение к поставленным задачам и способам решения таковых не раздражало их и даже не удивляло. Если для Володи важен был результат, и для его достижения он мог пожертвовать почти всем, а потерять лицо, а с этим как бы и честь, было недопустимой роскошью, то Юрка, при всех его способностях, уме, талантах, был пофигистом и фаталистом.

Как-то раз, в пятом классе, Володя с гордостью сообщил Юрке, что во Дворце пионеров, куда он ходил в кружок фотографии, состоится городской конкурс, и отобрали для участия у него, Павлюка, на конкурс пять фотографий. Юрка тут же подсуетился — взял отцовский старенький «Зоркий», отщелкал пленку, просидел вечер в затемненной ванной комнате, напечатал три фотографии увеличенного формата и принес их во Дворец пионеров на этот же конкурс. И надо же — Юркина фотография «Сосульки» заняла призовое место на городском конкурсе юных фотографов.

Чтобы столбом не стоять на школьных танцевальных вечерах, Володя стал ходить в студию балльных танцев. С учетом того, что он уже занимался в спортивной секции вольной борьбы и там у него были неплохие результаты, такое сочетание по мальчишеским понятиям было не совсем правильным. Но уже через два года Павлюка отметили специальным дипломом на городском смотре-конкурсе балльных танцев. Правда, мало кто знал, каким трудом ему эта победа досталась: он часами не вылезал из танцкласса, подговаривая своего педагога на дополнительные занятия.

Примерно в то же время Юркина модель планера, а он занимался в авиамodelьном кружке, на нескольких городских соревнованиях показала замечательные результаты, и было принято решение отправить Юрку с командой взрослых авиамodelистов в Казань на соревнования. И вот за пару дней до отъезда боролись или просто возились друзья у Юрки в комнате. Как уж там получилось, не понятно, но сел Юрка прямо на свой планер, лежавший на диване, переломив и фюзеляж, и крыло, и даже все нервюры разлетелись по комнате. Вроде бы, катастрофа, беда — накрылась поездка, только Юрка ни капельки не расстроился:

— Ну и слава богу — не хотелось мне в эту Казань ехать. И вообще надоел этот планер, давно уже хочу таймерную модель делать.

И так во всем: если Павлюк старался просчитывать все наперед и готовился заранее к решению возможных будущих проблем, то Лалыкин все пускал на самотек и радовался жизни. В девятом классе Володя Павлюк прилюдно и громогласно

брякнул, что окончит школу с медалью, и попросив родителей нанять ему репетиторов, плотно уселся за книжки. И все у него получилось, и в мединститут он поступал как медалист-льготник.

Юрка же наплевал на школьную медаль, заявив, что лучше он лишних десять раз в кино сходит. Но поступил Юрка в тот же год в тот же мединститут. Правда, готовясь уже к вступительным экзаменам, пришлось попотеть и похудеть. В общем, на первом курсе однокашники их прозвали, как чеховских героев, — «толстый и тонкий», потому как держаться они продолжали вместе.

Друзья вместе ходили на лыжах и на байдарках, ездили в пионерские лагеря и студенческие стройотряды, участвовали в школьных КВНах и институтских соревнованиях. Ну а когда пришло время и гормоны заиграли в крови, влюбились они оба. Так Юрка оказался в полной власти Валентины на ближайшие несколько лет. Валентина была первой партнершей Павлюка по бальным танцам, еще с детских лет, но заинтересовалась она долговязым Юркой и попросила Володю познакомить ее с другом. Валентина во всех студенческих компаниях, в которые попадала, негласно, но безоговорочно признавалась первейшей красавицей. Она была кокетлива, смешлива, и Юрка был от нее без ума. Сердце Володи было занято к тому времени схожим предметом, Танечкой из соседнего дома, которая была на год помладше друзей, но уже довольно уверенно стреляла глазками и играла ямочками на щеках.

Кончали институт друзья порознь: Лалыкин — педиатрический факультет, а Павлюк — военфак, на который перевелся на старших курсах из-за повышенной стипендии. Получив лейтенантские погоны и морской кортик, Володя знал, что ему почти гарантировано распределение в ЗГВ, то есть служба в Германии, но для этого требовалось жениться. Валентина и Танечка к тому времени уже окончили истфак университета. И в старших классах, и во время учебы в институте друзья со своими подружками представляли из себя такие красивые и надежные пары, что про них все говорили уже, как про женатиков. Все сокурсники и знакомые только и ждали, когда будут сыграны свадьбы. И, как обухом по голове, была для Юрки Лалыкина, да и для всех их общих друзей новость, что Володька Павлюк с Валентиной подали заявление в загс вместо Дворца бракосочетаний, чтобы не ждать очереди, и свадьба будет сыграна через неделю. Как это произошло, кто был инициатором этой свадьбы — неизвестно.

Известно, что Володькина мамаша приходила к родителям Юркиным, просила, чтобы те не пускали Юрку на «павлюковскую» свадьбу, — так боялась она, что случится скандал, драка, а может, что и похуже. Но Юркиной матери было не до павлюковских забот — Юрка как с цепи сорвался и запил, чего с ним никогда не бывало. Он был очень домашним и правильным мальчиком. А тут каждый день — до упаду! По утрам мама его теплым молоком отпаивала. Было не до свадьбы!

Спасение пришло с неожиданной стороны — Танечка, подружка Володькина, погладила Юрку по голове, поцеловала, а уже через полгода была сыграна и вторая свадьба. Гормоны — они сильнее любых правил и предрассудков. А молодые Павлюки были тогда уже в Германии, в каком-то маленьком гарнизонном городке.

3

— Не понимаю, зачем тебе идти на эти похороны? Ты с Алексеем не работал, не учился, не дружил, за всю жизнь, наверное, пять раз видел! — это жена Лалыкина, Татьяна.

Юрий Александрович Лалыкин, длинный, худой, с сигаретой в зубах, сидит у компьютера и просматривает новости.

— Ну, во-первых, в детстве, когда мы с Володькой дружили, я у Павлюков в доме почти каждый день бывал и с Алексеем, царствие ему небесное, тоже каждый день виделся. Да и в последнее время я с ним раз в полгода да сталкивался: то на улице, то в магазине. А во-вторых, я иду туда только для того, чтобы встретиться с Володькой. Я ж его уже лет десять разыскать не могу. Никто из наших, с кем мы институт кончали, не знает, где он. В социальных сетях его нет — я весь интернет обшарил. Лет пять назад

Алексей мне дал телефон Володькин, но он оказался каким-то неправильным. Знаю только, что Володька где-то в Воронеже живет. Уж на похороны-то брата он обязательно придет. Я ведь его ищу с тех пор, как по телевизору увидел: он водил Путина по ростовскому госпиталю и показывал ему наших раненных в Чечне парней. Он там тогда, по-моему, был или начальником госпиталя или главным хирургом. Я тебе говорил, но ты не помнишь. У меня прямо какая-то навязчивая идея с ним поболтать, мы же с ним столько лет дружили. Не разлей вода!

— Дружили! — передразнивает Татьяна. — Не разлей вода! Он у тебя невесту из-под носа увел, а ты — «друзья»!

— Он мне тебя оставил, а это куда больше! Ты, может быть, просто злишься, что он тебя бросил?

— Нет, ты просто плохо знаешь женщин. Это не он меня бросил, а Валентина его увела. А я не возражала, хотя и могла побороться за Володьку. И на Валентину я зла не держу, наоборот: я ей благодарна за тебя, потому что она тебя сделала мужчиной. Я имею в виду не в постельном плане, а в том, что мальчики не всегда понимают, что девочки не просто подружки. Мальчики часто на всю жизнь остаются мальчиками, а девочки превращаются... Благодаря ей ты усвоил на всю жизнь, что мы, женщины — другие, мы — не мужики, и мальчики должны с детства учиться с нами обращаться, и общаться по-особому. Володьку увидишь — приглашай его в гости.

...Вынос был из квартиры, где последние несколько лет жил Алексей Павлюк, это — на окраине города, в Нагорном микрорайоне. Двухкомнатная квартира в обычной хрущевке-пятиэтажке — ожидалось чего-то посolidнее для доктора наук, профессора, заведующего кафедрой, но Юрий вспомнил, что Алексею пришлось разменивать профессорскую четырехкомнатную сталинку, чтобы разехаться со взрослыми детьми, с которым стало уже тесно.

Середина сентября, бабье лето, еще тепло, но уже настойчиво пахнет прелыми опавшими листьями. Юрий усмехнулся про себя, что похороны стали для него чем-то обычным и привычным — наверное, это возрастное. Было много студентов, гроб вынесли из подъезда, поставили на приготовленный низенький столик, состоялся короткий митинг, говорил ректор университета, говорили преподаватели. От провожающих Юрий узнал, что Алексей Демидович скончался после инсульта на третий день в больнице. Никто из провожающих не смог ответить Юрию, почему не приехал на похороны брат Владимир. Чтобы поговорить с вдовой, пришлось ехать на кладбище, а потом и на поминки, которые были организованы в студенческом кафе.

— Спасибо, что пришел, Юра. Где Володька, мы не знаем. Звонили — не дозвонились, мобильный недоступен, послали телеграмму, — сказала вдова. — Если объявится, я ему передам, что ты его искал.

4

Юрий Александрович был хозяином небольшой сети городских аптек, и хорошие связи с руководством мединститута и больницами города делали его незаменимой фигурой в этом прибыльном бизнесе. Раз в неделю ему приходилось тратить почти целый день на проверку всех документов, договоров и счетов, связанных с работой всех своих городских точек. В такие дни он сидел у себя в маленьком служебном кабинете, который называл офисом.

Володька объявился без звонка и даже без стука: он открыл дверь и вошел.

— Ну, вот он я!

Юрий даже подскочил на месте и от неожиданности, и от радости: после похорон Алексея ему показалось, что он уже никогда не встретит друга детства. Теперь они обнялись.

— Ты чего — ни на похороны не приехал, ни сегодня не позвонил?

— А чего звонить-то? Взял да пришел! А с похоронами накладку вышла: с друзьями на рыбалку ездили, а там связи нет. Ну вот, а с тобой, хоть и на старости лет, да встретились.

— Ты знаешь, я так рад, — чуть смущаясь и в улыбке кривя рот, бормотал Юрий, уже и не веря, что он действительно рад.

— Да брось ты, не ври — ничего радостного и удивительного в нашей встрече нет. Если ты этого сейчас не понимаешь, то поймешь потом, дней через пять. Хотя обнять я тебя все равно с удовольствием обниму.

Друзья снова крепко обнялись.

— А как же дружба? — уже улыбаясь, воскликнул Юрий.

— А дружба — это такое образование, которое надо постоянно подпитывать. Как костер! А если этого не делать, то остаются только воспоминания. А они так же легко развеиваются, как пепел потухшего костра.

— Понял! Тогда садись в кресло и рассказывай. Нет — сначала скажи: чай, кофе, коньяк? Чего будем?

— Давай кофе.

— Сейчас я скомандую. — Юрий приоткрыл дверь из кабинета и непонятно кому обратился: — Девчонки, организуйте нам кофе.

— Ты здесь хозяин? — оглядывая кабинет и садясь в кресло, спросил Павлюк.

— Да-а, маленький хозяин.

— Не прибедайся! Лиза, Лешкина вдова, мне все про тебя рассказала. Ты — буржуй!

— Я вкалываю семь дней в неделю, а ты — «буржуй»!

— А буржуй и должен вкалывать. Ты же не люмпен и не рантье.

— Ладно, фиг с тобой, — буржуй. Тогда про себя Расскажи. Я же тебя искал!

— Подожди. Кофе принесут. Я вот еще закурю, раз у тебя здесь пепельница стоит.

И давай три минутки помолчим, я на тебя посмотрю. Никак не привыкну. Длинный какой-то стал да худой, очки какие-то круглые в стиле ретро.

— Да ладно тебе, я и раньше был и длинный, и худой, и в очках.

— Нет, я вчера у Лизы старый альбом с фотокарточками разглядывал: мы с тобой были красивые, а стали другими...

— Ну ладно, ты смотри и не молчи — рассказывай. Я ведь про тебя ничего не знаю. Как Валентина, как сын ваш Артём?

— Ты правда ничего не знаешь? — Павлюк на какое-то мгновение застыл и с подозрением посмотрел на Юрия.

— Абсолютно ничего! Говори!

— Ну, ты помнишь, что меня в Германию направили, — это батька, еще живой был, подсуетился. Оттуда, уже капитаном, я отправился в Афганистан. Мне подсказали, что если хочешь быстро очередные звездочки получать, надо воевать. Там я получил майора и первое ранение осколочное. Опыта набрался колоссального: и пришивал, и отрезал, и делал операции такие, какие никто в мире, по-моему, еще не делал. Восстанавливали меня после ранения в Воронеже и предложили остаться с перспективой на начальника госпиталя. Валентина в Воронеж перебралась, Артём у нас там родился.

Перспектива стать начальником гарнизонного госпиталя меня тогда не устраивала: подполковничья должность, пьянки в Доме офицеров и ревностно-недоброжелательное отношение к тем, кто занимается наукой. Решил я тогда уйти из армии, но это не так легко с партбилетом в кармане! Меня подучили: надо было креститься и начать ходить в церковь, и тогда, как человека верующего, меня сначала исключат из партии, а потом уж я уйду на гражданку. А после буду искать место. Хотя место для меня уже было.

Но тут началась эта Чечня.

Отправили меня в Ростов-на-Дону, в самый страшный госпиталь, куда наших ребятшек привозили с этой бойни. Вот тогда работы было кошмарно много. Почти год я пробыл в Ростове в командировке. Потом вернулся в Воронеж. И в первый же день в Доме офицеров подслушал разговор двух местных полковников: один другому говорит, что все, мол, проблемы с московской генеральской комиссией мы через Валентинку Павлюк решим, в постели она чудеса творит: «ебется классно»!

Разбил я морду тогда этому полковнику, да перестарался: гауптвахта, суд, снова

капитанские погоны. С Валькой я развелся, оставил ей все в Воронеже и укатил назад в Ростов пацанов наших несчастных спасать. Она, я знаю, вышла замуж за узбека какого-то, который сейчас чуть ли не главным архитектором в Ташкенте. А может, и путаю я чего-то. Артёмку она отправила к теще, сюда, к нам... Никак не отвыкну этот город своим называть.

В отставку я майором ушел, уже снова в Воронеже. Живу с женщиной — ну, мы с ней расписались, официально жена она моя, но я как-то к этому... Не знаю! У нее взрослый сын, он отдельно живет, у нас с ним хорошие отношения. Работаю врачом в МЧС — в основном пожары и автомобильные катастрофы: в головешках швыряюсь да дверки у иномарок пилю.

Молоденькая кокетливая девушка в коротком голубом фирменном халате принесла поднос с кофе и какими-то печенюшками.

— Ты когда приехал-то?

— Позавчера.

— На своей машине?

— Да, у меня пятилетняя «Лада-Калина». Я пораньше выехал, ехал не торопясь, около Вязников отдохнул, белых грибов насобирал коробку целую, штук пятьдесят. Я их уже замариновал и Лизе, вдове Лёшкиной, оставил. Себе завтра еще наберу, по пути встану на пару часиков, классное место нашел.

— Так девятый-то день вчера был?

— Да.

— А домой завтра?

— Наверное. Еще не решил. Скорее всего.

— А вчера чего не зашел?

— Грибы мариновал. Ну, еще...

Павлюк в два глотка выпил кофе, потер виски и, уставившись в пол, на минуту замолк и задумался.

— Да ладно! — он как-то криво и кисло улыбнулся, посмотрев на друга детства. — Вчера после поминок, в смысле после поминального обеда, решил я найти Артёма, сына своего. Алексей последний раз по телефону мне говорил, что лет пять тому назад он давал взаймы Артёму какие-то деньги на бизнес, но у того все развалилось, и больше они не встречались и не созванивались. Так вот, — Павлюк закурил, глубоко затянулся несколько раз и продолжил, — съездил я в дом нашего детства, нашел там кого-то, кто меня еще помнит. Артём жил с какой-то женщиной, год назад он квартиру продал и переехал в Афонино, это деревня недалеко от города — ты должен знать. Я поехал туда, нашел дом Артёмкин, соседи мне сказали, что он умер полгода назад. Хвалили его, говорили, что правильный и отзывчивый мужчина был. Но я понял, что там был тупой передоз. Сходил на кладбище — могилка с крестиком, свежая, аккуратненькая.

Друзья замолчали.

— Печально все это, — вполголоса, почти сквозь зубы пробормотал Юрий и тоже закурил. — Но ты все же приезжай вечером к нам домой, по рюмке выпьем, потремлемся.

— Юрка, — Павлюк раскинул руки и даже привстал, а в расплывшейся улыбке его были уже теперь и горечь, и злоба, — да ты смеешься. Или ты ничего вообще не понимаешь, что сейчас происходит? У тебя служебная машина с водителем, договор с частным охранным агентством на оказание услуг, дом где-нибудь в Черногории на море, открытая шенгенская виза! Ты и на охоту-то едешь на Алтай, а может, даже в Африку. А я? Ты помнишь, у Чехова рассказ «Толстый и тонкий»? Так вот мы с тобой сегодня — это Чехов. Грустно все это. Там у Чехова, помнится, кто-то был ошеломлен встречей. Так вот меня жизнь так ошеломила за всю мою жизнь и столько раз, что я не знаю, как дальше жить. А к тебе я не пойду: это что же я целый вечер буду слушать про ваших детей и внуков? И не приглашай — это нечестно! Я только обнять тебя могу на прощание. Танюшке кланяйся, скажи, что я люблю ее до сих пор. И любил всегда!

Екатерина Поспелова

Биба и Чайковский

Арабески в миноре и в мажоре

Унесенные ветром имена

Год назад у меня училась девушка по имени Соня. Она была очень тихая, нервная и застенчивая. Мы с ней быстро одолели несложные пьески из «Школы Николаева», и я вознамерилась ей задать что-то из «Альбома для юношества» Шумана. Чтобы не утруждать семейство Сони покупкой сборника, я предложила прислать ей ноты по интернету.

— Только меня в ФБ зовут не Соня, а Марина, — тихо сказала она.

— А почему так? — спросила я.

Ответ был странный: ну, просто ей нравится быть Соней в жизни, а Мариной в интернете.

Ну, Марина так Марина, подумала я, какая разница? Спросила я ее еще — где она живет. Ну, в районе Поварской, сказала Соня, и я не стала приставать дальше. Скан пьесок послала, как и обещала. Попрощалась, потому что Сониная-Маринина семья уезжала из России.

И тут, из-за Поварской ли или из-за двойного имени, на меня нахлынули воспоминания.

Я начинала учиться в Гнесинской школе, когда она еще была на улице Воровского. Парадный подъезд с элегантным угловым крыльцом и высоченной деревянной тяжелой дверью приветствовал нас с папой, когда он приводил меня сюда, закутанную и с папкой нот, от метро «Арбатская».

Папа всегда очень торопился и, передав меня на попечение внимательной гардеробщицы, убегал к себе на работу. Иногда он прихватывал с собой, вместо того чтобы оставить мне, мешочек с моими сменными туфлями. Просто на занятиях это иногда бывало кстати — дуло из разохшихся старинных дверей, и было холодно. Но как-то он забыл мою сменку и перед зачетом, и я вышла в роскошный Гнесинский зал играть «Клоунов» Кабалевского, менуэт Баха, сонатину и этюд в таком виде: белый

Поспелова Екатерина родилась в Москве в семье известных филологов и искусствоведов. По профессии музыкант и режиссер: окончила училище при Московской консерватории по классу фортепиано и режиссерский факультет Театрального училища им. Щукина. Поставила в Москве и Петрозаводске несколько музыкальных спектаклей по собственным либретто, преподает, занимается переводами опер, пишет рассказы и пьесы, которые публиковались в литературных и музыкальных журналах и сборниках. Лауреат премии «Золотая маска» 2016 года за спектакль Пермского театра оперы и балета «Дедушка Лир, или Путешествие в страну Джамблей».

бант, красивое платье, а ниже — рейтузы с начёсом и валенки с калошами. Под валенки педагоги заботливо подставили скамеечку — детские ноги не дотягивались до пола.

Это было потом предметом темпераментных звонков из родительского комитета моей маме и, боюсь, парочки нотаций бедненькому папе.

Между «специальностью» и сольфеджио мы сидели за огромным старорежимным овальным столом, от которого взбегала вверх великолепная мраморная лестница. В середине ее пробега, как бы в паузе, стоял аквариум с рыбками, за которыми следил сам директор. Он был, кажется, чуть-чуть выпивающий и поэтому сентиментальный. Покормит-покормит рыбок — и стоит, любитесь, а из-под добрых черепаховых очков — слёзы.

Как-то мы нацедили в аквариум чернил из авторучек (злые дети), и тогда директор заплакал по-настоящему. До сих пор горло сводит спазмом стыда при воспоминании об этой злой шалости.

То ли оттого, что родителям было удобнее забирать меня попозже, то ли и впрямь из-за моих способностей, меня отдали еще и в класс композиции, занятия в котором проводились позже всех прочих, то есть начинались где-то около шести.

Малышню всю тогда уводили мамы, протрепавшись перед этим, при уже одетых и мающихся в шарфах под подбородками детях, минут 40, а я входила в класс, полный «взрослых», где стоял черный, бликующий от хрустальных ламп рояль и преподавал детский композитор И.В.Якушенко.

Я особенно любила класс композиции не за то, что мне там удалось как-то преуспеть, а за его удивительную домашнюю обстановку. Например, там можно было снять мои колючие рейтузы и валенки и залезть в колготках под рояль, сотрясаемый сверху аккордами и мелодиями — сочинениями старших по классу мальчиков.

Под роялем Игорь Васильевич предупредительно стелил какое-то покрывало и клал несколько обитых поролоном и бордовым рваным дерматином «подушек» — для высоты. Там была полутьма, и оттуда сверкали черные глаза Лены Поликарповой, девочки моего возраста, брюнетки, единственной, кроме меня, «композиторши» в этом классе.

Я пыталась завязать знакомство, но она по-взрослому прикладывала палец к строгим губам, призывая меня слушать пассакалию Жени Зайделя или элегию Миши Ташкова, которые лились и бухали над нашими головами.

Как-то раз я заявила к И.В. в класс и обнаружила Ленку за роялем. Скамеечки под ногами не было, и Ленкины ноги в сапожках смешно болтались в воздухе.

— Вот, обратите внимание, — мягко сказал интеллигентный И.В., — человек написал произведение. Называется «Военная fuga»! Пожалуйста, Е л е н а.

Ленка глубоко вдохнула носом, выпятила пузико и заиграла. «Военную fuga».

Дома я два часа приставала к старшему брату с просьбой объяснить мне — что такое «fuga». Он отлынивал — кажется, сам не знал.

— Зачем тебе? — спрашивал он.

Я объясняла. Петька с помощью папы погружался в словарь музыкальных терминов.

— В общем, fuga, — говорил он наконец и читал что-то непонятное.

— В общем, fuga, — сказал в тон ему папа, — это такое произведение, где один голос имитирует другой, словно «бежит» за ним, от итальянского слова *Fuggere* — бежать... — Потом помолчал и добавил с удивлением: — Но «военная fuga» — это просто талантливо, скажи, Машк? (Это — маме.) Как ее зовут — Лена? (Это — мне.)

Дальше я не давала жить родителям и брату, требуя, чтобы они сообщили мне еще какую-нибудь заковыристую музыкальную форму, в которой я могла бы посостязаться с Ленкой Поликарповой. В результате на следующий урок я принесла две пьесы — «Вальс клопов» и «Похоронный марш пограничника» — и сонату ф-мажор.

Успех был ошеломительный. Женя, Миша и И.В. хлопали. Но меня интересовало только — что думает Ленка Поликарпова под роялем. Несколько раз я не удерживалась

и в момент обсуждения заглядывала под рояль. Оттуда сияли два черных жгучих глаза. Но было тихо.

Следующие два года прошли в упорном соревновании, но такого драйва, как с фугой и сонатой, уже не было. Лена написала несколько «листочков из альбома», я — дюжину прелюдий. И.В. не мог на нас нарадоваться.

Надо сказать, он прекрасно все объяснял. Помню, рассказывал — что такое трехчастная форма:

— Вот сидишь ты дома. Тебе хорошо, тут цветочки, тут собачки, тут бабушка (родителей он не упоминал, подозревая, что у Ленки нет отца). Это часть А. Но тебя тянет в странствия! Ты пускаешься в путешествие, восходишь на горы, испытываешь опасности, но в страшный миг вспоминаешь о своем доме. Это разработка, или часть В. И вот, наконец, ты возвращаешься обратно — там все то же: цветочки, собачки, но сам ты уже изменился, благодаря пережитому. Реприза, часть А'.

Мы с Ленкой слушали во все уши и добавляли к темам репризы какие-то фактурные завитки и украшения.

Через года два мы подружились так, что нас водой было не разлить. Она приносила мне сладости бабушкиного изготовления, я провожала ее до самой двери (она жила в Медвежьем переулке, рядом со школой). Как-то раз мы попали под дождь, промокли и еле добежали до Ленкиного подъезда.

— Погоди, — неуверенно сказала Ленка, — я пойду спрошу у бабушки: можно ли тебя пригласить...

«Ничего себе», — подумала я и приникла к открытому, несмотря на дождь, окну рядом с подъездной дверью, за которым помещалась Ленкина кухня.

— Ба, — слышно было оттуда, — можно я Катю Поспелову позову домой? Мы промокли.

— Катю Поспелову? — послышался контральтовый с металлом голос. — А у нее родители интеллигентные?

Дальше Ленка страшно зашептала и зашикала, кажется, понимая, что я подслушиваю, и через минуту выбежала и позвала меня. Пока мы проходили двойную скрипучую дверь подъезда, я придумывала, как сразить бабушку. Первая мысль была — вспомнить все самые непонятные корешки книг, стоявших у родителей на полках — «Герменевтика», «Семиотика», «Тартуский сборник», «Архипелаг ГУЛАГ»... — и сыпать только этими словами. Но, увидев выросшую в дверях величественную даму в сиреновом, с камеей на воротнике, решила поменять тактику.

Мои родители в то время дружили с вернувшимся из лагерей писателем Синявским, а он их приглашал на какие-то кухонные посиделки интеллигенции, где на батарее сидел сам Высоцкий и пел блатные песни. И вот, переодетая во все Ленкино, сухое, я шпарила бабушке текстами из этих песен:

А тот, кто раньше с нею был,
он это дело заварил вполне серьезно,
вполне серьезно:
Мне кто-то на плечи повис,
Валюха крикнул: берегись,
Валюха крикнул: берегись, — но было поздно...

Но бабушка оказалась с чувством юмора. После строчки «В тазу лежат четыре зуба» она накрыла мою ладонь красивой рукой, украшенной кольцами, и сказала:

— Катюша, вы, говорят, пишете сонаты. Расскажите о них. Или о том, каких вы любите композиторов.

— Ну, Чайковского, — сказала я басом. — Там в Щелкунчике есть такое адажио:

Кто сбондил мамин кошелёк,
кошелёк,
кошелёк?..

— Ну, пожалуйста, — попросила еще раз бабушка, очаровательно и примирительно улыбаясь. Ленка была в тихом восторге и сияла на меня черными благодарными глазами.

Потом школу перевели в Фили, потому что старую Гнесинку закрыли на ремонт, и мы с Ленкой ездили вместе в метро.

Ездили нарочно до конечной, «Молодёжной», и там пригибались пониже, чтоб нас не видно было с платформы. Все остальные пассажиры выходили, поезд гасил свет и уходил на «разворот» (в последний вагон садился другой машинист). Минуты четыре мы с Ленкой были полновластными хозяйками пустого померкшего вагона. По стенам пробегали огни и тени, а мы, бросив наши папки с сольфеджио, Черни-Гермером и собственными сочинениями, бегали в ботинках по сиденьям, висели ногами на поручнях и перепрыгивали со скамейки на скамейку с криками: «Бааах — БуззззОни!»

Как-то раз, в последний момент перед уходом поезда в депо, я увидела заспавшегося дядьку с ушанке. Нам компания была совершенно не нужна, и я потормошила спящего, крикнув зычно: «Гражданин! Конечная!» Гражданин проснулся и выбежал, оставив в вагоне ушанку. Мне стало жаль бедолагиной шапки, и я выкинула ее в уже закрывающиеся двери — под ноги вышедшему пьянчужке.

Форменная женщина в красной шапочке на платформе, проверяющая состав, увидела, как из вагона вылетела ушанка и никто не вышел следом, решила, что это странно, и вызвала милицию. Когда мы с Ленкой ехали обратно, она повисла на поручнях вниз головой, рейтузами под коленкой попала в щель кронштейна и висела, отчаянно вопя, сверкая черными глазами и моля меня о помощи, а поезд уже зажигал электричество и выезжал на платформу, к толпе ожидающих пассажиров, — а против нашей двери стояли милиционер и еще кто-то.

Но в кутузку нас, двух отроковиц, не загребли, даже родителям никто не позвонил, и мы, хохоча, мокрые от пережитого приключения, поехали домой: я на «Киевскую», она — на «Арбатскую».

В школе мы с Ленкой не раз соперничали: кто труднее произведение выучит. Она — концерт Генделя, я — концерт Баха, она — концертино Шостаковича, я — экспромт Шуберта.

В какой-то момент я перестала следить за ее успехами. Но не она. На хоре манила меня пальцем и, сверкая черными глазами, шептала:

— Знаешь, когда ты играла Es-Dur-ный экспромт, я опоздала на зачет и стояла в дверях рядом с директором. Он расплакался и повторял: «Девочка — лирик, девочка — поэт!»

— Да? Смешно, — говорила я, втайне благодарная ей.

В двенадцать лет я сочинила «Концерт для двух роялей». До-минор. В стиле Баха. Для себя и для Ленки. Ну, то есть, чтоб Ленка играла со мной. Ленку тогда не отобрали на концерт в зале Союза композиторов, а меня отобрали.

Мы репетировали, взяв ключи от класса. Нас выгоняли, но Ленка, играющая не главную, а вторую партию, раздражалась моей безответственностью, требуя повторить, поработать над ансамблем и прочая. Но накануне концерта она заболела. Бабушка с камеей позвонила маме и потерянным голосом сказала, что у Лены тридцать девять и пять, грипп, и концерт для двух роялей не состоится.

— Вот и классно, — сказала я, — ничего не будем играть, у меня и так медвежья болезнь уже вторые сутки.

Но И.В. предложил сыграть мою старую сонату — без Ленки.

В застекленном холле Союза композиторов я страдала, сонату — без подготовки — играла кое-как. Мама грела мне руки, папа, памятуя о прежних провинностях, топтался, предлагая парадные туфли из пакетика. Как вдруг дверь на морозную улицу открылась, и Ленкина бабушка в высокой шапке и элегантном пальто ввела закутанную и совершенно больную на вид Ленку.

— Боже мой, Дарья Митрофанна, зачем такие жертвы? — залепетала моя мама. — Леночке надо вылежать!

Но Д.М. изгибом властных бровей отвергла все эти возражения.

— Будут играть!

Мы играли. В зале было человек 30, но хлоп-хлоп после нашего выступления стоял оглушительный. И кто-то подарил мне цветы (подозреваю, купленные Ленкиной бабушкой).

Потом И.В. уволился, и композиторский класс мы обе забросили — надо было готовиться по фортепиано к поступлению в училище. Родители мои страдали, что я не сочиняю, но старший брат Петр сказал, что «этому эпигонству» пора положить конец и что теперь надо сочинять «конкретную музыку» в стиле, кажется, Пендеревского.

У нас в комнате стояла установка из подвешенных на лесках лыжных палок, пары тазов с ручками и папиных резиновых сапог. На них Петя играл свою «Первую симфонию». Рояль тоже был «приготовлен», то есть струны были прослоены папиросной бумагой, молоточки истыканы кнопками, а к педали крепилась сложная конструкция, приводившая в движение несколько жестянок и банок.

Помню, третья часть симфонии называлась «И вот я проснулся». Проснуться от этой музыки действительно хотелось поскорей.

Друг нашей семьи художник Ю.С.Злотников преданно любил мою детскую сонату f-dur и как-то в разгар пирушки позвонил по телефону своему приятелю, замечательному пианисту Алексею Любимову, и заставил его выслушать в трубку всю эту сонату. Любимов отозвался вежливо-положительно, и этому детскому моему фиговому опусу было присвоено имя «На пробуждение Любимова», а Ю.С. смешно показывал, как замечательный аутентичный пианист слушает мою сонату по телефону, поднятый с кровати и потирающий одну босую ногу о другую.

Короче, стыд и позор...

А потом мы с Ленкой вообще перестали общаться. То ли у нее был «академ», то ли в ее семье что-то случилось, но в последних классах школы я ее не помню. А в училище, когда я глядела на списки поступивших, меня вдруг кольнуло: «Ольга Поликарпова». Но ведь Ольга, а не Елена!

В день сбора первокурсников, перед отъездом в Клин на посвящение в студенты, я вдруг, как князь Мышкин, почувствовала чьи-то «глаза», устремленные на меня. «Хе-хе! Чьи ж это были глаза-то?» — вспомнила я из Рогожина.

На первом же уроке у Блюма я замерла. Он спросил:

— Простите, тут неясность. Вы Елена или Ольга?

И ее, Ленкин, голос с последней парты произнес:

— Ольга, Ольга, все правильно.

Почему она сменила имя, так и осталось загадкой. Зачем быть в школе Еленой, а в училище Ольгой — как моя ученица Соня-Марина?

Я не очень много проводила с ней времени. Так: «привет — пока». У меня появились три новые звонкие, изумительно способные подруги-хохотушки: Ирка П., Нина и Маша. Мы лучше всех писали диктанты, громче всех смеялись, изобретательнее всех шутили и прогуливали НВП. Мы колобродили с девчонками из общежития, где кутежи и пьянство процветали уже с таких ранних лет.

Ленка-Олька, видимо, долго мучилась, но как-то раз решила все же провести с нами вечерок в общежитии и напросилась.

— Да о чем ты говоришь, Олюня! — сказала ей опытная и ласковая Люда П. — Конечно, приходи! Мы вот тут купили пол-литра, а нести некому, рук не хватает. Возьмешь?

Ленка (Олька) покраснела, как рак. Она такую гадость в руках никогда не держала.

— Ладно, завернешь в газетку, коли стесняешься, — сказала понятливая Люда и сноровисто сделала ей длинный «тубус» из газеты — словно человек чертежи какие несет.

Но вот беда: на перекрестке, куда Оля-Лена, трепеща, вышла со своей неприличной ношей, кто-то грубо толкнул ее, поллитровка выскользнула у нее из рук и разбилась.

Вот представьте: шумный перекресток у ТАСС, на котором почти каждый второй — из училища, невинная Ольга Поликарпова, а у ее ног — позорная разбившаяся бутылка водки!

И все. Больше ничего не помню про Ленку-Ольку, кроме ее сверкающих с последней парты глаз, когда я что-то азартное и дурацкое шепчу на ухо Ирке П., покончив с заданием. Это было ухарство такое: сдал диктант — веди себя как можно наглее.

Ничего не знаю ни про ее бабушку, ни про то, кто сейчас живет в квартире с тяжелой парадной дверью в Медвежьем переулке...

— Жаль, что вы съезжаете, Поварская сейчас иная, но там дивные памятные места, — говорю на последнем уроке своей ученице Соне. — А куда вы едете? Ах, да, в Калифорнию!

И я закрываю за Соней-Мариной дверь, положив в сумочку гонорар за урок. Через неделю, уже из Калифорнии, мне приходит письмо в «личку» с приложением: «Катечка (так меня зовут некоторые ученики), мы на месте. Тут непривычно, но красиво. Когда обживемся, я Вам напишу. Может быть, можно заниматься по скайпу? Мама Вас благодарит за меня и посылает взамен Ваших вот эти детские ноты — вдруг понадобятся?»

Я смотрю сквозь очки, не такие черепаховые, как у директора, но слезы катятся похожие: скан какого-то детского произведения. Ре-мажор. Екатерина Поспелова. «Вальс клопов».

Глеб Геннадьевич выходит в астрал

Хороших родителей важно слушаться в детстве. А в юности — не слушаться.

Родители устроили нам с первым мужем поездку в Париж летом после свадьбы. Все оформили, купили билеты, отстояли очередь за валютой где-то на улице «Правды» (по 67 рублей доллар) и сговорились, где мы остановимся. В Париже жила старенькая вдова моего троюродного белоэмигрантского дедушки, польская еврейка из Лодзи, уехавшая еще задолго до войны от польского антисемитизма. Сам дедушка работал всю жизнь маляром на каком-то предприятии у богатого еврея. Тот уехал в Америку от немцев и на время войны поручил свой чудесный дом дедушке, а потом — просто подарил, за то что дедушка сберег его какие-то дела.

Вот туда-то мы и должны были попасть через сколько-то там часов в поезде. Но не тут-то было!

Как только растроганные лица всех родителей (а они очень подружились) с «синими платочками» уплыли налево, неотвратимо появился демон-искуситель и рассказал нам, что мы можем выходить где нам заблагорассудится, компостируя билет, а потом, по этому же билету, продолжать поездку.

— Ууух! — сказали мы и стали строить планы.

В результате мы сошли уже в Варшаве и провели два дня у знакомых в частном доме. Дядя Анджей был антифашистом и когда-то, во времена Варшавского восстания (про это есть фильм у Вайды), бежал по канализационному коллектору. Тетя Анна работала архитектором, как и муж, а с сыном Янеком мы тусили напропалую, удивляясь — как это он говорит продавцу хот-догов: «Подюжее» — про кетчуп: это так свободно выглядело, по-европейски.

Потом мы сели в электричку и с пьяными поляками, в разговорах, доехали до Берлина, где жил знакомый отца моего мужа, профессор-славист. На первый взгляд он был просто душка, сгреб меня в охапку, как родную дочь, но на второй день оказался страшным гадом: 16 раз поставил мне на вид, что я не завинтила тюбик с пастой, переставила какие-то баночки, пережарила бекон и что-то еще. К тому же за завтраком он, чавкая, объявил, что Аверинцев — дутая величина (по сравнению, наверное, с ним), и, как говорил потом другой мой муж, «не обошлось без каденции про жидов».

Когда его соседка, совершенно простая фрау, не славист, принесла ему ключики перед отъездом в отпуск, он ей что-то долго быстро говорил, хохоча и показывая на нас (по-моему, на тему: лучше ли татар незваные гости), потому что фрау вдруг просто и радушно предложила нам ехать с ними на машине в отпуск. Наш хозяин был в восторге, а мы — в еще большем!

И вот мы оказались уже не по пути следования поезда, а на много-много кэме «левее», в очаровательном домике, утопающем в цветах, среди коров и оленей, где-то под городом Росток. Там нам выдали велосипеды, и мы уезжали на весь день, позавтракав йогуртами (не как у нас в Москве, а такими пол-литровыми, с огромными кусками фруктов, утопленными в божественно-сиреневом). Я все просила дать нам замки для великов, ведь мы ж должны были их оставлять где-то, но фрау Мари только смеялась переливчато и отмахивалась. Мы оставляли велосипеды на ближайшей станции и на поезде за копейки уезжали в Грайсвальд, Штральзунд и Любек, смотрели там готику из красного кирпича и просто целовались. Потом приезжаем вечером — под деревцем стоят «unsere Fahrgaderchen»¹, как умиленно говорил муж, — и в закатных лучах едем домой, увертываясь от зайцев.

Тогда у нас и возник этот мем: «Глеб Геннадьич выходит в астрал». Это значило: доведись сейчас моему папе увидеть, где мы и что мы... Мобильников-то не было, а мы только из Варшавы сообщили, что побудем там немного.

Потом Глеб Геннадьич ходил в этот астрал, как на работу.

Через два дня мы, расцеловав, как родных, наших хозяев, оказались в Гамбурге, где нам пересчитали дорогу «Берлин — Париж» на «Гамбург — Париж» да еще и денег вернули!

Купе было удивительное — восемь полок, причем не плоских таких скученьких, а цветных пластиковых и изогнутых под форму задниц и ног. Немножко было похоже, как если бы Сальвадору Дали заказали детскую для восьми детей, а он расплавил бы ее, как свои часы-яичницу. Больше никогда в жизни таких купе не видала.

Бабушка в Париже встретила нас стоически и без упреков — наверное, астрал что-то нашептал папе, и он позвонил, чтоб она особо нас не ждала. О том, что все волнуются, мы не очень-то задумывались в нашем счастье. А потом она и вовсе уехала к детям в Бретань, и мы были во всем доме одни. Я играла на рояле, а ёжики заходили прямо в комнату — слушать.

Позднее нас переманила к себе Мария Васильевна Розанова, и мы переехали в другой пригород, к ней и Синявскому. Вот это было житье! Сначала М.В. нас третиговала как мелюзгу и занималась только журналистами, которые снимали фильм о Синявском и жили, конечно же, тоже у нее. Дураки они были ужасные — ничего не придумали лучше, чем тащить А.Д. на Трокадеро и снимать на фоне Тур-Эфеля (дескать, Париж).

Я как-то сказала: «Вот вы, Мария Васильевна, все с ними да с ними, а мы, между прочим, очень тонкие и глубокие люди». Она глянула из-под очков: «Да-а-а? Это мы поглядим!» Но через два дня телевизионщики ей надоели, и она стала необыкновенно нежно опекать и любить нас. Кормила, рассказывала что-то невероятное про еду, ксерокопировала нам карты, говорила, куда ходить и ездить.

Почему-то у нее, искусствоведа, было предубеждение против Лувра.

— В Лувр ходят одни жлобы, — сказала она.

Мы все-таки ходили, но тайно. А с ее подачи были в музее механической музыки. Там демонстрировались всякие шарманки и автоматы разной сложности: например, бросаешь денежку в картину, а на ней курица бегает, кюре грозит мальчонке Библией, а на заднем плане — корабль плывет. Ну, и сидел целый негритянский диксиленд — заводные куклы. Не говоря о шкатулочках, играющих Марсельезу и вальс из фильма «Доктор Зиваго».

¹ Наши велосипедки (нем.).

Затем мой папа вышел в астрал в зоопарке-сафари Туари, где слоны и антилопы боками толкали нашу машину, а медведь чуть не полез к нам в салон за моим бутербродом. Так и помню его синие когти в двадцати сантиметрах от моего носа за стеклом. Слава богу, водитель ударил по газам, оставив голодного мишку смотреть нам вслед...

Молодой парень — фальцовщик антисоветского журнала «Синтаксис», который издавала М.В., ушел в отпуск, и мы работали вместо него — фальцевали. М.В. нам за это платила (!!!), несмотря на вопли моей мамы по телефону: «Марья, прекратите эту филантропию!».

Мы ходили в какие-то кривые невиданные ресторанчики, где на полу спали собаки, вокруг бегали дети, а супруги, китаец с китайночкой, миниатюрные, как подростки, отлично знали, что ест Синявский, и подавали ему не меню с драконами, как нам троим, а прямо сразу миску с баландой, напоминающей ту, что он ел в мордовских лагерях. «От добра добра не ищут», — говорил Андрей Донатович и дрожащей паркинсоновой рукой протягивал мне через стол попробовать какую-то клёцку в ложке. А потом вторую — мужу. Мы вытягивали губы, проглатывали и очень хвалили. Сами-то мы с М.В. изошрялись в выборе.

Потом мы решили еще испытать уже успокоившегося было Глеб Геннадьича и уехали к океану автостопом. Тут инициатива была моя — муж хотел ночевать в отелях или в «оберж де жёне»¹, но я — только в спальном мешке в стогах среди полей. Ну, меня ж не одолеешь, особенно влюбленному молодожу, — и мы в три приема (Руан-Кан-Трувиль) приехали на Атлантическое побережье.

Кто нас только не вез! Какие только автомобили мы не останавливали! Если нас никто не подбирал, мы обзывали промахивавшую мимо машину именем французского какого-нибудь поэта или композитора и ругали его творчество. Взял нас в результате Андре Жид. (Не читала вообще.)

Один раз смертельно испугали негра: он не мог понять, почему нам не в сам Кан, а «не доезжая», а я не могла вспомнить, как по-французски «поля». Потом всплыла вдруг в уме песенка «О-о, шан-з-элизе», и я закричала: «Дан ле шан!» Негр испугался, что мы его в этих самых полях — монтировкой по башке, и остановил у ближайшей бензоколонки...

А стога, надо сказать, в Европе неподходящие для спанья совсем — это такие спрессованные брикетки. Мы, засыпая на ходу, целый час дергали из них сено, чтоб не прямо на стерне заночевать в наших «сак а куше».

Еще один португалец сказал, что ему не в Руан, а ближе, но, узнав, что мы из «л'юэрэсэ» (Советского Союза), воскликнул: «О-ля-ля!» — и проехал лишние 40 километров!

А через два дня очередной Дебюсси высадил нас на пригорочке, за которым ничего не было — только синь, голубизна, розовость, мреяние, переливы, запах, крики каких-то не видных в солнечном мареве птиц — и все.

— Глеб Геннадьич... — начал муж.

— Молчи-молчи, — сказала я.

И мы так простояли полчаса с рюкзаками, сваленными у ног...

Орфоэпическое

Наша мамочка говорит по-старомосковски: греШневая, булоШная, редкЫй, доЩЩ, дЪверь, подпрыГовать — и т.д. Иногда поправляет меня строго. Вот диалог сегодня.

Я: Мам, твой сын Петя сказал, что он построит на даче двухэтажный сарай!

¹ Молодежный хостел (фр.).

Мама: Зачем двухэтажный?

Я: Ну, сказал: внизу грабли, лопаты и велосипеды, а наверху — поёбочная для молодёжи!

Мама (строго): ПоёбоШная!

Биба и Чайковский

У нас с братом с ранней юности (а у меня так просто с детства) есть прекрасный товарищ, Игорь Зубков.

Игорь и Петька учились вместе на теоретическом в Мерзляковке, а потом чуть-чуть в консерватории, пока один не пошел в армию, а другого не выгнали. Оканчивали демобилизованный и восстановленный уже на разных курсах, но дружили по-прежнему.

Летом 80-го года, когда всех вытурили из Москвы из-за Олимпиады, мы жили втроем у нас на даче, и там, не помню как, к Игорю прилипло прозвище «Биба», под которым он тут и будет, хотя, кроме нас с Петей, кажется, никто его так не называет.

Биба с самого первого курса поражал всех джазовыми импровизациями. Любую тему дай — и вот он уже сидит и наяривает, левая рука скачет, ловко подхватывая скользкие басы, правая искрит пассажами, нога бьет по полу пяткой, при этом урывками он напевает или просто «кусает воздух» в такт азартному ритму.

Когда на даче не было инструмента, Биба извлекал музыку из всяких подручных предметов — например, играл «Сурка» на чайнике для заварки. Это трудно: дунешь тихо, будет только буль-буль, а слишком — вся заварочная тюрка на физиономию выплёскивается. Но он много упражнялся, чаю извел тоже много — и научился. Звук как на валторне получался.

Потом мы как-то поехали на велосипедах купаться на Горенское озеро и по пути в магазине «Уцененные товары» города Балашихи купили за восемь копеек фанфару. Она была поцарапанная, гнутая, но Биба научился играть и на ней — несколько позывных, которые слышал из пионерского лагеря за забором.

Часа в три ночи мы, наигравшись в покер на спички, вышли на залитый луной участок, залезли на забор, и Биба со всей дури сыграл пионерам подъем — волевой квартовый ход: «Вставай, вставай, штанишки надевай!» В лагере началась паника: вожатые, не готовые к ночной тревоге, повыскакивали из палат и забегали, пионеры тоже проснулись в своих кроватках...

Наутро двое парней-вожатых, поняв источник ночной полундры, перелезли через наш забор и уже грозно шли по участку разбираться. Петька с Бибой спрятались в комнате, а парламентарями выслали меня и мою подружку Манюню, лет четырнадцать, как я. Обе были симпатичные.

Закончилось все мирно: нас попросили больше не будить пионеров, а лучше вечером приходить на танцы в клуб. Поклонились, подмигнули, в меру сально, и полезли обратно через забор.

А в училище (приближаюсь к «про Чайковского») Биба тоже часто спасался импровизациями. Например, перед выходом к роялю на экзамене по общему фортепиано оказывалось, что им не выучен этюд. Музыканты знают: стандартная программа состоит из «полифонии, сонаты, пьесы и этюда». Биба был теоретик, и педагог выучил с ним «музыкально-существенное»: Баха, Моцарта и «Листок из альбома», а этюд оставил на его, Бибы, совести.

— Зубков, ну, этюд-то ты сам выучишь, не маленький?

Биба не выучил.

Понял все уже перед дверью, прикладывая ухо — когда входить: предыдущий теоретик играл, спотыкаясь, этюд Лешгорна. На минуту Биба облился потом, но взял себя в руки и, как он сам рассказывал, «придумал фактуру». (То есть — гаммами, арпеджиями или умц-тарара, умц-тарара.)

Сыграл всю программу.

— Хорошо, — говорят, — и этюд давайте. Только вы тут не указали — какой играете?

— Черни, — сглотнув, говорит Биба.

— Из 299-го опуса или из 740-го?

— Ни то, ни другое, — говорит Биба, — это из «неизданного».

Комиссия даже проснулась: не каждый день играют «неизданного Черни».

— А где ж вы взяли ноты?

— Ну, это... в музее Глинки, в общем. Редко исполняется...

— Ну, играйте!

Биба сыграл эффектный этюд, в бешеном темпе, кажется, в D-dur, импровизируя по придуманной за десять минут до этого фактуре. В начале, правда, заробел и сбил, но ляпнул доминанту на фортиссимо — и опять сначала заиграл...))))

Педагог потом давился смехом, но прокатило.

А второй случай был — наконец с Чайковским.

На сольфеджио всей группе задали сыграть и спеть любой романс Чайковского. Есть некоторая координационная трудность в том, чтоб играть по нотам и петь одновременно, — вот на это и было задание.

— Зубков, — вредным голосом сказала сокурсница-отличница перед уроком, — надеюсь, ты выучил романс Чайковского? А то у тебя уже две двойки стоят!

Биба снова похолодел. Он не помнил про двойки и про романс тоже забыл. Что делать?

Биба отправился кое-куда покурить (тогда было можно) и там придумал... Но в этом случае уже не только фактуру, а — главное — и слова!

Надо сказать, что Чайковский иногда пользовался очень убогими виршами. Хорошие тексты даже недолюбливал. Писал часто стихи к романсам сам, и их читать просто так, без слез нельзя. И чужие тоже брал плохонькие, а первосортная поэзия Чайковскому мешала. Ну, все помнят: «Забыть так скоро, как колыхалась тихо штора в ночную пору, Боже мой» и т.д. (Действительно, ужасное предательство: про эту штору забыть...)

Но музыка у Петра Ильича потом все обволакивала и компенсировала. На это и был Бибин расчет.)))

Его, конечно же, сразу вызвали, не пришлось ждать падающего меча долго:

— Зубков, пожалуйста!

— Я, э, ноты забыл, — сказал Биба, но это не отмазка была, а желание объяснить, почему наизусть поет.

— Зубков, тут все с нотами. Попросите у кого-нибудь. Какой романс вы разучили?

— Я, э-э... его в советском издании нет, а Юргенсона в библиотеке не дают!

— Так, садитесь, Зубков, два! Что вы, как маленький, в самом деле?

— Постойте, я спою и сыграю. Наизусть!

— Задано было по нотам, но пожалуйста, играйте! Как называется романс?

— «Хотел тебе сказать»...

— Что-то не знаю такого. Может быть, «Хотел бы в единое слово»?..

— Нет, — настаивал Биба, уже спокойный и волевой, — именно «Хотел тебе сказать»!

— Играйте, прошу вас!

Биба сел и в совершеннейшем чайковском стиле, с длинным фортепианным проигрышем, в сложной многобемольной тональности, с перехлестами рук, с обилием модуляций и парой десятков тактов в заключение артистично сыграл собственный романс Чайковского. Даже сам, пока пел, растрогался, так что очки запотели, и на высокой ноте от волнения дал петуха.

Отличница-зубрилка открыла рот, Петя, знавший все, возликовал от восторга, а педагогиня была озадачена. Поставила «4»: все-таки задание было — петь по нотам.

Текст романса я помню отлично. (Письмо Татьяны предо мною.)
Вот он:

I

Хотел тебе сказать
Слова любви,
Но где теперь они?
Прошли веселья дни —
Мне лучше помолчать...

II

Хотел тебе сказать,
Мол, как прекрасна ты,
Но, как осенние цветы,
Увяли прежние мечты —
Мне лучше помолчать!

Инициация Валеры

Из всех походов в буфет обычно самым сладким был первый: утром, перед репетицией, как правило, я не успевала или не хотела есть, в перерыве буфет был закрыт, и только в два удавалось наконец припасть к чашечке кофе и к крабовому салату. (Причем я заметила: от русской музыки сильнее урчало в животе, чем от итальянской.)

И вот я поворачиваюсь от стойки, чтоб сесть за стол, и вижу, что в углу одиноко сидит наш новенький баритон Валера, высокий, красивый и очень молодой парень. Он еще никого не знал в театре, скромно ел котлету, поминутно оглядываясь на веселые компании по соседству, которые еще его не принимали.

Я подседа к нему, спросив разрешения, и мы разговорились. Кто он, откуда, где пел, какие композиторы ему нравятся. Он очаровательно улыбался, но был напряжен: ждал, когда зазвучит по радио помреж с объявлением. И вот голос над ухом произнес: «Солистов, отъезжающих в город Р., просим пройти к служебному входу». Валера раскланялся, отнес тарелки и быстро ушел.

К воротам подали микроавтобус. Туда погрузили портпледы с платьями и фраками, потом в автобус залезли две хохотушки: колоратура Наташа Ш. и меццо Маша М.; моя любимая пианистка Таня С. и Валера. Все они ехали с продуманной оперной программой в один из подмосковных городов. Дорога занимала часа два. Портпледы прицепили к какой-то штуке в середине салона, и сидящий одиноко Валера за ними спрятался, но то и дело бросал застенчивые взгляды на веселых и что-то бурно обсуждавших девушек, которые не обращали на него внимания.

Вдруг одна из них, отодвинув качающийся на вешалке фрак, закричала через шум мотора:

— Слушай, как тебя (она назвала его фамилию), ты — крепкий мужик?

— Я... крепкий. И я... Валера, — сказал Валера.

— Отлично, Валера так Валера. Ты можешь меня сегодня отнести и вынести на плече?

— Я? — Валера покраснел.

— Короче, — Наташка Ш. нетерпеливо махнула рукой, — я хочу Олимпию спеть, а она, ну, это... — кукла. Ее надо вынести, потом два раза заводить ключом, а потом унести назад, когда я сломаюсь.

— А, понял, — показывая, какой он сообразительный, отвечал Валера. — Я видел постановки...

В опере Оффенбаха «Сказки Гофмана», действительно, ученый-физик демонстрирует гостям свою дочь-гомункула — прекрасную куклу Олимпию, которая виртуозно и очень смешно поет песенку «Les Oiseaux Dans La Charmille», но два раза ломается и с протяжным стоном прерывает свое механическое пение.

— Ну, и прекрасно, — сказала Наташа выдохнув. — Ты там свои песни споешь, а потом меня вынесешь. Если даже надорвешься, ничего, ты свое уже отпел.

Валера подумал: каких комплиментов ее миниатюрности наговорил бы тут баритон Ф., но сам он пока такой прекрасной развязности не обрел — и кивнул, еще более покраснев.

— Ну, все. — Девушки опять потеряли к нему интерес.

В зимних сумерках достигли, наконец, города Р. и подъехали к какому-то серому невзрачному зданию.

— Вот, тут, — сказал шофер, виновато оглядываясь на Таню С., главную и ответственную в компании.

Певцы вышли и осмотрелись. Никаких афиш, оповещающих о приезде московских солистов, не было, вместо них висел лист бумаги с надписью «Распродажа пальто».

Никто не встречал.

Кроме того, как только они вошли в здание, послышалось равномерное и громкое «умц-умц» откуда-то снизу, как будто в подвале шла дискотека (что потом и подтвердилось). Наконец, вышел какой-то загвохлик в трениках с пузырями на коленках и сказал, что он «весь уже прям изождался» приезда оперы и просит всех идти за ним, он покажет зал и примерку.

В тоскливом, советского типа, конференц-зале у стены стояло облупленное пианино. Загвохлик и Валера с трудом выкатили его на сцену, так как у него было три колеса вместо четырех. Прекрасная Таня С., в накинутом на плечи пуховике (было холодно, и пар шел изо рта), села за пианино и взяла несколько арпеджированных красивых аккордов. Красиво не получилось, потому что пианино стукнуло и стало заваливаться на Таню, и две-три черных клавиши оторвались и полетели на пол. Валера героически бросился на помощь. Нашел какие-то чурбачки, подложил под пианинный угол. Таня хмуро достала откуда-то скотч и приклеила ля-диез и ре-бемоль на место.

— Я не первый раз в такие места езжу, — сказала она удивленному Валере.

...В темноте зала появились три-четыре старушки с сумочками и робко сели в восьмом ряду. Таня быстро «распела» Наташу и Машу, что-то поправила карандашом в программке, и все пошли переодеваться.

В момент начала концерта Таня заглянула в зал. Старушек было пять. Таня забеспокоилась и позвала того, с пузырями. Он явился и флегматично спросил:

— Что, водку уже нести?

— Какую еще водку! — внезапно закричала Таня. — К вам приехал столичный театр петь оперную музыку! А у вас черт знает какое пианино, клавиши отлетают, холодно, и даже афишу сделать не потрудились! Может, вы и время перепутали?!

— Нет, — сказал дядька в трениках, — все нормально, публика в зале.

— Ах, это публика?! — Таня потеряла дар речи. — Немедленно ведите меня к вашему директору!

Таня человек не гневливый, но тут ее проняло не на шутку, обида и возмущение душили так, что директор испугался. Он вскочил из-за стола, взял Таню за руку, просил успокоиться и обещал, что через пять минут публика будет, будет, полный зал будет!

Ничему не поверив, Таня почти в слезах вернулась за кулисы. Но вот чудо: судя по звукам из-за двери, ведущей на сцену, зал действительно стал наполняться. Гул голосов становился все гуще, причем странный какой-то был шум, не такой, как обычно слышишь из-за кулис.

Умирая от любопытства, девушки приоткрыли дверь... и обмерли, как пушкинская

Татьяна в своем сне из «Евгения Онегина»: пять старушек теснились с краешку, в ужасе прижавшись друг к другу, а на остальных местах сидели... панки. «Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой». Вот без преувеличений. С зелеными коками, бритые, в булавках и сапожищах.

Певицы и Таня обомлели. И тут только поняли, что тяжкое «умц-умц» из подвала вот уже минут пять как не умкает...

Пришел директор и радостно сказал:

— У меня, так сказать, молодежная субкультура арендует подвал под свои тусовки. Я им пошел щас и сказал: «А ну, идите все на концерт классической музыки, а то я вашу оргию позакрываю на фиг!»

Директор был страшно горд собой.

...Надо сказать, концерт прошел замечательно.

Неистовые приветственные крики раздавались тотчас же, как только декольтированные девушки показывались из-за двери, а потом — когда выходили к пианино, стоящему на чурбачках, а также при каждом жесте оголенной руки, при каждом движении и на каждую высокую ноту или пассаж.

Старушки сначала совсем испугались, а потом вдруг преподали панкам неожиданный урок, высоко поднимали руки и хлопали, как бы показывая молодежи, каким именно образом надо поощрять классических исполнителей. Панкам этот номер очень понравился, и они весь концерт старательно отбивали себе ладони.

Аплодировали почти все время.

Валеру тоже хорошо и по-мужски поприветствовали, а после спетого им грустного романса «Как мне больно» кто-то в зале сказал: «А чо, реально, я чуть не заплакал, блин».

Номер «Кошки» Россини почти провалился — панки на «мяу-мяу» в исполнении девушек стали ржать и подмывукивать так, что Таня за роялем смахивала слезы, а сопрано и меццо еле домывукали до конца.

В финале Наташка спела куклу Олимпию. Валера очень волновался в предчувствии момента, а когда он настал, снова покраснел, как мак, обхватил обеими руками Наташку за корсет и понес навстречу почти людоедскому воплю из зала. Сделал несколько вращательных движений, как бы ключом, у Наташки за спиной и артистично отступил на носках.

Наташка запела, сгибая руки лопаточками и по-кукольному крутя головой. Все выше пассажи, все тоньше рулады и колоратуры... Панки как-то кричали и почти стонали...

Наташка вдруг тревожно пискнула в третьей октаве, потом еще пискнула, скатилась на глиссандо, согнулась резко пополам, качнулась и замерла с упавшими руками, свесив белокурые локоны почти до полу.

Панки ахнули. Валера, в азарте от ответственной роли, подошел, покрутил опять воображаемый ключик у Наташки между планок корсета, насупился, сделал обреченное лицо, взял куклу-Наташку на плечо и пошел к дверям.

А та, висая через его плечо, болтая кудрями, незаметно для зала била его по спине кулаком и шипела:

— Дуррррак! Куда ты меня понёс? У меня еще каденция!

Похолодевший Валера вспомнил, что кукла ломается два раза и уносить надо после второго... Он резко повернулся, принес куклу обратно, изобразил, что он совсем забыл про какой-то дополнительный ключик, поднял палец вверх, вынул ключик из кармана, показал его панкам, под рев одобрения завел Наташку — и каденция наконец зазвучала...

В конце Наташка взяла ми-бемоль. Началась стоячая овация с криками.

После концерта и трех бисов панки попробовали было штурмовать гримуборную,

но дядька с пузырями встал насмерть, а вовремя подошедший директор ДК прогнал всех обратно на дискотеку.

ДК опять задрожал от тошного «умц-умц», старушки что-то прошелестели благодарственное, подарили всем исполнителям по маленькой шоколадке, а Таня, упав в кресло, сказала дядьке с пузырями:

— Ну, давайте уже вашу водку.

Часов в восемь мы ужинали с Таней в буфете, перед закрытием. Я закончила репетиции, Таня рассказывала мне всю эту историю, а Валера сидел, возбужденный и румяный, за соседним столиком, в окружении Наташки, Машки, теноров и баритона Ф., который, обнаружив в меню «сердце куриное», зычно пропел на весь буфет: «Сердце куриное с курями ешь, Мизгирь!».

Теперь Валера давно поет в Метрополитен и в других замечательных театрах планеты. Имя его я изменила, но шлю ему огромный и нежный привет.

Про корысть

Вот смотрю я иногда на себя с холодным вниманием и думаю: в сущности, я человек бескорыстный. А внутренний голос говорит: «Лжешь».

И впрямь. Правда, чаще корысть не задумывается мною специально, а получается сама.

Расскажу две истории.

Работала я несколько лет режиссером по вводам в театре Новая Опера. И там был один спектакль, который мне чрезвычайно нравился, а народ почему-то плохо шел на него. Некоторые мои коллеги, и даже начальство, высказывали предположение, что простую публику пугает название: «Сельская честь». Думают — это какая-то советская опера про косилки-сеялки-молотилки. Кстати, могло быть. Я даже предлагала начальству написать подзаголовок, или вот так просто назвать «Cavalleria rusticana, или Кровавая драма на Пасху». Потому что там и впрямь дело происходит на Пасху, а в конце спектакля один темпераментный корсиканец кусает за ухо другого и умирает в результате поножовщины. Начальство смеялось, но название не меняли, и зал оставался полупустым.

А спектакль был замечательный, ставил финский режиссер Карри Хейсканен, вдохновенно ставил, упруго, музыкально, напряженно, со смыслами, с чудесными находками — и солисты были чудесные.

Тогда я разослала похвалы этому спектаклю и приглашения его посетить на 56 адресов случайно взятых людей в социальной сети «Одноклассники» (тогда я ни про ВКонтакте, ни про ФБ ничего не знала). Просто вижу приличное лицо в случайной выборке тех, кто сейчас бдит перед экраном, — и посылаю. Через пару часов сайт меня заблокировал, известив, что я занимаюсь рассылкой спама. А я все совершенно бескорыстно делала! Просто — от себя!

Но еще до блокировки откликнулась, среди прочих, одна женщина, прекрасная на вид, и спросила: «А почему вы именно меня пригласили на этот спектакль?»

Я ей отвечаю (умалчивая про остальных 55): «Потому что наши теноры и баритоны лучше поют, когда видят в зале красивое лицо».

Ей, кажется, ответ понравился, и она говорит: «Я обязательно пойду. А что я могу сделать вам в ответ приятного? Я гинеколог».))))))))))))))))))

Забегая вперед, скажу: я подружилась с этой прелестной незнакомкой на года, и в гости звала, и профессиональными советами ее пользовалась, и подруг к ней посылала... Она — чудо. Кланяюсь ей тут между строк.)))

Второй случай был такой.

Моя подруга, которая вела «бегущую строку» в театре Вишневской, заболела. И просила меня ее выручить — провести эту строку. Это значит — нажимать на кнопку

в тех местах клавира, где актеры уже закончили петь немецкий или итальянский фрагмент текста, перевод которого светится на табло над залом, чтобы сменить его другим.

Я это делала редко — и волновалась. Хотя опера была «Кармен», а я ее наизусть с детства знаю — правда, в русском переводе: «Здесь тебя красotka искала, она так мила, но имя не сказала».)

И вот я ухожу в театр, а мой сосед по мастерской, художник, с работы пришел. Я ему говорю:

— Хочешь в оперу сходить со мной?

— Не, я после занятий с детьми, там заляпался маслом, потом оттирался, и у меня штаны керосином воняют, а других нет.

Я говорю:

— Не проблема, мы будем сидеть не в зале, а в специальной рубке, где никого нет, и я при этом буду работать (объяснила как).

Он страшно загорелся любопытством и согласился. По пути оказалось, что он в опере вообще никогда не был, и я заливалась соловьем всю дорогу, объясняя про оперу, излагая либретто и прочие премудрости. Он шел, затаив дыхание.

В театре мне отвели место под потолком, за сеткой — там можно было ходить, только согнувшись, а рядом, в шаге, справа и слева, стояли прожекторы, которые при модуляции в си-бемоль-мажор начинали трещать, пыхтеть и нагреваться, набирая мощность, — чтоб к переходу в фа-мажор запылать вовсю. Я их немножко побаивалась — вдруг чего рванет или перегорит...

Сама я сидела на каких-то рваных подушках от старых кресел, по-турецки, клавир лежал на стуле передо мной, лампочка — чтоб я видела текст — прикручена к стулу липучкой. Сосед сидел просто на полу рядом и благоговел.

Оказалось еще, что клавир с пометками — когда нажимать кнопочку — кто-то взял в библиотеке и не вернул, и я делала все по слуху, хотя французский знаю хреново. Пару раз налажала, но никто не заметил и помидором в меня не запустил (да и кто знал в зале, что в этой темной щели под потолком люди могут сидеть).

Был антракт, и мы спустились в буфет. Сосед так загордился причастностью к ходу спектакля, что перестал стесняться своих штанов, которые и впрямь пованивали бензином. Когда капельдинеры стали нас гнать в зал после третьего звонка и отрывать от сосиски с чаем, я ему объяснила: «Спокойно, там будет еще симфонический антракт, мы успеем», и он гордо сказал капельдинерше:

— Мы тут работаем — после симфонического антракта!

Она уважительно кивнула и ушла. А мы пошли опять на верхотуру.

Когда Хозе убил Кармен, сосед, кажется, плакал. Я не оглядывалась, потому что в финале очень важно, чтоб реплики вовремя высвечивались, но хлюпы слышала.

На пути домой, в мастерские, сосед задал мне 678539 вопросов про сюжет, инструменты, голоса, а я с удовольствием отвечала (училка же).

Простились у дверей.

Через час (я уже приняла душ и хотела спать) — стук. Сосед.

— Катя, ты не представляешь, какое счастье ты мне подарила! Чем я могу быть полезен? Я вот каждое утро купаюсь в проруби (был февраль). Хочу пригласить тебя завтра со мной в прорубь, в восемь утра, это тоже незабываемые ощущения — не как опера, но тоже совершенно незабываемые!

Дело не в берете

Многим любителям оперы давно известен бородатый анекдот про «зеленовый берет». Каждый работающий в опере человек, будь он хоть двадцати лет, рассказывает его про свой театр, дескать, у них это случилось.

Меж тем анекдоту лет сто, и было ли такое вообще — бог весть...

Так вот: говорят, что сопрано, поющее Татьяну из оперы «Евгений Онегин», в костюмерной потеряло малиновый берет и надело зеленый, а видя такое, верный реалистической традиции баритон Онегин переиначил свой вопрос и спросил: «Кто там в зеленом берете?», после чего его собеседник, бас князь Греммин, от удивления спел: «СЕСТРА моя», а педантичный и дотошный Онегин уточнил: «Так ты СЕСТРАТ? Не знал я ране» и т.д.

Но я описываю лишь случаи, которым сама была свидетельницей. И вот подумала: хоть и забавна эта старая хохма, но насколько действительно происходящее на сцене всегда смешнее бородатых анекдотов...

Итак. С беретом все было как раз хорошо, он был нужного цвета. Но именно в этом легендарном речитативе, после вопроса: «Кто там в малиновом берете?» прекрасный бас Греммин спел свою реплику: «Ага! давно ж ты не был в свете?» и, поскольку получилось складно и в рифму, счел, что уже молодец, и продолжение петь не стал.

Баритон же Онегин, чувствуя, что оркестр уходит вперед, а коллега молчит, пропел за него, изменив чуть-чуть грамматическое лицо и сократив убегающие длительности: «Позволь-ка ей представлюсь я»...

Греммину ничего не оставалось, как продолжить: «Да кто ж она?» (ему, как нянюшке, «зашибло»).

А Онегин на это — назидательно и выразительно (как бы: опомнись, «нас окружают»): «Жена ТВОЯ!»

Гремина это открытие ошеломило. Он обмер и спел реплику Онегина в недоумевающую малую секунду: «Так Я женат? Не знал я ране...»

(О, ранний «эклер»! Гремину было лет 35, как говорит литературовед Лотман.)

Тут Греммин-бас вспомнил (хоть и зря), что у баритона, чьей партией он нечаянно завладел, это не вся реплика, и, не желая повторить свою былую ошибку, страдальчески продолжил: «Давно ли?»

Онегин: (нажимая и взглядом умолая: пропадаем!): «Около двух лет!!!»

Греммин (совсем падая духом): «На ком?»

Онегин (боже мой!): «На Лариной!»

Греммин (ааааа — точно!): «Татьяне?!»

Онегин (интимным ходом вниз по терциям, вроде как: ну, парень, дал ты мне поволноваться...): «Я ей знаком...»

Греммин (слава богу, пронесло): «ТЫ ИМ сосед!!!»

Тут все вернулось на круги своя, и Греммин пошел петь вожденную залом арию в Ges-dur-e: «Любви все возрасты покорны» (дескать, и маразматика тоже).

В зале никто ничего не заметил. Заметили сами бас с баритоном, помреж, следящий по нотам, окружающие генералы и Татьяна.

Да еще я.

Арию Греммин спел странно. Пытался отвлечься от клокочущей смеси испуга, смеха и облегчения — «пережал» страшно, но некоторые любят, когда так.

Онегин все время отворачивался, как бы пораженный глубиной чувств князя, и утирал украдкой глаза — это очень даже мило было.

Татьяна мелко вздрагивала в своем кресле и пряталась за веер.

Хор стоял, нарочито мрачен и суров, чтоб не прорвалась все сметающая «бугага».

Меня, стоящую за кулисами, и помрежа никто не видел, поэтому мы катались словно в родовых муках.

Публика была в восторге.

По направлению к Дебаргу

В Доме творчества композиторов «Сортавала», на берегу прекрасного Ладожского озера, в пятидесяти километрах от Финляндии, но тем не менее в страшной глуши, среди отдыхающих музыкантов есть *дебаргонутые*.

Для тех, кто не в курсе, расшифровываю: дебаргонутые — это секта почитателей (чаще почитательниц) юного пианиста Люки Дебарга, который, несмотря на неказистую четвертую премию на прошлогоднем конкурсе Чайковского, получил спецприз критики и завоевал множество сердец. Девушки все хотели за него замуж (но это не основная категория), а дамы постарше, вроде меня (основная категория), прониклись нежными материнскими чувствами к худенькому французскому юноше, необыкновенно доброжелательному и одухотворенному. И получилась такая мощная волна.

У дебаргонутых теперь есть свои форумы и сайты, они наперегонки публикуют там фотографии прекрасного Люки, переводят интервью, выкладывают пиратские записи, ревнуют друг к другу, сообща дают отпор «чужим», презирают поклонников пианистов, получивших три первые премии, и изнывают от любви и почитания к чудесному Люке.

Я, несмотря на свойственные мне иронию и цинизм, ослабляющие уровень дебаргонутости, тоже люблю слушать и переслушивать его конкурсных Моцарта и Равеля, Метнера и Скарлатти — хотя я не такая *aficionado*¹, как сказал бы Хемингуэй.

Как-то в Доме творчества было организовано паломничество для избранных: несколько дебаргонутых, на всю голову и в меру, хотели послушать трансляцию концерта Равеля в исполнении Дебарга из Монпелье.

Местный интернет на берегу залива в Доме композиторов еле работает, и только если наладит младший из нашего семейства, Сашенька. (Чем младше человек, тем он лучше шарит в «гаджетах».) Так что мы все собрались поехать в город, где везде есть вождельный «вай-фай».

Чтоб дешевле было ехать на такси, а также для веселья компании и от миссионерского желания увеличить дебарго-аудиторию были приглашены еще две дамы, и, чтобы им тоже было интересно, мы задумали целую программу: посещение соседнего роскошного парк-отеля недалеко от Сортавалы, построенного вокруг архитектурного памятника финского модерна — Ладожской дачи врача Винтера. Потом, в самой Сортавале, планировался ужин с рыбой и вином в ресторане под названием «Пипум-Пиха», которое переводится «как дворик с трубой», но местные называют его просто «Дружба».

С утра на лицах дебаргонутых дам было мечтательное выражение.

— Я просто уже во сне вижу, как он сыграет вот это «трам-пам-пам» во второй части концерта, — говорила самая дебаргонутая дама. — Вот уже двое суток думаю об этом, и даже руки по одеялу играют это место...

Поездка была намечена на пять. Перед обедом я с визгом вылетела из озера, потому что в двух метрах от меня, по параллельной траектории, проплыл большой уж, высунув острую головку и оставляя извилистый след на воде. Но на пребывающих во власти мечтаний дебаргонутых мой визг и рассказ про ужа не произвели никакого впечатления. На уха, впрочем, тоже.

Ко мне в этот день приезжала дочь, но я, одебаржимая дебаргоманией, решила не встречать ее и предвкушала лишь концерт.

Пропускался также ужин. Но ничего. Поедим же в «Пипум-Пихе», под звуки Дебарга.

Я, по негласному соглашению, должна была таскать на прогулке ноутбук, ибо только я из дебаржисток компьютеризированная. Слава богу, таксист оставил его у

¹ Страстный любитель, ревностный поклонник (*исп.*).

себя в багажнике, обещая вечером привезти, чтоб мы дебаргнулись от души, а потом забрать нас домой, в ДТК.

По чудесному ладожскому полусерпантину (скала с одной стороны, обрыв в воду — с другой) поехали впятером в такси на дачу Винтера. Я, как всегда, попыталась поболтать с таксистом.

— Давно ль вы тут? Знаете ли финский или карельский? — спросила я.

— Нет, не выучил, — отвечал таксист.

— Совершеннейший позор, конечно, — сказали с заднего сиденья, — что приз за лучшее исполнение Моцарта дали не Дебаргу.

— Я тут восьмой год только, а так из Белоруссии, — сказал шофер.

— Кстати, вы знаете, Катечка, что в Минске Люку даже на первый тур не пропустили? — спросили сзади.

Этак гутаря, проехали город Сортавалу и снова углубились в леса. Дача Винтера действительно изумительная. Стоит на берегу огромного залива, по которому время от времени проносятся на подводных крыльях белоснежные «метеоры», возящие туристов на остров Валаам. Дом построен любовно и уютно, обнесен открытыми балконами, чтоб ни кусочка изумительного вида не пропало: на одном гулять, на другом чай пить, с третьего смотреть в сад, с четвертого — в посаженный тоже самим врачом парк с пятью видами пихт, кедров и елей.

Внутри — красивый камин, тяжелые деревянные лестницы, опять камин, фотографии хозяина в кабинете, низенькие комнатки для прислуги, прелестные. В одной из них наша Первая дебаргонутая дама остановилась и радостно сказала, поглядев на телефон:

— Ловит! Целых пять палочек! (Это значит: интернет есть, Дебарг будет!)

Потом осмотрели все окрестности, распланированные по-европейски, с фонтанами, дренажными каменистыми каналами, роскошными корпусами для туристов.

Был там еще вольтер с северным оленем по имени Даша. Она была уже старая, несколько лет тут умиляет туристов, сама линиялая, усталая, но рога, похожие на мокрые мшистые коряги, черные и поросшие мхом, были чудесны. Я пробовала схватить рогулину рукой, но Даша, уловив, как антенной, движение моей руки, плавно и без раздражения отводила всю ветвистую конструкцию.

— Блин, — сказала я случайно и от неожиданности, обычно я не говорю таких слов, — и не дотронешься...

— А вот все-таки неправа переводчица Н.П., которая в интервью Люки перевела «merde» как «блин», — сказала Первая дебарго-дама. — Юноша, который так играет, так говорит и так одевается, не может употреблять таких дурацких слов...

Северный олень Даша, соглашаясь, кивнула увенчанной рогами головой.

Солнце ушло, подкатил наш таксист и увез нас в «Пипум-Пиху».

Ресторан был на берегу соседнего фьорда, устроенный в какой-то старой фабрике с трубой, краснокирпичный и очень колоритный. Я немного волновалась — не будет ли в ресторане громкой музыки, но три дебарго-дамы уверили меня, что все посетители сортавальского кабака на окраине будут счастливы на полчаса отключить фоновое тынц-тынц, чтоб насладиться Равелем.

Нам подали четыре толстенных, как папки с диссертациями, кожаных меню, очень обстоятельно составленных на двух языках, финском и русском, и прекрасно отпечатанных.

— Кстати о полиграфии, — рассказала Первая дебарго-дама. — Знаете, когда московские критики вручали Дебаргу премию, они напечатали ее на домашнем принтере, и журналистка К.Б. сняла у себя со стены какую-то картину, вынула ее, а в рамочку поместили текст и дали это все потом Мацуеву.

Мы сделали заказ, по обильности обратно пропорциональный дебаргонутости: Первая Дама-дебаргистка почти ничего не заказала, другие попросили форели, а я еще и картошечки, так как нагулянный аппетит слегка вытеснил из меня духовное.

— Может, закажем вина? — робко спросила Вторая дама, которая, кажется, тоже не прочь была налечь на земные удовольствия, не видя тут противоречия с предвкушением музыкального экстаза.

— Нет, давайте послушаем, а потом только будем напиваться, — пообещала Первая дама.

Заказали в результате пива. Пошли на компромисс. И я уже с этого момента почувствовала внутренне, что будет что-то «не то». А тут пришла катастрофа. Я вытащила свой тяжеленный ноутбук, включила его в удобную розетку и выжидательно навела мышку в нижний правый угол.

Но вай-фая не было.

Не было его...

Был призван громовым голосом Первой Дебарго-дамы мальчик-официант, который засуетился у моего правого плеча.

Но вай-фая не было — и все.

Блин. То есть, «merde».

Никаких моральных сил нет описывать уныние, в которое погрузилась наша компания. Несмотря на вкуснейшую форель на гриле с икорным соусом и холодное пиво. Несмотря на то, что по просьбе предводительницы нашей выездной секции дебаргонутых музыку в «Пипум-Пихе» услужливо выключили. Несмотря на искреннюю печаль мальчика-официанта и мои страстные заверения, что, мол, посмотрим потом, в архиве радио непременно останется эта программа...

День был испорчен.

Мы доедали форель, стыдась, как на похоронах, пытаясь натужно пошучивать, но почти не глядя друг другу в глаза.

Официанту был учинен допрос — а есть ли стационарный компьютер в недрах ресторана? Компьютер был, но официант выказал ужасную нелюбезность и жестокость, не разрешив нам пройти в зал приготовления пищи и послушать Дебарга среди сковородок и морозильных шкафов.

При расчете самая пожилая и менее всего дебаргонутая дама сказала извиняющимся тоном:

— Ну, я не знаю, но я все-таки дам ему на чай рублей двадцать, он симпатичный и искренне хотел помочь...

Ответом было неодобрительное молчанье.

Я незаметно засунула мальчику сто рублей в красивую папочку для счета, но так, чтоб никто не видел...

По дороге обратно в машине молчали.

А о чем говорить-то?

Надо будет позвать в следующем году Дебарга сюда, в Дом творчества...

А то одни ужи да северные олени — ничего интересного.

Елена Черникова

Оскар на счастье

...Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворочит ему заря...
Все прочее — литература.

Поль Верлен «Искусство поэзии».
Перевод Бориса Пастернака

Читать и писать я умею сколько себя помню. Ни одной безбуквенной секунды. В составе крови — сжиженный алфавит. Мир состоит из слов и звуков, наполняющих букву цветом, у меня синестезия. Идеино-тематическое содержание первых текстов, намаляканых в трехлетнем возрасте, — страсть. То, что взрослые неудачно звали любовью. Собственно взрослые моего детства суть основной конфуз. Беспардонно властвуя, живут загадочно нервно, в ярости ревности бьют зеркала, бесчувственно читают газету, когда все кончено, а мне велят отвернуться к стене. Хороша была елка с подарками. Лакированная матрешка внутри валенка и почти уверенность, что Дед-мороз проникает на заре через форточку. Все прочее — литература и тайный опыт уединенного сидения под столом, впотьмах и при солнце, с огромной распахнутой книгой на руках, в рассуждении о первом поцелуе немедленно, чтобы расколдоваться, или пробежаться по дворцовой лестнице, теряя драгоценную обувь, или победно махнуть лебедиными крыльями, — все мило-сладостное чтение глянцевого сказок рождало чувственность и горестное понимание, что в угоду взрослым придется ломать незрелый вокабуляр и называть *это* любовью как экивоком. В три года, будучи зрелой женщиной, я выходила во двор не погулять, а встретить *его*. Курсивом. Считаю, с прописной. Поэтому я запрещаю студентам задавать художникам вопросы о планах, началах и *над чем сейчас*. Разумеется, встретила, но ему шестнадцать, он не видит меня, поскольку мне четыре года, я ему чуть выше колена. Смекнув, что парень дурень, я разрешила двухкопеечную тетрадь, приклеила изоляцию-корешок, обложку замулевала рыжим, а внутрь вписала детектив: на него напали, я спасаю, он прозревает и по списку. Писать любовные боевики удобнее прозой. Стихи — мера вынужденная.

В первом классе выяснилось, что у *них тут* нельзя печатать на машинке. Начались муки. Кляксы, криво, медленно. А я природная отличница, надо как-то вытерпеть десять лет. Писать от руки я так и не научилась. Видимо, поэтому стихи меня покинули, хотя вначале пришли не так себе, а строго по делу. В апреле нам, первоклассникам, задали найти и выучить стишок про Ленина. 22 апреля по дороге в школу я вспомнила, что иду пустая. До порога оставалось метров пятьсот. Я сварганила в уме весенне-патетическое, где вполне чеканные героини смотрели вперед, а в конце урока меня все-таки вызвали к доске. Я наконец испугалась, зажмурилась и, не объявляя автора, вжарила. Ангел с пушисто-золотистой косой, шифоновым бантом, я не вызвала подозрений, и мою свежатинку оценили на пять, и только-только учительница взяла воздух спросить об авторе — звонок. Я удалилась не оглядываясь. То есть что ж получается? Сначала взрослые рекламируют любовь, но бранятся и плачут. Потом они говорят о Ленине, о поэзии, но ставят *отлично* за

Черникова Елена Вячеславовна — писатель, журналист, преподаватель. Родилась в Воронеже. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького в 1982 г. Автор пятнадцати книг. Живет в Москве. В «Дружбе народов» печатается впервые.

подделку. Вопиющее положение. Стихи писать оказалось легко. Засучив рукава, я приступила. *Pueritus scribendi*¹, говоря словами Набокова о Гоголе.

Проза стыдливо спряталась лет на двадцать, да и как было писать правду! (Правда — это сообщение прозой.) Пришлось бы раскрыться, а во вранливом мире так называемых взрослых правду следует держать в надежном месте, неузнаваемой, лучше всего в стихах. Я писала по два-три стишка в день, постепенно входя в самодовольство. 30 апреля мне стукнуло восемь. Соорудив нечто лубочно-любодейное, хореем, народно-частушечное (дело было в Воронеже, и сам Бог велел), я вдруг показала это моему отцу. Самое мягкое было *можете не писать — не пишите и а что хотел сказать автор*; он успокоил меня с неповторимой, из дорогой кожи, на шелковой подкладке, заботливой иронией. За время нашего земного знакомства отец подарил мне три саркастичные фразы, но странно — все они пошли впрок и ни разу меня не убили. NB: это открытие я сделала минуту назад.

Летом того же года напелось, и опять хореем, вот неугомонная, лучезарное «Счастье». Включает радость, кота и солнечное описание совместного путешествия влюбленных по пыльным дорогам роскошной родины. «Счастью» повезло быть написанным на центральном развороте тетрадки, которой повезло быть забытой на столе, которому повезло попасть на глаза гениальному композитору Вячеславу Овчинникову («Андрей Рублев», «Война и мир» и еще сорок фильмов). Он уронил взор на стол и прочитал «Счастье» и запомнил первую строфу. Я пришла с прогулки: стоит он, счастливый, посередине комнаты и декламирует мое «Счастье» наизусть. Я взрываюсь, рыдаю, разоблаченная, поверженная, возмущенная, ухожу в себя с тихим воем и вся голая. Оказывается, он всю тетрадь изучил и пошел спросить у своей матери, моей бабушки, что это такое. Думал, дитя выписывает стишки. Бабушка ни сном ни духом, и тогда он обратился напрямую. Когда я прорыдалась, он сообщил мне, что я гениальна и надо продолжать. Он был тогда в сиянии «Оскара», зван и признан, его носили на руках в мире и на родине, его любили самые невероятные женщины планеты, и одной из них он дал почитать мое «Счастье». Она тогда тоже сияла и царственно поддержала мнение своего возлюбленного, вследствие чего на крыше дома свила гнездо грузная легенда обо мне как вундеркинде, признанном в семейных верхах, и обжалованию мой статус уже не подлежал.

Мой первооткрыватель гастролировал по свету, писал свою музыкальную космогонию, абсолютно конгениальную настроению моего «Счастья» (это я тоже поняла минуту назад), а мне в качестве гонорара высылал глянцевые карточки, полные адриатической бирюзы, рождественских каминов и довольных детей, задувающих цветные свечи на сентиментальных тортах с серебряными шарами. Я писала стихи, печатала на старинной железной «Эрике», высылала ему, он читал, одобрял, отвечал, и накопился у меня тугой альбом открыток с образами нездешней жизни. Сейчас дома стоит, на видном месте. Литературой я зарабатываю с детства.

Воронеж. Гуляю вдоль улицы Комиссаржевской, захожу почему-то в магазин «Военная книга». Мне уже пятнадцать. Среди военных книг и гражданка есть, внезапный отдел поэзии, а на полке сборник Детгиза «Кораблик», М., 1975. Открываю и вижу свое «Счастье», фамилию внизу, имя. С моим возрастом редакция напутала, написала *12 лет*, но им неоткуда было знать, что я сочинила свое «Счастье» в восемь. Я купила шесть экземпляров судьбы, по тридцать шесть копеек штука, понесла домой показать бабушке, но ее реакции я не помню. С того дня стараюсь не помнить реакций, не надо мне, все случилось. Поступая семнадцатилетней в Литературный институт, я скрыла стихи ото всех, включая комиссию и однокурсников. Училась под шумок в семинаре критики и литературоведения, думая лишь как вернуться в естественное состояние детства — писать прозу. В институте я узнала, что бывают редакторы, идеология, затруднения социальные, семейные, ситуационные, и по окончании спряталась опять, но уже не в стихи, а в газету и радио, и надолго. Я ждала, когда запретят классовую борьбу, любую идеологию, цензуру и редактора, и можно будет писать прозу. Дождалась. Написала. Оформляя пенсию, принесла я в контору свое тридцатишестикопеечное «Счастье» детгизовское и справку. Мне накинули превосходный коэффициент ввиду творческого стажа протяженностью в сорок лет. Счастье.

¹ Детская графомания (лат.).

Юрий Каграманов

По ком звонит колокол

Европа перед натиском исламизма

Наш XX век... перевернул притчу о Магомете и горе, ныне все горы сами сходятся к современному Магомету.

Х.Л.Борхес. «Алеф»

На сакраментальный вопрос Джона Донна «По ком звонит колокол?» сегодня приходится ответить, что колокол, скорее всего, звонит по европейскому миру. Так, во всяком случае, думают сами европейцы, по крайней мере те из них, кому не чужды «судьбические» вопросы. Буквально за последние год-два резко сгустились «похоронные» настроения: думающие европейцы уже не верят, что Европа сможет противостоять натиску исламизма¹.

Прошло четверть века с тех пор, как рассеялся страх перед ядерным апокалипсисом², и вот новая угроза нависла над старым континентом. Конечно, она несравнима с прежней: тогда ждали, что в любой момент может произойти такое, что «небо совется, как свиток», а сейчас речь идет о медленном угасании, не слишком даже бросающимся в глаза. Как будто все еще остается на своих местах; вертится цивилизационная мельница: поезда ходят по расписанию, дымят фабричные трубы, своим чередом идет купля-продажа всего и вся, ежедневную порцию развлечений выдает ТВ и все такое прочее. Только исподволь меняется «личный состав», обслуживающий этот механизм, что со временем должно привести к радикальной переверстке мнений и интересов.

С другой стороны, в самые критические годы холодной войны сохранялась надежда, что худшего удастся все-таки избежать, и как показал опыт, надежда эта была достаточно основательной. Тогда как завоевание Европы исламистами представляется сейчас неминуемым. Или почти неминуемым. Как говорит русская пословица, ждали с гор, а н подплыло низом.

Вот характерный взгляд. Говорит популярный французский философ³ Мишель Онфрэ (в интервью газете «*Coggiere della sera*» за 16.2.2016): «Наша цивилизация мертва. Она завязла в нигилизме, деструкции и отвращении к себе... Ислам располагает молодыми солдатами, готовыми умереть за него. А кто из западных людей готов умереть за наши ценности — тривиальный консумеризм и эгоистический нарциссизм?» В журнале «*Causeur*» Онфрэ вторит еще один француз, писатель Эмманюэль Дюи: «Мало-помалу изначальный порыв (*elan fondateur*) был нами утрачен; сегодня он

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «На подходе ко второму Просвещению» (№ 1, 2014); «Призрак Закона» (№ 7, 2014); «Кого ждет «триумф воли»? Противоборство идеологий на Украине» (№ 3, 2015); «Обаяние Птолемея» (№ 3, 2016); «На площади Бастилии больше не танцуют. Французы пересматривают опыт «великой» революции» (№ 1, 2017).

представляется погасшим. И европейцы с тревогой замечают витальность ислама, который, как представляется, не растратил своей энергии и сохраняет верность проекту цивилизации, основанной на божественном законе»⁴. Но не означает ли это, что данный проект включает достижения европейской цивилизации и, может быть, даже предусматривает их развитие и обогащение?

Это крайне маловероятно, отвечает выдающийся итальянский антрополог Ида Малья (1925 — 2016). В книге с выразительным названием «После нас» (я предложил смысловой перевод названия) Малья пишет: «Опасение, что в будущем никого не заинтересуют следы нашего существования, стало почти уверенностью. Большую часть Европы заселят африканские (и азиатские — Ю.К.) мусульмане, которые сочтут своим долгом уничтожить все то, что мы создали. И сделают это с большим удовольствием»⁵. Скорую гибель европейской цивилизации Малья считает делом практически решенным, ее удручает другое — что от нее не останется следов. У варваров, заполонивших римскую империю, пишет Малья, не было динамита, поэтому от тех времен осталось множество памятников, даже не всегда поврежденных. Добавлю от себя, что памятники сохранились и там, куда в свое время пришли мусульмане. К примеру, самый знаменитый храм христианского мира, Св.Софии в Константинополе, архитектурно не был поврежден, а только превращен в мечеть и поставлен «под охрану» четырех окруживших его минаретов. А новые насельники, продолжает Малья, ничего не будут щадить: в первую очередь они уничтожат церкви, потом музеи, библиотеки и многое другое.

Конечно, не все европейцы (я говорю сейчас о мыслящих европейцах) поражены, воспользуюсь словами Фета, «отказом от борьбы и смертной истомой». Есть такие, кто по примеру сидящего в заточении Андерса Брейвика мечтает о грандиозной, в масштабе континента, Варфоломеевской ночи. К чему-то подобному призывает норвежский блоггер Педер Йенсен, пишущий под псевдонимом Fjordman (человек фиордов), известный как «учитель Брейвика». На время (пока не приутих скандал, возникший вокруг его «ученика») замолчавший и потому оставшийся на свободе, он в последнее время опять пишет, что враг «вновь у ворот Вены» (после последней осады столицы Империи турками в 1683-м) и напоминает соотечественникам по ЕС, что они — «потомки крестоносцев» и негоже им «поджимать хвост» перед лицом пришельцев.

Не приведи Бог увидеть еще одну Варфоломеевскую ночь или новые Крестовые походы, но вряд ли дело дойдет до крайности: «потомки крестоносцев» не соберут сколько-нибудь значительную силу, а если и соберут, то скорее всего будут побиты. Говорят, что современные европейцы слишком изнежены, слишком чувствительны, чтобы сразиться с неприятелем лицом к лицу. Можно, правда, найти и другое для них определение. Когда Панургу в романе Франсуа Рабле сказали, что король дипсодов очень чувствителен и потому неохотно берется за оружие, тот ответил, что не вернее ли будет сказать, что король дипсодов просто трусоват.

И все-таки это не означает, что Европа обречена. Чтобы устоять на крепнущем ветру, надо по достоинству оценить вызов, брошенный исламистами. Правильно определить «угол падения», чтобы найти соответствующий «угол отражения». Сейчас общество, что в Европе, что у нас, более всего озабочено проявлениями открытой враждебности с той стороны, выражающей себя в террористических актах. Непосредственно с террористами сражаются профессионалы спецслужб — это их забота. Но каковы те движения душ, которые побуждают террористов поступать так, как они поступают, об этом редко кто задумывается. Только патриарх Кирилл однажды осторожно заметил, что необходимо обратиться к онтологическим причинам этого явления.

На Западе преобладают два противоположных взгляда на ислам как таковой. В одних случаях его рассматривают как бы сквозь розовые очки. Мусульмане, говорят

сторонники такого взгляда, ничем от нас принципиально не отличаются, рано или поздно они принимают неотразимые плюсы западного образа жизни, а что молятся они в мечетях какому-то своему Богу, это их личное дело. Верящим в существование такого, «мягкого», как его называют, ислама жестко отвечает американский публицист Дэниэл Гринфилд: «Вы не найдете сказочную страну мягкого ислама на Востоке. Вы не найдете ее даже на Западе. Она существует только в воображении рассказчиков. Мягкий ислам — это не то, во что верят мусульмане. Это то, что думают западные либералы о том, во что верят мусульмане»⁶.

Противоположная точка зрения (до последнего времени более распространенная в США, чем в Европе): ислам — жестокая, агрессивная религия, несовместимая с западными ценностями. Таковым он был с самого начала, считая от первых «уроков», которые преподавал аравитянам пророк Мухаммед. Коран — «учебник войны». Это тоже односторонний, тенденциозный взгляд на ислам.

Оба взгляда, при всей их полярности, исходят из одной и той же презумпции, а именно: западный путь — «правильный», а мусульманам остается или приспособляться к нему, или держаться от него подальше.

Держаться подальше не получается. Потому что, с одной стороны, Запад освоил мировой эфир, который сам же и создал и который проникает в самые отдаленные уголки Земли (вопреки тому, что принято думать, именно «культурная агрессия», а не случаи вооруженного вмешательства США и их союзников в странах Востока, является главным фактором, раздражающим мусульман). А с другой — мусульманский мир посылает своих сынов и дочерей во все возрастающем количестве «осваивать» Запад; среди них есть и такие, кто приходит сюда с одной целью — убивать (а бывает и так, что желание убивать созревает уже на Западе, нередко у тех, кто родился там и вырос). Это похоже на то, как один гладиатор пытается уловить другого сеткой, а другой наставляет на него меч.

Судя по некоторым фильмам, таким как английский «Неопределенность» (2015) и американский отменно длинный сериал «Родина» (начат показом в 2012), западных людей особенно беспокоит, почему это «нормальные» по всем признакам автохтоны вдруг переходят в ислам, более того, становятся воинствующими исламистами, террористами.

И ведь нельзя сказать, что Западу не хватает самокритики. По крайней мере среди думающих людей давно уже крепнут сомнения в «правильности» избранного пути. Во многих случаях переходящие в уверенность, что путь, по крайней мере в некоторых своих аспектах, — неправильный и ведет к гибели. Что видно уже из приведенных выше примеров. Но удивительное дело: перед лицом ислама даже критики западного пути, за редкими исключениями, занимают оборонительную позицию. Или хуже: позицию врача, который знает, чем болен пациент, и прописывает ему то-то и то-то.

Американский публицист (палеоконсерватор по убеждениям) Марк Гленн пишет: «Ислам ближе к (подлинному) христианству, чем современное западное христианство, которое и не христианство вовсе, а размытая смесь нью-эйджизма с некоторыми общими местами, которые можно найти почти в любой другой религии»⁷. Это верно в том отношении, что в целом мусульмане лучше представляют себе, «где Бог, а где порог».

Стало актуальным то, что в свое время писал Эразм о мусульманском вызове, как мы его сегодня назовем. XVI век. Овладев Балканами, турки в 1529 году осадили Вену — напомним, столицу империи, которая хотя бы в идее была Священной и Римской. Не удивительно, что европейцы исполнились тревогой, граничащей с паническими настроениями. И вот что писал тогда Эразм: «Мы часто обращали оружие против турок, но вплоть до настоящего времени неудачно, быть может оттого, что мы не отказались от практик, которые оскорбляют Бога, насылающего на нас

турок, как некогда насылал Он на Египет лягушек, москитов и саранчу.... Потому что мы действовали не как христиане, но воевали против турок с турецкими сердцами». Эразм имел в виду, что турки думают не столько о Боге, сколько о завоеваниях, о сокровищах, о славе — такими их представляли тогда в Европе. Что было не совсем верно: религиозные соображения тоже кое-что для них значили; хотя в общем мирские наклонности были выражены у них сильнее, чем у «правообладателей» ислама, назовем их так, — арабов. Но нам интересно не то, какого мнения Эразм о турках, а то, что он пишет о европейцах: прежде чем идти войной против турок, им следовало «поработать над собственными сердцами». «Своими победами, — итожит Эразм, — они (турки) обязаны нашим порокам»⁸.

«Отец Объединенной Европы», как его сейчас называют, а тогда старейшина европейских гуманистов, Эразм призывал вооружиться «щитом веры» и «шпагой спасения», каковою является Слово Божие. Прежде чем идти войною против янычаров и сипахов (турецких конников), писал он, надо побороть «внутренних турков», каковыми являются «разврат, амбиции и безбожие». Призывы Эразма во многом способствовали религиозному «пробуждению» Европы (если позволено употребить здесь термин, относящийся к религиозной истории США) и возникновению протестантизма, очень неоднозначного движения, в котором, однако, было и здоровое нравственное чувство (сам Эразм, в возникшем религиозном споре некоторое время оставшийся «над схваткой», в конечном счете все-таки встал на сторону обновленного католицизма).

Будто к современным европейцам обращается Эразм из своего полутысячелетнего далека с призывом «поработать над собственными сердцами». Совет — стоящий; тем более что основным супротивником сегодня выступают «правообладатели»; хотя и турки демонстрируют в последнее время возросшее религиозное усердие.

Сетка в руках западного «гладиатора» — культура. Меч у его противника — религия. «Выбор оружия» и в первом случае обусловлен религиозно. Христианство не отвергло культуру, напротив, сообщило ей новый импульс и дало направление. Бог, пославший людям Сына, поощрил их радоваться земной жизни и ценить — и воспроизводить в меру своих сил — ее красоту; и вместе уповать на то, что существуют высшая жизнь и высшая красота. Отдавать некоторую дань чувственному, но умерять его благоговением перед сверхчувственным. Эту двойственность отразило европейское искусство во времена своего расцвета.

Пример здесь показало церковное искусство, как на католической, так и на православной стороне. В частности, в русском православии — у Андрея Рублева, например, с первого взгляда впечатляют радостные, сочные краски, отчего Е.Н.Трубецкой даже назвал русскую икону «жизнерадостной». И вместе с тем мягкие тона и кроткие взоры отсылают здесь к и н о м у, к тому, что «выше жизни» и что светится «сквозь» живописные изображения.

В исламе бог остался на недостижимой высоте и лишь однажды, в ночь *мираджа* (мистического восхождения Мухаммеда), снизошел к людям, чтобы продиктовать Книгу. Земная жизнь не сподобилась теплого внимания Создателя, поэтому не имеет смысла задерживать взгляд на ее подробностях, что, собственно, и является делом культуры. Изображение плотного — *харам* (запрещено), предметный мир может быть передан только абстрактно и геометрически. Мыслечувствие мусульманина устремлено к Единому, к Черному камню (Каабе), не «разбрасываясь» по сторонам.

У шиитов, правда, дело обстоит иначе: персидские миниатюры, «словно бабочки сказочных стран» (Николай Гумилев), радуют глаз. Это потому, что в отличие от «книжников»-суннитов у них развито образное мышление (некоторые исследователи видят в этом особенность арийской расы, отличающую ее от семитов); и еще потому, что они верят, что создатель затем низводит к человечеству сонмы ангелов, чтобы

приукрасить земную жизнь. Но шиизм, как известно, — это не основное направление в исламе.

Между тем в Европе влюбленность в предметный мир с течением времени утрачивала связь, скажем так и мы, с ангелическим миром и оборачивалась похотью. На языке античности, к которому столь охотно прибегала Европа Возрождения и Нового времени, Аполлона вытеснял гуляка Дионис, хариты уступали место сатирам и кентаврам. Погружение с головой в чувственный мир в конечном счете начинало дурно пахнуть, даже физически⁹; тем более — метафизически. Если права М. Цветаева, и души западных людей в урочный час примет Азраил (исламский ангел смерти), то ему, наделенному, как считают, тонким обонянием, слишком часто придется зажимать нос.

В XIX веке в образованных кругах считалось естественным, едва ли не неизбежным уходить от религии в «сады культуры». В веках XX и XXI «сады культуры» все больше становятся похожи на мусорную свалку. Отчасти по этой причине в европейском искусстве возникло созвучное исламу направление, положившее себе изображать предметный мир абстрактно и геометрически. Художники, такие, как В. Кандинский и К. Малевич (а на Западе П. Мондриан, Р. Магритт в некоторых своих работах), призвали пожертвовать предметностью ради восхождения к «чистой духовности». У Кандинского, например, посчитавшего, что пришло время зафиксировать «распад мира», духовность сохраняет уже только слабую связь с телесностью: линии и цвета «играют» у него независимо от конкретных предметов.

Еще дальше пошел Малевич, «Черный квадрат» которого явился, по мнению многих искусствоведов, ключевым произведением искусства XX века. Оставим на совести исламских толкователей их суждение, что «Черный квадрат» — проекция на плоскость Черного куба Каабы. Произведение Малевича — реакция на запутанность европейской переусложненной цивилизации, ставшую очевидной ко времени его написания (1915). Это было восстание, по словам Малевича, против «уродства реальных форм» («всякого лица, где торчат пара глаз и улыбка»), открывавшее, по словам некоторых его критиков, путь «в пустыню». А Бенедикт Лифшиц даже сравнил его автора с Савонаролой, сожигающим «всю суету мира». Позиция Малевича была характерной для определенного круга художников, у которых живые формы вызвали, по словам Х. Ортеги, «дрожь отвращения».

Мы вправе сказать, что в рамках «Черного квадрата» религиозное переходит дорогу художественному — но, конечно, не с целью убить его окончательно: как-никак, Малевич — художник, а не проповедник. Вообще-то он много чего наговорил, но мысль о том, что у искусства есть будущее, проводится у него достаточно настойчиво. Даже в своем «Черном квадрате» он усмотрел не гибель всего и вся, но «зародыш всех возможностей»: из черной глубины должен восстать, по его словам, «живой царственный младенец». Посчитаем эту его мысль пророческой.

«Художественный апофатизм» (еще одно определение «черного квадрата», данное одним из критиков) логически предполагает (по крайней мере, в христианстве) художественный катафатизм. Который должен явить себя «в свою очередь». Если только не сложится ситуация, когда будет «не до художеств».

Воспользуюсь известным пожеланием Мити Карамазова «сузить человека», чтобы обозначить еще один аспект противостояния мусульманской и христианской (без кавычек применительно к прошлому, скорее, в кавычках применительно к настоящему) цивилизаций. Широта человека (даже в более широком смысле, чем у Достоевского, где речь идет о совмещении содомского идеала с идеалом Мадонны) отличает европейскую культуру более любых других. Это результат кумулятивного развития науки и избытка художественных представлений. В особенности умножение научных знаний озадачивает, можно выразиться сильнее, обескураживает: чем больше

совершается открытий, тем больше остается в мире загадочного. А как говорит тот же Митя Карамазов, «слишком много загадок угнетают на земле человека».

Избыток знаний «растаскивает» человека по разным направлениям, оставляя в середке «торричеллиеву пустоту». Оттого в европейской истории, начиная с эпохи Ренессанса, нарастает ощущение, что прогресс «наук, искусств и ремесел» ведет к тому, что индивид утрачивает цельность, а это даже хуже ограниченности. Так, по крайней мере, считали некоторые писатели: от Эразма, постулировавшего педагогический принцип *non multa, sed multum* (знать немного, но о немногом знать много) — до Гете, посчитавшего многие знания излишними для своей Педагогической провинции (в «Годах странствий Вильгельма Мейстера»), и до Шарля Пеги, сожалевшего, что уходит в прошлое тип Жака-Простака (*Jacques-Bonhomme*), который был совсем не так прост.

О том же сожалел Йохан Хейзинга в книге «В тени завтрашнего дня» (1935): «В старые времена крестьянин, шкипер или ремесленник находил в целостности своего знания духовную схему, которой он поверял жизнь и мироздание. Он сознавал свою некомпетентность и не брался судить о том, что выходит за черту его кругозора... Именно благодаря своей ограниченности он бывал мудрым»¹⁰.

«Человеческий ум задыхается от изобилия образцов», считал Стендаль. Это сказывается, в частности, в такой важной интимной сфере, как любовь к женщине. На взгляд Стендаля, ее не должно предварять излишней игрой воображения, которую способны возбудить литература и искусство; оттого своим любимым героям, Жюльену Сорелю и Фабрицио дель Донго, он не позволил прочесть ни одного романа.

Созвучно — Розанов: «после книгопечатания любовь стала невозможной». А после кино?

А Стендаль правильную постановку любовного чувства находит за тридевять земель: «Образцы истинной любви и ее родину, — пишет он в сочинении «О любви», — надо искать под темным шатром араба-бедуина» (глава «Аравия»). Вероятно, французский дипломат, обхаживавший декольтированных дам в ложах миланского Ла Скала, очень смутно представлял себе, какие такие разыгрываются страсти в бедуинских шатрах. И все же определенный резон в его рассуждении был: цельность характера, опять же в более широком смысле, отличала мусульман от европейцев.

Но, как правило, ограниченность, без которой немыслима цельность, у европейцев вызывает все-таки осуждение; особенно когда дело касается научного развития. Характерную точку зрения высказал Эрнест Ренан (ученый-семиолог по своей основной профессии) в статье «Исламизм и наука» (1883). Все его наблюдения, как представляется, достаточно точны, хотя и оцениваются им с позиции религиозного скептика. «Те, кто побывал на Востоке или в Африке, — пишет Ренан, — поражены, заметив, как фатально ограничен ум истинно верующего; создается впечатление, что голову его сковывает некий железный обруч, делающий его абсолютно невосприимчивым к науке...» Похоже, что и сегодня мусульмане не слишком продвинулись в этом отношении: их вес в достижениях мировой науки остается ничтожно малым. «С возраста десяти или двенадцати лет, — продолжает Ренан, — мусульманский ребенок... становится фанатиком, исполненным глупой гордости обладателя того, что он принимает за абсолютную истину». И далее: «То, что налагается исламом, столь сильно, что национальные и расовые особенности у верующих стираются... Только Персия составляет в этом смысле исключение, так как сохраняет свой собственный гений»¹¹. Последнее бесспорное утверждение следует отнести на счет шиизма, отличающегося большей мировоззренческой широтой; хотя верно и обратное: своим существованием шиизм обязан персидскому гению.

Я бы только заменил чересчур жестокосердный образ железного обруча на другой — путь это будут шоры. В нашем обиходе «зашоренным» называют взгляд, не

способный увидеть вещи в их истинном свете. Но это неправильно: у лошадей шоры на глазах позволяют не отвлекаться на боковые виды и сосредоточиться на впереди лежащей цели. Сколь ни интересны боковые виды, важнее все-таки видеть, куда скачешь.

Казалось бы, относительная невосприимчивость к науке радикально отличает мусульманский мир от христианского. Но вспомним, что в конце I — начале II тысячелетия мусульманская цивилизация далеко превосходила европейскую по уровню развития науки и культуры в целом. Определенную роль в этом сыграло то обстоятельство, что первоначальный Халифат расположился на землях, богатых эллинистической культурой, с ее гимназиями и мусейонами, обсерваториями и библиотеками и т.д. Кое-что мусульмане здесь прикрыли, но кое-чему придали новый импульс — изучению философии, математики, астрономии и некоторых других наук. Хорошо известно, что в те времена европейцы через них знакомились с античным наследием и их собственные изыскания высоко ценили.

Но почему-то примерно со второй половины XIII века наука и культура в мусульманском мире пошли на спад и уже через одно-два столетия «погрузились в сон» (частичное исключение в этом отношении составила опять же Персия). Ученые-ориенталисты, как правило, находят это явление загадочным и не могут дать ему внятного объяснения. Мне кажется, его можно попытаться объяснить метафорически. В душе мусульманства вдруг заговорили некая «валаамова ослица», раньше других узревшая впереди Ангела с мечом в руке, преграждавшего становящийся рискованным путь: «И стал Ангел господень на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена» («Числа» 22 : 24). Напомню, что у древних евреев осел (ослица) — священное животное, а отнюдь не символ глупости и упрямства. А Г.П.Федотов не исключал того, что «валаамова ослица» могла быть ведома Св.Духом, то есть Лицом христианской Троицы, в иудаизме и в исламе не признаваемой (статья «О Св.Духе в природе и культуре»).

Попытки объяснить остановку в росте диктатом теологии ислама не вполне удовлетворительны. Самый авторитетный мусульманский богослов и философ тех времен, да, пожалуй, и всех последующих тоже, Аль-Газали (1058—1111) (или Альгазель, как его именовали в Европе) занимал в этом вопросе сложную позицию. Прозванный Обновителем ислама, Аль-Газали не имел ничего против дальнейшего развития наук (по крайней мере, некоторых из них, таких, как математика и астрономия), но считал это делом «отважных корабельщиков», на свой страх и риск уходящих в море-океан, а рядовым мусульманам предписывал «оставаться на берегу» и не «смотреть по сторонам». Но почему-то осуществилась только вторая часть его рекомендаций, а «отважных корабельщиков» на мусульманском Востоке становилось все меньше, пока они не исчезли совсем.

Насколько я знаю, мысль Аль-Газали о том, что научные занятия должны быть делом немногих избранных, разделял читавший его Фома Аквинский. Позднее ее поддержали другие европейские мыслители — от Эразма до Гете и дальше, вплоть до Леонтьева (писавшего, что «искатели» должны быть *редки и велики умом*). Это вопрос педагогики в первую очередь, а современная педагогика сталкивается с фактом, что практика всеобщего среднего образования терпит катастрофу: школа становится местом воспроизводства невежд, в головах которых царит хаос; даже элитные школы (что у нас, что на Западе) не слишком выделяются в этом отношении.

Стоит поэтому присмотреться к некоторым мусульманским странам, таким как Иран, где существует крепкая начальная школа с упором на религиозное образование. Именно образование, а не просто обучение. Ведущий принцип исламской педагогики (равно суннитской и шиитской) — *таухид*, «цельность». Традиционная исламская школа не просто дает знания, но определенным образом «закругляет» их и, что особенно важно, воспитывает характер. Как раз расстройство традиционной педагогики

создает условия для умножения числа ваххабитов, большинство которых свои религиозные представления «хватает с ветра».

Удивительную прозорливость явил Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда». Сочувствуя восставшим против Стамбула грекам, он пишет следующее:

Когда-то город силой ятаганов
Был у гяура отнят. Пусть опять
Гяур османа вытеснит, воспрянув,
И будет франк в серале пировать,
Иль ваххабит, чей предок, словно тать,
Разграбил усыпальницу пророка,
Пойдет пятою Запад попираť....¹²

(Город здесь — Константинополь-Стамбул, гяур, как и франк, — собирательный христианин). Не странно ли было думать, что племена, восставшие против турок в далекой по тем временам Аравийской пустыне, представляют опасность для Европы? Спустя несколько лет после написания «Чайльд-Гарольда» даже ослабевшие османы сумели с ними справиться — на столетие вперед. Но Байрон как-то угадал в ваххабитах «злого гения» Запада.

Известный американский философ (один из вдохновителей контркультуры 60-х) Норман О.Браун пишет, что «ислам не является другой культурной традицией... И это не восточная традиция: это альтернатива, соперничающая интерпретация *нашей* традиции. Ислам бьется об заклад (is a wager), что христианство пошло по неправильному пути»¹³. В первую очередь это относится к его (ислама) «авангарду», как называет Браун ваххабизм.

В свое время Честертон писал, что ислам — не «азиатчина», как принято думать, что это, напротив, «копье, брошенное в грудь Азии» (цитирую по памяти). Копье послано с высоты Сина — священного центра Земли, места, где Моисею явился Бог. Откуда «есть пошли», еще до возникновения ислама, иудаизм и христианство.

Эмпирические подтверждения близости ислама к этим двум религиям хорошо известны. В первые века поразившее воображение явление Христа вызвало шатания в душах и, как результат, многочисленные толкования этого исключительного события. Понадобились семь вселенских соборов, собравших самые сильные умы (между прочим, вооруженные знанием великой греческой философии) и самые чуткие сердца, чтобы выстроить стройное здание христианской (единой православной и католической) религии. Остаточные приверженцы многочисленных сект вытеснялись за пределы империи — в частности, на Аравийский полуостров. Среди них должна привлечь особое наше внимание секта эбионитов, существовавшая с I века и совмещавшая элементы иудаизма с элементами христианства. Эбиониты не признавали сверхъестественного рождения Христа, считая его просто человеком и пророком, и они оставались, подобно иудеям, строгими законниками — но таковыми же стали и мусульмане. Примечательно, что последние сведения об эбионитах относятся к VII веку, времени возникновения ислама: скорее всего, они легко «растворились» в массе мусульман.

Но есть на Западе авторитетные исламоведы, которые считают, как и сами мусульмане, что своим существованием ислам обязан самостоятельному Откровению. Заметим, однако, что оно было дано Мухаммеду (в «ночь *мираджа*») не где-нибудь, а на Храмовой горе в Иерусалиме, тоже святом месте для всех трех «авраамических» религий, а архангел Гавриил (Джебраил), послуживший Мухаммеду вожатым в его ночном восхождении на небеса, — опять же общий для «авраамических» религий архангел. Так что мистическое подтверждение близости ислама к иудаизму и христианству есть во всяком случае.

И Браун прав, когда пишет, что ислам есть «соперничающая интерпретация» нашей (евроамериканской) традиции. Не прав он в другом: «по неправильному пути» пошло не христианство (о некоторых конфессиях можно сказать, что они отклонились от изначального курса, но Браун имеет в виду изначальный курс); с некоторых пор «по неправильному пути» пошла культура (и Браун был одним из тех, кто подтолкнул ее в этом направлении), чем дальше, тем больше утрачивающая связь с христианством. В пору культурного рассвета не предосудительно было поучаствовать в «культурном пиршестве», но по мере того, как пиршество превращается в оргию, притом все более вульгарного свойства, внутренние голоса подсказывают многим из «пирующих», что у них «ограблена душа» (как выражается в очень похожем случае Шехерезада в сказках «Тысячи и одной ночи»), и, как следствие, «соперничающая интерпретация» получает шансы на успех.

Ваххабиты выступают как прямые антиподы «пирующих». Буквальный смысл греческого слова «антиподы»: «обращенные ногами к ногам»; а в данном случае ноги упираются в один и тот же заложенный в прошлом камень. Через который в обе стороны проходят некие токи. И вот результат: в Англии и Франции от 25 до 27 процентов (!) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет сочувствуют ваххабитам (об этом сообщил лондонский еженедельник «The Spectator» в номере от 19.11.2015; другие источники приводят цифры, существенно не отличающиеся от названных). Эти молодые люди интуитивно постигают, что в их жизни нет ничего «настоящего», нележного.

То, чем привлекает их ваххабизм, можно назвать «зовом пустыни». Прот. Георгий Флоровский в еще благополучной по видимости Америке 1957 года пророчески писал: «Зов пустыни» вновь обретает все большую настойчивость и мощь¹⁴. Пустыня здесь — антитеза порченной цивилизации. Тот факт, что ваххабизм зародился в одной из самых пространных на свете пустынь, в физическом смысле этого понятия, сообщает ему еще большую выразительность.

Изначальный импульс ваххабизму (зародившемуся, напомним, еще в XVIII веке) придала встреча аборигенов Аравии с «излишками» культуры, которые демонстрировали приходившие на богомолье в Мекку паломники из уже «развращенных» стран. К «излишкам» относилось все, без чего, по мнению ваххабитов, можно было обойтись: от музыки, будь это даже заунывные звуки зурны, до четок и крашенных в яркие цвета бород (которыми более других «грешили» персы). Уже тогда можно было представить, каких дров наломают ваххабиты, если свой девиз «ничего лишнего» они пронесут в другие страны.

Как будто ваххабиты разделяют общую для салафитов установку: «возвращение к праведным предкам» (таковыми считаются первые три поколения мусульман). Но «праведные предки» определенно не приняли бы ваххабитов. Потому что опора на Коран и Сунну, которою они бравируют, у них своеобразная: они принимают одни аяты Корана и игнорируют другие, как если бы их не существовало; цитируют одни хадисы Сунны, а другие берут на себя смелость объявлять «слабыми». Еще ваххабиты бравируют тем, что понимают аяты и хадисы буквально, а иные толкуют вкривь и вкось. Но понимать аяты и хадисы буквально далеко не всегда означает понимать их правильно. Коран написан на символическом языке, и его нельзя «переводить» на язык несимволический (Пушкин, «читая сладостный Коран», воспринимал его как поэзию), поэтому буквальное его понимание зачастую приводит к конфузу. В одном аяте, например, говорится: «Кого пожелает (Аллах) сбить с пути, делает грудь ему узкой» (6: 125). Ясно, казалось бы, что это метафора, но ваххабиты с подозрением смотрят на всех узкогрудых телесно. Есть хадис, в котором сказано, что левая нога Аллаха находится в аду — немудрящий ваххабит так это и представляет физически. Подобных примеров можно привести немало.

Девиз «ничего лишнего» простирается до требований совлечь с себя не то чтобы

«слишком человеческое», а просто человеческое. Воспрещаются, например, «чрезмерные» проявления горя на похоронах близких, равно как и надгробия на их могилах. В свое время была разрушена усыпальница самого Пророка (о чем упоминает Байрон в вышеприведенных стихах): Мухаммед ведь был «всего лишь» смертным, который просто запомнил продиктованные ему свыше строки Корана. Никаких посредников между человеком и Аллахом быть не должно. Поклонение святым, которые таковыми почитались, — предрассудок. Даже ангелы не могут служить посредниками — потому что их просто не существует (хотя в Коране прямо и не раз говорится о существовании ангелов); у шиитов с их развитой ангелологией — «больное воображение». Существует только Всемогущий в недостижимой высоте, а на земле — однообразие склоненных перед Ним голов.

Есть нечто общее между ваххабитами и монахами первых веков христианства, уходившими от мира в пустыню. Но гораздо больше различий. Монахи-христиане, уходя от мира, не гнушались им (а если гнушались, то не были христианами), они молились за него и показывали ему образцы индивидуального и общественного (в киновийных, общежительных монастырях) поведения, для мирян недоступные и для них не предназначенные (не может существовать общество, состоящее из одних монахов), но побуждающие их духовно расти. Такова, собственно, их «функция» и сегодня.

А ваххабиты исполнены ненависти к миру, желание «блестящей луны» (войны) у них перебарывает все остальные. В Коране есть воинствующие аяты (как и в христианстве есть воинствующая «линия» Михаила Архангела), но они уравновешены вполне миролюбивыми, особенно когда дело касается «людей Книги» (иудеев и христиан), а ваххабиты к миролюбивым призывам глухи, они следуют заповедям своего основоположника Аль-Ваххаба (1703—1792) и его далекого предшественника Ибн-Таймийи (1263—1328), требовавших без всякой жалости расправляться не только с иноверцами, но и с мусульманами, не принявшими ваххабизм: мужчин обращать в «мясо для хищных птиц», женщин насиловать, а детей обращать в рабство.

Негодующим ввиду всего этого людям Запада продолжатели Ибн-Таймийи и Аль-Ваххаба отвечают: посмотрите на самих себя, вы ничем не лучше, если не хуже — вы только мечтаете о подобных жестокостях в своих кинофильмах, а мы их совершаем. В самом деле еще полвека назад сами люди Запада ужаснулись бы, если бы могли увидеть, что у них показывают сегодня на экранах. Из самых ярких примеров последнего времени — «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино и «Грязь» Стивена Волша. Америку, какую она показана в этих фильмах, особенно в первом из них, можно охарактеризовать относящейся к России известной фразой К.П.Победоносцева: «ледяная пустыня, в которой бродит лихой человек». Беда в том, что такие фильмы воспринимаются (у них и у нас) как развлечение (Тарантино вопреки тому, что о нем думают, не потешник, в нем сидит чувство неприятия зла и тоска по чему-то «настоящему»). В «Омерзительной восьмерке» открывается «срез» американской жизни; конечно, это один из многих ее «срезов», но, возможно, самый глубокий.

Вот и выходит, что молодые люди, ищущие в жизни некоторой глубины, зачастую оказываются перед выбором: ледяная пустыня без Бога — здесь и сейчас, знойная пустыня со злым и жестоким богом — в некотором далеке, однако неуклонно приближающемся подобно тому, как физически наступают сейчас пустыни на соседние земли.

«Москва еще третьим Римом не была, а между тем должно же исполниться пророчество, потому что «четвертого Рима не будет», а без Рима мир не обойдется. Это из Достоевского, «Дневник писателя» за 1876 год.

Может быть, и в самом деле не обойдется. Недаром же сами ваххабиты определяют

своего врага, как «Рим». Но если он есть, то где он сейчас, носитель гордого имени? А если нет, то он просто обязан материализоваться. Пока не похоже, чтобы первый Рим показал себя достойным своего имени. Второй Рим давно спит под звуки томительного азана (мусульманской молитвы). Остается Третий. И как будто четвертого пока не видно.

Уже упоминавшийся Педер Йенсен пишет, что готов отказаться от мысли о новой Варфоломеевской ночи в случае, если православный Восток сумеет защитить европейское наследие. Допустим, Йенсен — «отвязанный» блоггер, которому только шальные мысли приходят в голову. Но похожие мысли высказывает и авторитетная Ида Мальи. Мыслить Европу, пишет она, можно только с Россией — не нынешней, еще «приходящей в себя», но «вечной»; ибо, судя по всему, именно ей суждено остаться в Европе хранительницей (*depositaria*) христианства.

Римлянка Мальи признает за Москвой право называться Третьим Римом. «Возможно, — пишет Мальи, — Россия сможет занять место, оставленное Европой, осознав со временем свою самость, не вполне европейскую и не вполне азиатскую. И станет таким образом единственным живым напоминанием о европейской цивилизации». И далее: «Сохраняя еще значительный "ресурс" христианства, Россия может стать местом духовного паломничества для осиротевших религиозных душ Италии, Франции, Австрии, которые обретут в этой стране общее прошлое»¹⁵.

Видимо, Мальи не единственная римлянка, которая мыслит подобным образом. На регулярно собирающемся в Вечном городе международном семинаре «От Рима к Третьему Риму» (*Da Roma alla Terza Roma*) обычно обсуждаются чисто исторические темы. Но на последнем из них политолог Альфонсо Пишители задан вопрос: «интерес к "духовной природе" России не является ли реакцией на деградацию Запада, которая и побуждает многих обратить свои надежды к Востоку?»¹⁶

Об этих итальянцах можно сказать, что они повторяют путь св.Антония Римлянина, о котором в новгородском «Сказании» (возникшем еще до выступления инок Филофея) говорится, что он приплыл в Великий Новгород на камне (его иконическое изображение относится к XV веку), усмотрев в «полунощной» стране «новый Рим».

Молодой немецкий публицист греческого происхождения Дмитриос Кисудис тоже смотрит в нашу сторону — об этом говорит его книга «Золотая Евразия. Новая холодная война и Третий Рим». К сожалению, мне не удалось найти эту книгу и я сужу о ней по комментариям немецкой прессы, благо она там широко обсуждалась. В заголовке стоит, если быть точным, «Евразия на золотом основании» («*Goldgrund Eurasien*»). Имеются в виду, во-первых, последние данные о прогнозируемых запасах золота, по которым Евразия, то бишь Россия, вроде бы занимает первое место в мире. Что, по мнению автора, позволит России первой вернуться к золотому стандарту, долженствующему оздоровить мировую экономику.

Но важнее второй смысл заголовка. *Grund* — это «земля», «основание», но также и «фон»; *Goldgrund* — это *ассист*, золотой фон русских икон. Золотой, солнечный цвет означает цвет божественной жизни. Православие в оболочке Третьего Рима — вот, по мнению автора, «спасательный круг» для европейского мира.

Может быть, и вправду *эта* красота (кстати, Достоевскому еще малознакомая, так как в его время древние иконы еще не научились чистить от насевшей на них копоти и их «рассыпчатое» золото еще не заиграло по-настоящему) спасет мир.

Газета «*Frankfurter Allgemeine*» (в номере от 2.05.2016) так передает идею книги: «Москва как третий Рим — московская фигура мысли, явившаяся из XVI века, — это не только имперский центр силы, но и центр силы духовной: как последний питомник сбережения христианства. Следует поэтому говорить о православии не как о послушном партнере Путина в деле возрождения империи, но как о подлинном источнике силы новой России». Далее цитата из книги: «Традиция Востока оформляется заново,

нынешнее преобразование (России) — исторический перелом, показывающий, как осуществляется диалектика преемственности». А по мнению самого автора газетной статьи, Россия занята ныне «ощупыванием корней» и это перспективная работа, которую зря манкирует Европа¹⁷.

Хотелось бы, конечно, не обмануть ожидания, подобные приведенным. Хотя сделать это будет очень не просто. По-прежнему лихой человек бродит в *нашей* ледяной пустыне. И еще много чего есть в отечестве, что мешает духовному восстановлению. Остается надеяться, что в какой-то момент придет осознание, что «золотой век в кармане», по слову Достоевского в том же «Дневнике писателя», и надо его просто оттуда достать¹⁸.

И чем скорее это случится, тем лучше. Потому что внешняя угроза (которая является также и внутренней) такова, что не допускает долгого отлагательства. Все, что выше было сказано о слабостях евроамериканского мира, в определенной степени относится и к нам, как никогда раньше слившимся с Европой культурно.

Текучести европейской истории и культуры мир ислама противопоставляет постоянство, и в этом — на сегодня — его преимущество. Но постоянство можно сохранять и в текучести, а в таком случае это понятие лишается негативного оттенка. И наоборот, постоянство может стать помехой, препятствующей «связи времен». Насколько могу судить, именно так обстоит дело в мире ислама: настоящее не «вытекает» из прошлого — оно связано с ним только волею Аллаха (наверное, я огрубляю, но суть примерно такова). Сейчас я говорю не о ваххабизме, а о каноническом исламе, поскольку таковой существует. Но у ваххабитов разрыв усугублен тем, что с их точки зрения история и культура не содержат ничего такого, чем стоило бы дорожить. Задача христианства — прямо противоположная: словами самого Христа, из того, что Богом дано, «ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» (Иоанн, 6:39). По убеждению даже хромающего в христианстве Розанова, «все бессмертно»; все — не все, но во всяком случае не только «голая» душа человеческая (это есть и в исламе).

Вот убеждение, которое должно послужить надежным щитом от всепроникающего ваххабизма.

Идея Третьего Рима, брошенная в течение веков «темным» иноком псковского монастыря, ныне овладевает умами¹⁹. Графически ее можно представить в виде ковчега, о который бьются с разных сторон волны мирового варварства. Понятие «ковчег» предполагает некоторую отъединенность от остального мира; конечно, ради самих себя, но также — если повезет — и ради остального мира.

Надо только понимать, что возрожденная идея Третьего Рима обязана вместить новые смыслы, которых псковский инок не предусмотрел и предусмотреть не мог. Во-первых, речь должна идти о сбережении не только православия, но и традиционного для наших краев мусульманства — преимущественно суфийского корня (имеющего множество точек соприкосновения с христианством). И во-вторых, речь должна идти также и о сбережении культуры — *ab urbe condita*, «от основания города» (Рима)²⁰.

А вот взлетит эта крылатая идея или нет, зависит от того, сумеет ли она преодолеть силу сопротивления бытийной массы, которая выглядит сегодня неподъемной.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Приходится подивиться тому, что *брексит* породил волну споров о будущем Европы, полагающих аксиоматичным, что у Европы есть будущее. Впечатление такое, что политики и экономисты живут в совсем другой Европе, чем их соотечественники, способные мыслить «судьбически». И не замечают, что за плечами у них стоит, как на картине Арнольда Беклина, Смерть и играет на скрипке что-то свое.

² Заново обозначившееся противостояние России с Западом, что бы ни говорили, по степени напряженности далеко от того, что имело место в годы холодной войны.

³ Отдадим должное французам: у них философ еще может стяжать некоторую популярность.

⁴ www.causeur.fr/sens-existence-civilisation-europeenne-islam-37840.html

⁵ Magli I. Dopo l Occidente. — Milano: Rizzoli, 2012. P. 21.

⁶ Billmuehlenberg.com/2014/09/22/multiculturalism-islam-and-the-war-on-the-west/

⁷ Media Monitors Network, April 18, 2003.

⁸ Guerre et paix dans la pensee d Erasme. — Paris: Aubier Mondaigne, 1973. P. 340, 350.

⁹ Дело доходит до того, что собственная вонь начинает приносить удовольствие. Один из последних тому примеров: франко-американский фильм «Наш запах» Ларри Кларка (2014). Это предельно мерзкий фильм и в то же время предельно скучный, лишний раз подтверждающий, что дьявол — отец скуки.

¹⁰ Royallib.com/read/heyzinga_yohan/v_teni_zavtrashnego_dnya.html#266240

¹¹ Renan E. L Islamisme et la science. www.culture-islam.fr/contrees/maghreb/ernest-renan-islamisme-et-la-science-1883

¹² В подстрочном переводе: «направит свой кровавый путь на Запад».

¹³ Brown N.O. The Challenge of Islam. — New-York: North Atlantic Books, 2009. P. 3.

¹⁴ Прот.Г.Флоровский. Догмат и история. — М.: Изд. Св.-Владимирского Братства, 1998. С. 289.

¹⁵ Magli I. Указ. соч., P. 226.

¹⁶ www.arianuaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=48444

¹⁷ Похожие мысли находим и у других западных авторов. См., например, материалы очередных «Бердяевских чтений» в «Тетрадах по консерватизму ИСЭПИ», № 3 за 2015 г.

¹⁸ Достоевский имеет в виду, что «даже скучные, самолюбивые люди могли бы родить из себя высшие качества, да только они об этом не знают». («Дневник писателя» за 1876 г. Гл. I. IV).

¹⁹ См., например, материалы научной конференции «Москва — Третий Рим» (11 ноября 2014 г.) с участием ведущих наших историков: www.pravoslavie.ru/75070.html

²⁰ Лет десять назад я уже писал об этом (в статье «Два убо Рима падоша...» — «Континент», 2007. № 132): за минувшие столетия в России создана богатейшая культура, что позволяет усматривать в концепции Третьего Рима не только церковно-каноническое и геополитическое, но и культурное содержание. (Вопросы социально-политические и экономические, сколь они ни важны, полагаю считать производными от основной задачи.) Н.А.Бердяев писал, что кроме священного предания Церкви существует еще и «священное предание культуры», а образ Рима является «вечным образом культуры».

Анна Фёдорова

Свободолюбивые баловни

Взгляд с итальянского каблука

Если следовать расхожему мнению, что «итальянцы — как дети», то итальянские дети — это воплощение в превосходной степени всего самого что ни на есть детского. Непосредственность — до предела. Свобода в выражении чувств и эмоций. Отсутствие границ и правил, легкомыслие и полное отсутствие стеснительности.

На этих страницах вы увидите провинциальную картину, слепок жизни из южной итальянской глубинки. Я очень необъективна, пристрастна в суждениях и размышлениях. Мои истории не столько о детях, сколько об отношении к ним взрослых, о той части образа жизни и мышления, которая касается воспитания детей.

Главная ценность

Мамы носят за ними рюкзаки до старших классов. Их возят на машинах, даже если школа или место назначения находится в трех минутах ходьбы от дома. Над ними трясутся. Их балуют. За ними следят во все глаза. Они — сокровище. Главная ценность общества — дети. Поэтому им позволено все или почти все. Наличием детей гордятся, их отсутствие — самое большое горе в жизни.

Итальянцы не могут пройти мимо симпатичного ребенка, они сразу же расплываются в улыбке и начинают сюсюкать: ой, какая прелесть, до чего чудесный малыш, дай поддержать на руках, дай потискать. Появление малыша в любом месте всегда приветствуется, привычная жизнь замирает, и все внимание сосредоточивается на ребенке. Он — центр мира. Он — воплощение любви и счастья.

С самого рождения ребенок понимает, что он всегда на первом месте. Не только для папы и мамы, бабушки и дедушки, но и для многочисленной родни и друзей родителей. Со всех сторон — внимание и обожание, стопроцентное принятие и самые чистые побуждения. Итальянцы — очень терпеливые родители, ласковые и любвеобильные. Они могут часами выносить детские капризы и улыбаться, пожимать плечами и говорить: «Это же ребенок!»

Фёдорова Анна — переводчик, прозаик, журналист. Родилась в Москве, в настоящее время живет в Италии. В ее переводах выходили произведения Луиджи Малерба, Лучану Литтиццетто, Франко Арминио, Эммануэле Тонона, Дачу Марайни... Работает в итальянской редакции радиокompании «Голос России».

Жизнь начинается с макарон

Когда родился мой сын, наполовину итальянец, я сразу почувствовала разницу воспитательных и пищевых моделей. Итальянская и русская бабушки никак не сходились в вопросе, что должен начать есть ребенок в первую очередь: бульон с маленькими макаронками или овощное пюре. В какое время правильно приучать к горшку, с какого возраста надо объяснять ребенку, как себя вести, следует ли с ним гулять и при какой погоде. Я слушала их советы и кивала, ребенок тем временем рос.

Лео впервые попал на свою вторую родину в пять месяцев. Итальянская бабушка сразу же принялась настаивать, что с трех месяцев надо было начинать давать мясной бульон с меленькой пастой и сверху обильно посыпать тертым пармезаном. Без пармезана — невкусно! А вот гулять с дитем необязательно, достаточно похода к врачу или в магазин. Но лучше ребенка вообще никуда не таскать: не дай бог, заразу подхватишь! Подрастет — нагуляется! Итальянская бабушка говорила:

— Не забывай: мы — почти в Африке, летом солнце у нас опасное, а дома тенек и прохладно! На море младенцам (сыну было полгода) делать нечего: в воде замерзнет, на солнце — перегреется!

Несмотря на все протесты, мы с Джованни упорно таскали люльку с Лео на пляж, преступно рискуя здоровьем ребенка, по мнению бабушки. Да если бы только бабушки!.. На нас с укором смотрел весь пляж!

Первое время к нам толпой тянулись родственники с подношениями младенцу — словно рождественские волхвы, и каждый спрашивал:

— Чем кормишь? Ты ему пасту даешь?

Я, русская, пасту шестимесячному сыну не давала.

— Ай-ай, ребенка надо кормить. А печенье с молоком?

Печенье с молоком я тоже не давала. На мой, русский, взгляд ребенок еще не дорос до итальянских деликатесов, но родственники не унимались:

— А рыбку? Бульончик из нашей местной свежайшей трески знаешь какой полезный! Для мозга самое то! Там Омега-3!¹

Я кивала и говорила, что обязательно попробуем и бульончик, и пастину с пармезаном, и молоко с тающим печеньем, но потом. Когда зубы будут. А пока пусть растет по-русски. Так привычнее.

Перерастет

Когда мы окончательно переехали в Италию, сыну исполнилось три, а дочке восемь. Помимо смеха и улыбок были и капризы, и требования, и истерики — в общем, обычные детские дела. Чаще всего мне удавалось договориться с детьми и объяснить, что можно, а чего нельзя, при необходимости найти компромисс и при этом не скатиться в потакание и вседозволенность. Однако все наши итальянские родственники и друзья, как только видели детские слезы, сразу все разрешали, действуя по принципу: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Килограмм мороженого? Пожалуйста. Кидаться песком на пляже, пачкая всех отдыхающих? Пожалуйста. На обед одно сладкое? Пожалуйста. Нахамить взрослому? Без проблем. Дома все переворачивает вверх тормашками? Ничего страшного, дети — они такие.

Итальянским детям разрешается практически все. Когда я удивленно говорю: а как же воспитание? Вежливость? Дисциплина? Ответственность?

— Вот вырастет — сам(а) все поймет и всему научится.

— А капризы?

— Перерастет.

¹ Витаминный препарат, родственный рыбьему жиру. (Прим. ред.)

— А как же отказ от памперсов и приучение к туалету?

— Ну, до школы можно. Не парься.

Заметив странное выражение на моем лице, мне тут же рассказывали историю про кузину, которая до четырнадцати лет писалась, а потом само прошло. «Перерастет» — любимое слово.

Большинство жителей нашего городка не воспитывают детей, а просто ждут, пока они вырастут и поумнеют. Воспитание и образование — дело школы. Учителям платят, пусть они этим и занимаются.

Детский сад

Знакомство с итальянскими «бамбини» началось с детского сада. Однажды вечером к нам домой позвонила незнакомая женщина и сказала:

— Я — воспитательница, меня зовут Марилена, не хотите записать вашего сына в мою группу?

Оказалось, что Марилена не просто воспитательница, а практически родственница: наша бабушка приходится ей крестной. На семейном совете мы решили, что лучше отправить Лео в группу к практически родственнице: будет под присмотром.

От Марилены я узнала, что местный муниципалитет составляет списки детей садовского возраста. Однако пройтись по домам и навестить будущих воспитанников — это исключительно ее личная инициатива. На самом деле детей нужно, как и везде, записывать в детский сад по месту жительства. Городок у нас малюсенький, и проблем с местами нет.

Чтобы попасть в сад, нам не пришлось бегать по врачам, проходить диспансеризацию, сдавать анализы. Все было очень просто. Пришли в школу, заполнили бумажки, указали, что ребенок привит. И все. Собраний никто не устраивал, денег не просил. Единственное, что нужно было сделать: купить два халатика в мелкую клеточку. У девочек розовенькие, у мальчиков — голубенькие. У девочек вышиты цветочки или бантики, у мальчиков — машинки или паровозики.

Детский сад относится к первой ступени школьного образования, она не обязательна, но все родители отправляют туда детей для социализации. Бабушки у нас не сидят с внуками до школы. Не принято. Дети должны уметь общаться со сверстниками почти с пеленок, поэтому многие одноклассники Лео ходили даже в ясли, несмотря на то что их мамы — домохозяйки. Про ясли умолчу, потому что лично с устройством этого заведения мне познакомиться не пришлось.

Порядки и распорядки

Детский сад, куда дети ходят с трех до шести лет, находится в здании начальной школы, занимает весь первый этаж и по структуре мало чем отличается от самой школы. Три группы — класса, два туалета — мужской и женский и большой холл, где устраивают праздники.

В сад надо приходиться не позже девяти утра. Можно раньше, но позже — никак. Потому что именно в это время начинаются занятия. Мы с Лео всегда последними влетали в группу: воспитательница уже бубнила молитву, а дети хором мычали что-то невнятное.

Кстати, завтрак в саду нет, все едят дома. Если проспал и не успел, то в районе половины одиннадцатого будет перекус: дети едят то, что принесли с собой, то есть всевозможные хлебобулочные изделия невозможной вкусноты. Фрукты редко кто берет с собой. После еды занятия возобновляются: лепка, рисование, раскрашивание,

разучивание стишков, знакомство с временами года, элементарными геометрическими формами и цветами. То есть стандартный набор, который вы найдете в изданиях типа «Моя первая книга».

Через полчаса после полудня — обед. Тут все как положено: в группу приезжают с тележками тети в белых халатах и накрывают на стол. Тарелки, ложки и вилки — все одноразовое. Поели, собрали и выбросили. Обед из трех блюд: на первое паста, или рис, или бобовые. На второе — мясо, рыба плюс овощной гарнир: или свежий или вареный. На третье — фрукты. Запивают все водой. Ни чая, ни какао, ни компота на обед детям не предложат.

После еды можно спокойно поиграть и попереваривать. А с полвторого снова занятия до трех. На этом наш детсадовский день заканчивался. Ни сна, ни двух прогулок, ни физкультуры, ни музыки.

— Дорогие родители, с трех до четырех часов вы обязаны забрать вашего ребенка. В четыре сторож закрывает двери садика, и неважно, работаете вы или нет. «Рабочий день государственного дошкольного учреждения подошел к концу», — так говорила мне воспитательница, если я не дай бог задерживалась и приходила ближе к четырем. К этому времени всех детей уже разбирали, и Лео в одиночестве лепил из пластилина.

Тут стоит добавить, что итальянская школьно-садовская система не рассчитана на работающих родителей. Все занятия заканчиваются задолго до конца рабочего дня. А это значит, что нужны бабушки, няни или игровые комнаты за отдельную плату.

Уроки религии и материнская любовь воспитательниц

Школа в Италии светская, уроки католичества по желанию, но в нашей группе мы оказались единственными родителями, которые отказались от религиозного воспитания. Муж — атеист, я — православная, мы решили выбор веры предоставить самому ребенку. Вырастет — выберет то, что ближе, а дома мы знакомим Лео с основами всех мировых религий. Школа не была готова к такому решению, и никто не знал, что делать с моим сыном во время урока религии: то ли вести гулять, то ли отправлять играть в коридор. В итоге Лео оставляли сидеть в классе: им занималась воспитательница, пока учительница по католичеству вела урок.

Несмотря на светскость, наши воспитательницы начинали школьный день с молитвы ангелу-хранителю, а перед обедом читали «Pater noster». Если бы это влияло на благочестие и поведение, я была бы счастлива, но, увы, все это делалось только для виду. Воспитательница Клелия, ярая сторонница утренних молитв, не только постоянно кричала на детей, но и позволяла себе легкое рукоприкладство. Однажды, когда я пришла за сыном, Клелия подошла ко мне и сказала:

— Твой сын плохо себя вел, пришлось его шлепнуть. О чем я тебе и докладываю.

На пять секунд я застыла с открытым ртом, потому что не ожидала от цивилизованной страны такого подхода к воспитанию. Справившись с удивлением, я твердо объяснила, что нашу семью такие действия даже с благой целью не устраивают и что повторения я не потерплю.

Клелия, которая старше меня лет на тридцать, в свое оправдание ответила:

— Лео очень похож по характеру на моего сына, такой же чувствительный и ранимый, и такой же капризный. Я очень привязалась к нему. Я отношусь к Лео, как к родному сыну. И делаю все только из лучших побуждений.

К черту, скажу я вам, такие лучшие побуждения и чрезмерную привязанность к детям.

Воспитательницы и учителя начальных классов действительно очень привязываются к ученикам и обычно обожают своих подопечных. Девяносто процентов времени детей в школе зовут не по имени, а просто «аморе мио» — «моя прелесть»,

«мой любимый» или просто «аморе». Мои северные полурусские дети долго не могли привыкнуть к избыточному сюсюканью, постоянным улыбкам, объятиям, поцелуйчикам в щечку, потрепыванию по макушке со стороны воспитательниц да и всех остальных итальянцев. Такие проявления внимания поначалу казались очень неестественными, но со временем Женя и Лео освоились и сами переняли эту типично итальянскую манеру обращения.

Два праздника в году

Помните наши многочисленные утренники и праздники в детских садах? У итальянцев такого нет: во время учебного года всего два утренника, один на Рождество, другой — в конце года. Из школьных праздников — карнавал, но без участия родителей.

На Рождество обыгрывают бессменный сюжет рождения Христа. В представлении участвуют сразу все группы. Сценарий пишут воспитательницы, они же занимаются музыкальным оформлением. Никаких преподавателей физкультуры, танцев и музыкальных руководителей в нашем итальянском саду нет. Поэтому представление, по моим русским меркам, не дотягивает даже до привычного мне детсадовского уровня: ребята из выпускного класса танцуют, как наши трехлетки.

Что касается общего развития: здесь с ним не очень заморачиваются ни родители, ни школа. Всему свое время, торопиться некуда — таков принцип начального итальянского образования. Что не доучил в этом году, доучишь в следующем. До средней школы, то есть до одиннадцати лет, к детям очень снисходительны и никогда не оставляют на второй год. Зато в средней школе второгодников хоть отбавляй — по два-три человека в каждом классе.

«Последний звонок» в детском саду — очень трогательное мероприятие для мам и воспитателей. Все рыдают. Дети читают стихи, поют песни под фонограмму, танцуют и рассказывают о том, чему они научились за эти три года. В завершение на всех выпускников надевают «академическую» одежду: мантии и «конфедератки», что способствует большей торжественности момента. Выглядит очень симпатично!

Я не сентиментальна, да и детский сад мне не понравился, поэтому я с радостью рассталась с этим заведением. И на следующий год сын отправился в первый класс в ту же самую школу, но на второй этаж.

Начальная школа

После переезда в Аветрану моя старшая дочка Женя пошла в третий класс. Она умела говорить по-итальянски, но писала только по-русски, и я весь август учила ее писать. Тщетно пыталась я добиться от школьной администрации каких-либо списков для подготовки к учебному году: все только разводили руками и не понимали, чего я от них хочу. Оказалось, что никаких списков нет, никто к школе не готовится, учебники не покупает, форму не ищет. И вообще никто «не парится». Только я. По старой привычке. Когда мне наконец-то удалось дозвониться до директрисы, она ответила практически как Карлсон:

— Спокойствие, только спокойствие. Не переживайте, учительница вам все скажет.

— А что же надо купить к школе? — не унималась я.

— Ничего. До свидания.

Разговор окончен.

В итоге я купила два синих халатика с цветочками — такая форма полагается у нас в городе для учеников начальной школы, пенал и рюкзак. В середине сентября

дочка отправилась в школу. Кстати, учебный год у нас на юге начинается в районе 15 сентября, а заканчивается 10 июня.

После уроков я пристала к учительнице:

— Что покупать? Какие учебники? Какие тетради? Нужны ли дополнительные занятия по итальянскому языку?

Снова слышу карлсоновский ответ:

— Торопиться некуда. Год только начался. Через неделю мы раздадим списки, что нужно купить, а еще через две недельки придут книги. Вы, вообще-то, не переживайте. Мы Женю всему научим. Вам ничего делать не надо.

Удивлению моему не было предела. После двух лет в московской начальной школе я ожидала всего, что угодно, но не была готова к такому повороту событий. Я привыкла, что родитель — активный участник учебного процесса, что список книг и рабочих тетрадей выдают чуть ли не за два месяца до начала учебного года и без дополнительных занятий — никуда.

В результате Женина школа стала для меня приятной неожиданностью.

В Италии есть несколько вариантов школьного распорядка в начальной школе: короткий день — с утра и до обеда и полный — до половины пятого. Дочка попала в класс на полный школьный день. Это была настоящая находка. Во-первых, нет домашних заданий, потому что все делается в школе. Во-вторых, получается практически в два раза больше времени на изучение предметов. В-третьих, больше возможностей для реализации творческих проектов.

Учебники нам выдали бесплатно, но не в школьной библиотеке, а в местной книжной лавке. В школе раздают талоны на книги, которые надо забрать из магазина. Это правило действует на протяжении всей начальной школы. Библиотеки в школе нет.

В Женином классе были две учительницы: Флориана преподавала итальянский, английский, историю и географию, Карла — математику, естественные науки, музыку и рисование. Одна — с утра и до обеда, другая — с обеда и до вечера.

Кстати, перемен в нашем понимании, когда дети гурьбой выбегают из класса и носятся как сумасшедшие по коридору, в итальянской школе нет, а уроки длятся ровно час или больше, в зависимости от решения учительницы. Занятия начинаются в восемь тридцать, и до десяти тридцати дети учатся без перерыва. В половине одиннадцатого завтрак, принесенный из дома, при этом из класса выходить нельзя. В туалет — только во время уроков, такие порядки были в классе и дочки, и сына. Мне сложно представить, как итальянские дети выдерживают такой режим, особенно первоклашки. Лео учится до обеда и с утра до половины второго должен находиться в классе, за исключением выходов по нужде. Женин класс, который учился до шестнадцати тридцати, выходил в холл после обеда, и час дети играли и бесились, перед тем как снова запереться в классе. Отсутствие нормальных перемен, движения, на мой взгляд, — самый большой минус начальной школы. После уроков дети «отрываются» как бешеные: носятся, скачут, орут — выплескивают всю энергию, что накопилась за день, и разминают затекшие мышцы. Зная эту особенность, практически все мамы после школы водят детей в различные спортивные секции.

Все вместе

У Лео в классе учится мальчик по имени Стефано. Он из неблагополучной семьи и находится под наблюдением психиатра. У мальчика серьезное расстройство, и ему очень трудно учиться. Буквы в его тетради расползаются в разные стороны, а с цифрами он не дружит совсем, впрочем как и с одноклассниками. Вспышки агрессии

и неадекватное поведение отпугивают ребят, но учителя объясняют и помогают детям принять «друга с особенностями».

В Италии нет коррекционных школ и спецклассов для трудных детей. Все дети, нуждающиеся в помощи, учатся вместе с обычными. Если администрация школы и классный руководитель считают, что необходима помощь, родителям трудного ребенка предлагают взять в класс еще одного педагога, который будет заниматься исключительно их «трудным» сыном или дочерью. Если родители согласны, в классе появляется еще одна учительница.

С самого детства итальянцы учатся уважать различия и особенности других, учатся быть вместе и поддерживать друг друга вне зависимости от физических или психических особенностей. Эти нравственные принципы заложены в самой школьной системе. Обязательное образование — обязательно для всех без исключения.

Пусть бегут неуклюже...

Итальянцы любят и умеют организовывать праздники. Детский день рождения — это прекрасный повод устроить потрясающий веселый праздник с клоунами, аниматорами, танцами, беготней и огромным тортом. На таком торжестве именинник на несколько часов превращается в настоящего короля.

Как вы думаете, сколько народу зовут в гости? Да весь класс, всех соседей, всю группу детского сада. В общем, собирают всех детей в округе. Неважно, позволяют средства или нет, но праздник у ребенка должен быть — так считает большинство родителей, с которыми я познакомилась в итальянской школе.

Если дом большой, праздник устраивают в гостиной или на веранде. Если дом маленький, то снимают помещение: игротеку, зал для праздников или даже футбольное поле!

Андреа, одноклассник моего сына, обожает футбол, и родители решили устроить спортивный праздник: вместо воздушных шариков — футбольные мячи, вместо красивых костюмчиков — футболка и шорты. Сняли небольшое футбольное поле, пригласили тренера для развлечения. Угощение для гостей, конечно, совсем не диетическое: попкорн, чипсы, пиццы и фокаччи¹ всех родов. Все это хлебобулочное добро щедро запивается газировкой: кока-колой и фантой. Торт в два этажа: на первом — фото любимых игроков, а сверху — победный мяч. Так футбол и праздник — два важных увлечения всей жизнелюбивой Италии — сплелись в одно.

Откуда берется самостоятельность?

В Женином классе было семнадцать человек. Как мне казалось, обыкновенные дети: любознательные, озорные, веселые и открытые. Они любили учиться и были вежливы. Но они всегда находились под охраной родителей и ничего не умели делать самостоятельно. Некоторых перед сном мамы даже раздевали, мыли под душем, укутывали в теплый махровый халатик, потом надевали пижамку и укладывали в постель, и все это происходило в пятом классе. Кстати, в Италии пятый класс — это еще начальная школа.

Моя дочь была единственным ребенком, которая с третьего класса ходила в школу без родителей, помогала убирать и оставалась дома одна, при необходимости приглядывала за братом. По завершении начальной школы Женя умела печь блины,

¹ Фокаччо — плоский хлеб с разнообразной начинкой.

раза два сделала йогуртовый торт, регулярно ходила в магазин за хлебом. Про самостоятельное мытье и прочие навыки личной гигиены и говорить нечего. Все эти естественные для меня действия воспринимались итальянским «мамским» сообществом как чудо. Меня спрашивали:

— Как тебе удалось воспитать такого самостоятельного ребенка?

В нашем классе не было детей, которые выполняли бы хоть какую-нибудь работу по дому. Все делали мамы. Тотальная опека. Естественно, что при таком раскладе ребенку не позволяли одному выходить за пределы дома. На улицу — всегда с родителями или родственниками.

Чтобы моей дочке разрешили возвращаться домой из школы без сопровождения взрослого, мне пришлось писать заявление директору и вести долгие беседы с учительницами. В итоге я всех уговорила, и два года мы жили припеваючи. В последний год сменилось руководство, и новый директор не разрешил Жене возвращаться одной. Ее просто не выпускали из школы (от которой мы живем в пяти минутах ходьбы) до прихода кого-нибудь из нас.

Аветрана — очень безопасный городок, здесь тихо и спокойно, все друг друга знают и никогда ничего не случается. Машин мало, движение на дорогах спокойное, мамы расслабленно катят коляски по проезжей части. Машины подождут или объедут. Бояться здесь можно только собственной тени. На мой взгляд, идеальное место для воспитания самостоятельности и ответственности у детей.

Однако ребята здесь растут под неусыпным контролем взрослых и жаждут свободы.

Дорвались

В одиннадцать лет у итальянского ребенка начинается совершенно новая жизнь: он идет в первый класс средней школы. Образовательная система здесь устроена так: пять лет начальной школы, три года средней и пять лет старшей. Все эти три школы — отдельные институты, независимые друг от друга. И вот тут-то и проходит четкая граница, когда ребенок уже перестает быть ребенком и становится подростком. Насильно. Даже если еще не дорос. В глазах общества, пошел в среднюю школу — все, подросток, и неважно, что ты еще не созрел и продолжаешь играть в куклы или катать машинки.

Для родителей средняя школа — это временный ад, в котором придется жариться целых три года, но потом все будет хорошо. И все терпят: и родители, и учителя, и дети.

Первое, с чем сталкиваешься в средней школе, — это покупка учебников. Государство больше не выдает бесплатных книг, а библиотека отсутствует и здесь. Когда я получила список, то ахнула: 270 евро на учебники! К счастью, некоторые из них покупаются на все три года, а остальные, если повезет, можно найти за полцены, в подержанном виде. Мне повезло: я потратила только 180 евро на книги, но в Женином классе оказались ребята без учебников. И ни школа, ни муниципалитет, ни социальные службы почему-то не могли им помочь.

С переходом в среднюю школу жизнь ребенка кардинально меняется. Теперь не нужно носить скучные синие халаты, наконец-то можно ходить без формы. Можно возвращаться домой самостоятельно. Можно ходить гулять без родителей. Можно все, что было запрещено в начальной школе: доводить учителей, быть плохими мальчиками и девочками, можно по вечерам есть пиццу с друзьями, можно ходить с накрашенными ногтями и губами на уроки, вести себя вызывающе и плевать на взрослых. Дети слетают с катушек. Потому что неожиданно родители перестают их контролировать и позволяют все.

А тут еще переход от одной учительницы — к разношерстному преподавательскому

составу. Опоздания больше не прощаются. За пятьдесят прогулов оставляют на второй год. И вот какая проявляется закономерность: чем жестче следят за дисциплиной в школе, тем хуже ведут себя дети. Среднюю школу ненавидят все — и учителя, и родители. Первые все детские безобразия списывают на дурной характер и невнимание семьи, вторые — на слабость учителей и плохую подготовку школьных кадров. Конечно, и характер, и родительское невнимание к учебе, и непрофессиональность учителей имеют место, но не в таком масштабе. Мне кажется, что дети просто дорываются до свободы и пробуют ее на все лады. Изучают, что можно, а что нельзя. Проходят очередной кризис развития.

Впечатления от детей одиннадцати—тринадцати лет обычно ужасны: они кажутся невоспитанными, наглыми, бессовестными, жестокими, беспринципными, не желающими никого слушать. Но у большинства все эти симптомы быстро проходят.

Учеба в средней школе — дело серьезное. Чтобы получить семерку (в Италии десятибалльная система оценок), приходится серьезно попотеть. Домашних заданий задают море, можно утонуть. Особенно страшны «домашки» по рисованию. Часто уже ближе к десяти вечера Женя просила меня:

— Мама, помоги раскрасить.

У меня сложилось впечатление, что здесь считается, будто каждый должен уметь рисовать. Тетради в начальной школе больше похожи на комиксы: рисуют по всем предметам. История, география, математика, итальянский — все в картинках, все раскрашено. Раскрашивание — задание по умолчанию. Учителя об этом даже не напоминают, все дети знают, что надо раскрашивать — и точка. Иначе поставят плохую оценку или запишут замечание в дневник. Мой сын, первоклассник, ненавидит раскрашивать, считает, что это тупое механическое занятие. Я надеялась, что в средней школе эти художества прекратятся. Но оказалось, что там все еще хуже.

Преподаватель по искусству, «профессоресса» Дон Вито считает, что все дети должны быть художниками. На мой взгляд, она дает непосильные для простых одиннадцатилетних ребят задания: нарисовать античные храмы во всех подробностях, скопировать древнеегипетские картины, создать подражание импрессионистам. Плюс постоянное раскрашивание. Домашнее задание в итоге доделывают родители. Потому что дети валяются с ног от усталости.

В средней школе серьезно берутся и за музыкальное образование. Каждый ребенок обязан научиться играть на простеньком инструменте на выбор: флейта, металлофон, мелодическая гармоника. По желанию можно брать дополнительные бесплатные уроки музыки: ребенка научат играть на гитаре, фортепиано, блок-флейте, кларнете, только выбрать инструмент в этот раз не дадут. Все будет зависеть от способностей и свободных мест. Моя дочь мяукает на флейте, от остального она решила благоразумно отказаться — и так много задают.

Первый год средней школы мы пережили. Осталось еще два.

Случай у врача

В небольшой приемной полутемно. Свет не горит, хотя на улице уже сумерки. На холодных железных стульях пристроились мамы с детьми. Стулья яркие, разноцветные, но в полумраке красный, синий, зеленый превращаются в одинаковый серый. Мой сын простудился, и я жду нашей очереди к педиатру. Передо мной три человека. На небольшом пятачке между стульями бегают мальчишка лет трех. Вокруг суетится мама. Неожиданный громкий пук, и резко запахло какашками. Мама озирается по сторонам и спрашивает:

— Вы не знаете, где здесь туалет?

Я показываю на малюсенький коридор в углу приемной.

— Первая дверь направо.

Мама важно берет сына за руку и тащит в указанном направлении. Через две минуты возвращаются. Запах стал еще сильнее.

— К сожалению, там нет пеленального столика, а только биде. Я не могу поменять памперс. Кто ж знал, что он наложит в штаны! — оправдывается мама.

— Можно поменять и без столика, — отвечаю я. (И кто только меня за язык тянул!)

В мою сторону полетели косые взгляды. В разговор вступает сидящая напротив меня женщина:

— Ничего страшного, бывает. — И мило улыбается.

— Сейчас уже наша очередь, врач быстро посмотрит — и домой, — отвечает мама обкакавшегося мальчика.

Помещение маленькое, и запах становится нестерпимым. Я встаю и открываю дверь.

— Извините, я впущу немного воздуха.

— Да-да, конечно, — кивают все в очереди.

Дверь в кабинет открывается, оттуда выезжает коляска, следом катится мама, и громкий голос врача зовет:

— Заходите!

Мама с каканым мальчиком проходят в кабинет. Бедная докторша!

В кабинете

Еще через два человека подходит моя очередь. Пока педиатр осматривает Лео, я, пользуясь случаем, рассказываю ей о том, что пишу эссе про итальянских детей, и спрашиваю, что она думает о своих пациентах. То, что я услышала, оказалось для меня неожиданностью:

— Итальянские дети очень избалованные. Родители проявляют свою любовь, заваливая ребенка дорогими вещами, они ни в чем не отказывают сыну или дочери. С самого рождения ребенок окружен кучей ненужных предметов, вещизм становится его натурой. В результате дети растут пустыми потребителями без духовного наполнения. Все желания сводятся к одному: купи. Но как только вещь куплена, интерес к ней сразу пропадает и появляется новый объект желания. И снова: купи! Я наблюдаю этот процесс последние пятнадцать лет, и мне кажется это очень грустным. Проблема потребительства — общемировая проблема. Италия — не исключение. Зато у нас есть свои типично местные заморочки. Вы заметили, что здесь никто не гуляет с детьми?

— Да, мне это сразу бросилось в глаза. Когда Лео был маленький, я во всем городе была единственной мамой, которая дважды в день бродила с коляской вокруг замка.

— Местные мамы очень берегут детей. В нашем жарком климате все постоянно сидят по домам. И зимой, и летом. Летом — бояться солнца, зимой — холода. Я постоянно советую молодым мамам гулять, но меня, педиатра, не слушают. Над детьми трясутся, кутают даже в жару, бояться простудить. В итоге дети перегреваются, потеют, а чуть ветер — сразу простуда и сопли. Гиперопека — основной бич нашего общества. Она делает наших детей беспомощными куклами, не приспособленными к взрослой жизни. И виноваты во всем мы, родители.

Мудрые слова. Полностью согласна. Именно от гиперопеки произошло такое типично итальянское социальное явление, которое называется...

Mammoni

Кто это такие? Маменькины сыночки, только великовозрастные. Несмотря на то что речь преимущественно о сыновьях, для меня это явление не разделяется по половому признаку. Есть такие же великовозрастные вечные дочки, которые сидят на родительской шее чуть ли не до пенсии. Это очень типичное явление, к счастью, довольно редкое: потому что последствия «маммизма» для общества разрушительны.

Все начинается с всеобъемлющей, безграничной и слепой родительской любви, которая почти всегда идет рука об руку со вседозволенностью. Дети, растущие в обстановке «можно все», незаметно для себя становятся манипуляторами. К этой смеси добавляется утверждение: ребенок должен учиться, а самостоятельность и работа подождут. Семья сделает все для образования своего чада. А мама будет готовить, стирать и гладить рубашки столько, сколько потребуется. В итоге девятнадцатилетний итальянец заканчивает школу, записывается в университет и продолжает жить за счет родителей. Очень небольшой процент детей стремится к самостоятельности. Причин тут две: жить с родителями очень удобно, они делают за тебя все, а ты только учишься; найти работу, чтобы самому оплачивать университет и прочие расходы, очень сложно. В Италии молодежная безработица достигает пятидесяти процентов. Родителей тоже такая ситуация устраивает: дите дома, под присмотром.

Даже если сын или дочка выбирают университет в другом городе, они продолжают жить за родительский счет. Им оплачивают квартиру, еду, учебники, развлечения. Итальянские родители никогда не скажут своему ребенку: иди работай. Это не принято. Долг отца и матери содержать ребенка и дать ему достойное образование. И уже великовозрастные дети часто превращаются в паразитов.

В итальянском университете пятилетнюю программу проходят обычно за 6—7 лет. Потом бывший студент идет получать дополнительное образование — это еще года два, потому что сразу после универа на работу никто не возьмет: опыта нет. Если хочешь стать адвокатом, журналистом, нотариусом, врачом — тут вообще долгая история. Один мой знакомый впервые устроился на работу по специальности после учебы в... сорок семь лет!!! Помощником адвоката.

И вот время бежит, детки учатся и растут и незаметно превращаются в дядь и тетю, но при этом продолжают быть детками, жить в родительском доме, где их холят, лелеют, одевают, обувают и дают деньги на карманные расходы. Итальянские мамы, повторю, часто довольны таким положением дел: ребенок под крылом, дома.

Отчасти такое отношение к детям — это продолжение старинной традиции жить большой семьей, когда все друг другу помогали и поддерживали материально. Минус этого явления: нарушение естественного цикла развития личности, ведь гиперопека всегда деструктивна. Инфантильные взрослые не стремятся брать на себя ответственность и часто не способны решить простейшие житейские проблемы.

Выйти из этой зоны комфорта очень непросто. Некоторые остаются в ней до пенсии. Но большинство, к счастью, успешно перерастают и в тридцать-тридцать пять начинают самостоятельную жизнь, женятся, заводят свою семью и рожают детей.

И тут начинается новый круг воспитания...

Евгений Абдуллаев

В поисках поступка

Шесть поэтических сборников 2016 года

«Книга — это не сочинительство и не заработок, а поступок».

Фраза известная, из «Зеркала» Тарковского.

Автор (так главный герой назван в сценарии) неспешно переговаривается с бывшей женой; в окне — сын, разводящий на снегу костер...

Продолжение реплики Автора: «Поэт призван вызывать душевное потрясение, а не воспитывать идолопоклонников», — казалось более банальным. Ну, да: вызывать душевное потрясение, «глаголом жечь сердца людей», «я весь мир заставил плакать»... Здесь больше сомнительной патетики — даже при острающо обыденной, расслабленной интонации Смоктуновского.

А вот относительно того, что книга — вероятно, поэтическая — это «не сочинительство и не заработок, а поступок»...

Сегодня, разумеется, уж точно не заработок; скорее, наоборот. Да и «сочинительство» тоже звучит двусмысленно. Вранье, небывальщина; занятие несерьезное¹...

Что остается в итоге? Поступок. Поэтическая книга как поступок.

В 1974-м, когда снималось «Зеркало», знаменитая работа Бахтина «К философии поступка» еще не была опубликована — выйдет в перестроечные годы.

Но идеи, как известно, пропитывают воздух. («Прямой поступок — вот реальность / Не меньшая, чем гениальность», — это из вышедшей в том же 1974-м книги Кушнера «Письмо».)

Поступок, по Бахтину, — не просто некоторое решительное действие.

«Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых складывается вся моя единственная жизнь».

Поступком может быть мысль. Поступком может быть слово. Поступком — если продолжить намеченный Бахтиным ряд — может быть стихотворение или книга стихов.

Поступок поэта может быть социальным — и может не быть им.

Он может заключаться в том, чтобы «истину царям с улыбкой говорить», а может — в отказе от любого диалога с «царями» (если этот отказ как-то осмысленно артикулирован).

Поступок поэта может иметь вид перформанса или акции — вроде начатого в марте 2016 года «Тихого пикета» Дарьи Серенко, ежедневно едущей в московском метро с небольшим плакатом. Или сборника остросоциальной поэзии — как вышедший в начале года сборник «Современные антифашистские стихи» (Фанайлова, Медведев и др.). А может быть и вполне далеким от акционизма и не иметь никакого отношения

¹ Хотя можно вспомнить и сказанное Бродским: «...Сочинительство стихов тоже есть упражнение в умирании».

к социальной поэзии. Но затрагивать (сознательно или без-) какие-то важные экзистенциальные вопросы. По отношению к которым социальные — вторичны, а порой — и несущественны.

Поэтическим поступком может быть изменение, слом собственного устоявшегося стиля (или темы); а может, напротив, — твердое следование ему (ей). Важно только, чтобы первое не было продиктовано влиянием поэтической моды, а второе — стилистической инерции.

Поступком может быть неожиданное замолкание поэта. Достигнув определенной известности, перестать публиковать стихи и выступать с ними — не перестав их писать.

Вариантов поступка множество: каждый поэт выбирает свой путь «поступания». Или, если угодно, путь выбирает себе поэт.

Единственное, чем не может себе позволить быть современный поэт — это «частным лицом»¹, «сочинителем». К отдельному стихотворению применять критерий поступка я бы, конечно, поостерегся — нужны и «просто» стихи. Но вот «просто» сборник — как очередной отчет о собственном поэтическом функционировании — кажется все менее нужным, все менее внутренне оправданным. Слишком много книг, слишком мало читателей. И слишком много вопросов, на которые не то что некому ответить — которые некому формулировать.

Найти такие книги непросто. Я, собственно, не претендую на это — и сборники, о которых далее пойдет речь, не стал бы подверстывать под рубрику «поступка». Но категория книги-как-поступка мне кажется сегодня важной — как некая планка, как «затакт» для разговора о современной поэзии. И в отобранных сборниках, на мой взгляд, эта «поступочность» чувствуется сильнее, чем во многих других — пусть даже более талантливых и лучше составленных.

Далеко не все заметные сборники удалось просмотреть-прочитать. На полноту картины (это я повторяю из обзора в обзор) не претендую. Выбор субъективен; хотя старался, как и прежде, чтобы эти сборники представляли как можно более широкий спектр современной поэзии. И стилистически, и поколенчески, и географически: от классической силлаботоники — до ритмизованной прозы, от «двадцатилетних» — до «шестидесятилетних», от Севастополя — до Иркутска.

Отбирал в предыдущие годы обычно семь сборников. Цифра возникла случайно, но как-то закрепилась. В этом обзоре решил немного сломать инерцию (как рецензент, я тоже имею право на некоторые микро-поступки). Отобрано шесть. Вместо рецензии на седьмой будет краткий библиографический очерк — «И другие — не менее важные — книги». В первых обзорах я это делал в начале, до того как перейти к отобранным книгам. Потом перестал — заметив, что под(р)обные перечни в начале очерка тормозят чтение: взгляд пробуксовывает на именах, заглавиях, выходных данных... Хотя такой обзор для разговора о поэтических новинках все же нужен: чтобы был понятен фон, да и с информативной точки зрения — бесполезно. Решил на этот раз не начать им, а завершить. А сейчас — чувствуя, что и так уже несколько затоптался в предисловии — перехожу к книгам.

Стоя на стеклянной лестнице

Екатерина БОЯРСКИХ. Народные песни дождевых червей. — New York: Ailuros Publishing, 2016. — 74 с. Тираж не указан.

...Название как-то сразу не понравилось. Напомнило другое — не менее претенциозное — «Песни северных южан» Марии Степановой. Или чуть более удачное — «Народные песни» Сергея Круглова. Все равно: чувствуется в этом какая-то филологическая игра «в фольклор».

¹ О чем мне уже приходилось несколько лет назад писать в рецензии на одноименную («Частные лица») книгу интервью Линор Горалик («Знамя», 2013, № 10).

К счастью, неудачи сборника Боярских названием и ограничиваются.

В «дружбинском» поэтическом обзоре за 2014-й я писал об «иркутской ноте» в современной поэзии. Екатерину Боярских тогда не назвал. О чем сожалею: одно из наиболее ярких имен — и не только на неблеклом фоне поэтов-иркутян.

У Боярских — не слишком частое в современной лирике долгое поэтическое дыхание. Ее стихи разворачиваются медленно, перетекая со страницы на страницу. Дело даже не в самой длине: длинные тексты пишут и другие современные поэты — Юлий Гуголев, Сергей Круглов, Федор Сваровский, Дмитрий Данилов... Но у них нарастание стихотворного объема происходит за счет прозаизации, появления сюжетной канвы. Стихи Екатерины Боярских делятся за счет одного только лирического напряжения, разматывания клубка сложных и неожиданных ассоциаций.

Мы на стеклянной лестнице постояли,
дрогнули и рассыпались вместе с нею,
но продолжались. Ветки заledenели.
Было темно. Стало ещё темнее.

Стихи Боярских — воспевание и оплакивание хрупкости бытия. Все ломается, рушится и разлетается вдребезги. Осколки — ранят, обжигают. «Окно сбылось, разбилось / и стало звоном. / Пламя переместилось / и встало рядом».

Разлом, распад происходит внутри и самого стиха. И в этом тоже Боярских не так чтобы одинока: распад классической формы замечен у многих стихотворцев, особенно — одного с Боярских поколения (родившихся в конце 70-х). У многих, увы, это приводит к гудам случайного словесного сора. В «Народных песнях...» — к собранию неожиданных, запоминающихся образов, многоцветных и сияющих, как галька на дне ручья.

Бабочка-раскладушка. Пестрые шляпки грибов. Вьюнок на шпалах... Лучше процитирую полностью.

...то птичье сердце.
Я говорю, то пёстрые грибы,
вьюнок на шпалах, чайки на обрыве
или рисунок — пламенные горы на сколе, на окраине скалы,
то птичье сердце дрогнет под ногой.
Открытое, истлевшее лежит,
не персть ещё, не горсть, а птичье сердце.
Ещё не безымянный прах под ветром
бездонное окно,
прозрачный мост,
то утро,
тот огонь,
то птичье сердце.

«Сердце» — самый частотный образ книги; повторяется более сорока раз (люблю поверять гармонию алгеброй). Но ощущения некой заданности, монотонности от этого не возникает. Если точнее: вся поэтика Боярских построена на повторе, на круговом движении. На перечислении далеких, но «песенно» близких слов.

«Кожа, поклажа, кража». «Инфантильно, банально, больно, ветрено». «За рекой строки, за строкой реки»...

Формат журнальной рецензии не дает возможности цитировать длинные фрагменты, в которых этот песенный, ипофонический нерв поэзии Боярских становится особенно очевидным. Прошу здесь поверить на слово — или самостоятельно набрать имя поэта в поисковике. Найдется, кстати, немало. В литературу Боярских пришла не вчера: успела выпустить несколько книг, несколько поэтических подборок — в «Урале», «Новом Береге», «Воздухе». Есть и рецензии, отклики.

«...На стихийность (думается, все-таки природную) поэтического дарования

Екатерины Боярских накладывается координатная сетка филологической грамотности», — пишет в одной из них Аркадий Штыпель¹.

Что касается дарования — согласен полностью. Относительно «филологической грамотности»... Пожалуй, тоже — особенно, в отношении ранних текстов Боярских. Например, ее первой книги «Dagaz» (2005) с аллюзиями к разнообразным экзотическим мифам, Граалям, рунам. С аккуратными ссылками на книги Бигля и Конвицкого. С филологическим лексиконом. «Прячусь, путаясь в перифразах»... «Вещи движутся к эпилогу»... «Метафоры растений возникают»... Нет, это не были филологические стихи — но некоторая литературность, привкус искусственности в них ощущались.

В новой книге почти нет не только этой скучноватой игры аллюзий, но и — не менее скучноватого подражания футуристической зауми² (вроде «посреди атаки сада / шемаханская царица / на спине лежит как снег» — из первой книги). Лишь случайно наткнешься на что-то вроде: «Голос города — иностранец, / полон птицами аббераций...» Хотя это, скорее, не футуризм — а перебарщивание звукописью.

Движение от стихотворной филологичности — к онтологичности. В этом, возможно, определенная «поступковость» поэтического движения, результатом которого и стал этот сборник.

Неопалимый одуванчик

Александр МАЛИНИН. Невод. — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. — 106 с. Тираж 50 экз.

Александр Малинин — самый молодой и наименее известный среди авторов книг этого обзора, поэтому стоит начать с краткой биографической справки. Да и найти сведения о Малинине непросто: поисковик заваливает ссылками на его сладкоголосого однофамильца.

Родился в 1991 году в Мариинском Посаде (Чувашия). Живет в Петербурге. Публиковался на сайтах «Полутона», «TextOnly». В 2016-м, кроме «Невода», выпустил книгу стихов «Легкий взмах реки» (Чебоксары: «Free Poetry»).

От чувашских корней — одно из наиболее удачных стихотворений книги.

«Вот там, в зарослях чертополоха, лежит кугамай,
бабушка твоего деда».
Я жду, когда облако прервёт солнце
и сойдёт на кладбище тень.
Поросшие ограды и памятники, пляшущие даты,
солнцепёк.
Татары неподалеку безмолвны, как полумесяц.
Попробуй задуть этот одуванчик,
и он останется недвижим.

«Кугамай» (тут поисковик срабатывает быстро) — по-чувашски «бабушка».

Удивительно точно переданное ощущение залитого солнцем мусульманского кладбища³. Облако, прерывающее солнце. Безмолвные, как полумесяц, татары. «Незадуваемый» кладбищенский одуванчик.

¹ Книжная полка Аркадия Штыпеля // «Новый мир», 2010, № 3. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/sh19.html

² За что Боярских в предисловии к «Dagaz» хвалил Илья Кукулин («Боярских — наследница традиции не только футуризма, но и постфутуризма»); впрочем, выстраивание таксономий из «наследников» и «наследниц» авангарда является своего рода отдельным искусством, судить о котором не берусь.

³ Мне оно, к тому же, напомнило «Тутовник» Санджара Янышева — о ребенке на ташкентском мазаре («О кладбище, листованный палимпсест...»).

Умирание и жизнь (вопреки умиранию) — главная, на мой взгляд, тема этой книги. «Смерть» и производные от нее — еще раз займусь подсчетами — повторяется в книге тринадцать раз.

В начале было слово. В начале.
И о конце оно возвестит,
о конце.

Я останусь в кинозале, нащёптывая свою молитву.
Наложу на меня музыку, Господи.
Я такой ненастоящий.

В титрах на неизвестном языке буду ждать
своего имени, и это будет мне знаком.
знаком конца на чёрном непреходящем фоне.
Под шум проектора
беззвучно оно исчезнет.

Лирический герой Малинина живет «под натиском смерти». И не поддается ему. «Ангелы мои часовые: клянусь жить». (Слово «жизнь» повторяется в книге шестнадцать раз).

Смерти противостоит работа памяти. Памяти детской, памяти исторической, памяти культурной — только они, в единстве, способны удержать исчезновение имен и слов.

Память и есть невод (ставший названием книги): «Чаю часа, когда скажу: вот, в неводе моем лежит спокойно / настоящая, целая память».

Книга открывается неожиданной цитатой из пушкинской сказки: «Раз он в море закинул невод...» Неожиданной, поскольку иногда возникает чувство, что младшее поколение стихотворцев не то чтобы сбросило Пушкина с корабля современности — а где-то его случайно выронило...

Мне, впрочем, видится здесь не только знаменитый пушкинский невод, но и не менее известный — Арсения Тарковского: «И я из тех, кто выбирает сети / Когда идёт бессмертье косяком...»¹ (не говоря уже о евангельских параллелях, важных для поэта). Малинин не бежит классики, в его неводе находится место и Шекспиру — в стихопроезаическом диалоге «Эй мистер эй...», и Элиоту, и Цветаевой — которой посвящен отдельный цикл (зеркалящий ее собственные стихи на смерть Блока). Вот одно стихотворение из него:

Когда умирает дерево — земли каменеет лоно
Когда умирает дерево — птицы срывают голос
Когда умирает дерево — падает волос с главы Господней
Когда умирает дерево — стынет в ладонях миро
Когда умирает дерево — обымает его воздух
Когда умирает дерево — омывает его ветер
Когда умирает дерево — молчат иссыхают воды
Когда умирает дерево — листьев нисходит пепел
Когда умирает дерево — оно принимает тело
Когда умирает дерево — смиренна Мария Дева
Когда умирает дерево — земля умирает с ним

Не ставьте памятник — посадите дерево

Эта работа с традицией — причем, классической — на поле модерна видится мне очень важной.

¹ След Тарковского чувствуется и в стихотворении «Ты трижды мне как будто снилась/ Я был поверхностью земной...» (на мой взгляд, одно из лучших стихотворений сборника — жаль, невозможно в краткой рецензии процитировать все понравившееся).

Поэтический голос Малинина, кажется, еще не устоялся: поэт пробует разные стили, разные регистры, разные техники. От изощренной стихопрозы — до традиционного, прозрачного лиризма. От метафорической кучерявости: «бездыханные бабочки скованы бронзовым льдом...» — до почти детской поэзии (в цикле «Псалмические песенки»).

Это нормально — становление собственного голоса у современных лириков обычно происходит к тридцати. Что важнее — эти разные регистры соединены в книге вполне естественно, подчиненные единому дыханию, единой интонации. Единому — своеобразному — восприятию мира.

Любомудрие Свинорыла

Андрей ЧЕМОДАНОВ. Ручная кладь. — М.: Воймега; Творческое объединение «Алконость», 2016. — 128 с. Тираж 300 экз.

Большинство стихотворений, вошедших в предыдущий сборник Андрея Чемоданова «Я буду всё отрицать» (2011), были написаны верлибром — интересным, на мой взгляд. Было там даже что-то вроде манифеста — стихотворение «Эээх».

«Хорошо им/ традиционалистам// можно поднять бокал// и за ямб/ и за хорей/ и за амфибрахий...» Далее шло перечисление размеров и рифм, за которые традиционалист может выпить. Заканчивалось так: «А мне-то как быть?/ верлибр/ он верлибр и есть/ всего лишь/ один стакан».

Было в сборнике, правда, несколько текстов, написанных вполне традиционными размерами, но не они делали погоду. В 2014-м вышла подборка в «Новой Юности» — уже вся состоявшая из «ямбов-хореев». Как и вся нынешняя книга (за исключением четырех верлибров, предпосланных каждой из четырех ее частей).

Судя по всему, Андрей Чемоданов стал пить с традиционалистами.

Почему бы нет... В современной лирике челночное движение от силлаботоники к верлибру и обратно — процесс естественный. Тем более, что переход у Чемоданова произошел органично, без потерь. Тема, интонация, лирический герой остались прежними. Тема — стремительность бесплодно прожигаемой жизни. Интонация — блатной песни, с просветами то обнаженной лирики, то печальной иронии (и самоиронии). Герой — столичный полубомж-полуинтеллигент; чем-то напоминающий героев раннего (80-х годов) Гандлевского, но в более мизантропическом варианте.

я знал его горадио он был
того же завсегдатай магазина
его там называла свинорыл
кассирша но не зина а ирина

красивым жестом подлинная знать
и знающий как для народа лучше
обычно бравший вечные ноль-пять
а верные ноль-семь после получки

он мудрый план составил на века
имел скользящий но точнейший график
я знал его и прошептал ага
когда грузили тело в мятый рафик

Чемоданов — поздний представитель «поколения дворников и сторожей», его, пожалуй, единственный сохранившийся и звучащий голос. Остальные за смутные девяностые и мутные нулевые успели рассеяться. Разбредись «одни — в никуда, а другие — в князя»; а чаще — ни туда и ни туда, а в бургеров средней руки. Возле «магаза» и кабака, возле кладбищенского сарая остался один герой Чемоданова. И не

собирается никуда оттуда уходить. Ни к «князьям», ни к княжеским оппонентам. «...Мне пришла эсэмэска на площадь борьбы / я её не услышал конечно»... Ключевое слово — «конечно».

Герой Чемоданова асоциален — не в силу обстоятельств, а в силу осмысленного, кинического жеста. Он бездомен. «Дом» в книге упоминается только один раз, и то — метафорически: «я вернулся домой в поэзию / уголовником и инвалидом». Этот герой много думает о смерти — иногда очень литературно, по-бродски: «Я на замоскворечье / завалюсь умереть» (нобелиат, как помним, тем же анапестом обещал вернуться для этого на Васильевский остров). Порой с этой макаберностью явно перебарщивая. Но местами — там, где «бомжовая» маска слегка сползает — возникает настоящая лирика. В замечательном стихотворении «Если выдержу зиму то ради москвы...», с которого начинается сборник. Или в этом:

биоразлагаемое тело
я ношу как старое пальто
а когда-то в садике сидели
нам читали агнию барто

грязная засаленная тряпка
и в карманах на дыре дыра
жарко в нём и в то же время зябко
расставаться нам давно пора

кто бы сомневался что летален
наш недолгий непростой союз
но люблю его и улетаю
с ласковой улыбкой оглянусь

Скрытая цитатность этого стихотворения очевидна. Это и тютчевское «Как души смотрят с высоты / на ими брошенное тело...» И начало «Эвридики» Тарковского... И многое другое. Текст все же вторичным не выглядит. Не выглядит и банальным — несмотря на вроде банальные, шансонные строчки: «Расставаться нам давно пора» или «наш недолгий непростой союз»... Невольно вспоминаешь затертую — но не отмененную — фразу о поэзии как о том, что рождается из «сора». Действительно, поэзия из поэзии не рождается: в лучшем случае — подражательная. Чтобы родиться поэзии, нужен сор — переплавленный в тигле авторской воли, авторской боли... Чемоданов секретами этой алхимии, безусловно, владеет.

Моление о пирожке

Дмитрий АВЕРЬЯНОВ. Стихотворения. Сост. Д.Казаков, А.Полунин; худож.-ил. О.А.Гайдаш; худож.-оформители Е.П.Лесив, М.Е.Букша. — Харьков: Фолио, 2016. — 100 с. — (Лоща).

Лирический герой Аверьянова — так же как и Чемоданова (случайная рифма) — человек безытнотный. Но в безытнотности своей чувствующий себя довольно уютно, обустроено.

Объясняется это, возможно, разностью поколений: Чемоданов — 1969 года, Аверьянов — 1984-го. Первый живет в неуютном мегалополисе — Москве, второй — в южном, не растерявшем провинциального обаяния Севастополе. Или, может, тем, что герой Чемоданова по своему складу — киник, а герой Аверьянова — стоик. Умеет обходиться малым, радоваться незатейливым вещам. Виду водосточной трубы, например: («...ослепляющая, / продолговатая, неправдоподобная / жестяная труба»). Или подаренному мобильному:

Дал мне телефон и говорит:
теперь и у тебя будет телефон,
теперь и ты будешь как человек.
И вот еду в электричке,
стою в тамбуре, и пар изо рта идет,
руку заоченелую засовываю в карман,
а там телефон,
тёплый.

Или — стиральной машине:

Хочется
купить стиральную машину,
просыпать на пол
голубоватый порошок
и — сидеть, глядеть,
как коловращаются себе
там, в круглом на этот раз
окне
(в тёплой воде),
простые мои вещи.

Если нет ни мобильного, ни стиральной машины — тоже не беда. В конце концов, у человека остается он сам. Он сам — и его уютные, тихие мысли.

Когда нет блютуса,
инфракрасного порта, сети
и волны не достигают,
погружаешься в мысли.
А там у тебя — голубой кит
и варёный краб.

Алексей Чипига в своем отклике на «Литературе» назвал героя Аверьянова «смирненным». Это так. Неслучайно в «Списке использованной литературы», которым (не без легкого эпатажа) завершается сборник, первое место занимает книжка Вениамина Блаженного (2005) — певца сиротства и самоумаления («Я расту в ваших руках, как лёгкое облако, / Как трупик бабочки-однодневки»...)

Я бы только добавил: герой Аверьянова смирненный не сам по себе; он взыскующий смирения. Взыскующий принятия мира, в том несовершенном виде, в каком он дан. Об этом, собственно, — стихи этого сборника. Это то действие, которое в них происходит. А иногда, напротив, не происходит. Как в стихотворении «Сегодня проходил мимо бассейна», где герой «представил зачем-то, что стенки нет; / увидел, как бултыхаются мужчины, / как прыгают с вышки дети, как им хорошо». И поймал себя на том, что не может порадоваться. И — «мне стало ещё хуже. И холоднее...»

Но чаще событие радости все же случается. Смирение вознаграждается; поступок раскрытия себя миру приносит неожиданные, теплые дары. Как в одном из лучших, на мой взгляд, стихотворений сборника, которым и завершу:

Чудо — это когда идёшь ты
по Симферопольскому вокзалу
и хочется тебе какой-нибудь пирожок,
<...>
и троллейбусы подкатывают бесшумно
с их фантастическими ценами
и неживыми пассажирами,
и кажется, дотронешься до кого-нибудь
в зале ожидания — а он тут же исчезнет.
И думаешь: где же Он, раз Он есть?
А к тебе подходит кто-нибудь и говорит:
хочешь какой-нибудь пирожок?

Осколки фресок и фраз

АРИСТОВ В. Открытые дворы: Стихотворения, эссе / предисловие Д.Бавильского. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 408 с.

Книгу Владимира Аристова я читал как добровольно взятый на себя урок.

Более того, я сам написал автору с просьбой прислать рукопись.

Слишком много — если смотреть по частностям — в стихах Владимира Аристова того, что я привык не любить. Обилие эпиграфов и посвящений. Обилие культурных реминисценций. Поэтические травелоги — с теми же реминисценциями и привкусом туристической поверхностности. Затейливая, несколько умышленная графика стиха. Затянутость, обилие как бы случайных и «проходных» строк...

И все же — работа критика имеет смысл, когда критическая рефлексия дополняется саморефлексией. Простукиванием всех звеньев собственного инструментария. Потому временами понуждаю себя читать (и отзываться на) то, что не близко.

При чтении «Открытых дворов» все прежде очевидные для меня минусы стали менее очевидны. Или так: сочетание минусов неожиданно дало плюс. Так сочетание отдельных ощутимых недостатков чаще дает настоящую поэзию, чем сочетание мелких достоинств.

Есть поэты, мыслящие отдельной поэтической строкой или двумя. Каждая их строка выглядит как завершенное поэтическое высказывание. Цитировать их легко — такие стихи сами рвутся в цитаты.

Есть поэты, мыслящие катренами. Есть — целыми стихотворениями. Есть мастера блестящих зачинов; есть — ударных финалов, которым необходимо дойти — порой доползти на полном выдохе — до последней фразы, чтобы разродиться точным и все ставящим на свои места финальным аккордом.

Владимир Аристов мыслит сочетаниями огромных, прореженных паузами и недосказанностями стихотворных масс с редкими «точечными» фразами, в одну — реже в две-три строки, которые мгновенно организуют эти массы в живое поэтическое целое.

Дочитав книгу до конца, получил неожиданное подтверждение этому в эссе «Интимная технология стиха». Я, опять же, не любитель авторских самообъяснений — но здесь оно вполне уместно; процитирую отрывок:

«Хотелось бы сказать кратко еще об одном важном элементе поэтической структуры (он относится и к композиции произведения). Это поэтические кульминации. <...> Например, решающим трансформационным пунктом может стать важнейшая мысль, которая своей кажущейся парадоксальностью подводит некий метафизический итог и бросает свет на предыдущие строки и освещает дальнейшее. ...Это те <...> узлы стихотворения, которые связывают текст и придают ему дополнительные черты завершенности».

Цитированию стихи Аристова почти не поддаются: сами по себе эти узловы фразы, выковыранные из пористой ткани стиха, не показательны. Много ли сами по себе говорят: «Сухая зимняя земля расцветет именами» или «В комнате царило окно»? (Внутри стиха — много.) Еще меньше — остальные, «безударные», «некульминационные» фразы.

И все же на свой риск приведу пару отрывков. Первый — из книги «Частные безумия вещей» (1985—1995):

Тихий смех в полутёмной ванной.
Женский голос без слёз.
И ещё один...

Вы прибежали с дождя
 Раскрасневшиеся,
 Сняв целлофановые страх-пакеты,
 Уходили под воду,
 Что сыпалась с потолка.

Вы стояли, смеясь, в прирученном дожде,
 Но ветер иной раскачивал воду меж вами,
 Ударяя в стены струнами певчей воды.

Есть что-то замедленно-сновидческое в этих строках — синтаксически незатейливых и описывающих обычную, в общем, ситуацию — купание под душем (вероятно, детей) прибежавших с дождя...

Другой — из книги «Месторождения» (2001—2008).

Вновь пахнуло речную прохладой

И над светлым июльским лугом
 строки проволоки извитой

Распахнулись светлые ивы

Ну а ты лежишь от небес отвернувшись
 Нет ни облака над темной спиной

Где в песок вонзилась сгоревшая спичка

И снова — довольно простая ситуация: человек прилег на лугу отдохнуть. «Узел», на мой взгляд, здесь именно эта сгоревшая спичка, «сцепляющая» текучий, рассыпающийся пейзаж.

Поступком поэта становится сам взгляд на мир, скользящий и пристальный одновременно.

«Ощущение осыпающейся фрески», как точно подмечено во вступительной статье Дмитрием Бавильским. И там же: «Ощущение отброшенной стихотворением тени». Точнее о зыбкой стихотворной материи Аристова, вероятно, не скажешь.

Обустройство бытия

Алексей КУДРЯКОВ. Слепая верста. Вторая книга стихов. — Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2016. — 40 с. Тираж 200 экз.

Обложка у этой книги темная (книга оформлена замечательной графикой Марии Смольяниновой); темновато и ее название — «Слепая верста». Так, кажется, звалась у ямщиков верста, пройденная во мраке, вслепую.

Лирика Кудрякова, однако, светла и многоцветна. Даже когда он пишет о чем-то невзрачном, вроде серого мартовского дня.

Бесформенные пятна: охра и свинец,
 по краю ржавчина, ряд бирюзовых линий,
 два сочных розовых мазка и, наконец,
 расплывчатый автограф каблуком на глине.

Богатая палитра. Вспоминаешь еще одну затертую фразу о поэзии — как слова в наилучшем порядке. Ощущение порядка, разумной гармонии сущего, его стройности — того, что греки вкладывали в слово *ho kosmos* — пожалуй, и есть главная тема «Слепой версты». Человек — малый мирострой — его «малый» мир, с его теплотой и многоцветьем, на зыбкой границе с миростроем большим.

...В сенях, рукой ощупывая брус,
ищу задвижку... темень... два удара:
слепой и резче, — поддается дверь.
Ступаю на пружинящую твердь —
земля, огни, мерцание стожара.

То же ощущение разлома, границы между конечным, теплым — и ледяным и бескрайним, в стихотворении «Две главы с эпилогом». Субботний день в деревне; мальчик парится в бане. В этом банном мире «всё соразмерно: лавка и тазы, / ковши и рукавицы, я и время. / Уютно, осязаемо, тепло...»

Но вот он выходит за порог — и соразмерность и уют мгновенно исчезают.

...Не ощущая тела и не помня,
как очутился за порогом, жадно
дышу; в тревожно скором темпе сердце,
сбиваясь с ритма, путается в сильных
и слабых долях. Вьющийся туман
восходит, постепенно истончаясь,
к стропилам, козырьку, холодным высям.
Открывшееся перед взором небо
ошеломляет раздроблённым блеском
и аспидной слоистой чернотой.
Противоток пульсирующей крови
и мерное вращение Земли
сливаются в одно...

То, что позволяет заполнить эту щель между двумя мирами, выстоять перед «слоистой чернотой», перед «слепой верстой по непролазной грязи» — это слово, «глагол в устах отверстых». Словом обустроивается космос, его темнота перестает быть враждебной. Иногда, правда, слово — точнее, звуковая оболочка — несколько перевешивает смысловую, подталкивая к несколько надуманной звукописи:

Осины плод — осиное гнездо:
сосредоточье зла и силы;
осоловелый взгляд, осеребрённый вздор,
тоска о Сыне...
Осанна! Осени считать до ста...

И так далее — точно автор решил собрать вместе все слова на «ос»...

Таких текстов в книге, к счастью, совсем немного. Как и текстов, несколько зависимых от, условно говоря, старших поэтов — прежде всего Бродского. Как и Малинин, Кудряков — автор молодой (1988 года рождения), хотя и успел уже стать лауреатом Новой Пушкинской премии и российско-итальянской премии «Белла». Есть куда расти; есть что обустраивать словом.

И другие — не менее важные — книги

Их, надо сказать, немало¹. При том, что кризис. При том, что поэтическое книгоиздание давно стало делом, мягко говоря, неприбыльным. Проще говоря — коммерческим самоубийством. Даже если автор принесет «в клюве» деньги на издание. Но, как правило, искать приходится самим издателям. К счастью, пока находят...

¹ Книги, о которых шла речь выше, в перечень не включаю. Да и вообще — не перечисляю всего, чтобы совсем уж не выглядело, как издательский каталог. Там, где список заведомо не полон, — ставлю многоточие.

В «Пушкинском фонде» вышел Сергей Стратановский, «Нестройное многоголосие». К юбилею Александра Кушнера в Питере выпустили два его сборника: «Избранные стихи» («Журнал "Звезда"») и «Меж Фонтанкой и Мойкой» («Арка»).

В «Воймеге» — «Девочка с обручем» Германа Власова, «Царица Суббота» Сергея Круглова, «Turistia» Павла Лукьянова, «Дни» Геннадия Русакова, «Скит» Ольги Шиловой, «Радио скворещен» Натальи Поляковой... Из Натальи Поляковой:

Заблудились мухи в полыни сонной.
Стеклодув луны выдувает шар,
И колыхнется ил придонный,
И сумерничает комар.

Залетай на оклик, на свет, на трепет
Белой бабочкой чуть живой.
Тьма лепечет и контур лепит
Чёрной глиной и голубой.

Во «Времени» вышли «Шесть» Михаила Айзенберга и «Новые анафоры» Амарсаны Улзытуева. В «Русском Гулливере» — «Державин» Андрея Таврова, «Откровенность деревьев» Инги Кузнецовой, «Рыбы и реки» Валерия Шубинского.

В «АРГО-РИСК» в серии «Воздух» вышли Сергей Соловьев («Любовь. Черновики») и Светлана Копылова («Дыхательные жанры»); в серии «Поколение» — Вадим Банников, Ксения Чарьева, Оксана Васякина, Нина Ставрогина. В «НЛО» — «Пока догорает азбука» Аллы Горбуновой, «Ее имена» Сергея Соловьева, «ИноМир. Растяжка» Ильи Риссенберга и «Стихи и хоры» Олега Юрьева (неожиданно заинтересовавшие — к Юрьеву до этого относился теплохладно).

В «Арт Хаус медиа» вышел итоговый сборник Сергея Надеева «Игры на воздухе. Из пяти книг».

Подбитый дымком кострища лёгкий продрогший лес,
стужею сводит ноздри, воздух, втекая, жжёт;
лениво лиса пролает, сломится хлипкий шест,
по голенищу веткой, мокрой насквозь, хлестнёт.

В серии «Тегга poetica» «Водолея» вышли сборники Светланы Кековой («Нездешний гость»), Максима Калинина («Сонеты о русских святых»), Геннадия Русакова («Увидеть ветер»), Анны Цветковой («Соп Амоге»).

В несколько сомнительной серии «Поэт года» вышли сборники незаурядных поэтов Михаила Свищёва («Антифриз») и Нади Делаланд («Нужное подчеркнуть»). Из Свищёва:

Далёкая, как дача под Москвой,
дырявая, как новенький скворечник,
жизнь складывалась шахматной доской
на парковой скамейке отсыревшей...

Вне издательских поэтических серий по одной книге выпустили Эдуард Лимонов («Девочка с жёлтой мухой»; Москва, «Ад Маргинем Пресс»), Дмитрий Воденников («Пальто и собака»; Москва, «Livebook»). Отдельно хотел бы отметить «Грунт» екатеринбуржца Сергея Ивкина (Челябинск, «Издательство Марины Волковой»). Из книги Ивкина:

Как спится с бывшею женой?
Как будто умер и
вернулся в тот же самый зной
на берегу реки.
И вот над нами стрекоза,
и жук шуршит в траве,
и те же самые глаза
растут из её головы.

За пределами России, как всегда, наиболее продуктивен нью-йоркский «Айлурус» (вышли Мария Ботева, Анна Цветкова, Елена Сунцова, Дмитрий Данилов). Интересный «двойной» сборник Андрея Грицмана и Бориса Херсонского «Свитки. Библейские стихи» вышел в калифорнийском издательстве «Numina Press». Из «Свитков», Андрей Грицман:

Однако за границей жизни
начертано: есть видение без возврата.
Врата приоткрыты, запах мяты, обрывки песен,
облако пыли, горящие реки, куда-то идут солдаты.

Среди украинских новинок — новая поэтическая серия «Лощия» харьковского «Фолио». Кроме сборника Владимира Аверьянова, в ней вышли «Локатив» Дмитрия Билько, «Інша країна» Василя Лозинского, «Ходить и говорить» Антона Полунина и «Продолжение» Евгения Пивня. Как сообщается в аннотации к каждому сборнику, в серии «проявлены наиболее значимые голоса, звучащие на украинском литературном ландшафте во втором десятилетии XXI века». О книге Лозинского судить не берусь (она на украинском), что касается остальных, то, кроме книги Аверьянова, впечатление от «значимых голосов» не слишком выигрышное: вялая и водянистая стихопроза. Оформлены книги, правда, хорошо.

Стоит кратко сказать и о двух наиболее заметных антологиях прошлого года.

Первая — мемориальная: «Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012—2016)» (Москва: «ЛитГОСТ»). Составлена Борисом Кутенковым, Еленой Семеновой, Ириной Медведевой и Владимиром Коркуновым. Стихи поэтов, не доживших до сорока.

Вторая, не менее массивная: «Русская поэтическая речь-2016. Антология анонимных текстов» (Челябинск: «Издательство Марины Волковой»). Составители — Виталий Кальпиди, Дмитрий Кузьмин, Марина Волкова.

Обе антологии своеобразно «зеркалят» друг друга: обе посвящены отсутствующей фигуре поэта. Только в московской — это поэт, отсутствующий физически, ушедший из жизни; в остальном же — что логично для мемориального сборника — о каждом авторе рассказывается довольно подробно. Краткая биография, фото, мемуарная статья...

В челябинской антологии, напротив, собраны не публиковавшиеся стихи живущих поэтов (числом 115), но о самих авторах ничего не сказано — не указаны даже их имена. Цель, как поясняют составители, — оценка поэтического текста «без учета репутационного давления, без учета социально-культурных статусов поэтов, без учета принадлежности поэтов к той или иной литературной группе, без учета шаблонов восприятия текстов и личностей, без учета личных отношений и прочего, не имеющего отношения непосредственно к текстам стихотворений».

Идея очень продуктивная — тем более что именно к этому я сам призывал почти десять лет назад в статье «Бобовые короли» («Арион», 2007, № 4). К важности взгляда, который «сосредоточен на самих стихах». «Кто и когда их написал — вторично, важнее что и как написано. Фамилия автора — скорее отвлекающая строчка, для чего-то набранная жирным шрифтом...» Говорил и о том, что такой взгляд «избавляет от ненужных споров «кто лучше?», от невроза поисков «живого классика»; с другой стороны, повышает читательскую бдительность, не давая поддаться обаянию знакомого имени или отмахнуться от незнакомого. Этот взгляд очищает поэзию от литературы, от ярмарки имен»¹. Радует, что эта идея получила развитие и воплощение, пусть даже и не сразу (в тот момент на нее отреагировали — полемически — только в «Сибирских огнях»...).

На этой в целом мажорной ноте завершаю — пора читать поэтические сборники нового, 2017 года.

¹ <http://magazines.russ.ru/arion/2007/4/ab23.html>

Григорий Никифорович

Россия эмигранта Фридриха Горенштейна

Литературный дебют Фридриха Горенштейна состоялся в журнале «Юность» в 1964 году — был напечатан рассказ «Дом с башенкой». Ничто из написанного Горенштейном после этого — в том числе по любым меркам выдающиеся романы «Псалом» и «Место» — в официальной советской печати не появилось; но его повесть «Искушение» была издана за рубежом в переводе на немецкий (1979 год). И вскоре, воспользовавшись приглашением одного из немецких литературных учреждений, Фридрих Горенштейн покинул Россию.

В те годы отъезд из страны — добровольный или вынужденный — воспринимался как необратимый: дорога назад была наглухо закрыта. Эмигрант расставался с прежней жизнью навсегда и должен был переделать себя, приспособиться к иной действительности, иным привычкам, иной психологии. Труднее всех приходилось писателям: родной язык, знакомые характеры, детали быта, привычные пейзажи — то, из чего, собственно, и плетется художественная ткань литературы, — забывались с каждым днем. Многим вспоминалось восклицание: *«Разве можно унести родину на подошвах башмаков?»* — так якобы ответил деятель Французской революции Жорж-Жак Дантон на предложение бежать в эмиграцию и спастись от гильотины.

Однако писатель Фридрих Горенштейн — как за полвека до него другой писатель, Иван Бунин, — не только забрал родину с собой, но и сумел в деталях воссоздать ее в своих книгах. *«Я мог бы сто лет писать и не использовать весь багаж, который вывез из России»*, — говорил он в Берлине. Пульс российской жизни отчетливо слышался в каждом его новом произведении, но особенно — в пяти небольших повестях: «Яков Каша» (1981 год), «Куча» (1982), «Улица Красных зорь» (1985), «Притча о богатом юноше» и «Последнее лето на Волге» (1988).

Собранные под одной обложкой, эти повести образовали бы своеобразную энциклопедию русских характеров советского времени — именно русских, людей, живущих не в космополитических мегаполисах, а в маленьких городках и деревнях далеко за московской кольцевой дорогой. Для Фридриха Горенштейна такая тематика могла показаться неожиданной — в сознании читателей она связывалась совсем с другими именами: Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина... Но если писатели-деревенщики не выходили за рамки однажды найденного ими направления, то «поперечный» советской литературе талант Горенштейна охватывал сразу многие грани человеческой психологии и замечал черты, видимые лишь при взгляде с разных сторон.

* * *

«Притча о богатом юноше» — повесть о нелегком характере трех поколений крестьянской семьи Тонких. Старший в роде, Лазарь, мечтал накопить денег отхожим промыслом и уйти из деревни на свой хутор — еще при царе, до германской войны. Его сын Егор, мастеровой на все руки, был крепким хозяином во времена НЭПа и нищим колхозным кузнецом после. Дочь Егора, Дуся, ничего в жизни не видела, кроме родной деревни, и кровно обижена на эту жизнь. А сын Егора Федор стал известным артистом театра, кино и цирка — он единственный из семьи смог вырваться из деревни.

Мечта Лазаря терпит крушение: далеко от дома при расчете его жестоко обманывают. С горя и обиды он начинает попивать и вымещает свою злобу на сыне-подростке: бьет, издевается, сквернословит. Тем временем Егор из подмастерья становится мастером-кузнецом, подумывает о женитьбе на Кате, дочери хозяина кузницы. Отец с трудом уговаривает его возвратиться на родную сторону. А потом, когда революция и продразверстка превращают Лазаря в нищего на паперти заколоченной церкви, восставший на отца сын выгоняет его из дома.

Егор, казалось бы, полная противоположность Лазарю. Тот — слабак и неудачник, а этот — борец: он мало пьет, много и успешно работает. Как и отец, он более всего хочет стать самостоятельным хозяином. Егор женится на безответной работающей Марии и ставит собственную кузницу. Он заставляет себя позабыть Катю, но даром это не проходит: Егор люто бьет жену по пустякам, просто за то, что она — не Катя. И так же, как когда-то он сам, подросшие дети выходят из повиновения и поднимаются против буянящего отца: *«Дуся схватила лопату, а Федор обломок доски, и вдвоем они настолько сильно избili отца, что на следующий день он не мог подняться с постели...»*

Дуся живет в одной деревне с отцом, но даже не разговаривает с ним. А когда мать умирает, приехавший на похороны Федор поражается, насколько Дуся похожа на отца: *«...такая же тупая серьезность, такая же по-детски открытая злоба»* — злоба на отца, которая *«...настолько накалилась, что была Дусе приятна, была ее любимым состоянием»*. Федор старается понять и примирить их — ведь отец уже стар и немощен, но Дуся не прощает отца.

Характер русского человека в изображении Фридриха Горенштейна оказывается сильнее и времени, и материального благополучия, и веры в Бога. Пойди Егор Тонкий в зятя к богатому отцу Кати, сложись российская история по-другому — все равно исступленная страсть к независимости, в конце концов приводящая Егора к сомнению в словах самого Христа, поломала бы жизни его близких. Это та самая «загадочная славянская душа», которая ставила в тупик западных читателей Достоевского — гордая, неудержимая в своих порывах, равно склонная и к насилию, и к раскаянию, и к доброте. Изменить ее нельзя — хоть возвращающийся в Москву Федор и слышит во сне чей-то голос: *«Надо поменять воду в источнике»*. Зато он увозит из отчего дома память о матери — роман, который она читала незадолго до преждевременной смерти. Роман называется «Воскресение».

* * *

Если «Притча о богатом юноше» повествует об упрямом русском характере, доходящем до богоборчества, то «Улица Красных Зорь» — рассказ о русской любви, любви верной, трогательной, побеждающей даже смерть. Так любит своего мужа, бывшего ссыльного, шофера Менделя Пейсехмана красавица Ульяна Зотова — в маленьком поселке, *«ближе которого ссыльных к Москве не пускали»*. Ульяна верит, что муж, уехавший к родным на Украину, вернется к ней — и отвергает ухаживания Анатолия Федоровича, случайно уцелевшего наследника владельцев поселковой

мебельной фабрики. Он живет с сестрой Раисой в бывшем своем доме на правах садовника. Поселок ненавидит безобидных брата с сестрой — они здесь чужаки, потомки эксплуататоров — да и Ульяну недолюбливает. Она объясняет Анатолию Федоровичу: *«Я живу одна, а они живут все скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом»*.

Все же Ульяна — своя, и когда Мендель возвращается к ней, поселковые жители (они зовут его Миша) встречают его приветливо: работающий шофер-еврей оказывается им ближе русского интеллигента-садовника, любителя поэта Надсона. Ульяна оживает, и ее любовь к Менделю становится еще сильнее. И дети, шестилетняя Тоня и трехлетний Давидка, оживают тоже. Но в лесах вокруг поселка появляются грабители и убийцы, вышедшие на свободу по *«воровской амнистии»* 1953 года. Вечером на краю поселка они убивают Менделя и Ульяну. Влюбленных хоронят рядом, но вскоре разлучают: брат Менделя, доцент Иосиф, увозит его тело на Украину. Разлучают и детей: Тоню отсылают в область, в детский дом, а Давидка остается в поселке — взять его с собой Иосиф и не подумал. Печальный конец — но светлая любовь родителей не пропала, она перешла в любовь их дочери к придуманным ею ангелам. Сирота Тоня сидит у дороги, глядит в небо и ждет, когда прилетят ангелы и она услышит *«чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя»*.

А Ульяна и вправду была певуньей, помнившей и грустные, и зажигательные припевки:

«Вниз по озеру гагарушка плывёт,
Выше бережка головушку несёт,
Выше леса крылья взмахивает,
На себя воду заплескивает».

Да и Раиса — осколок прошлой жизни — находила утешение в старых русских романсах:

«Тихо, так тихо на землю спускаются грёзы,
В тёмную летнюю ночь росой наполняются розы».

И пока звучит балалайка Ульяны и гитара Раисы Федоровны, есть надежда, что нить русской культуры не оборвется, несмотря на грязь на улице Красных Зорь — такую, что без калош девочке Тоне и не выйти.

* * *

В селе Геройском (бывшая деревня Перегной), месте действия повести «Яков Каша» — так зовут главного героя — уже поют по-другому: русский фольклор и романсы позабыты. Со сцены сельского клуба исполняется переделка известной песни:

«Я раздумывать эх ни стала
И бегом в НКВД-е-е
Рассказала, эх что видала
И показываю где-е.

А он и ни знает
И ни замичаит
Что наша деревня
За ним наблюдает-и-ит...»

Михаил Исаковский таких слов не писал. Но поскольку все остальные песенные цитаты в своих книгах Фридрих Горенштейн не выдумал, а разыскал в редких изданиях или где-то услышал и запомнил, можно полагать, что и эти куплеты — не пародия, а подлинное народное творчество. Только народ уже постепенно начал становиться другим — советским.

Яков Каша — тоже человек насквозь советский, а значит несчастливый. Горенштейн так и определяет жанр своего произведения: *«повесть о несчастливом человеке»*. Но, будучи несчастлив, он не несчастен. Счастье — понятие этическое, а немолодой машинист щековой камнедробилки, член КПСС, стахановец Яков Каша ни с какими этическими понятиями и нормами не знаком. Не до того было — еще с малолетства, с голода тридцатых годов: *«...Так много народу померло, что стало это делом привычным. Померли у Якова братья и сестры. О них он погоревал. Померла мать, о ней он горевать не стал, была она его сильно, когда выпьет. А отца у него давно не было»*.

Это сытые могут себе позволить этику: *«Выпил Яков залпом, и ободрило его приятным холодом. Голова закружилась не тяжело, как от водки-самогона, а плавно, легко, словно в танце. Тут же жареной курятиной закусил. Подобрел Яков и понял, отчего среди бедных больше злого народу, чем среди богатых, и отчего среди богатых есть такие, которые народ любят, а в народе любви к богатому человеку поменьше. Жареная курятина сильно помогает доброму и веселому расположению духа»*.

Партийное задание — содержать в порядке и развешивать по праздникам портреты членов политбюро — Яков выполняет аккуратно, с душой и полной ответственностью. Жаль только, ошибка однажды вышла: в одном ряду дважды повесил портрет одного и того же вождя — и старый, многолетней давности, и обновленный.

Как положено, провинившегося Якова Кашу прорабатывают за утрату большевистской бдительности на партбюро: *«Что говорил товарищ Карл Маркс? Ничто человеческое мне не чуждо. Это что значит? Это значит, что в каждом из нас, членов партии, помимо партийного есть человеческое. Но у товарища Карла Маркса партийное всегда брало верх над человеческим, а у товарища Якова Каши человеческое взяло верх над партийным...»*

И сам Яков отвечает обидчикам по тому же шаблону:

«...Вы меня Марксом упрекнули, а я вас Лениным упрекну. Халатно вы разобрались в указаниях товарища Ленина из его брошюры «В чем дело?»

— *«Что делать?» — подсказывает инструктор райкома. — «Что делать?»*.

— *Что делать, — отвечает Яков, — решайте сами... Чуткости в вас ленинской нет, матери вашей дышло...»*

Чуткость ленинская, семейные чувства сталинские (*«...умер отец наш, Иосиф Виссарионович»*, — сокрушается Ефим Гармата, лучший друг Якова) — так и исчезло все человеческое, что было заложено при рождении. И потому жизнь прожита просто так, в шутку. В ночь перед своей нелепой гибелью — Яков попадает под случайный выстрел пьяных мужичков — он встречает ту самую нищенку, которой не подал кусок хлеба в уже далеком голодном году:

«Посмотрела на него старуха и говорит:

— *Как же я могу тебе жизнь испортить, если ты в шутку родился?*

— *Как это так в шутку? Разъясни.*

— *Да ты не обижайся, — отвечает старуха, — много вас таких, в шутку родившихся... Миллионы... А расплодился вы, стало еще больше... Вот так, чернобровый...»*

Грустно заканчивается повесть еще об одном русском характере: смешном, нескладном и невезучем человеке, основании и опоре Советской власти. Кем бы ни был Яков Каша при жизни, для Горенштейна он прежде всего *«несчастливый брат наш»*, и эпитафию на его могилу писатель выбирает из строк старого язычника, ослепшего больного грека Гомера:

«Между живущих людей безымянным никто не бывает
Вовсе: в минуту рождения каждый — и низкий и знатный
Имя своё от родителей в сладостный дар получает».

* * *

Егор Тонкий, Ульяна Зотова, Яков Каша — жители деревенские, малообразованные. А Аркадий Лукьянович Сорокопут, герой повести «Куча» — московский доцент, ученый, потомственный математик. Он приезжает в «*один из районов Центральной России*» — пять часов от Москвы поездом, потом еще два часа автобусом — по неназванной «собственной надобности». Доценту не везет: в темноте Аркадий Лукьянович падает в незарытую траншею, повреждает ногу, оказывается спасен местным милиционером, проводит ночь в избушке двух одиноких стариков, утром ожидает такси в котельной за беседой с истопником — бывшим морским инженером — и возвращается в Москву. Что же увидел интеллигент двадцатого века в своем «хождении в народ»?

Сначала — пейзаж, унылое, тягучее, холодное весеннее российское пространство: *«За окном господствовал все тот же серый цвет, который сопровождал и поезд. Каменные заборы, каменные дворы автохозяев и кучи, кучи, кучи...»*

У математика Сорокопута эта картина вызывает особые ассоциации: *«И вязкая почвенная монотонность вагона, и однообразный, созданный унылым копиистом пейзаж за окном: поля, кусты, семафоры, людские фигурки казались ему существующими еще за семнадцать бездонных столетий до Р. Х., когда они были засвидетельствованы в математическом папирусе Ахмеса, математика или просто переписчика; это тоже терялось в “куче”, хуа».*

«Хуа» — имя одного из древнеегипетских богов, бога вечности или бесконечности; иероглиф, обозначающий это имя, использовался также для обозначения очень большого количества элементов, такого, что учесть каждый в отдельности невозможно. По Горенштейну, российский аналог этого понятия — куча, беспорядочное собрание бесформенных предметов, кусков глины, из которых Господь еще даже не создал мир, а тем более — не вылепил людей по своему подобию. И сердце Аркадия Лукьяновича сжимается при виде пьяного у обочины дороги: *«...этот лежал в холодной грязи, обхватив обеими руками нечесаную голову, точно кричал безмолвно: «Боже мой!» А рядом лежала его шапка, как лежит она перед нищим. «Боже мой!» — просьба это или просто вздох? Да и услышит ли его Бог, подаст ли? И что он просит, этот Человек России, этот «икс», часть «кучи», комок, валяющийся в ненастье в среднерусском поле?»*

Острое ощущение серых бескрайних просторов приводит доцента к печальному выводу о том, что его наука, в сущности, им не нужна: *«...поля эти нуждались просто-напросто в прочных четырех действиях арифметики, которые любой бухгалтер легко отобьет на костяшках своих счетов. Остатки же математики, которые достались по наследству от людей, которых теперь уже нет, почти нет и скоро совсем не будет, реквизированы для дел военно-космических так старательно, что полям этим и арифметики не осталось...»*

Да и сам он, лишенный индивидуальности, повязанный принадлежностью к куче, «хуа», общине, государству, не может проявить свои способности в полной мере: *«...если крепостной землепашец есть один из способов земледелия, пусть не самый прогрессивный, то крепостной интеллигент попросту вреден государству, и пользоваться его трудом можно в той же степени, как и топить печи ассигнациями или выжигать вековые леса ради самоварного угля».*

Но ночь рассеивается, теплое и удобное такси мчит Аркадия Лукьяновича домой в Москву, и ангел смерти, который было нацеливался на него, решает пролететь мимо,

к постели его отца-пенсионера. А перед выздоровевшим доцентом вскоре лежит *«стопка свежих газет, в которых был опубликован список свежееиспеченных лауреатов Государственной премии. И среди них Сорокопут Аркадий Лукьянович. Конечно же, в составе коллектива»*. Без кучи и здесь никак нельзя.

* * *

В повести «Последнее лето на Волге» герой — тоже интеллигент, но не вросший корнями в Россию математик в четвертом поколении, а безродный неприкаянный литератор, сознающий свою отгороженность от российской жизни и решающийся на отъезд в эмиграцию. Это, конечно, не Фридрих Горенштейн (хотя повесть написана от первого лица), а некий обобщенный гуманитарий. Прощаясь с любимой им верхней Волгой, он намеренно смотрит на мир не прямо, а руководствуясь шопенгауэровской теорией переосмысления увиденного, отчего повесть оказывается переполнена символическими зарисовками и персонажами. Но вот автор встречается с нищенкой Любой — и символика отходит на второй план, вытесненная еще одним живым русским характером.

Когда-то, в романе Горенштейна «Псалом», девочка-попрошайка Мария в деревенской чайной попросила хлеба у Дана-Антихриста, и тот протянул ей кусок нечистого хлеба изгнания. Здесь, в повести, рассказчик, сидя в блинной маленького городка за тройной порцией удивительно вкусных блинчиков, не позволил Любе, нестарой еще женщине, собрать и доесть остатки своей трапезы; потом устыдился, но поздно — нищенка ушла. В тот же день он отгоняет детей, для забавы швыряющих в Любу камни, и та, пригласив его в свое временное пристанище под навесом на дебаркадере, без обмана рассказывает свою жизнь первому встречному.

Сорок три года, пятнадцать из них в лагере: не выдержала, ударила скалкой шпынявшую ее свекровь и попала по виску, наповал. Теперь снова замужем в деревне за рекой, раз в месяц приезжает в город, да на обратный путь денег не всегда хватает, тогда побирается, пока не наберет у алкоголиков бутылок и не сдаст. А рассказчик, простившись с Любой, спохватился: почему не дал ей денег на обратный путь — и *«ужасно пожалел себя, которому не на кого было надеяться в небесах»*. Остается раскрыть наугад томик сонетов Шекспира и прочитаты:

«...Ты не меняешься с течением лет.
Такой же ты была, когда впервые
Тебя я встретил...»

«Ты» — это Россия, такая, какой она была здесь, на верхней Волге, четыре века назад, когда еще существовала *«изначальная счастливая идея доимперской Руси»*. Империя же, держава, слава и величие государства не принесли счастья на эти берега. Бездомность роднит рассказчика и Любу. Она, как ему видится, родом *«...с самого доимперского верховья, из коренных москвитов, которые, подобно американским индейцам, чужаки на собственной земле, в чужой, монголо-татарской России»*. Но и он тоже *«...чувствовал себя родившимся без родины и имел в Москве не дом, а жилище»*. Одинаково чуждыми империи оказываются и коренная русская крестьянка, и те, кто живет в России веками, но остаются *«бескорневыми»*. Обидно осознавать себя остающимся без основы на родной земле — зато в таком положении, может быть, легче понять русский национальный характер и исторические судьбы России: *«Понять это до конца может не взгляд изнутри, не русский ум, а скорей орлиный взгляд сверху, внешний взгляд Шопенгауэра или Шекспира, а то и скромный взгляд со стороны таких пасынков России, как я, когда прощальное созерцание подобно умиранию и когда видишь все вокруг в последний раз»*.

За двадцать лет изгнания Фридрих Горенштейн никогда не переставал думать и писать о России. Писатель Борис Хазанов, вспоминая о Горенштейне в эмиграции, охарактеризовал его творчество пушкинской строкой: «Одну Россию в мире видя...» Можно было бы уточнить: Горенштейн видел весь мир исключительно через Россию.

* * *

Упрямый богоборец Егор Тонкий, хранительница любви Ульяна Зотова, незадачливый оловянный солдатик Яков Каша, замороженный доцент Аркадий Лукьянович Сорокопут, «безгрешная убийца» Люба и еще десятки людей вокруг них — такова Россия, унесенная с собой писателем Горенштейном. И главное в этой России — рок, судьба, то, что в энциклопедическом словаре обозначается как «предопределенность событий».

Характеры мало изменяются в зависимости от внешних обстоятельств, но все же, как бы люди ни поступали, не они, а Судьба решает, каким станет их будущее. Голодомор определил жизнь Якова Каши и его потомков, амнистия зачеркнула счастье Менделя и Ульяны, революция изломала Анатолия Федоровича и его сестру Раису. Ведь российская Судьба — особенная: она всегда созвучна с несчастьем. Еще Пушкин писал: «...Куда бы нас ни бросила судьбина / И счастье куда б ни повело...» — для него различие между судьбой и счастьем было самоочевидно, и одно исключало другое. И самое частое проявление судьбы у Горенштейна — гибель.

Гибнет под гусеницами трактора Полина, жена Якова Каши, гибнет, пропадает изгнанный из дома отец Егора Лазарь, спивается сын Якова Емельян... Один доцент Сорокопут отделяется легко: всего лишь падает в яму и ломает ногу. Убиты Ульяна и Мендель; убит старший брат Раисы и Анатолия — когда-то революционные солдаты его «...на куски разорвали и начали эти куски по ходу поезда из вагона выбрасывать». Ударом кулака убит внук Якова Каши, а сам он убит пьяницами, для смеха стрелявшими поверх голов. Убит «вооруженным гармонистом» прямо на танцах в 17-м году дед Аркадия Лукьяновича; и даже безответная Люба — убийца. Страшно жить в горенштейновской России. Но еще страшнее понять, что это не измышления писателя-руссофоба Фридриха Горенштейна, а рутина жизни.

Писателя Николая Лескова никто не заподозрит в руссофобии; напротив, по мнению знатока русской литературы Д.П.Святополка-Мирского: «Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал русский народ таким, каков он есть». В 1873 году Лесков выпустил в свет повесть «Очарованный странник», главный герой которой, скиталец Иван Северьянович Флягин, по дружному мнению тогдашней и теперешней критики, воплотил в себе чуть ли не идеал русского человека. Ивану Северьяновичу пятьдесят три года; к этому возрасту он убил уже троих. Первого, монастырского послушника, еще мальчишкой-форейтором: при обгоне полоснул кнутом человека, лежащего на попутном возу, а тот возьми «...да кувырк с воза под колесо...» Случайность, что поделаешь — даже толком не выпороли повинного форейтора. Второго, татарина Савакирея, одолел в честном поединке за приглянувшуюся лошадь: хлестали друг друга кнутах по спинам до смерти — умирать досталось татарину. «А разве лучше было бы, если бы он меня засек?» — рассудил Иван Северьяныч. Ну а третью, цыганку Грушу, пожалел: столкнул с крутизны в воду по ее же просьбе, чтоб не брала на себя грех самоубийства от несчастной любви. И никто из слушающих откровенное повествование очарованного странника о своей жизни — а дело происходит на корабле, плывущем на святой остров Валаам, — не поражается рассказам об убийствах: что ж, чего на Руси не бывает...

Очень давно, в Древней Греции царь Эдип убил в случайной драке своего отца, несмотря на то что отцеубийство было ему заранее предсказано и он даже бежал от приемных родителей, чтобы предсказание не исполнилось. Вышло так потому,

объясняет античник Михаил Гаспаров, что «в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убивши, хотя бы ополченцем в будничной межевой войне». В книге Гаспарова «Записи и выписки» этот отрывок стоит под рубрикой «Прогресс»: европейские читатели новых, прогрессивных времен не понимали, отчего Эдип вообще ввязался в драку с незнакомым стариком, зная о зловещем пророчестве. В России недоумевать бы не стали: здесь нравы оставались такими же, как на земле Эллады тысячи лет назад.

Трагедию Эдипа описал классик древнегреческой литературы Софокл; в русской классической литературе до отцеубийства, по счастью, доходит редко, хоть Федора Павловича Карамазова и убивает его побочный сын, лакей Смердяков. Нет такого и у Горенштейна, но насилие внутри семьи — дело обычное. Бьет Лазарь сына Егора, потом тот — Лазаря, потом Егора — его выросшие дети. Избивает Егор свою жену Марию, сын Якова Каши — свою жену Анюту. Яков вступается за Анюту и начинает драться с сыном Емельяном — однако по установившимся правилам: *«Емельян был молодой, но прогнанный от водки, а Яков соблюдал себя и потому сохранил силу. Крепко били друг друга, но только руками. Ни голову, ни ноги, ни, тем более, тяжелые предметы не применяли. Все же отец с сыном дерутся»*.

Если насилие в семейной жизни не вызывает у людей удивления, насилие начальства — то есть государства — тем более кажется естественным. Старший лейтенант милиции мечтает вечером в своем служебном кабинете: *«...А вон кричит пьяный на улице... Затащить бы его сюда и в четырех стенах вдвоем с дежурным по печени, по печени... Через мокрое полотенце, чтоб следов не было...»*

Мечта его исполняется — под руку попадается Яков Каша. Но избитый до полусмерти советской милицией партиец-фронтовик-стахановец (ошибся старший лейтенант, не взглянул вовремя на документы) и не думает жаловаться и добиваться справедливости. Не жаловался и очарованный странник Иван Северьянович, доставленный после всех скитаний в когда-то родное графское поместье и трижды высеченный: сперва в полиции, затем, по приказу графа, *«по-старинному, в разрядной избе»*, да еще после отлучения от причастия *«по-новому, на крыльце, перед конторкою, при всех людях...»* За сто лет — от Лескова до Горенштейна — психология русского человека не слишком изменилась.

* * *

Но это — на первый взгляд. Три страшных войны — германская, гражданская и Отечественная — голод, революция, классовая злоба, унижения, произвол, промывание мозгов и другие беды не прошли даром для уцелевших. Их жизнь, по существу, свелась к выживанию, а *«в борьбе за физическое существование надо было и украсть, и убить, и возненавидеть ближнего»*.

И интеллигент в первом поколении Федор Тонкий, оглянувшись вокруг, видит, что насилие и злоба — теперь уже норма для многих. Простые люди смирились с этим, и даже находят утешение в *«кроткой злобе»*. На маленьком деревенском базарчике Федор слышит мимоходом, как одна из торгующих женщин рассказывает другой о своих заветных надеждах на погибель мужа:

«— Убивает меня мой, убивает. И сын, сколько я его ни проклиная, тоже бьет. Ничего, сын в армию уйдет, а мой не жилец. Земля его не примет.

“Какая кроткая злоба, — подумал Федор. — Злоба не новость в этом мире, но кроткая злоба, сердечное лицемерие — это уж чисто христианское явление. Открытая злоба подобно пожару тратится и исчезает, а кроткая злоба копится годами, десятилетиями, веками”».

И даже в самом себе Федор с отвращением замечает те же чувства. После кончины отца он не может перебороть свою неприязнь к Дусе: *«...вдруг возникло дикое, сильное, напугавшее Федора желание схватить с газовой плиты чугунный круг и ударить*

этим кругом свою сестру Дусю по голове». И тогда Федор ощущает, наконец, силу родового характера: *«Неужели я родственно связан с этой женщиной, — тоскливо думал Федор, — это тупое серьезное лицо, эти злые, удивленные глаза... Дуся выросла в религиозной семье, но какая разница меж отцом, верившим в Бога, и Дусей, ни во что не верящей».*

Доцент Аркадий Лукьянович Сорокопут слушает в ночной избушке рассказы немощного девятиностосемилетнего старика и понимает, что комок глины не так уж безобиден. Самым ярким моментом жизни помнится старику давнее безнаказанное убийство нищенки, когда он *«сорвал с нее платок, завернул его кругом шеи, затянул наглухо и, оттащив Чудиниху, концами платка привязал ее у самой земли к березке».* Он не дает забыть об этом событии своей снохе, с которой живет в одном доме после гибели сына на войне: *«...он ведь каждый день, а то и по два раза в день Чудиниху душит. Он после немало народу подушил. Но это уж ладно, это от государства, а Чудиниху от себя».*

Убийства «от государства» — во время революции, гражданской войны, коллективизации — бесформенная глина за убийства и не считает. В сознании доцента Сорокопута услышанное оформляется в *«...как бы математическую модель системы народных убийств и народных убийц. Убийц, лишенных «человеческого лица», не индивидуальных, не кашиных, не нероновых, не чингиз-хановых».* Убийство с человеческим лицом, осознаваемое как смертный грех, как личная ответственность перед Создателем, еще незнакомо куче, обозначаемой древнеегипетским иероглифом «хуа». И понимание этого наполняет интеллигента ужасом: *«Так, среди глины, ночи, сырости ощутил телесно, а не умственно Аркадий Лукьянович Сорокопут, интеллигент-европеец, свое давнее варварское болотистое происхождение, ощутил настолько телесно, что задрожал в болотном ознобе».*

Среди болот и лесов затеряна и улица Красных Зорь; в болотистых местах, кажется девочке Тоне, и прячется то чудовище, которое взрослые называют страшным словом «амнистия». Здесь никто не удивляется, что гуманное действие — смягчение наказания заключенным — оборачивается новыми убийствами. Ведь каждый знает, что в любое время сам может оказаться за решеткой без всякого закона, по прихоти властей — и потому не ждет ничего хорошего от их гуманизма. Лесной поселок, отражение России, затерянной на обочине цивилизации, привыкает к тому, что убийство — нечто обыденное. Во времена Лескова такого все же не было — хоть и тогда обычаи русской жизни допускали и насилие, и убийство.

* * *

В послесоветской России эти обычаи преобразовались в «понятия» — термин, бытовавший ранее в криминальной среде. Но знакомы с понятиями были миллионы: по некоторым оценкам, к середине нулевых годов двадцать первого века уже четверть взрослого мужского населения России прошла через тюремные университеты. Авторитетом для молодежи стал «бугор» — прибалтанный дворовый заводила с чинариком и финкой. Ребята очень уважали своего вожака, и даже любимый поэт интеллигенции воспевал его «кепчонку, как корону». И если король со временем превращался в высокопоставленного начальника — или авторитетного пахана, это как планета выпадет, — ему не завидовали, им гордились. Он был свой; и я, быть может, сумел бы как он — если бы только пить бросил. «Маленький человечек, полтора метра с кепкой» (так пренебрежительно отзывался о национальном лидере вечный диссидент Владимир Буковский) в результате всех политических потрясений пришел даже к верховной власти.

По самым что ни на есть понятиям проходил и передел собственности — главное преобразование жизненного уклада в новой России. В высших эшелонах нанимали

профессиональных киллеров, взрывали лимузины и фальсифицировали уголовные дела; в нижних обходились поножовщиной, угрозами и пытками горячим утюгом или паяльником. Количество зарегистрированных МВД РФ убийств и покушений на убийства возросло с середины восьмидесятых годов до середины нулевых почти в три раза. За последующие десять лет эта цифра вернулась к прежнему уровню; но урок уже был усвоен. Убийство «от себя» приобрело качественно новое свойство — в массовом сознании оно стало вполне допустимым способом разрешения жизненных затруднений.

Прежде, в лесковской или в горенштейновской России, убийства именно случались — по неосторожности, по пьянке, в драке, в сравнительно честном единоборстве, иногда и из жалости. По злему умыслу убивали редкие изверги — Катерина Львовна Измайлова, леди Макбет Мценского уезда, или вышедшие по амнистии уголовники, лишившие жизни Ульяну и Менделя, или безымянный старик, задушивший в молодости нищенку Чудиниху. Зато теперь, когда понятия расцвели, а справедливость стала по карману далеко не всем, убийством перестали брезговать и законопослушные граждане.

В самом деле, как быть, например, если подкупленная милиция и прочие органы правопорядка не хотят применить силу закона, чтобы наказать кавказского насильника твоей несовершеннолетней дочери? И тогда Тамара Ивановна, героиня повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003 год), берет обрез и расстреливает мерзавца прямо в прокуратуре при полном одобрении автора. Это — ситуация экстремальная; но когда тетка жены, старушка, в избе которой поселяется семья изгнанного со службы капитана милиции Николая Ивановича Ёлтышева, никак не собирается умереть, капитан выпроваживает ее зимой из дому и оставляет замерзать в подвале брошенного дома (Роман Сенчин, «Ёлтышевы», 2009 год). А осознав эффективность такого метода — «нет человека, нет и проблемы», — убивает еще и ненавистного соседа, обманувшего его со стройматериалами. Местный же участковый имеет подозрения, но держит их при себе — ему хватает преступлений, совершаемых привычным контингентом деревенских пьяниц и хулиганов.

Тамаре Ивановне и Николаю Ивановичу не удалось выйти из пердела собственности хозяевами жизни. А Елена, немолодая жена пожилого успешного бизнесмена Владимира, имеет и любящего мужа, и прекрасную квартиру в Москве, и твердую перспективу очень обеспеченной старости. Но в какой-то момент муж наотрез отказывается завещать Елене все свое состояние — а ей оно нужно, чтобы продолжать поддерживать семью безвольного неудачника Сергея, ее сына от первого брака. Ничего не поделаешь — приходится помочь Владимиру умереть, пока он не успел составить завещание, благо он недавно перенес тяжелый инфаркт. И Елена убивает его по-современному, подмешав к другим лекарствам смертельную для сердечника таблетку «Виагры». Жалко человека, конечно, но, с точки зрения новой жизни, все логично — такой выход понятиям не противоречит.

Последний пример пришлось взять из кинематографа, из «Елены» режиссера Андрея Звягинцева (2011 год). Это потому, что нынешняя литература, увы, существенно изменилась по сравнению с лучшими образцами прежней — и по степени проникновения в действительность, и по тематике. Озабоченные формой постмодернисты замкнулись в собственной скорлупе; беллетристы эксплуатируют интерес читателей к прошлому, — от Древней Руси до сталинской империи; а наиболее приспособившиеся к новым вкусам окунулись по уши в мир офисного планктона: фэнтези, гламура, фейсбука и твиттера. А прочий мутный поток пафосно-разоблачительной городской и деревенской чернухи, где картонные убийства попадают на каждой второй странице, настоящей литературой считать и вовсе затруднительно. Вечная миссия русской литературы — исследование характеров тех, кто становился когда-то героями Лескова или Горенштейна — сегодня почти забыта.

* * *

Книги, написанные эмигрантом Фридрихом Горенштейном в Берлине, в деталях воспроизвели повседневную жизнь глубинной России — с насилием, любовью, глупостью, грязью, неожиданной добротой, убийствами и тающими во рту блинчиками, поданными на замызанной скатерке. В этом Горенштейн был близок к произведениям современных ему писателей-деревенщиков; однако их литературные наследники не раз обвиняли его в огульном очернении русского народа. Ослепленные расовыми предубеждениями, критики-патриоты не могли понять главной особенности его творческого метода. Деревенщики проповедовали безусловное оправдание своих персонажей, задавленных тяжелой жизнью — ведь люди действительно не были способны переломить судьбу. Но Горенштейн не шел по этому накатанному пути — своих героев он не оправдывал. Но и не осуждал: он в них перевоплощался.

А перевоплощение автора в героев неизбежно приводит к сочувствию к ним, даже если они изображены без всякого приукрашивания. Поэтому никакие индульгенции персонажам Горенштейна не нужны: для него российские характеры — родственники, члены собственной семьи, которую не выбираешь и от которой не уедешь ни на соседнюю улицу, ни в другую страну. В семье можно чувствовать себя пасынком, но оторваться от нее насовсем нельзя. Гадкий утенок расправил лебединые крылья и улетел, но семья сереньких уток так и осталась для него родной — другой ведь не было.

И в реплике из повести «Последнее лето на Волге» прорывается настоящее — любовное — отношение писателя к русским людям, к российским характерам: *«Ах, Боже мой, — думаю я, вылезая из автобуса, — злые, несчастные, беспризорные дети, и чувства детские — то злятся, то веселятся, то плачут, то смеются»*.

Можно ли осуждать несмышленных детей и обижаться на них? Пророк Елисей однажды обиделся и напустил двух медведиц на мальчишек, насмехавшихся над ним, и был, по мнению Горенштейна, неправ, *«...ибо они должны были быть наказаны в зрелости своей»*. Ведь с детей какой спрос — особенно из своей же семьи — пусть подрастут сначала... Пусть научатся отличать добро от зла, понятия от закона — не государственного, а Божественного и человеческого.

И тогда для них настанет время заново прочесть пять повестей Фридриха Горенштейна, писателя, который унес с собой Россию не на подошвах — в сердце.

Ольга Балла

И всё-таки они сходятся

Юрий ПОДПОРЕНКО. Между Западом и Востоком. — М.: ГАЛАРТ, 2016. — 230 с.

Вместе, значит, им не сойтись? — Хрестоматийную строчку Киплинга, давно уже оторвавшуюся от своего исходного контекста, Юрий Подпоренко приводит — используя ее в качестве заголовка одного из своих эссе — в другом ее переводе: «И с мест они не сойдут». С мест, конечно, Восток с Западом стронутся вряд ли, а вот сходить — очень даже сходятся. Притом многообразно: как в пограничных культурных явлениях и формах, так и в отдельных жизнях и личностях. Перед нами как раз такая жизнь и такая личность.

Юрий Подпоренко — не просто человек Запада и Востока одновременно. Его тип культурного участия вообще состоит в том, чтобы проникать границы и соединять миры. О некоторых опытах такого проникания и соединения мы и узнаем из небольшого сборника его эссе, воспоминаний и искусствоведческих работ.

К транскраничности как типу существования Подпоренко оказался расположен уже изначальными биографическими обстоятельствами: человек русской культуры, он почти всю жизнь, с рождения в 1946-м и до 2008-го, когда переселился в Москву, прожил в Узбекистане, в Ташкенте, который и сам по себе большое пограничье, не столько «город-место», сколько «город-процесс» (за один уже этот термин, за задаваемое им направление видения нам, кажется, стоит быть благодарными автору). «Присущее в целом русской культуре ощущение собственной западно-восточной маргинальности в Средней Азии, в Ташкенте, воспринималось еще острее».

Именно с пограничности родного города автора — столь же плодотворной, сколь и проблематичной, пронизанной напряжениями, полной потенциальными конфликтами, — начинается книга. Границы между представителями разных народов, языков и культур там, как сразу же обращает наше внимание автор, не только пересекались и взаимонакладывались: они еще и жестко проводились. Свидетельства Подпоренко о ташкентской, более же всего постсоветской — мало известной нам здесь — жизни особенно интересны тем, что это — внимательный и знающий взгляд изнутри.

«<...> вся полувековая послевоенная история Ташкента, — говорит Подпоренко в первом же, ключевом для всего сборника эссе, — это история города, совмещившего в режиме сосуществования самые разные национально-культурные группы, которые не смешивались. Так что возможностей для наблюдений было предостаточно. Главная же особенность, пожалуй, заключалась в том, что люди здесь жили, не вполне полагаясь на единое и родное этносоциальное окружение, но постоянно соприкасаясь с представителями других групп. Это обуславливало возникновение и поддержание особого состояния самоконтроля, своеобразной рефлексии. Здесь возникали зоны умолчания, эвфемизмов.

В целом же в Ташкенте царила атмосфера западно-восточного перекрестка, где каждый свое особенное хранил при себе, а в общение выходил с обоюдно значимым». (О том, как именно это происходило, мы многое узнаем, увидим в лицах и характерах

в двух последующих разделах книги — и в том, что посвящен художникам, и в мемуарном, автобиографическом.)

Важно, что эту ситуацию, по определению сложную и чрезвычайно интересную, Подпоренко не склонен ни драматизировать, ни идеализировать. Он ее анализирует. В эссе «Обыватели и демиурги» мы найдем жесткий анализ современного (2003, вряд ли с тех пор что-то существенно изменилось) узбекского и ташкентского многокультурья, скрещающихся в нем, взаимонакладывающихся, часто противоречащих друг другу влияний. «...избавившись от политического диктата Москвы, снизив ее культурное влияние, Ташкент, насыщающий местную духовную атмосферу новым удобным вариантом собственной истории, как социокультурная общность вовсе не лишился способности к восприятию влияний извне. И наряду с инерционным российским культурным воздействием испытывает довольно агрессивное влияние американской массовой культуры. Характер этого влияния довольно парадоксален. В контексте традиций внутренней непротиворечивости, сосуществования на протяжении веков дополняющих друг друга арабской культуры и культур тюрки и фарси, динамичное, основанное на преодолении напористой личностью всевозможных претруд американское искусство, в частности кино, воспринимается двояко. С одной стороны, оно трактуется восточно-мусульманским сознанием как часть бушующего и, следовательно, опасного, враждебного мира (Дар ал-Харб в мусульманской догматике — «территория войны»), альтернативой которому является местная стабильность (Дар ал-Ислам — «территория ислама»). С другой стороны, оно провоцирует и активизирует у молодых людей деятельное начало, формирует уверенность в том, что напористости и предприимчивости достаточно для достижения далеко идущих целей». В отношении же перспектив местной культуры Подпоренко даже очень оптимистичен и усматривает в ней большой внутренний потенциал: «Внутреннюю сложность, столь необходимую культуре современного Узбекистана, думаю, не надо импортировать — она уже содержится в сочетании множества представленных здесь и дополняющих друг друга культур. Не ставя категорически одну культуру или конфессию в главенствующее положение, нынешняя духовная и культурная ситуация в Средней Азии обладает реальным потенциалом не просто развития как распространения уже имеющихся тенденций, но возможностью создания исторически беспрецедентного культурного сообщества, которое будет представлять собой уникальный синтез мусульманских, христианских и языческих веяний духа».

Да, возможностей для наблюдений у автора всегда было предостаточно. Он использовал их в полной мере, сформировав себе особенный тип видения культурных процессов, я бы даже сказала, особенный тип постановки вопросов. Суть этих вопросов, на каком бы материале они ни ставились, примерно такова: почему разное — различно? Какие механизмы лежат в основе различий и в какой мере разноразличные культурные и цивилизационные явления способны конструктивно взаимодействовать?

И тут мы видим еще одну сторону трансграничности автора, сочетающего в себе профессиональные позиции искусствоведа, культуролога, публициста, художественного критика. Для поиска ответов на эти вопросы он разработал собственный, довольно штучный концептуальный аппарат, привлекая в первую очередь опыт своей работы в разных искусствоведческих дисциплинах. Прежде всего это театроведение: Подпоренко окончил театроведческий факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н.Островского и некоторое время работал директором Ташкентского русского театра юного зрителя. Вообще же он профессионально занимался — в разном качестве, от организатора до теоретика и критика — кроме сценических искусств искусствами визуальными — живописью и фотографией (этот его опыт вобрали в себя представленные во втором разделе книги «Этюды о художниках», причем к художникам здесь в равной мере причислены как живописцы, так и фотографы). Театроведческая оптика решающим образом определила видение автором и различий «между огромными и не очень осязаемыми материками, которые зовутся

Восток и Запад», и больших исторических процессов в целом (что хорошо видно на примере эссе об «истории России как смоделированной и разыгранной драме» с характерным заголовком «Весь мир — театр...»).

В том, как Подпоренко представляет себе содержание понятий «Восток» и «Запад», он вполне традиционен: активистский, индивидуалистский, динамичный, покоряющий природу «Запад» и традиционалистский, консервативный, созерцательный, вписанный в природу «Восток».

Оригинальное начинается там, где автор берется объяснять причины этих различий. Корни западного активизма, индивидуализма, конфликтности он усматривает — нет, не в религии, хотя в самом начале первого, ключевого для сборника эссе утверждается как будто именно это. Вообще, текст «о природе и характере различий между Востоком и Западом» — очень любопытное и столь же спорное смысловое явление, с ним, с происхождением работающих здесь понятий, образов и моделей мышления надо бы разбираться отдельно и неторопливо. Здесь в концентрированном виде дана историософия Юрия Подпоренко, влияние которой так или иначе сказывается и во всех остальных текстах сборника.

«...Какие факторы, — спрашивает себя автор, — оказывали решающее воздействие на формирование тех или иных специфических особенностей жителей Запада и Востока? Если обратиться к последнему из поставленных вопросов, то интуиция подсказывает: необходимо двигаться в направлении религии. Именно она на протяжении тысячелетий человеческой истории обуславливала способы самоорганизации людей». А вот выходит, что не совсем так — или даже совсем не так. Самые глубокие корни избираемых людьми «способов самоорганизации» Подпоренко видит в растущем из античных корней театре.

Сформировав мировосприятие своих зрителей, основные его модели, театр проникает внутрь принятого этими зрителями христианства и задает ему характер. «Для христианства внешним, очевидным источником цельности послужил иудаизм, а внутренним основанием устойчивости — принципы внутреннего строения искусства, наиболее отчетливо выраженные в искусстве театра, в строении драмы, основанной на конфликте и повторяющихся основных элементах композиции, архитектоники. Предрекаемый (читай: запрашиваемый сознанием, испытывающим дефицит комфортности) пророками Ветхого Завета мессия и возник в фигуре Христа в соответствии с требованиями цельности структуры сюжета — единства действия».

Предлагаемая автором схема по существу проста: «восточный» мир созерцателен и консервативен потому, что не знал театра, не пережил и не вращал в себя в качестве фундаментального, всеопределяющего опыта античной драмы. К условному, но несомненному «Западу» относятся культуры, знавшие театр античного типа. (Посещал ли театр Христос, с которого все началось, — вопрос по меньшей мере дискуссионный.) Европейского человека, утверждает автор, целиком, со всей его цивилизацией, вплоть до химии и металлургии, продиктовала эстетика.

Разобраться в том, как устроена мировая история, лучше всего, полагает Подпоренко, поможет нам понимание искусства: «исследование искусствоведческими методами основных мировых религий позволит приблизиться к пониманию не до конца осмысленных, но исторически оправдавших себя форм и методов "человекоделания"»¹. Он возлагает большие надежды также на методы и категории синергетики², находя, что они весьма перспективны при исследовании «таких

¹ Между искусством и религией автор усматривает радикальную общность: в основе обоих «идея "делания", изготовления как особого рода полупроектной созидательной деятельности» (что и позволяет ему применять к обоим отдельные понятия методологии, восходящей, надо думать, к Г.П.Шедровицкому, имя которого, впрочем, не упоминается). Причем в обоих случаях «эта деятельность носит полусознанный характер».

² Вообще, для Подпоренко характерен устойчивый понятийный комплекс, с помощью которого он старается понять различные анализируемые им явления: этот комплекс сочетает в себе, кроме искусствоведческих понятий, как говорит сам автор, «некоторые категории физики, синергетики и методологии деятельности».

самоорганизующихся структур, как религиозные объединения людей и сфера художественно-творческой деятельности». Это, считает автор, «может позволить приблизиться к большему пониманию фундаментальных основ мироустройства, обусловит если не полную конвергенцию между научным знанием и религиозно-художественной практикой. то по меньшей мере сближение позиций». (При этом сам, стремящийся к такому сближению, Подпоренко явно неверующий — «доказательств существования Бога, не созданного людьми, пока не добыто» — и это, как мы заметим, сказывается на ходе его рассуждений.)

Что же в результате?

Всю совокупность формирующих человека и историю факторов Подпоренко подвергает довольно жесткой искусствоведческой, даже театроведческой редукции. Элементы понятийного инструментария физики (так в основе поведения толпы автор усматривает «нечто аналогичное явлению резонанса — сильного возрастания амплитуды колебаний под влиянием внешних воздействий, когда частота собственных колебаний системы совпадает с частотой внешних воздействий») и синергетики («неустойчивость, бифуркационность пропитывает христианство») ничего в предложенной схеме не меняют, но подчиняются ей.

Примечательно также, что происхождение самой драмы автором не рассматривается (упомянуто лишь в самых общих чертах, что корни ее уходят, в конечном счете, в «дробно-островную и горную географическую структуру Древней Греции, населенной родственными племенами и, видимо, еще какие-то факторы», обусловившие возникновение полисов, «вражда между которыми носила все менее кровавый и все более соперничающий характер». Это, по существу, все). Театр греков возник будто бы сам из себя.

«Рождение театра», точнее, драмы (здесь они практически отождествляются) в античном мире, считает он, — «последняя и высшая стадия развития античного искусства». Оптику, пластику и динамику западному человеку задает именно драма — чего не удалось в такой мере ни эпосу, ни лирике, которые господствовали в античном искусстве до театра. Эпос и лирика, считает Подпоренко, предоставили только основу и материал для того, что сделала драма. Эпос показал человеку мир, лирика — его собственное «я», и лишь драма завершила дело, продемонстрировав «я» и мир в столкновении. (Как не узнать в этом старую добрую гегелеву схему с тезисом, антитезисом и венчающим всю конструкцию синтезом?) Именно драма, настаивает автор, создала человека рефлектирующего, известного нам и по сей день. Она «как бы завершает цикл поистине фундаментальной перестройки сознания — ситуация боя, схватки, напряженного противостояния, ранее практически исключавшие возможность оперативной рефлексии самонаблюдения, отныне начинают воспроизводиться в формах жизни почти в натуральную величину, индуцируя в зрителях совершенно новое состояние, обозначенное Аристотелем как катарсис, очищение». Именно столкновение «я» и мира раз и навсегда стало, полагает автор, «приоритетной и комфортной эстетической» — а в конечном счете и не только эстетической — позицией для всех последующих поколений европейцев.

Увы, мы не увидим при развитии этой мысли ни дат, ни имен формировавших античное сознание драматургов, ни цитат из их текстов, ни ссылок на других авторов, размышлявших о том же предмете, ни сравнения позднеантичного театра с именуемыми тем же словом явлениями в иных, «восточных» культурах¹ (хотя бы с очень древним китайским или, скажем, с яванским театром теней, — как они формируют своего зрителя?), ни, строго говоря, аргументов вообще. Понятно, что эссе — не монография, научного аппарата не требует и даже не предполагает. Но аргументация, несомненно, придала бы веса авторским утверждениям.

¹ Одно основательное сравнение явлений «западного» и восточного искусства в книге есть. Это сопоставление трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» и поэмы Алишера Навои «Лейли и Меджнун», и оно приводит автора к мысли — уже знакомой нам по эссе о «Востоке» и «Западе» — о принципиальной разнородности миров, которые эти тексты представляют. «Мир поэмы Навои выражает как приоритетное стремление сохранить свою устойчивость и непоколебимость, а мир трагедии Шекспира предстает как динамично разворачивающийся процесс, пронизанный острым накалом конфликтов». Но это все-таки не сравнение явлений типологически родственных — театра с театром.

Николай Анастасьев

Благо непонимания

Даниил ГРАНИН. Интелегенды: Статьи, выступления, эссе. — СПб.: СПбГУП, 2015.

Отвечая в студенческой аудитории на какой-то незамысловатый вопрос, связанный с романом «Вечера с Петром Великим», автор, Даниил Гранин, сначала словно бы ушел в сторону:

«Я считаю, что для того, чтобы понимать, что такое литература, писателю надо добраться до непонимания».

Но тут же вернулся к теме:

«Когда в некоторых местах я добрался до непонимания Петра, почувствовал какую-то его живую плоть, это было очень хорошо».

Не знаю уж, в памяти что-то ожило или случайно сошлось, но Гранин по существу повторил мысль, высказанную в иные, далекие времена и в иных пределах, когда сын лодочника с берегов Мозеля, а впоследствии выдающийся религиозный мыслитель раннего Возрождения и кардинал Николай Кузанский писал свой трактат об ученом, или умном незнании (*docta ignorantia*).

В любом случае «не понимает» писатель, да и не хочет до конца понять не только своего героя, и вообще зона «непонимания» далеко не ограничивается литературой, распространяясь на всю жизнь человеческую. Многочисленные публичные высказывания Даниила Гранина последних десятилетий, собранные в книге, несколько претенциозно на мой слух названной «Интелегенды», свидетельствуют об этом со всей убедительностью.

Поднимаясь ли на трибуну германского бундестага или Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, отвечая ли на вопросы журналистов, рассказывая об истории взлета и падения созданного им общества милосердия или трудной судьбе написанной совместно с Алесем Адамовичем «Блокадной книги», набрасывая этюды к портретам Дмитрия Сергеевича Лихачева или, по следам давней книги («Эта странная жизнь»), «человека, который любил Время», — Александра Александровича Любичева, оставляя заметки на полях рассказа Бунина «Ночь» или выступая на международной конференции по генеалогии, Даниил Гранин часто и даже, возникает порою ощущение, с некоторым удовольствием в какой-то момент останавливается: «не знаю».

Речь кружится вокруг истории родного города, его дворцов, проспектов и набережных, и Гранин говорит:

«Петербург для меня — город неразгаданный».

Интервьюер пытается насчет национальной идеи, писатель от этого набившего оскомину сюжета отмахивается, но признает:

— Да, у многих возникло неприятное ощущение, вызванное отсутствием ясной

цели впереди. Куда идем, зачем? Но, может, важнее даже не это, а то, как общая идея будет связана с конкретной жизнью каждого.

— Спрашиваете себя о подобном? — останавливает его журналист.

— Да, но ответа не знаю, не нахожу его. И это хорошо.

Собственно, и завершается вся книга тревожной нотой сомнения:

— Правы ли мы? Не знаю.

По мне такое духовное и интеллектуальное смирение куда плодотворнее да, как выясняется, и увлекательнее, нежели самодовольная уверенность в своей правоте, столь свойственная многим нынешним публицистам самых противоположных направлений.

Оно, это смирение, или ученое, благотельное — возможен и такой перевод — незнание, являет собою и способ постижения действительности, и его форму. Скажем — форму эссе, если согласиться с тем расширительным толкованием, какое дал ему Роберт Музиль, автор знаменитого «Человека без свойств», как раз и являющего собою пример романа-эссе. Эссеизм, разъясняет он, это ключевой принцип писательства и, более того, самой жизни, ибо «эссе чредою своих разделов берет предмет со всех сторон, не охватывая его полностью. Предмет же, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в полноте». Это тоже — в назидание любителям поучить нас то ли ценностям русского патриотизма, то ли ценностям европейской демократии.

«Интелегенды» составились из публичных выступлений, газетных интервью, очерков, статей, мемуарных заметок, но в целом это — развернутое эссе. Оно ничуть не стесняется, напротив, словно бы дорожит повторами, смещеньем тем и сюжетов, а также беспорядочностью дат, когда публикация 1980-го, скажем, года, может соседствовать с публикацией года 2002-го, а после наброска, помеченного 2004-м, время поворачивает вспять и возвращается на четверть века назад. И ладно бы нарушение одного классического единства (времени) оправдывалось интересами другого, скажем, пространства, то ли действия, то ли лиц, в нем участвующих, так нет: в одном случае Гранин вспоминает о встречах с Виктором Борисовичем Шкловским, в другом — откликается на издание «Писем из Ламбарене», местечка в Экваториальной Африке, где почти пятьдесят лет подвижнически трудился Альберт Швейцер. То есть какая-то связь здесь наверняка имеется, только до нее надо добираться, носит она не откровенный, а прикровенный характер.

Вообще Гранин, с подозрением относясь к любой окончательности, естественным образом любит парадокс.

В ходе еще одной встречи в том же Гуманитарном университете профсоюзов студент — будущий экономист — уличает гостя в пессимизме, и вот что слышит в ответ:

— Пессимизм — движущая сила. Чего нам не хватало долгое время, так это пессимизма.

Попадая в незнакомую среду, обычно чувствуешь себя неловко. А если это не просто среда, но весь уклад непонятный и чужой, то и вовсе беда. Это я по собственному опыту знаю. Да наверняка, если не все, то большинство тоже знает. Но оказывается — в чуждости может быть свое очарование.

— Скажите, — спрашивает Гранина журналист, — а вы не испытываете дискомфорта в сегодняшней жизни? Иные ритмы, лексика, правила, лица. Иной стиль, иные кумиры.

— Я себя чувствую чужим, — соглашается писатель. — Я начал чувствовать себя чужим в этом городе, в литературе. Но я для себя решил: чужой — это интересно.

— И это действительно интересно?

— Да. Я подумал: раньше я всегда был своим, теперь — чужой. Другой опыт... Мы боимся быть чужими. Это, вероятно, остатки в нас нашей совковости.

Ну, и где здесь пессимизм?

Такие вот парадоксы — не парадоксы.

И уж вовсе не стесняется Даниил Гранин противоречия, буквально навстречу ему идет. На каждом шагу ловить можно.

Он влюблен в Петербург, этим чувством пронизана вся книга. И вместе с тем — «если посмотреть: ну что такое Петербург по сравнению с Флоренцией?!»

Разговор заходит о художественном авангарде, и, как мне представляется, судит Даниил Александрович очень пристрастно, да попросту несправедливо: «Однажды я взял большой том Хлебникова и стал его читать. Боже! Зачем это людям? Ну зачем это нужно? Да, Хлебников поэт — для поэтов, и он нужен тонкой пленке... это не для чтения. Так же, как Кандинский, Малевич...

— Филонов, — подхватывает с некоторой иронией, кажется, интервьюер, — но тут Гранин вскидывается:

— Нет, Филонова не трогайте.

А в другом месте с явным сочувствием вспоминает Пикассо, его автохарактеристику: «Я не ищу, я нахожу».

Так как же быть с авангардом, потому что, если Пикассо и Филонов — не авангард, то что это вообще такое?

И как быть с непониманием?

А главное, как быть с той мыслью, которая Гранину, судя по тому, сколь часто он к ней возвращается, очень дорога: художник никому ничего не должен, и, стало быть, не имеет значения, нужен он многим или всего лишь «тонкой пленке».

Но к этому мы еще вернемся.

В книгу включен тридцатилетней давности отклик на книгу Д.Данина о Нильсе Боре, в которой, естественно, рассказывается об открытиях великого физика — о принципе дополнительности, двойственной природе электрона, философии квантов и тому подобных вещах, недоступных пониманию рядового читателя, а уж гуманитария тем более. Положим, Данин обладал нечасто встречающимся даром повествовать о них на редкость увлекательно, положим, вполне популярно пишет о них и рецензент, но меня сейчас иное занимает. «Разворачивается волнующая картина прощания с вековой философией природы, извечным детерминизмом, с причинностью, причем с причинностью однозначной», читаю я, и мне начинает казаться, что в историческом споре Альберта Эйнштейна с Нильсом Бором для Гранина заключено нечто интимное. В отличие от большинства из нас он, изначально человек науки, человек, обремененный специальным знанием, понимает, о чем идет речь. Но в данном случае эти самые принципы дополнительности и неопределенности, двойственности физических явлений, не утрачивая, естественно, своего научного содержания, становятся для него, писателя, понятиями художественными.

Эссе бежит законченности, но, охватывая явление с разных сторон, стремится проникнуть в его суть. Так и мысль Даниила Гранина уходит от всякой категоричности и упорно стремится проникнуть вглубь предмета, просвечивая его с разных сторон. Предметы эти, как уже стало понятно, самые разные, но есть среди них те, что волнуют писателя неизменно и неуклонно.

Вновь и вновь, то ли откликаясь на вопросы собеседников, то ли по собственной инициативе, пускается он в рассуждения об историческом пути России и ее положении в мире. И кружась по дороге, меняя интонационную окраску от рассудительной до раздраженной, речь его клонится, в общем, в одну сторону: российский путь, при всем своем своеобразии, это путь европейский. Отсюда пристальный интерес к личности Петра и построенному им городу. Да, Петербург — родина, отчий дом, это само собой, да, Петербург — это совершенно особенная архитектура, когда город, в отличие от иных европейских городов, стоит к воде не спиной и не боком, но лицом; но Петербург — это также нечто большее, это арка, мост и даже локомотив, который «всю

жизнь тащит Россию в Европу. Или, точнее, к Европе. Правда она, Россия, — добавляет писатель, — упирается. И здорово упирается».

Так может, лучше не упираться, не нажимать на своеобразие и уж тем более не надувать щеки, гордясь имперским величием, может, лучше и достойнее осознать свое место в европейской семье, в семье человеческой? Послушаем речь Даниила Гранина (она вообще, охотно признаю это, интереснее любых к ней примечаний, отсюда и раньше, и впредь — обилие цитат):

«...Наше время, как и петровское, ставит ту же дилемму: какой быть России? Становиться ли ей европейской страной, приобщенной к мировой цивилизации, или пребывать в “азиатчине”? Выходить на общечеловеческую дорогу или упиваться своей “особой миссией”, продолжать искать нечто вроде “азиопы”?»

«России нужен общечеловеческий опыт нормального демократического цивилизованного существования, и нечего нам искать какую-то исключительную судьбу или миссию».

«Мы не сумели использовать свободу для того, чтобы увидеть себя и понять, что мы уже не великая держава, что у нас нет особой миссии и нет особого пути, что мы должны выйти на общечеловеческий путь».

«Все эти досужие разговоры об избранности, соборности и прочей белиберде вызывают у нормального человека лишь раздражение. Как, впрочем, и утверждения, будто русские умеют только водку пить, матом ругаться да на печи валяться».

И печальный вздох — вздох много повидавшего и много пережившего на своем долгом веку человека, который по-прежнему стремится дойти до непонимания:

«Нам не хватает смирения».

Эти реплики прозвучали примерно на рубеже XX и в первые годы XXI столетий и, кажется, услышаны не были, ибо с тех пор рокот патриотических барабанов только нарастает, бегство от свободы становится все стремительнее, а общечеловеческие ценности так и вообще объявляются химерой. Ну а Даниила Александровича Гранина, ветерана Отечественной, наверное, назвали бы русофобом.

Можно, конечно, винить во всех наших бедах — каковые, впрочем, предлагается считать, напротив, завоеваниями, — так вот, можно кивать на власть и послушные ей средства массовой информации. И в таких укоризнах был бы и есть резон, действительно, мозги каждодневно промывают с силой нездешней, агитпроп бы позавидовал. Но, может, стоит и на себя обернуться? Это, конечно, труднее, но и честнее.

Вот Гранин и оборачивается. Он выставляет суровый счет интеллигенции (а значит, и себе), с горечью наблюдая ее растерянность, чреватую полным исчезновением великого некогда ордена, и не видя рядом людей, подобных Дмитрию Сергеевичу Лихачеву и Андрею Дмитриевичу Сахарову, этим безукоризненным интеллигентам, людям с эталонной совестью (эти две личности и подсказали, надо полагать, название книги). Но это позиция традиционная, укорененная в толще лет, кто только интеллигенцию не ругал, и она сама себя ругала. А вот народ-богоносец осуждать — иное дело. Даже нынешние либералы, отбиваясь от упреков в антипатриотизме, довольно неубедительно, на мой взгляд, ссылаются на интересы замороченного, обманутого народа. Ну а Даниил Гранин задумывается о его, народа, — а стало быть, опять-таки о своей личной — ответственности.

В третий раз возвращаюсь к встрече Гранина в петербургском гуманитарном университете. Вот еще один из ее эпизодов:

В.Куницын, студент юридического факультета, 4 курс:

«— В одном из своих интервью Вы сказали, что мы имеем негодную страну и негодный народ. Вы не могли бы как-то прокомментировать это свое суждение?»

Д.А.Гранин (*не уходя от вопроса, не ссылаясь стыдливо на то, что, мол, не так поняли, вырвали слова из контекста и т.д.*):

«— Да, грубовато сказано. "Негодная страна", поскольку очень слабая власть,

поскольку страна не умеет пользоваться всем тем, чем ее наделила природа. Россия самая богатая, огромная, а мы самые бедные, нищие. Что значит «негодный народ»? Другого народа у нас нет, и думаю, мы сами виноваты во всем. Мы виноваты в том, что у нас были такие правители, что допустили такие ошибки, мы виноваты в том, что нас вели туда, куда мы не хотели и где были только несчастья, страшные потери и миллионные жертвы. Можно винить сталинский, хрущевский, брежневский, ельцинский режимы, но страна, правительство — это то, что мы сами создавали. И наша привычка говорить: "это они виноваты" — губительна. Каждый считает, что он тут не при чем, но мы тут все "при чем": и наши родители, и дедушки и бабушки, и мы сами: мы все и есть народ».

Что тут сказать? Все правда, разве что можно добавить еще и нынешний режим. Положим, власть за те пятнадцать лет, что отделяют нас от этого диалога, сделалась другой, «очень слабой» ее никак не назовешь, да только набранную мышечную силу она тратит таким образом, что ракеты в цель попадают и Крым становится наш, а мы по-прежнему остаемся «самыми бедными». Ладно, допустим, не самыми, может, просто бедными — тоже радости мало.

Ну, а народ — то есть, опять-таки, все мы, — как обстоят дела с ним — с нами, теми самыми, кто в подавляющем своем большинстве эту власть поддерживает и славит?

Много лет назад Гранин написал пространное эссе про страх, который владел людьми его поколения, про то, «какое большое место в (моей) жизни занимал Страх, сколько прекрасных порывов души погасил он... как он обессиливал, какие горькие воспоминания он оставил». И вот по прошествии времени интервьюер спрашивает его:

«— Как Вы считаете, изжили мы былой страх?

— "Мы" — это кто?.. Люди старшего возраста, мои ровесники, наверное, никогда полностью не оправятся от травм, полученных десятилетия назад, но чего бояться тем, для кого Сталин — история?

— Повторения пройденного.

— Не думаю, что подобное возможно. Конечно, в сталинизме и культе личности виноват не только объект поклонения, но и весь народ. Покорность, готовность поставить шею под хомут, а спину под розги глубоко сидит в русских людях. Нельзя исключить, что в нас вновь разыграется тяга почувствовать на загривке сильную руку хозяина-барина».

Все это очень обидно и все это, увы, очень актуально. Прошлое, как сказал бы Уильям Фолкнер, не прошло, оно даже не прошлое. И опасения интервьюера-журналиста небеспочвенны. И винить в «повторении пройденного» будет некого, кроме самих себя. Как и в том, что минувшие годы и особенно годы текущие не подкрепляют энтузиазма, прозвучавшего в словах Даниила Гранина, сказанных как будто недавно, в 2003-м, — а на самом деле эпоху назад: «"Железный занавес" поднят, мы становимся полноценной частью европейского сообщества». Не становимся, более того, не хотим становиться.

«Интеллегенды» разбиты на четыре части, и в большой степени деление это условно, как, допустим, условно оглавление «Опытов» Монтеня, как раз и заложивших фундамент жанра (как известно, в оригинале они называются «Essais»). Тем не менее некоторый смысл в такой композиции есть, ибо при всем внутреннем единстве книги сохраняется в ней не то что автономия, но, скажем, большая или меньшая концентрация составляющих. Так, традиционные для русской культуры боли: «художник и общество», «художник и власть», — пронизывают всю материю книги, более того, составляющие еще одну из ее идейных опор, сосредоточены все же в выступлениях, собранных в разделе «Литература» и отчасти «Петербург и интеллигенция».

Говоря коротко, мысль Гранина близка, по-разному варьируя его, известному афоризму Герцена: «Мы не врачи, мы боль». Невелика, особенно по нынешним

временам, когда талант уже не провозглашается национальным достоянием, а писатель (или музыкант, или артист) не считается выразителем идей партии, этого ума, чести и совести эпохи, невелика, говорю я, доблесть поглядывать на власть свысока или по крайней мере от нее отстраняться. Но куда больше душевной и творческой твердости требуется для того, чтобы во всеуслышание сказать: художник не только трону, он вообще никому и ничего не должен.

«Не должен он служить не только властям, но и народу. Не для него он пишет... если народ ждет призывов, лозунгов, то не дело поэта отзывать на эти ожидания. Долг поэта... в том, чтобы прислушаться к себе, к своим сокровенным чувствам — там может оказаться и гражданское чувство, а может его и не быть».

«Художник, который занимается творчеством, не ставит перед собой никаких воспитательных целей. Самовыражение — вот что для него главное. Он пишет о своей боли и своих сомнениях».

«Нам все время заявляли, что мы в долгу — перед шахтерами, электриками, врачами. На самом деле писатель никому ничего не должен».

А раз так, то не имеет смысла такой, например, вопрос:

— О чем сегодня прежде всего должен, на Ваш взгляд, говорить художник?

— О чем хочет, о том пусть и говорит. Он ничего не должен.

С электриками, положим, все ясно, но вообще-то мы к иному, как будто, привыкли: «Поэт в России больше, чем поэт».

А то и вовсе классика: «Поэтом можешь ты не быть...»

На чьей стороне правда в этом историческом споре? Ну кто ж на это ответит, каждый решает по-своему. Даниил Гранин опирается в своих рассуждениях на Пушкина, «Из Пиндемонте»:

Зависеть от царя, зависеть от народа,
Не все ль равно? Бог с ними.

Но ведь есть другое, не менее известное — «Памятник»:

И долго буду тем любезен я народу...

Так, может, и спора никакого нет, а есть умное незнание?

Иное дело, что некоторые вещи представляются более или менее очевидными. Времена меняются. Перестал писатель в России быть властителем дум и вообще авторитетом в вопросах гражданственности и морали, что ж тут подделаешь? Ничего в этом страшного нет, не надо впадать в отчаяние и уж тем более — в истерику. Лучше следом за Граниным спокойно признать, что «литература утратила прежнее значение», перестала быть философией, педагогикой, политикой, чуть ли не религией и сделалась просто литературой, признать это и порадоваться обретенному одиночеству и по достоинству оценить вместе с ним «свободу, которую получил художник в наше время». А то ведь — прав он — «мало кто из нас знает, как обращаться с этой свободой».

Ну и, наконец, третий, а может быть, первый (если говорить о композиции, то точно первый) нервный узел книги — война. Как прозаик Даниил Гранин начал писать о войне поздно — лишь в 1968 году появилась повесть «Мой комбат», и особого внимания, сколько помнится, не привлекла, оставшись в тени и главных книг самого автора, и военной прозы других писателей — Бакланова, Быкова, Бондарева, не говоря уж о некрасовских «Окопах Сталинграда». А ведь биография Гранина сложилась сходно с биографией «лейтенантов», хоть по возрасту он всех их на четыре-пять лет старше. Во всяком случае, военный опыт у них примерно один и тот же. Тем не менее должно было пройти еще более сорока лет (после «Комбата»), чтобы у Гранина

появился свой, то есть «Мой лейтенант», — чтобы он, по собственным словам, «решился написать про свою войну».

Мне кажется, публицистика — диптих «Немецкий лейтенант и его дочь» и «Признать вину и не отречься», где сначала воспроизводятся письма немецкого офицера, убежденного нациста, убитого под Ленинградом, а потом описывается случившаяся десятилетия спустя встреча писателя с дочерью того, кто в 1941 году был отделен от него 100—150 метрами ничейной земли, затем выступление в германском бундестаге и, наконец, очерк «Излечение от ненависти» — а также заметки по следам «Блокадной книги», все это бросает некоторый свет как на расхождение в судьбах разных книг о войне, так и на разрывы в датах.

«Никто не забыт и ничто не забыто», а уж человеком, прошедшим ужас войны, а потом, по рассказам уцелевших воссоздавшим — вместе со своим соавтором, тоже ветераном Великой Отечественной — ад блокады, тем более.

«Вспоминать про годы войны тяжело, любая война — это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах наших солдат необходима. Я только недавно решился написать про свою войну. Зачем? Затем, что в войну погибли почти все мои однополчане и друзья. Они уходили из жизни, не зная, сумеем ли мы отстоять страну, выстоит ли Ленинград, многие уходили с чувством поражения. Я как бы хотел им передать, что все же мы победили и что они погибли не зря. В конечном счете всегда торжествует не сила, а правда и справедливость».

Но как выясняется, правда и справедливость — это не только победа добра над злом. Это еще и умение, и мужество подняться, превозмочь ненависть, сколь угодно оправданную и неизбежную. Я понимаю, что вступаю тут на минное поле, что у меня, встретившего начало войны в младенческом возрасте, нет права рассуждать на эту тему. «Вас там не стояло», как выразилась по иному поводу Анна Ахматова. Я это понимаю, и если те, у кого такое право есть, уцелевшие и дожившие до наших дней герои-ветераны сорок первого—сорок пятого годов, с Граниным не согласятся, а от моих слов так и вовсе отмахнутся, я смиренно приму и это несогласие, и это небрежение. Помню, как много лет назад заспорили мы о романе Георгия Владимова «Генерал и его армия» с Марком Лазаревичем Галлаем. Я говорил, какая это замечательная проза, он — что предательство есть предательство, и никаким мастерством (которого он вовсе не отрицал) его не оправдаешь. Я по-прежнему считаю, что Георгий Владимов написал очень значительную вещь, но как тогда, так и теперь признаю, что на стороне Марка Лазаревича правда, превышающая любые литературные соображения, ибо она подкреплена опытом не только выдающегося, на весь мир известного летчика-испытателя, но и офицера-фронтовика, сбивавшего вражеские самолеты и однажды сбитого противником и чудом добравшегося через линию фронта до своих.

Все так, и тем не менее мне близка и дорога мудрость, обретенная писателем, тоже прошедшим войну, — Даниилом Граниным. В том же выступлении перед нынешними немецкими законодателями он вспоминает ее начало: «Я, будучи на переднем крае, начиная с 41-го и часть 42-го года, честно признаюсь, возненавидел немцев не только как противников, солдат вермахта, но и как тех, кто вопреки всем законам воинской чести, солдатского достоинства, офицерских традиций и тому подобного уничтожали людей, горожан самым мучительным образом, воевали уже не оружием, а с помощью голода, дальноточной артиллерии, бомбежек. Уничтожали кого? Мирных граждан, не могущих участвовать в поединке. Это был нацизм в самом отвратительном виде, потому что они позволяли себе это делать, считая русских недочеловеками, считая нас чуть ли не дикарями и приматами, с которыми можно поступать как угодно».

А потом, с годами, это понятное и неизбежное, сохраненное в памяти чувство начало выветриваться, а на его место пришло понимание того, что «ненависть — чувство тупиковое, в нем нет будущего».

Дорога к этому пониманию была нелегка, она описана в очерке «Излечение от ненависти». Он начинается как лирическое стихотворение в прозе: «Из всех кладбищ самые мертвые — воинские. Их всех могил самые усопшие — солдатские. Ряды одинаковых каменных крестов расходятся вширь и вглубь. Ни эпитафий, ни портретов, никаких аллегорий. Как шли строем на параде, так и уходят в вечность».

(Я сразу вспомнил первые строки реквиема «Американцам, павшим за Испанию», сочиненного Эрнестом Хемингуэем и виртуозно переведенного на русский Иваном Кашкиным: «Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании. Снег метет по оливковым рощам, забивается между корнями деревьев. Снег заносит холмики с дощечкой вместо надгробья... Оливковые деревья стоят оголенные на холодном ветру, потому что нижние ветви были обрублены для укрытия танков, и мертвые спят в холодной земле среди невысоких холмов над Харамой. Было холодно в феврале, когда они умерли, а с тех пор они не замечают смены времен года»; верно, дальше Хемингуэй вступает на ту тропу, которая у русского писателя осталась позади, он говорит о ненависти к фашизму, но так ведь и звучит реквием не через 60 лет после Победы, а через несколько недель после поражения Республики; впрочем, это уже совсем другая тема.)

На кладбище Ольсдорф под Гамбургом — втором или третьем по величине кладбище в мире — рядом лежат жертвы двух мировых войн — немцы и русские. И венки к могилам тоже возлагают немцы и русские — небольшая делегация, впервые участвующая в такой церемонии. И это встреча не вчерашних врагов, а промахнувшихся.

«Когда я встречаю немцев своего возраста, — это снова из речи в бундестаге, — для меня это встреча промахнувшихся, они столько раз стреляли в меня и промахнулись, и я стрелял в них и тоже промахнулся».

Финал «Излечения» интонационно перекликается со вступлением в тему: «Возлагали венки немцы и мы, к своим и чужим, к мемориалу жертв Второй мировой войны, к тем, кто убивал меня, и к тем, с кем я вместе воевал. Мои танкисты не поняли бы меня... А может, давно уже поняли, раньше нас. Во всяком случае я не испытывал смущения перед ними, я был свободен от ненависти. Печально, конечно, что так поздно — слишком долг был путь к этому кладбищу».

Немногим дано выговорить такие слова, и у немногих, повторяю, есть на это право.

У Даниила Александровича Гранина оно есть, и надо радоваться тому, что он им воспользовался. В нынешней атмосфере, отравленной взаимным недоверием и пропитанной различными фобиями, его речь звучат особенно весомо и стоит особенно дорого.

Может быть, на сей раз услышат?

Юрий Подпоренко

«Грузинский авангард» — прошлое, угадавшее будущее

Экспозиция выставки «Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных коллекций», развернутая в залах Отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина, подобна, скорее концерту, чем спектаклю. Здесь каждый из представленных художников — солист, и кто прозвучит раньше, а кто позже зависит от зрителя. Подсказка, конечно, в длинном названии, где короткий список авторов открывает легендарный Нико Пиросмани. Его же работы, в знак особого уважения, расположены на верхнем этаже.

Бродя по выставке, всматриваясь в работы, невольно ловишь себя на мысли что здесь нет и следа бытописания или «природописания» — за каждым холстом или рисунком встает личность художника, именно так трансформировавшего образ мира. Столь же самобытны и образы изображенных на холстах людей. Здесь резонансно сошлись исторически сложившийся строй жизни грузин и — шире — кавказцев, с их традицией застолий с тостами, как формы самопрезентаций, и уже оформившаяся к этому времени в Европе тенденция все возрастающего интереса к личности человека.

Давид Какабадзе в 1920-е годы довольно долго жил во Франции, проявляя себя не только как художник-новатор, но и как успешный инженер и изобретатель, предвосхитивший создание стереокинематографа и кинетической скульптуры, что нашло отражение и в некоторых представленных на выставке работах. Вернувшись в Грузию, он сотрудничал с выдающимся режиссером Котэ Марджанишвили.

Здесь же полотна легендарного Ладос Гудиашвили, живописца и графика, трансформировавшего традиции грузинского искусства. Он также несколько постреволюционных лет жил в Париже, общаясь с мэтрами французского искусства и впитывая новейшие тенденции. А затем вернулся на родину, где создал собственный неповторимый живописный стиль.

Среди более двухсот произведений живописи, графики, эскизов декораций, костюмов работы Кирилла Зданевича, Елены Ахвледиани, Александра Бежбеук-Меликова и других художников.

Автор идеи выставки — директор ГМИИ им.А.С.Пушкина Марина Лошак, кураторы Елена Каменская и Иветта Монашера. А в подготовке приняли участие Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей Востока, Государственный Центральный театральный музей им.А.А.Бахрушина, Московский музей современного искусства, Российская государственная библиотека, Российский государственный архив литературы и искусства и частные коллекционеры.



Елена Ахвледiani (1901-1975)

АДЖАРЕЦ. 1927.

Картон, масло.

Государственный музей Востока, Москва

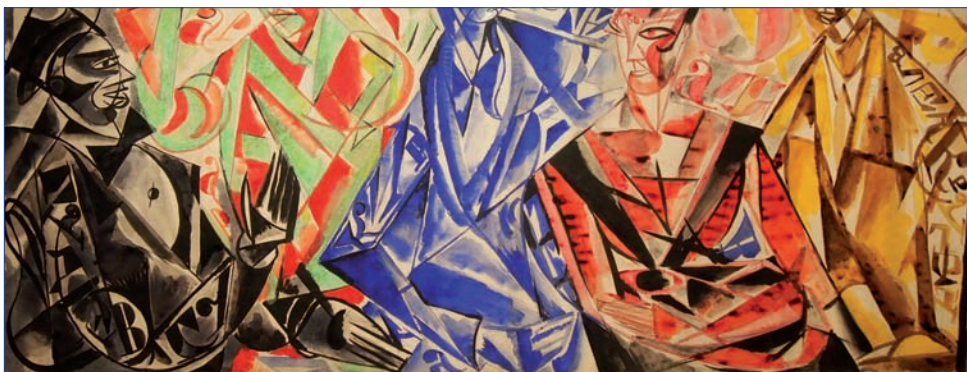


Ладо Гудиашвили (1896-1980)

ДВЕ БЕЛЫХ ЛАНИ. 1917.

Холст, масло.

Собрание Иветты и Тамаза Манашеровых, Москва



Кирилл Зданевич (1892-1969)

ОРКЕСТРОВЫЙ АВТОПОРТРЕТ. 1918.

Бумага, акварель. Частное собрание, Санкт-Петербург



Давид Какабадзе (1889-1952)

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ СЕРИИ «БРЕТАНЬ». 1921.

Бумага, акварель. Собрание GK Foundation, Москва



Нико Пиросманашвили (Пиросмани) (1863-1918)

ПАСХА. 1910.

Жестъ, масло.

Собрание Валентина Шустера, Санкт-Петербург



Ладо Гудиашвили (1896-1980)

КУТЕЖ ПОД ДЕРЕВОМ (КУТЕЖ С ЖЕНЩИНОЙ). 1923.

Холст, масло.

Собрание Иветты и Тамаза Манашеровых, Москва



Ладо Гудиашвили (1896-1980)

ВЕСНА (ЗЕЛЕНАЯ ЖЕНЩИНА). 1920.

Холст, масло.

Собрание Иветты и Тамаза Манашеровых, Москва



Александр Бежбеук-Меликов (Меликян) (1891-1966)

ТИР. 1919.

Холст, масло.

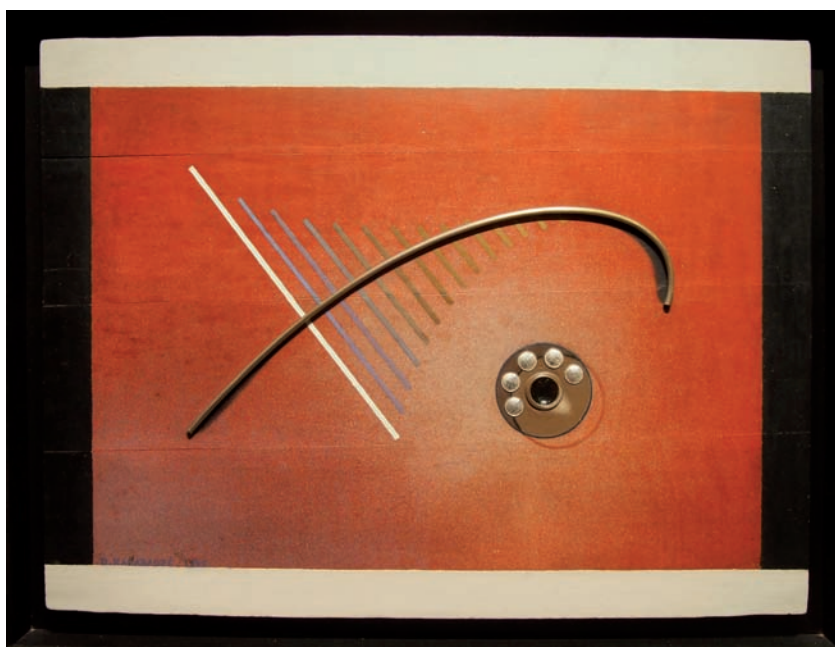
Собрание Иветты и Тамаза Манашерых, Москва



Давид Какабадзе (1889-1952)

НАТЮРМОРТ С ВАЗАМИ. 1920.

*Холст на картоне, темпера, масло. Собрание семьи Путниковых,
Москва*



Давид Какабадзе (1889-1952)

АБСТРАКТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 1925.

*Дерево, металл, стекло, масло.
Собрание Иветты и Тамаза Манашеровых, Москва*

СЕВИЧ

Из размышлений о сверстниках

Рубрику ведет Лев Аннинский

Этого имени у Оклянского нет. Я хочу восполнить... нет, не пробел (в принципе невозможный в плотном строе его очерков), но — вызывающий к ответу вопрос, почти немислимый при чтении этой книги: так плотно, без пробелов, там собраны и выстроены герои. Десяток корифеев советской словесности ушедшего века, да еще чуть не сотня вскользь упоминаемых спутников и попутчиков, тоже вместе с эпохой ушедших...

Очерки Оклянского, собранные теперь в одном томе, триумфально прошли в журнальной прессе (в том числе и в «Дружбе народов») — у читателей они были «нарасхват». И потому, что посвящены самым ярким и неоднозначным фигурам советской словесности, и потому, что неоднозначность эта бьется там между верностью доктрине, принятой свободно и искренне, и попытками избежать тех идейных вывертов, каких доктрина требовала от своих верных оруженосцев. Создатель «Русского леса» остро сопоставлен в этом поле с создателем «Тихого Дона». Федор Абрамов и Петро Вершигора по-своему служат эпохе и по-разному выдерживают ее вызовы. Максим Горький и Герберт Уэллс делят сердечные чувства Марии Будберг, непредсказуемой в своем выборе... не столько выборе поклонника, сколько того, как служить эпохе.

Оклянский не подсказывает нам, читателям, ответов на эти вопросы, но дает возможность самим решать, кто прав. Мне, например, ближе всех Борис Слуцкий, его умная непримиримость в отстаивании убеждений. На другом конце — то, как сводил психологические концы Константин Федин. Возможность такого выбора углубляет смысл прочитанного.

Я уверен, что с выходом в свет «Праведника среди камнепада» (как назван однотомник) Юрий Оклянский должен быть признан самым авторитетным историком советской литературы. Не как «праведник». А как собиратель камней, вымостивших эпоху.

Так вот: я должен объяснить свое отношение к одному из тех, кто этим камнепадом, по мнению Оклянского, был убит. Так, что и фамилии не осталось. С очерка о нем начинается книга. То есть с отказа писать полноценный очерк. Название начальной главы — «Фальшивая песня». И в первой же фразе — объяснение в нелюбви. За что? Да хотя бы за то, что у того голос был невыносимо тихий.

К голосу, невыносимо тихому, вернусь. Но сперва к имени. Точность письма у Оклянского такая, что по мельчайшим деталям я угадываю, кто это, хотя он и не назван. Но я назову — с согласия автора.

Всеволод Ревич.

Сейчас, через двадцать лет после его смерти, ни один осведомленный литератор не переспросит: а это кто такой?

Возьмите его итоговый том — и поймете. «Перекресток утопий. Судьбы фантастики

на фоне судеб страны». Предисловие сына — Юрия Всеволодовича. Труды отца, собранные сыновьями, подкрепляют его репутацию если не как основоположника, то как главного авторитета в истолковании современной фантастики. Громко звучит? Громко. Ничего похожего на то сосредоточенное беззвучие, при котором начиналась (лет шестьдесят назад) работа Ревича в критике и при котором эта работа продолжалась всю его жизнь.

Голос и впрямь был тих. Оклянский признается, что именно этот тихий голос определил его неприязнь к Ревичу.

Я все это знаю и помню — как на первом курсе филфака МГУ записался в стрелковую секцию и спустился в тир. Патроны раздавал светловолосый старшекурсник, чуть слышно, но очень четко говоривший:

— Назови еще раз внятно свою фамилию и повтори, сколько патронов получил.

Мы-то, по обозначившейся тогда вольности, ерничали на каждой официозной фразе, а тут: «повтори внятно». Меня даже не тихий голос поразил, а то, что говоривший явно верил в то, что говорил.

Неслыханно: если говорит, то только то, во что верит.

Это черта характера. И позиция. Тихая. Но красноречивая — на фоне нашего тогдашнего упоенного придуривания.

Несколько десятилетий редакционные будни сводили нас вместе. В «Литературной газете», в «Советском экране», в других редакциях. Я многому научился у Севы как у редактора. Что располагало к нему — так это спокойный, ровный, «тихий» стиль общения и та бережность, с которой он указывал мне на мои недосмотры и промахи.

Тексты его проходили как-то мимо моего сознания. Фантастика, приключенчество, детективщина — это для меня был второразрядный, развлекательный край словесности. Меня-то тянуло в центр событий. Туда, где «Новый мир» дрался с «Октябрем». И куда мне никак не удавалось влезть.

И тут, помню, какой-то текст Ревича попался мне на глаза. Я прочел. И был поражен тем, как ясно, умно и плотно это написано. Да с таким пером... войди Ревич в центр литературных баталий — он стал бы первым критиком в нашем поколении!

Но он-то как раз таких баталий сторонился. И в быту тоже уходил на свой тихий край бытия. Мы под гитару орали, бросая вызов «этой реальности». А он — пел. Тихо и внятно:

Перепеты все песни и забыт разговор,
Подождите ребята, не тушите костер,
Чтобы ты не спешила уходить от огня,
Чтобы ты полюбила за песни меня.

Мы упивались эротикой — скорее для самоутверждения, чем по реальной нужде. А он полюбил. На всю жизнь. И Таня Чеховская его полюбила... за песни? За склад души...

Мы знали: они вместе, Сева и Таня. Неизменно и навсегда.

Ее смерть, помимо горечи потери, пробудила тревогу: как Сева сможет жить без Тани?

Не смог. Тихо умер. Шел через переделкинские заросли, упал в снег и перестал дышать. Нашли не сразу.

Оклянский свою «Фальшивую песню» завершает чуть заметным пожатием плеч: жил человек странно и умер странно...

Я не могу думать о его жизни в снисходительном стиле.

Всеволод Ревич — Севич, как мы его звали в узком кругу, — личность, вызывающая не учтивое снисхождение, а глубокое уважение.

Неподкупный профессионал.

Неутомимый работник.

Тихий праведник, сохранивший верность своим убеждениям во времена повальных нравственных камнепадов.

Summary

Daniel Orlov. Miner's Day

The writer and publisher from St-Petersburg, far from being a beginner in literature, for the first time presents to the judgment of the readers a vigorous, weighty and psychologically convincing long short story about the hardworking days of geologists and geophysicists of the subpolar Urals and legendary Inta, about the courageous prospectors resembling Jack London's characters, about their distorted lives, treachery, love and faithfulness.

Poetry

Two young and quite different poets: recently discovered by us piercing Dmitrij Triboushniy, a deacon from Donetsk — and bright, original Erbol Jumagulov from Almaty. Both are writing about their roots, their countries and the time they happen to live in.

The female voices sound in quite different keys and poetical registers: Natalya Arishina's lyrics are laconic and strict, the poems by Anna Pavlovskaya, the debutant of this issue, are light-winged.

Nizhni Novgorod at DN's Pages

DN welcomes poets and prosaists from Nizhni Novgorod — participants of the Maxim Gorky International Literary Festival: Ildar Abuzyarov, Dmitrij Birman, Vadim Demidov, Andrej Dmitriev, Andrej Iudin, Alexander Kotyusov, Elena Kryukova, Andrej Kuzechkin, Marina Kulakova, Yourij Pokrovskij, Oleg Ryabov...

Ekaterina Pospelova. Biba and Chaykovskij. Literary Arabesques In Major and Minor Keys

Among various definitions of the word "arabesque" there is one like this: an elegant instrumental piece with queer melody pattern. And this one perfectly fits to the lyrical and ironical sketches from her own life by Ekaterina Pospelova — producer, teacher of music and writer.

Yourij Kagramanov. For Whom the Bell Tolls

The culture expert is meditating on various probable answers of the Christian civilization to "the Moslem Challenge". Anna Fedorova. The Freedom-Loving Favourites

How do Italians express their love for the children? How and what do they teach them at school? When and what do they allow them at home? And what comes of it? All this and much more knows Anna Fedorova who has been living in Italy with her Italian husband and two children for a long time.

Examining the poetical Fields 2016 literary critic Eugenij Abdullaev, following Bahtin and Andrej Tarkovskij, sets off for the search of the deed. "The thought may be a deed. The word may be a deed. A poem, a book of poems or even unexpected silence may be a deed. And each poet chooses his own way of doing. Or, if you want, the way itself chooses the poet".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhiba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»